К·М·СТАНЮКОВИЧ



ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

К·М·СТАНЮКОВИЧ

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ В ДВУХ ТОМАХ

ТОМ ВТОРОЙ

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

ЖРЕЦЫ



Москва
«Художественная литература»
1983

ББК 84Р1
С77

Тексты печатаются по изданиям:
К. М. Станюкович. Собрание сочинений в шести томах. М., Гослитиздат, 1958—1959; К. М. Станюкович. В мутной воде. Жрецы. М., Гослитиздат, 1960; К. М. Станюкович. Собрание сочиненй, т. III. М., изд. Карцева А. А., 1897 («Испорченный день»)

Иллюстрации
Ю. С. ГЕРШКОВИЧА
(Повести и рассказы)
Л. М. ХАЙЛОВА
(Жрецы)

Оформление
А. И. РЕМЕННИКА

С $\frac{4702010100-020}{028(01)-88}$ 9-88

ISBN 5-280-00088-4 (Т. 2)
ISBN 5-280-00086-8

ПОХОЖДЕНИЯ ОДНОГО БЛАГОНАМЕРЕННОГО МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА, РАССКАЗАННЫЕ ИМ САМИМ

I

Очень уж хотелось мне жить, как другие порядочные люди живут, чтобы обстановка и костюм были приличные, пища вкусная и питательная,— словом, чтобы все как следует. Грязь и бедность, постоянные мысли о том, как бы прожить месяц,— все это просто терзало меня. А жили мы в ту пору с маменькой и сестрой в маленьком уездном городке совсем бедно. Будущности никакой. Так себе, живи впроголодь, носи коленкоровые рубашки и думай, как бы не износить сапогов раньше времени. Протекции у нас не было никакой, родственники всё жалкие, необразованные люди, знакомства мизерные... Подобная будущность пугала меня... За что пресмыкаться, глядя, как другие люди живут, как следует жить... Зачем же мне дали образование в гимназии? Лучше было бы и вовсе не учить меня. Гибнуть я не хотел...

Папенька (царство ему небесное!) умер, нисколько не позаботившись о нас. Умер он, как и жил, в бедности (чтобы похоронить его сколько-нибудь прилично, пришлось заложить кое-что из рухляди), хотя по должности, какую он занимал, мог бы, как другие, обеспечить свое семейство.

Боже сохрани меня осуждать родителей, но я рассуждаю так: если человек обзаводится семьей, то его священный долг позаботиться о ней, чтобы не поставить кровных своих в безвыходное положение. И без того нищих довольно. Если не имеешь силы обеспечить семью, то не следует иметь детей.

Папенька был очень странный человек, не в меру гордый и раздражительный, а маменька, по слабости характера, не имела на него никакого влияния. Иной раз она сделает сцену (когда уж очень изнашивались на нас платье и обувь), затеет разговор насчет средств, но тотчас же и замолчит, встретив презрительный взгляд отца. Обыкновенно он как-то перекашивал губу и, когда маменька жаловалась на бедность, раздражительно отвечал:

— Воровать прикажешь?

Маменька пробовала было заговаривать насчет платьев и башмаков наших, но отец с какою-то усмешкой перебивал:

— Что они у нас, принцы мекленбургские, что ли? И в дырявых походят.

Маменька умолкала, а отец, бывало, задумается и некоторое время спустя как-то задумчиво промолвит:

— По крайней мере, дети отца добром вспомнят!

После таких сцен он особенно нежно ласкал меня и сестру, прижимал нас к своей впалой груди и долго вглядывался в наши лица. Потом, как мы подрастали, меня он реже ласкал и иногда загадочно так на меня глядел, словно я был для него загадкой и он за меня боялся. Сестру, напротив, очень баловал, по-своему разумеется. Мне и завидно было и досадно, что папенька совсем был непрактичным человеком. Уж какие тут принцы! В доме у нас постоянные недостатки, а он о принцах! Я, бывало, нередко беседовал на этот счет с маменькой, но у нее, как у женщины, не было никакой выдержки.

Нужно было исподволь, осторожно, но как можно чаще касаться этих вопросов (капля точит камень), напирая преимущественно на родительские чувства (отец очень любил меня и сестру), а она вдруг разражалась упреками и слезами и вслед за тем, вместо того чтобы выдержать характер и показать недовольство, сама же просила извинения у отца. Разумеется, отец еще более упорствовал в своей гордости, полагая, что и мать с ним во всем согласна (это насчет средств). А она соглашалась с ним более по слабости. Сама, бывало, плачет втихомолку над нами, что мы несчастные и нищие, а поговорит с отцом — успокоится. Никакой не было выдержки у маменьки!

Про отца все говорили (и до сих пор говорят) как о честном человеке, но чудаке. Но от этих разговоров ни маменьке, ни мне легче не было. Если бы даже о папеньке говорили иначе, а у нас были бы средства, то все-таки

уважали бы нас более и нам не пришлось бы унижаться перед людьми...

Я только что после смерти отца получил аттестат зрелости, но об университете нечего было и мечтать. Разумеется, если б какие-нибудь деньжонки, я бы кончил курс; тогда место виднее можно было бы получить и жили бы мы прилично. Но и при папеньке-то мы бедствовали, а как скончался он — доктор сказывал, от чахотки,— то дела наши и совсем расстроились. Надо было жить троим. Я оставался единственной поддержкой семьи. По счастию, я скоро приискал место письмоводителя у мирового судьи, приятеля покойного отца. Жалованье ничтожное, работа такая, что никак нельзя быть на виду, да и сам судья был какой-то невидный и неловкий человек. По утрам судил, а по вечерам играл в карты и был совершенно счастлив. От него никакой протекции ожидать было невозможно. Он и о себе не заботился. Где ж ему было заботиться о других! Да и ничего он не мог бы сделать, если б и хотел.

И стал мне скоро наш городок ненавистен. И жители его тоже ненавистны. Главное, все тебя знают, все видят, что на тебе потертый сертучишко, скверное белье и что дома пустые щи. Все очень хорошо знали наше положение, и, вероятно, потому-то всякая скотина считала своим долгом пожалеть тебя при встрече, и так пожалеть, что и придраться нельзя. Внутри клокочет злоба, а ты еще благодари за сожаления!

Бывало, идешь в свою камеру, а навстречу какой-нибудь помещик или думский гласный. Поманит эдак обидно пальцем и скажет:

— Здравствуйте, молодой человек. На службу?

— На службу.

— Похвально, похвально... Конечно, жаль, что такой прекрасный молодой человек, как вы, не нашел себе более приличного места, но что делать? Вы ведь, кажется, первым в гимназии кончили?

— Первым.

— Отлично, отлично... Покойный ваш батюшка честнейший человек был; только жаль, ничего вам не оставил, так что вам и курс кончить нельзя. Но что делать! Теперь вы поддержка семьи, и вам делает честь, что вы трудитесь. Похвально, похвально, молодой человек!

Помещик, полагавший, что осчастливил своим сочувствием, жал мне руку и шел своей дорогой, выразив, разумеется, сожаление и похвалу больше для того, чтобы занять минуту, другую разговором.

Такие встречи случались чуть ли не ежедневно. Весь городок точно считал непременным долгом терзать меня, соболезнуя о способном молодом человеке и одобряя его похвальное поведение относительно семейства. Даже сторож в камере и тот как-то особенно, обидно-нежно относился ко мне.

«Такой молодой человек, а всю семью содержит! Мать просто не надышится сыном!»

Эту самую фразу все повторяли, бывало, чуть только завидят меня где-нибудь, так что я наконец зеленел от злости, чуть было услышу ее. Все жалели, все соболезновали, но, конечно, никто и не подумал помочь «способному молодому человеку» сделать приличную карьеру.

Наконец все эти сожаления так меня озлобили, что я обходил большую улицу и стал ходить в камеру по закоулкам и пустырям, чтобы не встречаться ни с кем на дороге, и мечтал о том, как бы мне выбраться из унизительного положения и уехать поскорей из этого ненавистного мне города.

К тому же, признаюсь, зависть просто ела меня. В самом деле, неужто так-то мне и пропадать здесь? Нет, ни за что!

А из камеры прибежишь голодный домой, дома неприглядно... одна бедность. Мать подкладывает лучшие куски (ты-де кормилец), отказывая себе и сестре, а эти куски мне и того противнее. И гложет, бывало, меня пуще злость, когда вижу, как маменька во все глаза смотрит, точно собака на хозяина. Во взгляде и умиление и соболезнование, словно бы и она тоже чувствует, что вот, мол, такой способный молодой человек, а всего тридцать пять рублей в дом приносит. Сестра угрюмо смотрит, ест мало, и угрюмость ее тоже во мне желчь подымала. Она-то чего!..

Но я никогда не показывал, что происходило во мне. Сцен я не люблю. Одно только беспокойство и никакого толка. Мне бы хотелось, чтобы все шло у нас в семье тихо, мирно и прилично, а не так, как у пьяных чиновников, где за обедом происходят драки. К тому же я любил маменьку, и мне очень хотелось, чтобы хоть на старости лет она могла жить как следует, а не жариться у плиты.

Поэтому со своими я ничего не говорил о своих планах, а держал их про себя. Еще поняли ли бы они их как следует?..

Раз только я как-то глупо размяк и стал однажды говорить с сестрой об идеале порядочного человека и как

надо жить, чтобы иметь право считаться порядочным человеком. Должно быть, я говорил очень горячо, так как только спустя несколько времени заметил, с каким не то изумлением, не то страхом слушала она меня.

— Ты что, Лена?

— Как что? И тебе, Петя, не стыдно? А что нам покойный папа говорил?

Она как-то всплеснула руками, хотела что-то сказать, но промолчала.

— Что ты все: папа да папа? Отец был увлекающийся человек. Он не понимал жизни.

Сестра побледнела при этих словах:

— Замолчи... замолчи... Что ты говоришь!!

Она заткнула себе уши и убежала из комнаты. Глупенькая! Она ничего не понимала. Кажется, разговор поразил ее, и она долго после этого не заговаривала со мной. Вообще, Лена была странная девушка, она походила на отца и была такая же увлекающаяся идеалистка. Ей только что минуло семнадцать лет, и разная блажь ей лезла в голову. То в монастырь собиралась идти, то вздумала морить себя голодом и все лепетала, как блаженная, что она эгоистка. Мне придется еще говорить об ее печальном конце, а пока замечу только, что она была удивительная девушка, не обращала на себя никакого внимания, хотя была очень хорошенькая, и никак не могла понять простой вещи, что жить — значит наслаждаться, а не страдать... А она точно искала какого-то креста и подолгу, бывало, разговаривала с разными странниками и странницами, заходившими к нам, когда меня не было дома. При мне эти мошенники не смели показываться. Досадно было слушать, как они врут и как дураки им верят.

II

Мысль — сделаться самому порядочным человеком и сделать порядочными людьми мать и сестру — засела гвоздем в мою голову. Я решил, что это должно быть так, и с этою целью собирался ехать в Петербург и там попробовать счастья и испытать свои силы... Мне шел двадцать третий год... Я был здоровым, крепким молодым человеком и, как говорили уездные дамы, далеко не уродом... «Неужели ж я не пробьюсь?» — думалось мне, и надежды, одна другой розовей, щекотали мои нервы... Ведь многого я не требую от жизни. Я желаю только приличного существова-

иия. Я хочу жить, как люди живут,— вот и все. И я буду так жить! — не раз повторял я себе, лелея эти мечты, как цель моей жизни.

Нужно было первым делом позаботиться о средствах, и я стал копить деньги. Я получал всего тридцать пять рублей и отдавал матери двадцать пять. Остальиые десять я прежде тратил иа себя, ио теперь стал их откладывать. Я бросил курить, ходил в заплатаниых сапогах и отказывал себе во всем. Я ие чувствовал этих лишеиий и с гордостью думал, что взамен их я достигиу цели... Я буду жить, как другие порядочиые люди; белье у меия будет тоикое, сигары хорошие, квартира приличиая. Я ие раз в мечтах представлял, какая именно у меия будет квартира и как те самые люди, которые соболезиовали обо мие, будут тогда изумляться: какой солидиый человек, всегда при деиьгах и без копейки долга... Иногда, размечтавшись, я доходил в дерзких мечтах своих даже до собствеииой лошади... одной лошадки, эдак шведки, круглой, сытой, какие бывают, как я видал, у докторов-иемцев.

У меня бывали свободные вечера, и я решил воспользоваться ими. С этой целью обратился я за помощью к мировому судье и просил его, если случится, порекомеидовать меня в качестве учителя. Он охотно согласился помочь мне в этом, и я скоро получил иесколько уроков. Платили мие, коиечио, мизерно, но я ие особенно разбирал.

Возвращался я домой, пил два стакаиа чаю с чериым хлебом и считал накопленные деиьги, притаившись, точио вор, у себя на антресолях. Домашиие меня ие беспокоили, я просил их об этом... Только мать убивалась все из-за меня, полагая, что я слишком миого работаю. Оиа ие понимала, что эта работа была для меия иаслаждением. Я им до времени ие открывал своего плана, и только через год, когда я скопил таким образом шестьсот рублей, я объявил маменьке, что собираюсь в Петербург.

Оиа ие ожидала этого и испугалась.

— Как в Петербург?..

— Так, маменька... Неужто вы думали, что я всю жизиь буду прозябать в этом городке и позволю вам вести такую жизнь?..

— Какую жизнь?.. Чем же это ие жизнь, Петя?

— Ах, мамеиька!.. Разве так люди порядочные живут, как мы живем? Покойный папенька о вас не позаботился, так я, маменька, о вас позабочусь! — проговорил я гордым и увереииым тоном.

— Эгоист! — раздался нз-за перегородкн раздраженный голос Леночкн.

Я только усмехнулся н не обратил на ее глупую выходку ннкакого вннмання. Маменька проснла ее замолчать, но я поспешнл прекратнть готовящуюся вспыхнуть сцену.

— Оставьте, маменька, Леночку. У нее свое мненне, у меня свое. Кто нз нас прав, покажет будущее... Быть может, н Леночка, когда будет постарше, поймет, что деньги — сила и что без ннх порядочным человеком нельзя быть!

— Неправда... неправда... неправда! — —крнкнула она.

— Не сердись, Лена... Я ведь не навязываю тебе своего мнення. Я говорю: быть может...

— Не может этого быть... То, что ты говорншь, безнравственно...

Я не отвечал больше сестре. Очевндно, она не поннмала, что говорнла.

— Вот, маменька, вам трнста рублей,— продолжал я, выкладывая на стол трн сотенные бумажкн.— Этнх денег хватнт вам на год, но я надеюсь, что раньше года выпишу вас в Петербург, н тогда мы зажнвем отлнчно...

Мать изумлялась все более н более.

— Но откуда у тебя деньгн?.. И как же ты-то сам будешь жнть в Петербурге?..

— Деньгн я честно, маменька, заработал... А для Петербурга я н себе оставнл триста рублей.

Мать броснлась обнннмать меня н всплакнула-такн... Жаль было ей расставаться со мной...

— Не плачьте, маменька... Я еду за счастьем н найду его... А разве вы не хотите вндеть своего сына счастлнвым?

Прншла и Лена. И она была нзумлена, когда увндала, сколько я заработал денег... Очевндно, мое упорство вселяло в ней уваженне ко мне...

Она как-то грустно улыбнулась, когда я сказал ей, что в Петербурге она может учнться н что я надеюсь скоро доставнть ей средства, но ни слова не ответнла на мон слова. Я объявнл, что уезжаю через трн дня, н пошел к себе наверх.

Мне спать не хотелось... Я ходнл взад н вперед по комнате в большом волненнн... Я вернл в свою звезду, а все-таки сомнення нет-нет да н закрадывалнсь в мой ум. Что-то будет впередн?.. Как-то встретнт меня большой незнакомый город?..

Я не помню, долго лн я так проходил, но, взглянув на

часы, увидел, что уже двенадцатый час... Пора было ложиться спать.

Вдруг по лестнице раздались легкие шаги, и Лена вошла ко мне в комнату. Она была бледна... Глаза ее были красны от слез... Она приблизилась ко мне, взяла меня за руку и, заглядывая в глаза, как-то странно спросила:

— Петя!.. зачем ты едешь в Петербург?..

— Вот странный вопрос!.. Я еду искать счастья...

Вдруг эта странная девушка горячо обняла меня и, вся вздрагивая, прошептала, наклоняясь над моим ухом:

— Милый мой... дорогой Петя, не поезжай туда!.. Ради бога, не поезжай!..

— Что с тобой, Лена?.. Отчего это мне не ехать?..

— Другому я бы посоветовала туда ехать, а тебе — нет. Ты не сердись, я говорить не умею... Ты... ты сам станешь нехорошим... Ты совсем испортишься... Ты совсем перестанешь любить людей...

Она говорила прерывисто и так жадно смотрела мне в глаза.

— Я тебя, Лена, не понимаю...

— Ах, нет... Ты понимаешь... Я и сама, впрочем, не понимаю... Я больше чувствую это... Петя, родной мой! Разве тебя не мучит ничто другое?.. Неужели тебе только и заботы, что о себе, как бы тебе получше жить?.. А о других ты никогда разве и не думал?.. Разве тебе не жаль других, и ради их неужели ты не позабыл бы себя?.. А ведь тот идеал порядочного человека, про который ты говорил — помнишь? — тот идеал не ведет к добру... Петя... Петя... вспомни покойного отца... вспомни, чему он нас учил...

Она вдруг зарыдала и, припав к руке моей, обливала ее слезами.

— Лена... Леночка... Да что с тобой? Ты какая-то экзальтированная... Чего ты желаешь?.. В монахи, что ли, идти мне?..

— Ах, лучше в монахи, если есть вера... А то ты только и веришь в деньги... Сгубишь ты себя...

— Но ведь я для вас же хлопочу... Разве так хорошо жить?..

— Не то... не то... Ах, ты не то говоришь, Петя... слишком много заботишься о себе... Ты себя очень любишь.

Я старался успокоить Лену, объяснял, что я ничего нечестного не сделаю, но что я только хочу быть человеком.

Но она не успокоилась после моих слов и что-то пыта-

лась мне объяснить, но вместо объяснений она говорила какие-то горячие слова о том, как надо жить по правде... Говоря о своей правде, она вся вздрагивала... Видно, бедную странницу совсем сбили с толку.

Я с сожалением слушал ее порывистые речи и доказывал ей, что глупо с ее стороны так волноваться из-за того, что я еду в Петербург. Разумеется, я постараюсь получить место, постараюсь пробить себе дорогу и не пресмыкаться, как теперь...

— Того я и боюсь, Петя, что ты успеешь... Ты упорен... у тебя характер есть...

Больше она ничего не говорила... Заладила одно, что боится за меня, что я людей забуду и какую-то «правду» забуду...

— Ты, Леночка, ребенок и ничего не понимаешь... Мечтательница ты... а я... жить хочу...

— Но разве твоя жизнь — жизнь?

— Ну, довольно об этом, Лена.

— И ты едешь?

— Еще бы!

— Да спасет тебя бог! — проговорила она как-то порывисто, обняла меня и тихо, понурив голову, вышла из комнаты.

Глупая эта сцена, однако, смутила меня, и я долго ворочался в постеле... Долго не мог заснуть... Все мне мерещилась белокурая Леночкина головка, ее возбужденные глаза и ее порывистые речи...

Как же жить-то? Она искала выхода по-своему, я по-своему. Пусть же нас рассудит жизнь!.. А волноваться, как она, из-за пустяков я не мог же в самом деле... Страдать за других, когда я страдал за самого себя, за маменьку и за сестру!.. Да с какой стати?.. И наконец, все это одни глупости... Жить надо!.. Надо жить!

В этом всё!.. Когда я себя устрою, тогда не забуду и о других... Но прежде всего о себе... Чем же я виноват, что я себя люблю?.. Да, люблю и возненавижу тех, кто помешает мне добиться своего счастья...

Так размышлял я в те поры, и когда стал засыпать, то ясно слышал, как на соседней церкви пробило пять часов...

На другой день я отправился к мировому судье и объявил ему, что оставляю место...

Он удивился такой новости.

— Уж не выиграли ли двести тысяч? — пошутил он.

— Нет, еду в Петербург.

— Без места?

— Без места... Попытать счастья...

— Ну, дай вам бог успеха... Вы способиый молодой человек...

Сдача дел была недолга. Дела у меия были в порядке.

Через два дия я простился с мамеиькой н сестрой. Обе они горько плакали, только каждая нз разиых побуждений: мать просто жалела меня, а сестра хоронила меия.

III

Признаюсь, когда через трое суток я приехал в Петербург и в тот же деиь стал бродить по улицам большого города, в котором у меия не было нн одиой души зиакомых, какая-то тоска одииочества сжала мое сердце. Скоро, впрочем, это прошло, и ие без гордостн ходил я по улицам большого города. Оживлеиие возбуждало мои нервы... Я взглядывал на роскошные дома, останавливался перед магазинами, с любопытством глядел на изящные экнпажи, иа лошадей, щегольскн разодетых мужчин и дам. Мне нравились эта суета и этот блеск большого города. Дамы казались какими-то красавицами, а мужчииы такими ловкнмн н изящными.

Однако я время от времеии щупал бумажиик. Рассказы о петербургских мошеиииках, слышаиные мною иа железной дороге, пронзвели иа меня впечатлеиие, н я со страхом думал, что было бы со мной в этом большом городе, если бы я вдруг очутился в нем без гроша деиег? Но бумажннк был иа месте, н я снова бродил, н снова остаиавливался, н жадио разглядывал краснвые, изящные вещи, выставлениые в магазииах.

Меня, впрочем, смущал мой костюм. Когда я сравнивал мое иевзрачиое платье с изящными костюмами гулявших по улицам франтов, мне делалось просто иеловко, и я решил, что первым делом мне надо приобрести пару прилнчного платья н несколько белья. Платье в Петербурге — важная вещь. Я отложил покупку до другого дня и, скромио пообедав в какой-то кухмистерской, усталый от ходьбы, я крепко заснул в крошечной комиатке, наиятой миою поблнзости от вокзала Николаевской железиой дороги.

На другой день я был одет довольно приличио и искал меблированной комиаты. Комиата, иаиятая мною по приезде, была для меня слишком дорога. Я пересмотрел миожество комиат, ио бóльшая часть из подходящих по цене

не удовлетворяла меня. Уж слишком много было жильцов и слишком много шума. Наконец, после долгих поисков, я напал на подходящую комнатку в Офицерской улице, во дворе большого дома. Комнатка была, правда, крошечная, но чистенькая, и, кроме меня, в этой квартире было только двое жильцов: какая-то дама и отставной генерал. Квартирная хозяйка, весьма недурная собой молодая блондинка, уступала мне комнату за десять рублей, но при этом прибавила, лукаво бросая на меня взгляд:

— Только, пожалуйста, чтобы у вас было тихо и чтобы к вам не ходили... дамы.

— О, будьте спокойны на этот счет! — отвечал я как можно серьезнее.— Я только что приехал, и у меня нет ни души знакомых.

— Вы в первый раз в Петербурге?

— В первый раз.

Молодая женщина еще раз оглядела меня с ног до головы и, показалось мне, на этот раз гораздо ласковее, точно, глядя на меня, она почувствовала сожаление.

«Неужели, в самом деле, я возбуждаю во всех только одно сожаление?» — опять пронеслось в моей голове, и я несколько резко спросил у молодой женщины:

— Так вы согласны принять меня жильцом?

— О, разумеется... Быть может, вы пожелаете у меня иметь и стол? Правда, стол у меня простой, очень простой.

— Я привык к простому столу!.. — проговорил я и вдруг покраснел при этих словах.

Она взглянула опять, и я точно в ее взгляде прочитал: «Вижу, вижу, молодой человек, что ты к хорошему столу не привык!»

— А какая цена?

— Восемь рублей.

— Согласен... Обед будут подавать ко мне в комнату?

— Как угодно... Угодно со мной обедать, а нет — обедайте один...

— Я привык один!.. — отвечал я снова как-то резко, сердито взглядывая на молодую женщину.

— А вы не капризны?..

— Нет...

Я отдал задаток, в тот же вечер перебрался в новое помещение и за чаем делал выписки из газетных объявлений. Со следующего дня я решил приняться за поиски работы.

«Требуется молодой человек в качестве домашнего секретаря». «Ищут чтеца к престарелой даме». «Желают

иметь молодого человека для заиятий с детьми». «Требуется коиторщик для переписки». Из массы объявлеиий о предложенин я на этот раз выудил только четыре более или менее подходящих спроса. Разумеется, я далек был от мысли сделать себе профессню из какого-либо подобного занятия (нначе стоило лн приезжать в Петербург?), ио как подспорье я ие прочь был иметь какое-либо подходящее заиятне, которое дало бы мие возможиость ие проживать сделанных мною сбережеиий. Я сосчитал свои капиталы. У меня оставалось всего двести рублей. Надо было вести дела свои аккуратио. В свою очередь, я сочинил объявлеиие такого рода:

«Молодой человек, 23 лет, приехавший из провииции, кончнвший курс, нщет заиятий в качестве учителя, секретаря илн бухгалтера».

Я отиес объявлеиие в две газеты и затем пошел по объявлениям.

Первым стояла «престарелая дама, ищущая чтеца». Престарелая дама жила иедалеко, и я отправился к ией. Большой дом. Швейцар у подъезда.

— Где четырнадцатый номер квартиры?

— Вы ианнматься... по объявлению, что ли? — ответил швейцар, оглядывая меня.

— Да.

Ои как-то страино посмотрел иа меия и заметил:

— В четвертый этаж идите, только зиаете ли что? Напрасио будете подииматься. Оиа вот уже месяц публикует, и только ковер иа лестнице портят... Никто не идет. Много тут перебывало разиого иарода...

— Отчего же это никто ие идет?

— А барыня-то уж очеиь требовательиая... А то ступайте, сами посмотрите... Миогие так ходят... Пойдут, посмотрят и возвращаются назад, будто из театра... Смеются.

Меня заинтересовала эта старуха, и я пошел в четвертый этаж.

Позвоиил — никто ие отворяет. Позвоиил другой раз... Наконец послышались шаги, и иа пороге появился старый лакей.

— Вы чтец?

— Да... по объявлеиию...

Лакей тоже страиио на меня посмотрел, леииво принял мое пальто н повел в комиаты.

Мы прошли через несколько парадиых комиат и остановилнсь перед запертой дверью.

— Вы подождите здесь, я пойду доложу!.. — проговорил лакей.— У вас сапоги не скрипят?..

— Нет, кажется...

— То-то... Она терпеть не может сапогов со скрипом!.. — прибавил совершенно серьезно лакей, после чего осторожно отворил дверь и скрылся.

Мне пришлось прождать минут с десять. В то время как я ждал, из других дверей вышла какая-то пожилая женщина, прошла мимо, бросив на меня внимательный взгляд, кивнула на мой поклон и вернулась в ту же дверь. Затем прибежали три маленькие собачонки в попонах, стали было лаять, но горничная, вошедшая вслед за ними, поторопилась увести их, поглядев на меня, как мне показалось, не без сожаления.

— Пожалуйте! — проговорил лакей, появляясь около меня.

Он отворил двери. Сперва мы вошли в роскошно убранную гостиную, а оттуда в небольшую полутемную комнату, где в большом откидном кресле полулежала закутанная пледами какая-то женщина. В комнате было душно и накурено чем-то ароматическим. Из соседней комнаты раздавались звуки фортепиано...

Лакей скрылся. Я остался один.

— Подойдите поближе! — тихо проговорила та самая пожилая женщина, которая давеча разглядывала меня в зале.

Я подошел и тогда только разглядел существо, лежавшее в кресле. Это была старая-престарая и очень некрасивая старуха с маленьким узконосым детским личиком, в белом чепчике с сиреневыми лентами. На лице ее толстым слоем лежала пудра, отчего безобразное ее лицо казалось еще страшнее, а небольшие глаза, глубоко сидевшие в темных ямах, казались совершенно безжизненными, стеклянными глазами.

Она высвободила свою руку из-под одеяла и уставила на меня лорнет.

Несколько секунд длилось молчание. Она что-то опять сказала пожилой даме, и та снова тихо попросила меня подойти поближе. Я подошел почти вплоть к старухе. Она продолжала оглядывать меня, точно какую-то редкость. В это время в соседней комнате замолкли звуки фортепиано, и прямо против меня слегка скрипнула дверь. Я взглянул в ту сторону. Из дверей выглянуло прелестное, молодое женское личико, но тотчас же скрылось.

— Вы чтец? — наконец проговорнла какнм-то глухнм голосом старуха, не опуская лорнета.

— Да.

— Вам сколько лет?

— Двадцать трн года.

— Вы студент?

— Нет. Я кончнл только курс в гнмназии.

— Вы чнтали когда-ннбудь больным?

— Читал,— храбро соврал я.

— Ведь это скучно, очень скучно,— заметнла старуха, н на лице ее промелькнуло нечто вроде улыбкн. Потом, помолчавши, она сделала мне какой-то жест рукой.

— Саднтесь,— подсказала мне пожнлая дама, заметнв, что я не понял жеста.

Я сел на ннзенькую маленькую табуретку, обнтую шелком, так что старуха, лежа в своем кресле, могла отлнчно меня вндеть.

— Вы не ннгилнст? — снова начала она свой допрос.

— Нет.

— Вы в господа бога веруете?

— Разумеется.

— Это похвально, молодой человек... Нынче так мало веры... Кто вашн роднтелн н что вы делалн до снх пор? Расскажнте-ка нам откровенно... Все по порядку. Я люблю слушать задушевные нсторнн.

Я понял тогда, почему от этой старухн убегали все, прнходнвшие по объявленню, но я решнл нспнть чашу до дна. В моем положеннн прнходнлось спрятать самолюбие в карман.

«Кто знает,— мелькнула у меня мысль,— может быть, я понравлюсь старухе, и она мне поможет устроить карьеру. Такне прнмеры былн. Она, должно быть, очень богата. Жнть ей недолго. Чем судьба не шутнт! Такне старухи капрнзны». Я вспомнил прн этом случай, бывшнй в нашем губернском городе, как одна больная, богатая старуха оставнла после смертн десять тысяч одному молодому человеку, прнходнвшему играть к ней на фортепнано.

Эти мысли быстро пробегалн в моей голове, как снова напротив меня чуть-чуть прнотворнлнсь двери, и нз щели показалась пара сверкающих черных глаз и маленькнй, слегка вздернутый, розовый носнк.

Несмотря на мое благоразумне, глаза этн, прнзнаюсь, смутилн меня, и, поднте ж, в то же мгновенне все мон фантазнн относнтельно старухи разлетелись; мне в это

время хотелось только узнать: кто такая эта девушка, заглядывавшая в щелку? и непременно увидать ее... увидать во что бы то ни стало.

Я был молод, и мне было простительно на минуту увлечься самым глупым образом.

Однако пора было начинать исповедь перед старухой. Она уже ждала. Глаза снова скрылись, но кто знает, не будет ли у меня, кроме двух, еще и третья слушательница?.. Это меня несколько смущало.

В коротких словах я рассказал, кто были мои родители (дворянское происхождение, видимо, произвело на мою старуху благоприятное впечатление), почему я не мог поступить в университет и как приехал в Петербург приискивать себе занятия. Я рассказал все это просто, но не без достоинства. Мысль, что меня, быть может, слушают за дверьми, заставляла меня избегать трогательных мест, которые бы оттеняли способного прекрасного молодого человека, служащего единственной опорой матери и сестре. Этот вопрос я обошел, ограничась только легким, хотя и довольно прозрачным намеком.

Рассказ мой произвел, по-видимому, очень благоприятное впечатление.

— Бедный молодой человек! — проговорила старуха, снова лорнируя меня.— У меня тоже был сын... ему бы теперь было...

Она задумалась и заморгала глазами, точно собираясь плакать.

Пожилая дама поднесла ей к носу флакон с солями и заметила:

— Ипполиту Федоровичу было бы теперь тридцать лет...

— Ах, да... тридцать... И какой славный молодой человек!..

Опять нюхание солей.

— А вы по-славянски читать умеете?

— Умею.

— Ну и хорошо. Вы мне понравились, молодой человек. Как вас зовут?

— Петром Антоновичем.

— А ваша фамилия?

— Брызгунов.

Мне показалось, что она поморщилась, когда я сказал свою фамилию. Действительно, моя фамилия была какая-то странная; мне она самому не нравилась... «Брызгунов»... Очень уж как-то звучит скверно.

— Я вас буду, молодой человек, звать Пьером... Вы позволите?

И, не дождавшись ответа, старуха обратилась к пожилой даме:

— Кто у нас Пьер был?.. Ах, я опять забыла... напомните мне, Марья Васильевна.

— Пьер?.. Да племянник ваш, княгиня, Пьер...

— Вот вспомнила! — с неудовольствием перебила старуха.— Нашли кого вспомнить!.. Я его в дом не пускаю, а она... Вы нарочно, кажется, хотите меня раздражать... Кто же у нас Пьер, ну?..

— Крестник ваш, княгиня...

Старуха замотала капризно головой.

— Еще Пьер Ленский, сын Антонины Алексеевны.

Старуха заморгала глазками. Марья Васильевна в смущении снова поднесла флакон с солями.

— Ах, вы меня совсем не жалеете... Каких это вы все Пьеров вспоминаете?..

Она озабоченно стала припоминать, и вдруг лицо ее оживилось.

— Ну, вот вы не могли вспомнить, а я вспомнила. Помните, у покойного мужа комнатный мальчик был... славный такой... мы его Пьером звали...

Через минуту старуха забыла уже Пьера и, обратившись ко мне, заметила:

— Я вас беру, молодой человек, к себе чтецом. О времени и об условиях с вами переговорит Марья Васильевна... Я вас не обижу...

Она кивнула головой. Я поклонился и вышел из комнаты. Вслед за мной вышла и Марья Васильевна. Условия были следующие: приходить читать от семи до девяти часов вечера, за это предлагалось тридцать рублей.

Я согласился. О подробностях Марья Васильевна обещала поговорить впоследствии.

— Вы понравились княгине,— проговорила эта женщина, ласково взглядывая на меня.— Постарайтесь же оправдать ее доверие. Завтра приходите в половине седьмого.

Когда я уходил, в комнате раздался шелест. Я обернулся и мельком увидел красивую молодую девушку, выглядывавшую из дверей.

Я был на пороге, когда до меня донесся ее голос:

— Неужели он согласился?

— Да! — тихо отвечала Марья Васильевна.

В голосе девушки было столько изумления, что я обернулся, но ее уже не было в комнате.

Старый лакей проводил меня до прихожей и взгляиул на меня с удивлением.

— Поладили? — спросил он.

— Да.

— Удивительно!..

И швейцар изумился, что я так долго был наверху, и, когда я дал ему гривеиник и объявил, что буду приходить каждый день читать старухе, ои ие мог скрыть своего изумления и проговорил:

— Чудеса!

От старухи я пошел на Сергиевскую улицу к господииу, желавшему иметь «способиого секретаря»...

Успех моих первых шагов в Петербурге радовал меия, и я шел в Сергиевскую бодрый и довольный, в полиой уверенности, что неглупому человеку нельзя пропасть в большой столице.

IV

Я скоро отыскал дом, указаиный в объявлеиии. Швейцар заметил, что генерал живет во втором этаже, и при этом прибавил:

— Только вряд ли вас, господин, примут... Геиерал очень занят...

— Однако в газетах объявлеио, что его можио видеть до трех часов.

— Так вы по объявлению?.. Попробуйте... Только едва ли!.. Генерал теперь пишет... Мие только что лакей ихний говорил...

Однако я все-таки поднялся во второй этаж и тихо позвонил у двери, на которой блестела медная дощечка с выгравированной на ией крупной славянской вязью: «Николай Николаевич Остроумов».

Лакей, отворивший мне двери, тихим голосом и как-то таинственио сказал мне, что «геиерал очень занят и беспокоить его теперь нельзя».

— Но я пришел по объявлению...

— Вы бы лучше в другой раз...

— Да как же это?..

— Впрочем, подождите... Я посмотрю...

С этими словами лакей тихонько приотворил двери в кабинет, загляиул туда и, обратясь ко мие, сказал с особенной серьезностью:

— Пишет!.. А когда ои пишет, то ие любит, чтобы его беспокоили...

— Так я подожду.

— Разве подождать?.. Вы подождите в зале. Я выберу мииутку и доложу.

Я вошел в залу. В зале, за двумя ломбериыми столами, сидели два военных писаря и что-то писали. Полиая тишина была в большой комнате. Только слышио было, как шуршали перья по бумаге.

Я просидел так минут с пять, как через залу иа цыпочках прошла дама с какой-то корректурой в руках и, ие обращая на меия иикакого виимаиия, остановилась у кабинета, осторожио приотворила двери, загляиула туда и отошла от дверей.

Я кашлянул. Тогда дама взгляиула иа меия, и я поклоиился. Оиа подошла ко мие, серьезиая, озабочеииая, с корректурой в руке.

— Вам Николая Николаевича? — спросила она.

— Да-с... Объявляли в газетах...

— Ах, извииите, пожалуйста... Сейчас муж вас приият ие может... Ои исправляет теперь корректуру... Жаль потревожить его... Уж будьте добры, подождите немиого...

С этими словами оиа прошла в другие комиаты, а я сиова сел.

Опять через залу прошла, тихо ступая, молодая девушка, тоже с корректурой в руках, так же осторожио заглянула в двери и так же осторожио отошла иазад. По счастию, она обратила иа меия виимаиие. Я поклоиился молодой девушке. Оиа приблизилась ко мие.

— Я пришел по объявлеиию... Объявляли о домашием секретаре... Нельзя ли увидать геиерала?

— Николай Николаевич теперь ужасно заият! — ответила оиа мие.— Впрочем, подождите.

Оиа сиова приотворила двери, и иа этот раз, слава богу, геиерал, должио быть, заметил ее, потому что оиа вошла в кабииет, через мииуту вериулась и попросила меня войти туда.

Я вошел в кабииет. За большим столом, на котором повсюду были разбросаиы корректуры, сидел нестарый геиерал с озабочеииым видом. Ои протяиул мие руку и, показывая иа кресло, заметил:

— Извините, пожалуйста... Я, кажется, заставил вас ждать... Я так заият, так заият... Дочитываю корректуру моей иовой кииги... Должиа выйти к сроку... А доверить этого дела нельзя иикому.

В эту минуту в кабииет вошла геиеральша, иекрасивая, добродушиая иа вид дама, извиишлась, что на мииутку,

«на одну только минуточку», прервет нашу беседу, и, положив перед мужем корректурный лист, указала на одно место тонким, замараным в чернилах пальцем.

— Послушай, мой друг... Я поставлена в затруднение. В этом месте у тебя написано...

И она прочла певучим, слегка вибрирующим голосом, с каким-то благоговением, точно читала священные строчки, следующее место:

— «И слезы благодарных, выносливых, простодушно-невинных русских солдат, этих чудо-богатырей родной земли, взбуровили тихое Чаганрыкское озеро. Оно запенилось, почернело и словно подернулось трауром по храбром, неустрашимом герое, майоре Кобылкине, прах которого, заключенный в гроб, везли в это время на лодке истомленные горем солдаты...»

— А сбоку, мой друг, вариант такой:

«И зарыдали они, эти простодушно-девственные чудо-богатыри земли русской, христолюбивые воины нашей родины. Зарыдали они, и капля по капле струились их слезы в тихие воды Чаганрыкского озера, вспенивая его черную пучину. И обыкновенно спокойный Чаганрык отуманился, почернел, как бы подернулся черным флером, отдавая последнюю дань праху безвременной жертвы, героя-болярина, майора Нижнеудинского пехотного полка Аркадия Петровича Кобылкина, моего старого добродея и соратника. Тихо плыла лодка по озеру с гробом, христолюбцы рыдали, и, казалось, вместе с ними скорбел Чаганрык, плакало небо, и тихо грустили горные выси...»

Генеральша и это место прочла с тем же чувством и тем же дрожащим от волнения голосом. Когда она кончила, то взглянула на мужа с благоговейной любовью и восхищением, полная счастия. Потом она перевела взгляд и на меня, взглянув как-то торжественно, словно бы говоря своим взглядом: «Слышал ли ты когда-либо что-нибудь подобное?»

— Как же нам быть, Никс?.. Какой вариант оставить? По моему мнению, оба они так прелестны, так поэтичны, что если б ты спросил моего совета, я бы сказала: оставь оба.

Генерал задумался. Он восторженно устремил в пространство голубые глаза и несколько секунд пробыл в таком положении. Генеральша благоговейно замерла. В эту минуту в комнату заглянула молодая девушка и тоже замерла.

Наконец генерал опустил глаза на корректуру, тихо перечел, тоже нараспев, оба места и опять задумался.

— Ты как думаешь, Мари? Какое место лучше? — наконец спросил генерал.

— Ах, уж лучше не спрашивай, Никс. Я не могу отдать предпочтения. Первое сильнее, но зато во втором столько поэзии... столько поэзии...

— А ты, Наташа, какого мнения?

— По-моему, дядя, первое лучше. И второе хорошо, но первое... грандиозно! — проговорила, входя, девушка.

Генерал не решался.

— Это трудный вопрос! Я и сам в затруднении... А, впрочем, знаете ли, господа, что? Обратимся к постороннему судье. Мнение беспристрастного судьи будет самым верным. Что вы скажете, молодой человек?

Все взгляды обратились на меня. Я, признаться, не был приготовлен к такому исходу.

— Вы откровенно скажите... Не стесняйтесь, молодой человек!..— поощрял меня генерал.

— По моему скромному мнению, первый вариант будет лучше! — проговорил я.

— А зато как грациозен второй!..— вступилась генеральша.

— Не спорю, но в первом больше силы...

— Вот мы так и поступим... Оставим первый!..— решил генерал, взял корректурный лист, перекрестился большим крестом и зачеркнул другой вариант.

Обе дамы ушли.

— Ну, теперь поговорим о деле, молодой человек... Ваше имя?..

— Петр Антонович...

— У меня, Петр Антонович, работы пропасть... Жена и племянница помогают мне, но, кроме того, мне нужен секретарь, которому бы я мог излагать свои мысли, а он бы их записывал, так, вчерне... Окончательно отделывать, конечно, буду я сам... Могли ли бы вы взяться за это?

— Я бы попробовал...

— Вы где кончили курс?

— В Н-ской гимназии.

— Знаю... знаю... Там у меня директор приятель. Должен вас предупредить, Петр Антонович, что я требователен и люблю аккуратность в работе... У меня много перебывало молодых людей, но все как-то мы не сходились... Вот еще недавно: пришел один студент, довольно приличный на вид, взялся за дело, но мало того, что был не аккуратен, а еще фыркал, когда я приказал ему написать



«Похождения одного благонамеренного молодого человека...».
Художник Ю. Гершкович

слово о спасении души, и отказался... По-моему, лучше не беритесь... Как вы полагаете?

Я согласился.

Генерал помолчал и потом неожиданно прибавил:

— Вы извините... Один щекотливый вопрос!...

— Сделайте одолжение!..

— Вы религиозный человек?.. Я вас позволил об этом спросить,— прибавил он,— потому что все наше семейство глубоко религиозно... Я, конечно, не смею насиловать ваших убеждений, но я бы не потерпел в своем секретаре атеизма, а эта болезнь, по несчастию, теперь свирепствует... Молодые люди забывают, что религия — единственная успокоительница.

Генерал стал говорить на эту тему и, между прочим, так и сыпал цитатами из Священного писания.

Я поспешил успокоить его.

— Занятия секретаря должны начинаться с девяти часов утра и продолжаться до трех... На вашей обязанности будет также переписка... Я веду переписку со многими лицами... Что же касается вознаграждения...

Генерал остановился и взглянул на меня.

— Как бы вы оценили свой труд?..

— Мне, право, трудно...

— Однако ж?

Я все-таки отказался. Отказ мой, видимо, не понравился генералу. Он поморщился и проговорил:

— Я тоже затрудняюсь... Работа ваша будет, конечно, незначительная... легкая, но все-таки... я не желал бы вас обидеть... Как вы думаете насчет двадцати рублей в месяц?...

«Ого! — подумал я.— Генерал из кулаков!»

— Мне кажется,— возразил я,— что за шесть часов работы плата эта не совсем достаточна.

— Но, молодой человек, ведь работа-то какая приятная... Вы будете при этом учиться... Ведь вам предстоит, можно сказать, редкий случай усовершенствоваться в стиле. Эта работа в вашем же интересе... Мы будем вместе прочитывать хорошие книги... Я буду делиться с вами идеями... Вы будете, так сказать, выразителем моих идей... Завтракать будем вместе,— прибавил он, еще раз внимательно оглядывая меня.

Я встал с места.

— Вы, кажется, находите, что предложенная мною цена мала?

Я отвечал, что, не имея никаких занятий, я не могу

существовать на двадцать рублей. Тогда генерал обещал (если я оправдаю его надежды) похлопотать за меня и доставить мне где-нибудь еще подходящее занятие, причем намекнул, что у него большие связи.

— Мне кажется, мы с вами сойдемся. Вы мне понравились.

Вообще он говорил таким тоном, будто одна честь работать с ним должна была осчастливить человека.

Я все-таки колебался.

— Ну, хорошо. Я предложу вам двадцать пять рублей. Надеюсь, теперь вы будете довольны, а пока я сделаю вам маленький экзамен.

И с этими словами он предложил мне написать письмо к какому-то архимандриту Леонтию, в котором следовало благодарить за присылку книг и трех бутылок наливки.

Я очень скоро написал письмо, и генерал остался письмом доволен, хотя и заметил, что слог мой недостаточно, как он выразился, «кристаллизован».

— Впрочем,— прибавил он, дотрогиваясь до моего плеча,— со мной вы скоро научитесь писать превосходно. Так я считаю, Петр Антонович, дело решенным?

— Извините, Николай Николаевич,— ответил я, заметивши, что генерал остался очень доволен моим письмом,— но я бы попросил вас дать мне тридцать рублей по крайней мере. Вы увидите, как я работаю, и если работа моя вам понравится...

— Ну, нечего с вами делать. Извольте. Я согласен.

Он пожал мне руку и отпустил меня, снабдив брошюрами и книгами своего сочинения.

— Прочитайте-ка их дома, молодой человек, да читайте внимательно: вы кое-чему научитесь...

Когда я вышел от этого самодовольного дурака на улицу, то чуть было не рассмеялся, вспоминая все, что видел и слышал.

Хотя я и очень дешево взял, все-таки на первый раз это было не дурно. Главное, начало сделано. С первого же дня я получил занятия.

Голодный, усталый, я вернулся домой. Мне отворила дверь сама хозяйка. Сегодня она была лучше одета, вообще приукрасилась и показалась мне весьма и весьма хорошенькой.

— Что это вы так поздно, Петр Антонович? — заговорила она, приветливо улыбаясь.— Верно, проголодались? Где хотите обедать: у себя или со мной? Пойдемте-ка

ко мне, а то одному вам, бедному, скучно будет. Вы ведь теперь сирота...

Я принял предложение. Мы обедали вместе и после обеда еще долго болтали. Хозяйка произвела на меня впечатление доброй, милой, но недалекой женщины. Она меня все жалела и интересовалась узнать, удачны ли были мои хлопоты, и когда я объявил, что сегодня же получил два места, то добродушно порадовалась за меня. Она весело болтала, угостила меня пивом и объявила, что я очень ей понравился своею скромностью. Она надеется, что я буду постоянным ее жильцом...

В тот вечер я заснул с самыми сладкими мечтами о будущем моем счастии.

V

Со следующего же дня я усердно принялся за исполнение своих обязанностей.

Ровно к девяти часам утра я приходил к Николаю Николаевичу Остроумову, работал у него до трех, затем шел домой и обедал с Софьей Петровной, моей квартирной хозяйкой, а вечером с семи до девяти часов читал у больной старухи. Дни проходили незаметно.

Занятия мои у генерала были крайне разнообразны. Я сочинял письма к разным лицам, преимущественно духовного звания (Остроумов вел с ними большую переписку), составлял с его слов различные проекты и записки, писал под диктовку и слушал чтение его статей. За тридцать рублей вознаграждения Николай Николаевич наваливал работы и, конечно, убежден был, что честь быть его секретарем сама по себе составляет великое счастие.

Вообще, генерал мой был очень оригинальный генерал. Он имел страсть к сочинительству, считал себя необыкновенно умным человеком, был самодоволен, ужасно самолюбив и наслаждался поклонением, которым его окружали близкие люди. Нередко я с трудом сохранял серьезный вид, когда он, бывало, прочтет мне одно из своих произведений, кончит и спрашивает:

— Поняли, молодой человек?..

И при этом так смотрел, будто оценить удивительный сумбур, который лез к нему в голову и который он считал долгом излагать на бумаге, могли только избранные люди.

Своим произведениям Остроумов придавал огромное

значение. Он исписывал ворохи бумаги и писал обо всем, что приходило в его голову. Он сочинял темы для проповедей, писал статьи об увеличении благочестия между образованными классами измышлял проекты против наводнений, составлял записки о новых железнодорожных линиях, занимался жизнеописанием какого-нибудь героя прошлых войн, изучал вопрос о древнецерковном одеянии, писал советы архиереям, трактовал об учреждении новых учебных заведений для благородных девиц и заготовлял речи, которые произносил потом на торжественных обедах «экспромтом».

Словно готовясь начинать священнодействие, генерал удалялся в кабинет и на пороге замечал: «Я приступаю; не мешайте мне». После этих слов в квартире водворялась торжественная тишина. Все, начиная с прислуги и кончая генеральшей, ходили на цыпочках и говорили вполголоса, боясь потревожить сочинителя. Два писаря, по обыкновению, безмолвно переписывали превосходнейшим почерком какие-то необыкновенно длинные записки, предназначавшиеся вниманию высокопоставленных лиц, и изредка осторожно пробирались в кухню покурить. Добродушная, некрасивая генеральша смотрела на мужа с каким-то благоговейным восторгом. По ее мнению, это был гений и святой человек. Всегда с замаранными в чернилах пальцами, она то и дело чуть слышно отворяла двери кабинета и заглядывала в него, выбирая минутку, когда она посмеет оторвать внимание своего мужа, чтоб разъяснить ее недоразумение насчет какого-нибудь выражения в корректуре. Молодая племянница, недурненькая девушка лет двадцати, разделяла с женой обожание к дяде и тоже все утро проводила за корректурами, изредка заглядывая в кабинет. Все домашние в эти часы словно были пришиблены. У всех лица были торжественные, и все говорили шепотом. А виновник культа в это время сидел за своим большим письменным столом и, откинув назад лысую голову, погружен был в думы, потея над обработкой какого-нибудь выражения поцветистее и пофигуриее...

— Николай Николаевич заняты; они пишут,— таинственно докладывал лакей какому-нибудь гостю, и лицо лакея в это время было необыкновенно серьезно и даже страдальчески-озабоченно, точно и он вместе с генералом разделял муки авторского творчества.

— Ах, тише, тише! — произносила шепотом генеральша, если кто-нибудь у кабинета возвышал голос.— Мой ангел занят; он пишет.

Геиеральша звала генерала «аигелом», а геиерал звал генеральшу «херувимом». Я прежде думал, что это они шутя иазывали так друг друга, ио потом убедился, что у них было обыкновение обмениваться этнми нежными именами. Придет, бывало, генеральша в кабинет и скажет:

— Ангел мой, ты слишком утруждаешь себя!

— Что делать, херувнм мой! Завтра я должен чнтать записку у министра.

— Никс, Николаша, голубчик, отдохнн!

— Мари, родная, не могу.

Так, бывало, проворкуют эти два голубя, и снова в кабинете тишина; я нагибался ннже над свонм столом и кусал губы, чтоб не рассмеяться.

Замечательио, что Николай Николаевич Остроумов иикакой службы не иес и не получал никакого жалованья, числясь прн какой-то особе. Несмотря иа то, что по службе ои ие имел никакой определенной должности, Остроумов все-таки умел себе приискать миожество самых разнообразных занятий: был членом многих обществ, устроителем «истнино русского кружка для обращения инородцев», считался инициатором большой проектировавшейся железной дороги, которую всегда называл «моя дорога» илн «истинио патриотическая дорога», помещал изредка передовые статьи в газетах н говорил экспромты при торжественных случаях. На другой же день он сам отвозил в редакции газет свои речи для иапечатання, сердился, если его экспромты ие прииималнсь, и замечал: «Совсем слепцы этн редакторы! Не понимают, что вся Россня должиа слышать мон речи».

Жил ои очеиь хорошо; водил знакомство с людьми значительными; квартнра была большая, превосходно обставленная, держал лошадей и миого прислуги, ио источииков его средств решнтельно иикто не знал. Меня крайне интересовал этот вопрос, н я впоследствии ие раз пытался разъясиить его, ио все мои попыткн ие привели ии к чему. Одии говорили, что генерал кругом в долгах; другие — что он «проводит железную дорогу» и получает за это от купечества, заинтересоваииого дорогой, крупиые деньги; третьи — что у него есть тетка, которая будто бы помогает ему...

Во всяком случае, средства моего патроиа были для меня загадкой, а между тем ои жил превосходно и иногда задавал обеды, иа которых бывалн очеиь влиятельные люди. С ним обходились ласково, хотя отчасти и третиро-

вали моего генерала, как шута горохового, но он довольно умно не замечал этого и как будто нарочно старался еще более оправдать это название.

Тем не менее этот «гороховый шут» жил в свое удовольствие.

В молодости он, как мне рассказывали люди, хорошо его знавшие, был большой руки хлыщ и враль. Он служил тогда в провинции, ничего не делая, всегда нуждался в деньгах, умел развлекать дам, классически занимал деньги и был находчив, но литературой тогда, говорят, не занимался и дорог не проводил. После Крымской кампании он перебрался в Петербург и обратил на себя внимание какой-то необыкновенно горячей патриотической речью за обедом. В Петербурге он остепенился, стал тереться во всех обществах, сделался религиозным человеком, начал писать записки и проекты, приобрел друзей в купечестве и выставлял религиозность свою напоказ. Одни считали его за шута горохового, другие — за умного человека, имеющего связи. А связи эти он умел показать, как ловкий купец «товар лицом». С тех пор Остроумова знают как человека, у которого превосходный повар, отличный дом и много связей. Жалованья он все-таки не получал, но все сознают, что такого богомольного, нравственного, «истинно русского» и преданного России человека не сыщешь.

А сдается мне, что Остроумов — шельма порядочная. Он хоть и не умен, а ловок; по-своему, впрочем, и умен, потому что из своей литературы составил себе положение. Относительно религиозности тоже сдается мне, что он морочит публику, но морочит теперь, надо думать, совсем искренно. Напустил он на себя ханжество, и так оно въелось в него, что теперь уже не отличишь, что тут правда и что обман.

Существование Остроумова продолжало быть для меня загадкой. Правда, в Петербурге, как я слышал, много загадочных существований, но в конце концов не с неба же падали к нему средства.

Я Николаю Николаевичу очень понравился. Он был очень ласков со мной, иногда даже удостоивал откровенных бесед, главным образом на тему о том, что он — умный человек и несомненных государственных способностей, а терпит, и что, следовательно, мне, молодому человеку, тоже следует терпеть. Надо заметить, что я ему ни на что не жаловался, и, вероятно, он говорил о моем терпении более для округления речи. Кроме того, люби-

мым коньком его было говорить о недостатке благочестия в молодых людях.

— Веры нет, оттого и сомнения лезут в голову. Вы, Петр Антонович, теперь, надеюсь, изменились, а? — шутливо трепал он меня по плечу.— У вас теперь настоящий взгляд на вещи? Молитесь вы, голубчик, богу?

— Молюсь.

— То-то. Молитесь и терпите, и бог за все вам воздаст сторицей.

Однако сам-то он воздавал за мои труды далеко не сторицей. Насчет этого он был крепкий человек. Работы на меня он наваливал по мере того, как я ему более нравился. Месяца через два он стал давать мне столько работы на дом, что я едва справлялся. Тем не менее я аккуратно исполнял все, что только он мне не поручал, решившись ждать и воспользоваться его связями и знакомствами.

Как кажется, он считал меня трудолюбивым, усердным малым, способным только на черную работу, и не замечал, что я нередко писал ему докладные записки собственного сочинения, а он с обыкновенной наивностью еще за них похваливал меня.

— Хорошо, прекрасно, молодой человек. У вас слог кристаллизуется, и вы совершенно верно воспроизводите мои мысли. Маленькая поправка,— и ваш труд прекрасен... Прочти, мой херувим,— обращался он к супруге.— как точно Петр Антонович изложил мои мысли.

И «херувим» (далеко, впрочем, не похожий на херувима) вскидывал свои глаза и переносил на меня частицу обожания к мужу за то, что «Никс» хвалил меня.

— Петр Антонович прекрасно пишет, Никс, с тех пор как стал работать под твоим наблюдением.

— Наташа, дружок, прочти и ты!

Подлетала племянница и говорила, что прочтет, и тоже считала долгом сказать мне ласковое слово.

А я стоял молча и про себя таил злость, глядя на такое наивное нахальство.

До времени мне не было никакого резона расходиться с Остроумовым, хотя работы было и порядочно. Изредка я обедал у него, а месяца через два получил даже приглашение заходить, когда вздумается, «поскучать по вечерам».

— Боже сохрани вас, молодой человек, ходить по клубам,— внушительно заметил при этом Остроумов,— вы еще очень молоды, и вам надо быть в семейных домах...

Только семья сохранит вашу... вашу неиспорченную натуру.

«Херувим» подтвердил слова генерала. Вообще «херувим» был эхом «ангела». Что ангел скажет, то херувим непременно повторит.

Я иногда заходил по вечерам к генералу. Сам он редко бывал дома, и мы просиживали вечера втроем. Обыкновенно генеральша говорила о муже, и скука была страшная. Племянница со мной чуть-чуть кокетничала, когда не было другого мужчины, и это меня бесило. В самом деле, точно я был куклой для этой дуры!

Я предпочитал заходить к ним по вторникам, когда у них бывали Рязановы, муж и жена. Жена — молодая, красивая барыня, веселая, кокетливая и приветливая, а муж, некрасивый человек лет сорока, с умным, строгим лицом, как говорили, готовился делать блестящую карьеру. Он изредка заезжал с женой к Остроумовым по вторникам. Признаться, мне очень хотелось попасть на службу к Рязанову. Он был человек несомненно умный и не обратил бы внимания, что у меня нет чина. Главное, увидал бы он, как я могу работать. Но он, разумеется, не обращал на меня ни малейшего внимания. Я сидел около дам, скучал, злился и изредка удостоивался небрежно-ласковых взглядов блестящей, красивой дамы, точно она хотела сказать: «Бедненький, как тебе, должно быть, неловко в нашем обществе!»

Раз только я пристально на нее посмотрел и заметил, как сперва она поправила волосы, потом взглянула на меня, но, вероятно, мой взгляд показался чересчур странным или дерзким, потому что она тотчас же с неудовольствием отвела глаза, словно изумляясь дерзости ничтожного молодого человека, осмеливающегося разглядывать ее.

А я назло не спускал с нее глаз...

В такие минуты я испытывал муки оскорбленного самолюбия. Мне хотелось скорей уйти, но я нарочно оставался и дразнил еще себя:

— Оставайся... Испытывай унижение на каждом шагу...

Я ненавидел этих дам и сидел в углу гостиной, одинокий, с затаенной злостью в сердце. Никто, разумеется, не обращал на меня внимания. Должно быть, уж очень вид мой был страдальческий, так как вдруг «херувим» почувствовал ко мне сострадание. Генеральша повернулась в мою сторону и ласково заметила:

— Молодой человек, что это вы забились в угол?.. Присядьте поближе к нам!

Я послал в душе эту даму к черту, присел поближе, пробовал вмешаться в общий разговор, сказал какую-то чепуху и сконфузился. В этот вечер я скоро ушел домой, сославшись на нездоровье.

По обыкновению, Софья Петровна поджидала меня. Когда я позвонил, она встретила меня радостно и, взглянув на меня, ласково промолвила:

— Сегодня вы раньше пришли... Что с вами? Вы такой мрачный?

— Ничего!..

— Как ничего?! Посмотрите-ка на себя!

— Да вам-то что? — раздраженно остановил я ее сочувствие.

Софья Петровна смутилась и как-то испуганно, кротко взглянула на меня.

— Я так...— пробормотала она робко.— Вы, быть может, закусить хотите? Я оставила вам котлетку и горячего чаю.

— Нет, благодарю вас. Я спать хочу.

И, холодно простившись, я ушел в свою комнату.

Добрая женщина была Софья Петровна, но только недалекая и простая. Она, шутя, называла меня сироткой, всегда была необыкновенно ласкова и оказывала самое трогательное внимание. Заботилась она обо мне, точно о ребенке. Сама чинила мое белье, входила в мои интересы, украшала мою комнату то новенькими занавесками, то купленным по случаю письменным столом взамен старого. И когда я благодарил за все это внимание, молодая женщина как-то конфузилась и говорила, что она старается, чтобы жильцу было хорошо.

Мы с ней обыкновенно обедали вместе, и после обеда она весело болтала разный вздор. Она была очень недурна собой и, заметил я, в последнее время очень наблюдала за своим туалетом. Прежде, по вечерам, ее никогда не бывало дома: она любила Александринский театр и часто ходила туда или бегала к знакомым, но месяца через два после того, как я поселился у нее, молодая женщина стала домоседкой, сидела по вечерам дома и поджидала меня, чтобы вместе пить чай, когда я возвращался от старухи. Она верила в мою звезду, хвалила мой образ жизни, рассчитывала, что я со временем получу хорошее место и, шутя, называла брюком... Она, конечно, и не догадывалась, с какими целями я приехал в Петербург, и просто-

душио радовалась, что я так скоро устроился и мог зарабатывать шестьдесят рублей в месяц.

Обыкиовеиио за чаем оиа расспрашивала меия о молодой девушке, которую я изредка видел у старухи, и расспрашивала все чаще и чаще, подробией и подробией: какая оиа, хороша ли, иравится ли мие и т. п.

Я, коиечио, ограиичивался короткими ответами, говорил, что мие до молодой девушки иет иикакого дела, а Софья Петровиа радостио похваливала меия за это и весело замечала:

— Ну, разумеется, таким бедиым людям, как мы с вами, иечего связываться с богачами.

И сиова прииималась весело болтать и угощать меия чаем и булками с маслом.

VI

Я бессовестио лгал ей, когда говорил, что мие иет иикакого дела до той молодой девушки, которую я встречал у киягиии. Напротив, эта девушка очеиь меия заиитересовала, и, когда я встречался с иею, у меия как-то сильией билось сердце, я замирал, и долго потом образ ее преследовал меия. Меия это злило. Я созиавал, что Софья Петровиа, с своей точки зреиия, была права, когда говорила, что «бедиым людям иечего связываться с богачами», ио мие в то время было двадцать три года, а девушка была такая красивая, изящиая и гордая... И отчего ж я ие смел даже молча любоваться ею?.. Разве оттого, что я иищий?.. Но кто же мешает мие ие быть иищим?.. Я за эти два месяца кое-чему иаучился и увидел, что ие боги же обжигают горшки и что ие так трудио пробиться иеглупому человеку, поставившему себе целью завоевать у судьбы положеиие... Я видел иичтожиых и глупых людей, имевших и состояиие и положеиие... Чем же я хуже других?

Такие мысли иередко приходили мие в голову, когда я шел к старухе, приодевшись как можио лучше и опрятией. Обыкиовеиио около старухи сидела пожилая компаиьоика и весело улыбалась моему приходу, так как иа два часа оиа избавлялась от капризов больиой и придирчивой старухи. Я присаживался иа кресле перед маленьким столиком, иа котором стоял графии воды и лежала раскрытая книга. Старуха кивала иа мой поклои головой и, обыкиовеиио, таким же движеиием давала мие

знать, что я могу начинать. Я читал ей «Русскую старину», «Русский архив», романы в журналах и книги духовного содержания. Чтение мое, как кажется, нравилось, потому что старуха, обыкновенно, внимательно слушала и не замечала, как при начале чтения компаньонка ее, Марья Васильевна, незаметно ускользала из комнаты, и мы оставались вдвоем с барыней. В небольшом будуаре, где она постоянно лежала в креслах, было до того накурено разными духами, что под конец чтения у меня всегда разбаливалась голова.

Моя старуха, княгиня Надежда Аркадьевна Синицына, была очень богатая женщина, вдова помещика и, как рассказывала мне Марья Васильевна, страдала параличом ног лет восемь. Она лечилась везде, где только было можно, ездила на Кавказ, провела несколько лет за границей, но не поправилась и решила более никуда не выезжать. Она была раздражительна, капризна и мучила всех окружающих, за исключением внучки, которую любила без памяти и которая не подчинялась капризной старухе.

Эта внучка и была та молодая девушка, о которой я упоминал раньше.

Во время чтения старуха тихо выбивала такт маленькой сморщенной рукой по ручке кресел и иногда останавливала меня, чтоб я не торопился или читал с бо́льшим чувством сцены романического содержания.

— Ах, так нельзя! — тихо останавливала она меня.— Так нельзя, мосьё Пьер (она меня так и называла мосьё Пьер)... Вы недостаточно вникли в положение действующих лиц. Ведь она обманута этим негодным человеком. Она страдает... Ей тяжело... Голос у нее должен прерываться, а вы прочитываете это, точно дело идет о каких-нибудь пустяках.

Старуха, насколько могла, увлекалась при этом, и из ее темных впадин блистал в глазах слабый огонек.

— Прочтите еще раз это место...

Я беспрекословно повиновался.

Случалось, что ей надоедал роман, и она просила меня читать послания св. Иоанна Златоуста или проповеди Иннокентия. У нее был очень странный вкус. Старуха любила слушать скабрезные сцены в романах, описание страданий любящих сердец, жития святых и душеспасительные проповеди.

Во время этих чтений старуха нередко устанавливала на меня лорнет и не спускала с меня глаз. Я чувствовал ее взгляд и не отрывал взгляда от книги. В девять часов



«Похождения одного благонамеренного молодого человека...».
Художник Ю. Гершкович

обыкновенно приходила Марья Васильевна; старуха кивала головой и, когда я собирался уходить, говорила:

— Спасибо вам, добрый мой. Развлекли вы старуху. Сегодня вы очень хорошо читали!

На другой день мне приходилось иногда рассказывать вкратце содержание прочитанного, так как старуха забывала и не раз капризно перебивала меня:

— Постойте, постойте, Пьер... Кто кого любит? Расскажите сперва мне. Я что-то не помню.

Я рассказывал и затем снова читал, прислушиваясь, не пронесется ли знакомый шелест платья и не войдет ли молодая девушка. Иногда она входила во время чтения, целовала бабушку, собираясь в театр или в гости, а то просто заходила, присаживалась и слушала.

Тогда я читал как-то лучше. Голос мой раздавался сильней и тверже. Сцены выходили живей. Мне хотелось читать при ней хорошо, и я чувствовал, что читаю действительно с чувством. Она на мои поклоны слегка кивала головой и, казалось мне, смотрела на меня с каким-то великодушным снисхождением. Иногда я подымал глаза, чтобы взглянуть на нее, и тотчас же опускал глаза на книгу, чувствуя к этой девушке и невыразимое обожание, и ужасную злобу.

А она была очень хороша: стройная, грациозная, словно вся выточенная, брюнетка, с тонким профилем прелестного лица, главным украшением которого были большие, черные, блестящие глаза. Чуть-чуть вздернутый носик и приподнятые углы губ придавали ее лицу надменное выражение. Глаза смотрели серьезно и обличали характер. Гладко зачесанные назад черные волосы моложавили ее лицо, придавая ему что-то детское. Нередко она задумывалась и тогда казалась какой-то суровой богиней красоты. О чем она задумывалась? Что мучило ее молодую головку? Какие вопросы решала эта красавица, единственная наследница миллионного состояния?

Точно желая отвязаться от мучивших ее сомнений, она слегка откидывала назад голову и весело иногда болтала с бабушкой. Она, видимо, любила старуху и одна только могла успокоить ее, когда та уже очень капризничала.

Мною не стеснялись. На меня, очевидно, глядели как на случайную мебель, и потому нередко при мне заводили такие разговоры, словно бы, кроме бабушки и внучки, никого не было в комнате.

Я прекращал чтение и дожидался конца.

— Продолжайте, мосьё Пьер! — обыкиовеиио замечала старуха.

— Разве его, бабушка, зовут мосьё Пьером? — спросила одиажды девушка слегка дрожащим голосом, причем верхияя губа ее вздрогиула и иоздри раздулись, точно у степной лошади.

Я иавострил ушн. Сердце у меия забнлось.

— Я так его называю, Катя... Короче. Мосьё Пьер так добр, что ие обижается на больиую старуху. Правда, мосьё Пьер?

Я взгляиул на молодую девушку и заметил устремлеииый иа меия взгляд, полиый презрения. Оиа, впрочем, тотчас же отвериулась.

— Ведь вы не обижаетесь? — повторила старуха.

— Нет! — глухо прошептал я и стал чнтать.

Я читал, как теперь помию, ромаи Стеидаля «Чериое и белое». Положение героя ромаиа напомииало мое собствеииое. Бедный эиергичиый молодой человек, без средств, без положеиия, пробивает себе дорогу н делается любовииком молодой зиатиой девушки, которая сначала презирала его.

Помнится мие, я читал с какнм-то особенным наслаждеиием. Я, вндимо, сочувствовал герою н пpинужден был сдерживать злобио-торжествующее чувство, готовое вырваться из моей груди. Я читал, вероятно, превосходио, потому что старуха уставилась на меия, а молодая девушка замерла. Я н сам забыл, что чнтаю по обязанности. Я помиил только, что я сам в таком же положеиин, и восторгался этнм ромаиом, в котором как бы нашел отклнк иа волиующне меня чувства.

На маленькнх часах пробило уже девять часов, в комиату вошла Марья Васильевна, но я не обращал нн на что виимаиия и продолжал чнтать, с особениым чувством прочнтывая те сцены, где герой являлся торжествующнм.

Меня не прерывалн; впрочем, может быть, н прерывали, но я не слыхал. Я перестал только тогда, когда Марья Васильевна громко сказала:

— Довольно, довольио, Петр Антонович. Княгиня просит вас перестать.

Я остановился, взглянул вокруг растерянным взглядом и отодвииул книгу.

— Вы, мосьё Пьер, сегодня превосходно чнталн н даже увлеклись до того, что не заметилн, как я вас несколько раз просила окончнть,— проговорила старуха ледяным то-

ном.— Вам, верно, понравился роман? Герой его — порядочный негодяй!

Я ни слова не сказал, поклонился всем и, шатаясь, вышел из комнаты. Когда я уходил, мне послышалось, что молодая девушка проговорила:

— Вы, бабушка, хоть бы чаю ему предложили!

Вслед за тем Марья Васильевна догнала меня и попросила вернуться.

— Мосьё Пьер... Останьтесь... Сейчас будем чай пить... Вы сегодня запоздали! — проговорила старуха.

Я поблагодарил, отказался и снова вышел из комнаты.

— Странный молодой человек! — прошептала старуха, не стесняясь, что я могу ее слышать.

Когда я вышел на улицу, меня душила злоба, и слезы полились из глаз.

VII

В начале одиннадцатого часа я вернулся домой, раздраженный и злой. Вошел в свою конуру, гляжу: на письменном столе, вместо прежней гадкой лампы, стоит новая, и неясный свет мягко льется из-под светло-синего колпака. Это был новый сюрприз моей хозяйки.

Я присел на кресло, как через несколько минут меня окликнула наша кухарка.

— Вам что?

— Чай пить будете?

— Давайте, пожалуй.

— Сюда самовар вам?

— Сюда.

— А то ступайте к барыне. Она сама еще не пила. С девяти часов вас дожидается. Два раза самовар грела. Одной пить тоже скучно.

Я пошел в комнату Софьи Петровны.

Большая комната моей хозяйки сияла приветливостью и домовитостью. Все в ней было необыкновенно уютно и мило. На столе весело шумел блестящий самовар и сияла большая лампа, бросая яркий свет на всю обстановку. Мягкая светленькая мебель, цветы на окнах, олеографии в рамках, альбомы и безделушки, расставленные на столах, все блестело свежестью и чистотой, и все было у места. В углу стояла большая, пышная постель, скрытая от глаз безукоризненно чистым кисейным альковом. Входя в эту комнату, вы сразу чувствовали, что попали в гнездо акку-

ратной и опрятной хозяйки. Вас так и охватывало приятное чувство порядка и домовитости и располагало отдохнуть в этой комнате. Потому-то я, признаться, и любил обедать здесь и после обеда просиживать иногда час, другой в уютном гнезде, которое свила себе моя хозяйка.

Ее в эту минуту не было в комнате, и я присел к столу.

На чистой скатерти расставлен был хорошенький чайный прибор, а булки, свежее масло и сливки смотрели так аппетитно, что я с удовольствием собирался напиться чаю.

Через несколько секунд из кухни вышла Софья Петровна в белом капоте и чепчике с голубыми лентами, из-под которого выбивались пряди белокурых волос. Она была очень недурненькая маленькая блондинка, мягких форм, с небольшим добродушным лицом, пухлыми щеками и вздернутым носом. Когда она подошла поближе, я заметил, что глаза ее были красны от слез.

Я поздоровался с нею.

— Что это вы, Софья Петровна, нездоровы, что ли?

— Нет, ничего! — проговорила она и вдруг нервно прибавила: — А вы что так поздно?

— Зачитался.

— У старухи?

— Да, у старухи. Интересный роман попался.

— Ваша красавица приходила слушать?

— Приходила! — проговорил я с раздражением, припоминая унижение, которому я ежедневно подвергался.

— И долго слушала? — продолжала Софья Петровна, и, показалось мне, в голосе ее звучала сердитая нотка.

— Да что вы так ею интересуетесь, добрейшая Софья Петровна? Налейте-ка мне лучше чаю. Ужасно пить хочется.

Она вдруг вспыхнула до ушей, взглянула на меня с нежным укором в глазах, хотела что-то сказать, но из груди ее вырвался только вздох, и она стала разливать чай.

Я взглянул на нее. Странная мысль промелькнула в голове. «Не может быть!» — подумал я и вдруг почувствовал, что краснею, как школяр.

— А что же вы сливок?

— Сливок? Я и забыл.

— Сегодня вы какой-то рассеянный. Видно, красавица ваша околдовала вас? — попробовала она шутить, но шутка не выходила, и Софья Петровна, печальная, отхлебывала чай.

— Что же вы хлеба с маслом?.. Намазать?

Она стала резать хлеб, а я смотрел на ее белую сдобную руку, проворно и аппетитно приготовлявшую мне хлеб с маслом.

«Она недурна,— пронеслось у меня в голове.— Очень недурна!» — подумал я, всматриваясь в хозяйку в первый раз с особенной внимательностью.

— Хотите еще чаю?

— Позвольте!

Я выпил молча еще стакан. Софья Петровна тоже молчала и сидела за столом грустная, задумчивая.

Убрали самовар, и мы переселн на диван.

— Знаете ли, что я вам скажу, добрый мой сирота,— начала она в шутливом тоне,— не влюбитесь вы в эту барышню!

— А что?

— Напрасно. Не для нас она с вами... Мы люди бедные, а она... Эх, Петр Антонович, вы, как посмотрю, и в самом деле думаете о принцессе!..

Она говорила эти слова с дрожью в голосе.

Я отвечал, что ни о каких принцессах не думаю, и посматривал на молодую хозяйку. Она сидела близко. Из-под капота вырисовывались ее мягкие, полные формы... Ее белокурая головка печально склонилась вниз, а маленькие ручки нервно перебирали обшивку... Мне вдруг захотелось подразнить ее.

— А отчего бы мне и не думать о принцессе?

— Да вы-то сами принц, что ли? — засмеялась Софья Петровна.

— Принц не принц, да и она не принцесса. Без шуток, она очень милая девушка.

— И вы влюблены в нее?

— А как вы думаете?..— поддразнивал я.

— Послушайте, Петр Антонович, я, сами знаете, женщина простая, необразованная. Стыдно вам дразнить меня... стыдно!

Она закрыла лицо руками, заплакала и вдруг поднялась с места.

— Ну, виноват. Не буду, не буду!..

Я подошел к ней. Она была так близко от меня и глядела на меня так ласково добрыми нежными глазами.

— Я не влюблен в эту барышню. Я с ней и не говорил ни разу,— прошептал я.

Я чувствовал, как кровь приливала к голове, и хотел убежать в свою комнату, но близость молодой женщины притягивала меня. Я совсем приблизился к ней.



«Похождения одного благонамеренного молодого человека...».
Художник Ю. Гершкович

— Ну, что, довольны вы теперь?

Она улыбнулась, заглянула мне в глаза с какой-то лукавой нежностью н шепнула:

— Правда? Вы не влюблены в эту девушку?..

Вместо ответа я вдруг обнял ее. У меня закружнлась голова. В первый раз я прнжнмал к своей груди жеищину.

Она тихо вскрнкнула, отскочила в стороиу и заметила:

— Вы смеетесь... Вы меня не любнте!

— Люблю, люблю! — крнкнул я в каком-то бешеиом порыве.

Она порывнсто бросилась ко мие иа шею и осыпала меня поцелуямн, как безумная, повторяя самые иежиые слова любвн.

Когда я вернулся в свою комиату, мне вдруг сделалось стыдно. Я хотел на другой же деиь сказать ей, что я ее обманул, что с моей стороны был только порыв н больше ничего, но ничего не сказал.

Софья Петровна была дочь содержаикн. История ее очень проста. Она училась в школе, потом молодой девочкой попала на содержанне к богатому старнку, привязалась к какому-то юноше н потеряла в одно время старика и любовника. Первый отказал ей в средствах; второй, узнав, что у нее нечего занимать, бросил ее, предварительио обобравшн.

— После этого мне ничего не оставалось, как броситься в воду,— рассказывала мне Софья Петровиа,— право, очень тяжело мне было, что человек, которого я любила, так обманул меня. Уж я готова была нсполннть намерение и стояла у Николаевского моста, как меия удержал какой-то господин. Ои успокоил меня н приютил у себя. Это был доктор, добрый н хорошнй, но больиой человек. Я к нему привязалась, как собака, н прожила с ним пять лет. Любить я его не любила как женщина. Ои был больиой, совсем больной, а я молодая, но я любила его как спаснтеля и до смерти была верна ему, хотя он этого н ие требовал, и была его сиделкой. Два года тому назад ои умер н оставил мне трн тысячи рублей. Я сняла квартиру и пускаю жильцов. Вот и вся моя нсторня!...— заключила свой рассказ Софья Петровна.

Беда в том, что она не поннмала меня н нередко в разговорах строила планы, как я получу место н как мы будем жить вдвоем. Меня это коробило, но я не разуверял ее. К чему?.. Она была так счастлива тем вниманием, которое я оказывал ей, что жестоко было бы разочаровывать бедную. Да н я так спокойно, экономно н уютно устроился,

что мне не к чему было нарушать порядок своей жнзни. Я сумел ее отучить от ревиивых сцен, и так как обыкиовенно возвращался домой в девять часов, то не приходилось н объясиять ей, почему я ие желал бывать с иею в театре. Мы н без того проводили довольио времени вдвоем,— к чему еще было показываться вместе?

Софья Петровна первое время была счастлива и веселилась как сумасшедшая. Она поджидала меня вечером. Мы пилн чай и потом оставались однн. Она ласкала меня с какой-то безумной иежностью. Я сам был молод н отдавался животиой страсти с увлечеиием юноши, впервые близко позиакомившегося с женщииой.

Но через месяц я стал холодней. Софья Петровиа потребовала объяснеиий. Я сослался иа болезнь, но оиа стала грустней н подозрительно заглядывала мне в глаза. Медовый месяц страстн прошел. Наступило время обыкиовеииой случайиой связн. Я реже заглядывал в ее комиаты и чаще проснжнвал одии за работой. Она ие роптала н довольствовалась тем, что я нзредка бросал ей ласковое слово. Оиа и ие подозревала, что «прннцесса», как оиа называла молодую девушку, не переставала интересовать меня н злнть. Мне во что бы то нн стало хотелось, чтобы эта девушка обратила иа меия внимаине, н — кто зиает? — быть может, оиа полюбит меия. А полюбил ли бы я ее, это еще мы посмотрнм!.. Но, главиое, мие иадо было скорей выбраться в люди.

VIII

С того самого вечера, как я читал у старухи роман Стендаля, я заметил, что старуха стала отиоситься ко мне холодией. Она редко заговарнвала со мной и ни разу не повторила прнглашеиия своего остаться пить чай. Молодая девушка тоже редко заходила к бабушке в то время, когда я был там, н мы обыкиовеиио оставалнсь со старухой вдвоем. Редко, очень редко девушка иа мниутку мелькала в комнате, холодио кивая головой на мой поклои. Мало-помалу и я стал нзлечиваться от своей дурацкой страстн (если только мое чувство можно было назвать страстью) н уже ие прислушнвался с замнраинем сердца к знакомым шагам н шелесту платья.

И мыслн о том, что старуха, нз чувства благодариостн к милому молодому человеку, развлекающему ее

чтением, оставит ему после смерти несколько тысяч рублей, тоже показались мне глупыми до последней степени. Надо было быть наверняка, а не строить воздушные замки. Я это очень хорошо понимал и потому желал получить какое-нибудь место, где заметили бы мои способности. Особенно хотелось мне попасть к Рязанову и действовать если не на него, то на его жену. Эта красивая барыня имела на него большое влияние, но, к сожалению, мне как-то не удавалось обратить ее внимание. Говорили, что она не любит мужа и большая кокетка.

Так раздумывал я, пробираясь как-то холодным весенним петербургским вечером к дому, где жила моя старуха. Мне приходилось переходить дорогу, и я, занятый своими мыслями, тихо переходил улицу, не обращая ни на что внимания.

Вдруг под самым моим ухом раздался отчаянный крик: «Берегись!» Я поднял голову. Передо мной торчало дышло кареты и шел пар от лошадиных морд. Я инстинктивно сделал движение в сторону, но что-то сбило меня с ног и откинуло на мостовую. Я был ошеломлен, но не почувствовал никакой боли, быстро встал на ноги и злобно взглянул в ту сторону, куда поехала карета.

— Мерзавцы! — крикнул я.— Чуть было человека не раздавили!

Карета, однако, не двигалась и была от меня в нескольких шагах. Лакей высаживал какую-то даму, укутанную в шубку. Она быстро выскочила и бежала ко мне.

— Не ушиблись ли вы?.. Не нужна ли помощь?.. Карета к вашим услугам! — проговорила барыня, приблизившись ко мне.

Я сразу узнал этот голос. Это был голос моей «принцессы».

Когда она подошла близко, я увидал ее испуганное, бледное, расстроенное лицо.

Должно быть, она меня сразу не узнала в полутемноте вечера.

— Благодарю вас! Мне ничего не нужно!..— отвечал я.

— Ах!.. Это вы... Петр... Антонович?..— прошептала она, изумляясь неожиданной встрече и, показалось мне, как бы недовольная, что это был именно я.— Простите, пожалуйста!.. Не ушиблись ли вы?

— Нисколько!

— И вы можете дойти без помощи?

— Конечно! Только прикажите вашему кучеру ездить

осторожиее! — виушительио прибавил я и, поклониившись, быстро поверiул и пошел, не оборачиваясь, по иаправленню к дому, где жила старуха.

«Тоже сочувствие выражает, а сама как бешеиая ездит! — думалось мие после этого происшествия.— И теперь, верно, досадио ей, что пришлось нз кареты выпрыгиуть для какого-то чтеца».

Я привел в порядок свой костюм у швейцара и, по обыкиовеиию, подиялся наверх. Лакей попросил несколько мииут подождать.

— У барыни гостн! — заметил он виушнтельно.

Я присел в гостииой и перелистывал какую-то киигу. До моего слуха нз гостиной долетал чей-то веселый, иеобыкиовеиио симпатичный мужской голос. Гость то смеялся, то говорил без умолку, громко, очевидио ннсколько ие стесняясь присутствием больиой старухи.

Прошло с четверть часа... У меия иачниало слегка побаливать плечо, и я потирал его рукой, как в гостииую вошла «приицесса». Оиа, должио быть, заметила мое движение и, показалось мие, хотела было иаправиться в мою сторону, но в это время из будуара старухи вышел высокнй красивый здоровый молодой офицер. Она свериула и пошла к иему иавстречу.

— Вы какими судьбамн, Екатериа Александровиа?! — удивился офицер.— Что заставило вас вернуться? Вы так рвались к вашей кузнне? Уж не желаиие ли простнться со мной дружелюбией, чем вы только что простились?

— Не то, Крнцкий!.. У меня просто сделался мигрень!

— И вы поэтому вериулись? Не верю! — смеялся офицер.

— Как хотите. Я не прошу, чтобы вы верили.

В это время взгляд офицера скользнул в мою сторону. Он прищурился н тихо спросил по-фраицузски:

— Это что за господии?

— Бабушкии чтец!

— Студеит?

— Нет!.. А впрочем... ие зиаю...

— Иитересиое лицо! — прибавил ои, улыбаясь и взглядывая иа Екатерину Александровну.

Мие показалось, что прн этих словах «приицесса» покрасиела.

— Не нахожу! — ответила она.

— Вы эксцентричиы!.. Для вас ведь интересио все то, что неиитересно для других! — прнбавил офнцер, вдруг впадая в грустно-шутлнвый тон.

— Это старо, Крицкий!.. Скажите что-нибудь поновей!

— У меня все старое и на сердце и на языке!

— Опять? — шепнула Екатерина Александровна.— Однако я вас не держу... вы собирались... Верно, в клуб?

— А то куда же?

— Играть?

— Играть.

— Желаю вам выиграть.

— И за то спасибо.

Офицер пожал руку девушки и ушел. В это время Марья Васильевна позвала меня.

Я уселся в кресло и начал читать. А плечо болело сильней, но я не показывал виду. Я читал как-то машинально. Из соседней комнаты долетали звуки фортепиано, и я прислушивался к прелестной мелодии. Игра окончательно расстроила мои нервы, и, когда пробило девять часов, я поспешно вышел из комнаты.

Проходя через залу, я снова встретился с Катериной Александровной. Она ходила взад и вперед быстрыми шагами. Очевидно, происшествие подействовало на ее нервы. От этого она и вернулась назад, хотя и стыдилась признаться в этом и сослалась на мигрень. В самом деле, как признаться, что почувствовала жалость к человеку, которого чуть было не раздавила?

Завидев меня, она нерешительно остановилась на месте, но тотчас же пошла навстречу ко мне.

— Я снова должна извиниться перед вами за кучера,— проговорила она, вскидывая на меня взгляд.— Вы, кажется, ушиблись, и я готова...

Она, видимо, затруднялась окончить речь и подняла на меня свои прелестные черные глаза. Теперь в них не было обычного гордого выражения; напротив, они глядели как-то робко, умоляюще.

Я глядел ей прямо в лицо и с трепетом ждал, что она скажет.

— Вы человек труда... Я понимаю это... Очень может быть, что вам придется обратиться к врачу, и если вы позволите... если вам нужна помощь...

Сердце у меня болезненно сжалось. Злоба душила меня. Я понимал, что она хочет сказать. Я молчал и ждал, что будет дальше.

Но она совсем растерялась. Обыкновенный ее апломб пропал. В глазах стояли слезы.

— Вы не обидьтесь, пожалуйста,— пролепетала она.- Я хотела сказать, что если нужна помощь...

— Какая? — тихо проговорил я, но проговорил таким голосом, что она испуганно посмотрела на меня и сделала несколько шагов назад.

Она молчала... Молчал и я.

— Доктора или...

— Дать несколько денег бедному молодому человеку за ушиб? — перебил я, чувствуя, что более не владею собою.— Не нужно мне ничего! Если б я хотел получить десять рублей за ушиб, то я подал бы жалобу к мировому судье, но не взял бы от вас. А вы думали предложить мне деньги?.. Чтец!.. Он возьмет!.. Он нищий!.. Да вы с ума сошли? — проговорил я, задыхаясь.

Она совсем растерялась и ничего не отвечала. Я вышел вон из комнаты.

IX

«И как она смела, как смела! — повторял я, вздрагивая от негодования при воспоминании об этой сцене.— Как она решилась оскорбить меня таким предложением? Именно она, которую я и обожал и ненавидел в одно и то же время!» Мое самолюбие, впрочем, было несколько удовлетворено тем, что я ее оборвал и показал ей, что я не первый встречный нищий, который примет подачку.

Однако плечо начинало болеть сильнее. Я взял извозчика и поехал домой.

Софья Петровна осмотрела мое плечо, послала кухарку за доктором и немедленно стала растирать мое распухшее и очень болевшее плечо мазью. Она как будто была довольна, что ей придется ухаживать за мной и выказать свою любовь. Она заботливо уложила меня в постель, напоила чаем и с такой любовью глядела мне в глаза, что я, казалось бы, должен был радоваться; но меня, напротив, ее внимание и любовь тяготили, и я отворачивался к стене, чтоб как-нибудь не обнаружить своих впечатлений перед этой доброй женщиной. Она поправляла подушки, сердилась, что доктор так долго не идет, спрашивала, не надо ли мне чего, и нежно ласкала своей рукой мои волосы, а я... я с какой-то злобой посматривал исподлобья на ее белую, слегка дрожавшую от волнения, пухлую руку, когда она осторожно дотрогивалась до моего лба. Ее мягкие, тепловатые пальцы заставляли меня откидывать голову... Но она, выждав минуту-другую, снова прикладывала их к моему лбу...

Нечего и говорить, что когда я рассказал ей о происшествии, то она напустилась на «принцессу».

— Подлая тварь! — взвизгнула она с какой-то злобой.— Велит кучеру гнать, а потом тоже выражает участие! Вот ваша принцесса! Какова она? Вот какова!

— И еще десять рублей предложила в помощь! — подливал я масла в огонь, чувствуя прилив злобы.

Но странное дело! Эпизод с предложением денег не произвел на Софью Петровну того впечатления, которое произвел на нее рассказ мой об ее извинении. Она даже нашла, что, быть может, «принцесса» хотела предложить деньги от сердца, хотя, конечно, она должна была бы понять, с кем имеет дело, если б была поумней...

Софья Петровна хитрила. Она попросту ревновала меня к этой девушке. Я это хорошо видел и усмехнулся при сравнении этих двух женщин. Невольно образ девушки лез в голову, и я напрасно ругал себя за это и настраивался на враждебный тон. И чем более бранила ее Софья Петровна, тем противнее становилась мне ее круглая, пышная фигурка, пухлое личико, пухлые руки, добрый, заискивающий взгляд крупных серых глаз и какое-то самодовольство, проглядывавшее во всех ее движениях с тех пор, как мы с ней близко сошлись.

— Петруша... Петенька, как тебе теперь? — ласково шептала она, когда я чуть-чуть стонал от боли.

Меня резали эти уменьшительные «Петруша» и «Петенька». Они казались мне чем-то пошлым, неприличным.

Я нарочно не отвечал.

— Петя, голубчик, да что с тобой?

— Послушайте, Софья Петровна,— вдруг вскочил я, присаживаясь на кровати и чувствуя прилив бешенства.— Я вас прошу раз навсегда: не называйте меня ни Петрушей, ни Петенькой, ни Петей. Это раздражает меня.

Она вдруг вся обомлела. Глаза ее как будто сделались еще больше и глядели на меня растерянно и глупо.

— Как же звать вас? — наконец проговорила она.

— Зовите меня... ну, зовите Петром, что ли, но не Петрушей, слышите?

Я опять взглянул на нее, и мне стало жаль эту женщину. Чем она виновата? Я упрекнул себя. Зачем я тогда, после памятного вечера, не сказал, что я ее не люблю,

что она не может быть моей женой, что наши дороги разные? Разве сказать ей теперь?

Будет сцена, ужасная сцена. А я сцен не люблю. Она станет плакать, упрекать... Мне придется оправдываться, снова устраивать себе другую жизнь, перебираться с квартиры. Еще бог знает на кого попадешь, а она... она все-таки заботится обо мне, любит меня, и... и... ничего мне не стоит...

«Нет! — решил я,— и для меня, и для нее лучше, как придет время, расстаться тихо... Напишу ей письмо... объясню все. Она добрая, поймет, что она мне не пара».

Такие мысли пробегали в моей голове, и мне стало жаль, что я ни с того ни с сего вдруг оскорбил Софью Петровну.

— Соня! — проговорил я нежно,— прости меня.

Она изумленно взглянула на меня, поспешно утирая обильно льющиеся слезы.

— Прости меня,— продолжал я, протянув ей руку.— Я болен... Я нравственно болен. Ты понимаешь, что значит быть нравственно больным? — прибавил я.

Она не понимала, что хотел я сказать, и как-то жалобно взглянула на меня.

— Называй меня, Соня, как хочешь, и... и прости меня.

Не успел я окончить, как уж Софья Петровна обливала горячими слезами мою руку и говорила, что я добрый, хороший, милый. Словом, перебирала весь лексикон нежных названий.

— И разве я могу на тебя сердиться, дорогой мой? Разве я могу? Ведь ты любишь же меня хоть немножко, ну, хоть вот такую капельку. Любишь?

— Конечно...

— Вот если бы ты обманывал меня, если бы ты, не любя, говорил, что любишь, вот тогда... тогда...

Она приискивала выражение. Ее обыкновенно добрые глаза сверкнули зловещим огоньком.

— Тогда... тогда... тогда... уже я не знаю, что бы я сделала тогда. Однако я болтаю, а ты, быть может, хочешь отдохнуть. Да что же это доктор не идет? Как твое плечо?

— Болит.

— Господи! Как распухло! — заговорила она, снова принимаясь осторожно натирать плечо мазью.— Мерзкая тварь! Подлая тварь! — повторяла она с сердцем.— Из-за нее ты мог бы лишиться жизни.

Наконец в однннадцатом часу прншел молодой военный доктор. Он осмотрел мое плечо, несколько раз надавливал его н все спрашнвал: не больно лн?

— Больно, доктор.

— А теперь? — снова спрашивал он, надавлнвая в другом месте.

— Очень больно.

— Гм! Ну, а тут? — опять давил он самым бесцеремонным образом в третьем месте.

— Ой, очень больно.

— Так, так. Везде больно! — пронзнес он н устремил через очкн сосредоточенный взгляд на плечо.

Несмотря на боль, я не мог не улыбнуться, глядя на серьезное лнцо доктора. В нем была какая-то комнческая черточка, смесь добродушня с большнм апломбом, невольно вызывавшая улыбку.

— Вы как? — заговорил он, оглядывая беглым взглядом мою комнату.

— То есть как насчет средств? — переспросил я, понимая, что он хочет сказать.

— Ну, да. Можете лечнться дома?

— Разумеется, господнн доктор,— подсказала Софья Петровна.

Доктор обратил на нее сосредоточенный взгляд, так что Софья Петровна сконфузилась, но он, по-вндимому, не обращал на нее ннкакого вннмання, хотя н смотрел прнстально; через мннуту он отвел глаза н так же прнстально стал смотреть на графнн с водой. Наконец он проговорил:

— Вам надо недели две просидеть дома н надо, чтобы фельдшер ходил вам делать перевязку. У вас, видите лн, маленькнй вывнх.

— А через две неделн можно выходнть?

— Надеюсь. А то,— вдруг прибавил он,— если дома неудобно, хотнте в больнноцу? Я устрою вас. Вы студент?

— Гнмназист.

— Нет, нет, зачем же в больнноцу? Лучше здесь, я сама буду ухаживать! — быстро проговорила Софья Петровна и сконфузилась.

— Ладно, я буду навещать. Завтра прнеду, а теперь сделаем перевязку, потерпнте немножко. Да мазн этой не нужно,— сказал он, отоднгая баночку с мазью,— это, верно, вы? — взглянул он на Софью Петровну.

— Я, доктор.

— Бросьте ее за окно лучше, а впрочем...

Он не окончил и снова стал теребить мне плечо. Я терпел, но было очень больно. Доктор дернул сильней. Что-то хрустнуло.

— Больно, доктор.

— И отлично! — проговорил он, не обращая внимания.— Бинтов... есть бинты?

Софья Петровна уже держала бинты наготове. Он сделал перевязку, обещал прислать фельдшера и ушел.

Софья Петровна сказала мне, что он отказался взять за визит, и расхваливала доктора. Я находил, что он поступил глупо. Отчего не брать, когда предлагают?

На следующий день я написал письма к генералу и старухе, что заболел и в течение двух недель быть не могу.

В тот же вечер от Остроумова пришел писарь и принес мне целый портфель бумаг и, между прочим, коротенькую записочку от генерала, в которой он, соболезнуя о моем нездоровье, уведомлял, что посылает мне «для развлечения» несколько работы; на одну из них он просил обратить особенное внимание и писал, что если она будет удачна, то я буду вознагражден особенно; кроме того, для «подъема духа» он прислал несколько брошюр своего сочинения.

Я поблагодарил Николая Николаевича за брошюры и обещал сделать работу. Работы было-таки порядочно. Видно было, что Остроумов очень заботился о моем здоровье.

Софья Петровна со свойственной ей горячностью предлагала послать всю эту работу обратно и написать Остроумову, что он свинья.

— Ты, голубчик, не стесняйся отказаться от работы. Что с ними связываться? У меня есть деньги...— конфузясь, проговорила она.— Нам считаться нечего.

Я, разумеется, отказался и охладил ее горячность. Генерал был мне нужен.

Я просидел две недели дома и задыхался от попечений Софьи Петровны. В течение этого времени я сделал все, о чем просил Остроумов, и когда наконец доктор объявил, что я могу «опять попасть под дышло», я радостно вышел на улицу. Болеть бедному человеку не приходится.

Был прекрасный весенний день. Солнце ярко сияло, оживляя бойкие улицы. Я шел к Николаю Николаевичу с намерением напомнить ему об обещании. Скоро лето, и, вероятно, он куда-нибудь уедет на дачу, и мне придется

остаться на бобах и тронуть мои сбережения. Я недавно еще послал кое-что матери (я писал ей аккуратно каждую неделю), и хотя у меня и было рублей четыреста, но я очень боялся трогать мой запасный фонд без особенной нужды.

Генерал, по обыкновению, был «занят», но весело приветствовал меня и крепко пожал руку. Взгляд его стал необыкновенно ласков, когда я подал большую записку о проведении железной дороги по среднеазиатской степи. Из его набросков я сочинил целую поэму с статистическими данными, с общими взглядами и с приблизительным итогом прибылей...

Я уже привык к подобным работам, а потому мне не было никакого труда сочинить такую записку и нагромоздить в ней разных сведений, которые я выискивал из материалов, доставленных мне Остроумовым.

Николай Николаевич стал просматривать записку и пришел в восхищение.

— Отлично, отлично! Вы, Петр Антонович, стали писать молодцом!.. Вот что значит поучиться у меня!.. Не правда ли?

И эта скотина так самодовольно посмотрела на меня, что я только и мог сказать:

— Совершенно верно.

— Херувим мой... Дружок... Где вы? — крикнул генерал.

Из других комнат прибежали генеральша и племянница.

— Посмотрите, милые мои, посмотрите!..— воскликнул Николай Николаевич, показывая торжественно на меня.— Вот достойный ученик мой! Он написал превосходную записку!

И он торжественно облобызал меня, а «херувим» и «дружочек» в свою очередь пожимали мне руки. Спектакль вышел очень интересный.

Когда мы остались опять вдвоем с Николаем Николаевичем («херувим» и «дружочек» после приветствий ушли поправлять вечные корректуры), я приступил к объяснению и сказал, что рассчитываю на его обещание помочь мне устроиться.

— Я думал о вас, много думал, Петр Антонович. И только на днях говорил с Рязановым о вас. Подождите недельку-другую, и мы обладим ваше дело. Только, смотрите, не забывайте своего учителя. Я к вам еще буду обращаться за помощью. Мы с вами дел наделаем.

Я поблагодарил, больше не настаивал и принялся за работу. Через неделю, когда я пришел к Николаю Николаевичу, он поразил меня своим необыкновенно торжественным видом.

— Ну, батюшка,— встретил он меня,— я вам всегда говорил, что поговорка русская верна: за богом молитва, а за царем служба не пропадет. Вы потрудились, и я считаю долгом вознаградить вас.

И с этими словами он мне вручил двести рублей.

Я поблагодарил Николая Николаевича.

— А насчет службы потерпите. Что вы думаете делать летом?

— Я совершенно свободен.

— Мы едем сперва в деревню, а потом в Крым... Это время я отдыхаю... Вас надо на лето пристроить... Я поговорю с Рязановым... Кстати, на лето им нужен учитель... Вы можете заниматься с мальчиком?

— Могу.

— И отлично. А с Рязановым вы сойдетесь, и он вас поближе узнает... Рязанов на виду, и быть около него вам не мешает...

— Я очень бы желал!..

— И я желаю... Вы человек способный, и вам надо выйти в люди... Нынче порядочные молодые люди так редки!

Мы расстались большими приятелями... Я, признаться, недоумевал, как это Николай Николаевич выдал мне относительно большой куш, и через год уже узнал, что за мою записку Николай Николаевич получил от лиц, желавших хлопотать о среднеазиатской дороге, пять тысяч рублей... Щедрость его, таким образом, стала мне понятна...

Когда я узнал об этом, то, разумеется, стал писать записки без посредства комиссионеров... Но об этом в свое время...

X

Признаюсь, у меня крепко билось сердце, когда я в урочный свой час подымался по лестнице в квартиру старухи в первый раз после двухнедельного отсутствия.

Как меня встретит Екатерина Александровна?.. Сердится ли она или поняла, что имеет дело с человеком, который не позволит себе наступить на ногу?.. А быть может, она раскаялась и горячо сожалеет о своем поступке...

Я прошел в залу, пока старнк лакей докладывал о моем прнбытин. Через мннуту меня позвалн в будуар.

Я вошел и поклоиился. Старуха, по обыкновению, кнвнула головой. Она показалась мне в тот день совсем больной... Марья Васильевна то и дело подносила ей флакон с солью.

— Поправился? — тнхо проговорила старуха, когда я сел на свое место.

— Поправился...

— В больнице лежалн?..

— Дома...

— Чнтайте, да только, пожалуйста, потнше... Что там у вас есть?..

— «Русская старнна»... «Вестинк Европы»... Пнсьма архнмандрита Фотия... Проповедн Филарета... «Фрегат «Паллада»...

— Довольно, довольно... Чнтайте-ка Филарета...

Я иачал чнтать проповеди...

— Ах, как вы сегодня читаете!.. Ннчего ие слышно...

Я стал чнтать громче.

— Да нельзя так, молодой человек (с некоторых пор она перестала иазывать меия мосьё Пьером), илн вы смеетесь над больиой старухой?.. Вы слишком громко читаете...

Я поинзил голос...

— Оставьте пока Филарета в покое...— опять закапрнзиичала старуха.— Давайте что-нибудь полегче...

Я развериул наудачу «Вестннк Европы». Смотрю: рассказ Золя.

— Угодно вам прослушать иовый рассказ Золя?..

Она мотнула головой, и я иачал...

Рассказ был иесколько скабрезеи, ио старушка внимательно слушала... Я чнтал так с четверть часа. Тем временем Марья Васильевиа, по обыкиовеиию, ушла нз комнаты... Прошло еще с полчаса... Я взгляиул на старуху... Она моргала глазамн... Я стал чнтать тнше... Вижу, она дремлет... В комнате тишнна. Свет от свечей чуть-чуть освещал дряхлое, старческое лицо... Я опять взглянул... глаз было ие видио, а рот полураскрыт... Ннжняя губа совсем отвисла... Безобразное лнцо! Я опустил глаза иа кингу.

Я замолчал н взглянул опять иа старуху... Она не шевелилась. В комиате было совсем тихо н полутемио... Мне стало вдруг страшио... Я сиова иачал читать, сперва тнхо, потом громче н громче; взглянул опять на старуху, оиа все-такн не шевелилась...

«Уж не умерла ли она? — подумал я, продолжая чтение...— Ведь вот лежит теперь, быть может, мертвая, а ты все читай... читай до девяти часов... Хоть бы кто-нибудь пришел сюда...»

Прошло еще с четверть часа... Никто не приходил, а она все не открывала глаз...

Мне сделалось жутко... Я опять перестал читать и тихонько вышел в гостиную. Там никого не было. Я прислушался, не раздастся ли где голоса... Везде тишина... Марья Васильевна, очевидно, ушла в дальние комнаты... Я снова вернулся в будуар, взглянул в лицо старухи, и показалось мне, будто она в самом деле мертвая...

Я струсил. Не мертвой струсил, а в голову мне закралась страшная мысль: я оставался один в комнате, при старухе могли быть деньги.

От этой мысли у меня пробежали по телу мурашки, и я решился идти в соседнюю комнату, откуда часто выходила внучка. Я сперва постучал — ответа не было. Тогда я осторожно открыл двери и очутился в небольшой проходной комнате, откуда дверь вела в другую.

Я тихо отворил двери и остановился у порога.

В ярко освещенной большой комнате, по стенам которой висели картины, а по углам стояли бюсты, невдалеке от рояля, за мольбертом сидела Екатерина Александровна и серьезно разглядывала какую-то картину. Свет падал на девушку сбоку. Я видел ее вполоборота. Она до того увлечена была созерцанием картины, что не шелохнулась при легком скрипе дверей и продолжала разглядывать картину, подправляя ее кое-где мазком.

Она была в черном шерстяном платье, обливавшем ее стройный стан. Черные волосы падали на белый благородный лоб. Глаза были оживлены и блестели одушевлением. Она разглядывала картину и, по-видимому, была ею довольна.

Я замер на месте. Эта блестящая комната с артистической обстановкой, с изящной мебелью, картинами, цветами, щекотала нервы. И в этом уютном, роскошном гнездышке молодая девушка казалась какою-то чарующей богиней. Я вспомнил свою убогую квартиру, вспомнил, как жили мы с отцом, и чувство зависти закралось невольно в сердце...

Вот как надо жить! Вот как живут люди!

И я уж мечтал, что эта красавица моя жена. Я вхожу в комнату не как вор, а как повелитель. Неужели я не могу этого достичь? Стоит только захотеть! И я хотел в эту ми-

нуту, хотел всеми нервами моего существа быть богатым во что бы то ни стало.

Она вдруг поднялась и отошла в сторону, а я все стоял и совсем забыл о старухе. Я жадно глядел на красавицу, боясь пошевелиться, чтобы не нарушить очарования.

Но вот она повернула голову в мою сторону. Я пошел к ней.

Она чуть-чуть вскрикнула от неожиданности, задернула мольберт зеленым чехлом, сделала несколько шагов мне навстречу и остановилась. Мне показалось, что она немножко испугалась; губы ее вздрагивали, взгляд был испуганный. Она скоро оправилась и холодно спросила:

— Что вам угодно? Как вы попали сюда?

— Извините, я никого не нашел в гостиной. Ваша бабушка задремала и не просыпается. Я испугался, шел сказать кому-нибудь и... и очутился в этой комнате.

— Благодарю вас!.. Пойдемте.

С этими словами мы быстро вышли из комнаты. На ходу она тревожно спросила:

— Давно бабушка спит?

— С полчаса.

Мы вошли в комнату. Старуха не просыпалась. Екатерина Александровна подошла к ней и тихо проговорила: «Бабушка!»

Старуха открыла глаза, но не могла прийти в себя.

— Читайте, читайте! — пролепетала она каким-то шепелявым голосом.— Я слушаю.

— Бабушка, проснитесь, это я!

Екатерина Александровна придавила пуговку от электрического звонка и поднесла старухе под нос флакон.

— Ты что это, Катя? — очнулась наконец старуха.

— Ничего, бабушка. Как вы себя чувствуете?

— Хорошо, хорошо, моя родная. Я чуть-чуть вздремнула. Марья Васильевна, где вы? Платок!

Марья Васильевна подала платок и юлила.

— А молодой человек здесь? Он сегодня скверно читал. И бог знает что читал. Что вы это читали? Разве так можно читать? Я не люблю, когда так читают.

Екатерина Александровна взглянула на меня таким добрым взглядом, словно бы прося извинения за слова старухи, что я изумился. Она успокоила старуху и тихо передала Марье Васильевне приказание послать за доктором.

— Вы, молодой человек... Где же он? Отчего он не чи-



«Похождения одного благонамеренного молодого человека...».
Художник Ю. Гершкович

тает? Пусть он читает! Ах, что вы со мной делаете? Вы, кажется, уморить меня хотите.

Она захныкала и заплакала.

— Послали за доктором? — тихо шепнула Екатерина Александровна.

— Доктор сейчас будет! — отвечала Марья Васильевна, возвращаясь через несколько минут в комнату.

А старуха опять впала в какую-то сонливость и только лепетала:

— Читайте же.

Екатерина Александровна умоляющим тоном просила меня читать.

Я раскрыл книгу наудачу и начал читать. Вероятно, под влиянием чтения старуха снова заснула.

— Благодарю вас... очень благодарю вас,— горячо сказала Екатерина Александровна, пожимая мне руку.— Вы устали... теперь не надо читать... Довольно... А на бабушку вы не сердитесь. Она ведь совсем больная... Вы не сердитесь... Вы придете завтра?.. Она привыкла к вашему чтению и сожалела, что вас не было... Вы, кажется, были больны?

— Я простудился...

— А плечо не болело... нет?..

Я покраснел.

— Нет, не болело!..— ответил я.

Она чуть заметно улыбнулась, но улыбка была добрая, хорошая улыбка.

— Не сердитесь и вы на меня! — прошептал я, кланяясь.

— Я?.. за что?.. Я была виновата, а не вы... Вы были вправе сказать мне то, что сказали... Но только вы не так поняли... Впрочем, об этом когда-нибудь после...

Она ласково кивнула мне головой, и я ушел торжествующий, что наконец эта гордая девушка заговорила со мною по-человечески и даже созналась, что была виновата.

Начало было сделано. А там — кто знает, что будет дальше.

Я возвращался весело домой и всю дорогу припоминал роскошь комнаты и красоту этой загадочной девушки.

Вот как люди живут!..

И вспомнилась мне Лена... Смешная! Она все ищет, верно, какой-то «правды» в нашем захолустье... И она мне в это время показалась такой смешной, а наше захолустье таким мизерным!

Я шел теперь твердым шагом по бойким улицам и смотрел кругом с уверенностью. Что-то говорило мне,

что я не пропаду здесь, не погибну, а пробью себе дорогу и буду пользоваться жизнью полно, широко... Когда я пробьюсь, тогда и о правде можно будет подумать... Тогда и Леночка будет меня уважать... А теперь?.. Теперь и она, пожалуй, презирает меня... Несчастных все презирают... Лучше же быть молотом, чем наковальней. Наковальней?.. Избави бог!

XI

Наступил май месяц.

Однажды, когда я пришел к Николаю Николаевичу, он объявил, что рекомендовал меня Рязанову и что тот просил на днях у него побывать. Генерал снова выразил уверенность, что господину Рязанову я понравлюсь.

— Вот Рязановой понравиться трудней... Она... взбалмошная бабенка, и муж ее чересчур балует... Сумейте и ей понравиться... Ну, тогда вы выйдете победителем...

Сам генерал уезжал на днях в деревню.

Я поблагодарил Николая Николаевича, и мы простились друзьями. Он облобызал меня, благословил, советовал ходить в церковь и просил осенью непременно побывать у него...

— Опять вместе будем работать... Ну, до свидания, мой молодой друг! — торжественно проговорил Николай Николаевич, осеняя меня крестом.— Да напишите мне, как вы покончите с Рязановым... Я просил за вас, и он обещал вас принять под свое покровительство. Сумейте только понравиться им. Особенно жене...

«Херувим» тоже благословил меня, за что я поцеловал ее руку, пальцы которой, по обыкновению, были замараны в чернилах. С племянницей обменялись рукопожатиями.

— Не забывайте же нас!..— крикнул вдогонку Остроумов.— Осенью еще, быть может, придется вам заработать хорошие деньги... Сами знаете, я труд ценить умею.

Я про себя улыбнулся и еще раз простился с генералом. Не думал я тогда, что впоследствии нам придется встречаться при совершенно других обстоятельствах.

Вечером я, по обыкновению, шел к старухе. Приходилось дочитывать последние три дня. Неделю тому назад она мне объявила, что скоро уезжает. Эти дни я не видал внучки или видал ее мельком. Она снова сторонилась от меня и не удостоивала вниманием. Пройдет, кивнет, и хоть бы слово!

«А когда нужно было успокоить бабушку, тогда откуда ласковость бралась!.. Эгоисты они... все эгоисты!» — мысленно бранил я ее.

Подхожу. Швейцар останавливает меня.

— Напрасно подниметесь...

— А что?

— Княгиня в ночь приказала долго жить...

— Ну?

— Верно... Теперь наверху родственников... родственников...

— А очень она была богата?

— Страсть... Сказывают, миллион у нее... Да только родственники напрасно. Она все внучке отказала... барышне... Барышня славная!

— Екатерине Александровне?

— Ей самой... Хорошая барышня!..

Грустно отошел я от подъезда и тихо поплелся домой. Вот тебе и раз!.. Теперь я никогда не увижу Екатерины Александровны... никогда!.. А я еще, дурак, мечтал черт знает о чем!..

Новость эта меня поразила... Хотя я и должен был скоро прекратить чтение, но оставалось еще три дня, и я рассчитывал в эти дни как-нибудь вызвать на разговор молодую девушку и высказать все... все, что накипело у меня на душе... Быть может, она поняла бы меня, оценила!..

«Берегись!» — раздалось около меня. Пролетела пролетка, и меня забрызгали грязью... Я только сжал кулаки и послал вслед ругательства...

А дома Софья Петровна встретила меня какая-то грустная... Она последнее время заметно изменилась... Куда девалась ее веселость?.. Точно что-то мучило ее... Она несколько раз заговаривала о лете, но я избегал разговоров об этом, говоря, что еще время впереди есть... Надо было покончить сперва с Рязановыми, а там видно будет... Не киснуть же мне в самом деле с ней вдвоем на Екатерининском канале!.. Она все соблазняла меня по воскресеньям на острова, но я более отмалчивался...

— Послушай, Петя (она все-таки меня звала «Петей»). Послушай, Петя,— начала она за обедом.— Так как же летом?

— Надо, Соня, работы искать... Сама знаешь, я без занятий...

— Лето-то отдохни... Право, отдохни... Мы будем вместе на острова ездить...

— Работать надо...

— Ах ты какой... Ну, слушай... впрочем, нет... (Она вдруг вся зарделась.) Я тебе после скажу... радость скажу... Нас обоих касается...

Она с каким-то особенным выражением посмотрела на меня.

— Говори теперь...

— Нет... нет... не скажу... после...

Я не настаивал.

После обеда посыльный подал мне письмо. Я вскрыл его. В нем было тридцать рублей и письмо следующего содержания:

«Милостивый государь,
Петр Антонович!

Вы, вероятно, уже слышали, что бабушка моя вчера скончалась. Позвольте мне еще раз поблагодарить вас за ту доброту, с которой вы прощали капризы больной старушки, и еще раз напомнить вам, что покойница всегда выражала признательность за ваш труд.

Благодарю вас и смею уверить, что я всегда к вашим услугам, если только мои услуги могут быть вам полезны.

Уважающая вас Екатерина Нирская.

При сем прилагаю следуемые вам за месяц тридцать рублей».

Я несколько раз прочел эти строки, написанные изящным английским почерком. Меня задел за живое тон письма, особенно последние его строки: «Я всегда к вашим услугам, если услуги мои могут быть вам полезны»! Ясно, она смотрит на меня с высоты своего величия, эта гордая барышня, и допускает знакомство только в качестве благодетельницы бедного чтеца, лишившегося занятий.

— Тебя огорчило письмо... От кого это? — спросила Софья Петровна.

— От богатой наследницы.

— Можно прочесть? — как-то робко продолжала молодая женщина.

Я бросил ей письмо.

Она прочитала его и с сердцем заметила:

— Чего она лезет с письмами!

— Как же, нельзя! Надо порисоваться! Я, мол, не прочь порекомендовать вас, молодой человек. Вы хорошо читали сумасшедшей старухе, и, если хотите, я вам еще такую старуху подыщу.

— Да ты не сердись так! Ты ужасно обидчив, Петя.

Стоит ли так сердиться? Плюнь ты на нее, разорви письмо, и дело с концом!

— Нет. Их за это надо обрывать. Я отвечу ей.

— К чему? Ну, разве тебе не все равно, что она пишет?

— Ты этого не понимаешь,— резко ответил я.

И Софья Петровна, по обыкновению, тотчас же покорно замолчала.

Я написал Екатерине Александровне ответ (досадно только, что не было у меня бумаги с вензелем), в котором благодарил за желание быть мне полезной и надеялся, что мне не придется возобновлять с ней наше «случайное» знакомство именно с этой целью. Письмо было короткое и сухое.

Я перечитал свой ответ и отправил письмо.

— Пусть прочтет!.. Пусть знает, с кем она имела дело!..

Я спрятал записку Екатерины Александровны, и, признаться, грустно мне было, что наше знакомство прервалось так быстро.

Задумчивый, сидел я у себя в комнате и не слышал, как вошла Софья Петровна.

— Петя! — тихо произнесла она.

Я поднял голову. Софья Петровна стояла передо мной печальная.

— Ты, кажется, и не интересуешься тем, что я обещала сказать тебе?

— Ах, да... Что это за новость?

— Это новость очень серьезная.

— Ну?..

Она обвила руками мою шею и, наклонившись надо мною, произнесла шепотом:

— Я беременна, Петя...

В первый момент известие это не произвело на меня впечатления, но затем мне сделалось очень досадно и скверно.

— Ты молчишь. Ты не рад?

Я пожал руку Софьи Петровны. Бедная женщина была совсем смущена.

— Чему же радоваться, Соня? — нежно проговорил я.— Только одни заботы!

— Только?

Она совсем печально глядела на меня.

— Нам, бедным людям, дорога такая роскошь.

— Как ты говоришь — роскошь? — повторила она.

— Еще бы!.. Нам надо самим пробиваться, а тут еще...

— Замолчи, замолчи, пожалуйста,— перебила она и вышла из комнаты.

Я пошел к ней. Она сидела на диване и тихо плакала.

— Послушай, Соня... Надо быть благоразумной, а ты все плачешь... Разве я обидел тебя?..

Она молчала.

— Ну, рассуди сама... Можно ли радоваться твоему сюрпризу?

И я стал ей доказывать, что радоваться нечему.

Она слушала очень внимательно. Когда я кончил, она поднялась с места, подошла ко мне и пытливо заглянула мне в глаза... В это время лицо ее было серьезно, очень серьезно.

— Ты недоволен?..— тихо проговорила она.

— Большой радости нет.

— И пожалуй, посоветуешь мне отдать ребенка в воспитательный дом?

Наконец она сама произнесла слово, которое давно вертелось у нее на языке. Должно быть, на лице моем она прочла одобрение, потому что вдруг побледнела, зашаталась и как сноп повалилась ко мне на руки.

«Скорей, скорей надо покончить с этим! — думалось мне, пока я приводил ее в чувство.— Не связать же себя навеки ради того, что глупый случай вдруг сделал меня отцом!» Из-за такой случайности я не намерен был отказываться от своих планов и смолоду закабалить себя.

Софья Петровна открыла глаза. Я стоял подле и утешал ее.

— Ты меня не любишь,— были первые ее слова.

Я успокоивал ее, говоря, что напрасно она так думает, что я люблю, но что есть положения, при которых человеку нельзя приносить все в жертву любви.

Она выслушала и вдруг бросилась мне на шею. Покрывая меня поцелуями, Соня проговорила:

— Да разве я прошу жертв? Ничего, ничего не прошу... Только люби меня... люби! Ведь я тебя люблю, как никого и никогда не любила!

Она рыдала и в то же время улыбалась.

— Ведь ты... ты честный человек? Ты не стал бы обманывать меня?.. Это было бы... Прости... Я бог знает что говорю...

И она снова обнимала меня. А я молча стоял и думал, как бы лучше выйти из глупого положения, в которое поставила меня связь, и в то же время не слишком огорчить эту добрую женщину.

XII

На другой день, в десятом часу утра, я занялся туалетом с особенною тщательностью, потом зашел к парикмахеру постричься и, скромно причесанный, как следовало молодому человеку в моем положении, отправился к господину Рязанову на Васильевский остров.

Петербургская жизнь научила меня, как надо ладить со швейцарами домов, в которых живут более или менее важные люди, и я без затруднений подымался по широкой, устланной красным ковром лестнице во второй этаж, получивши предварительно от швейцара сведения, что «генерал принимает, и у них никого нет». Я отдал свою карточку презентабельному на вид лакею и через минуту был введен в большой кабинет, уставленный шкафами с книгами и изящной мебелью, обитой зеленым сафьяном. За письменным столом, стоявшим среди комнаты, сидел господин Рязанов, небольшого роста, некрасивый, коротко остриженный брюнет лет сорока, в утреннем сером костюме. При моем появлении он отложил в сторону перо, отодвинул лист исписанной бумаги и поднял на меня небольшие черные глаза, зорко и умно глядевшие из-под очков. Проницательный взгляд этих глаз скрадывал некрасивость лица, придавая ему умное выражение.

— Очень рад видеть вас, господин Брызгунов! — проговорил он, чуть-чуть привставая и протягивая руку.— Садитесь, пожалуйста!

Я сел в кресло у стола и приготовился слушать.

— Вас очень рекомендует Николай Николаевич Остроумов. Он в восторге от ваших занятий и трудолюбия, а в особенности от ваших трезвых взглядов, столь редких, к сожалению, среди нашей бедной молодежи,— прибавил господин Рязанов тоном соболезнования.

Мне оставалось только поклониться.

— Вы, кажется, деятельно помогали Николаю Николаевичу в составлении записок? — спросил Рязанов, и, показалось мне, в его глазах мелькнула усмешка.

— Помогал.

— В составлении записки о среднеазиатской дороге вы, если не ошибаюсь, тоже принимали участие?

— Да, под наблюдением Николая Николаевича.

— Так... так... Она недурно написана, очень недурно, хотя, впрочем, сведения неверные...

Рязанов помолчал, оглядывая меня своим зорким взглядом, и наконец продолжал:

— Остроумов, между прочим, говорил мне, что вы были бы не прочь ехать на лето в деревню в качестве репетитора?

— Да, я ищу занятий.

— Вы занимались прежде репетиторством?

— Как же! И в гимназии, и по окончании курса я давал уроки.

— Вы прежде служили у мирового судьи письмоводителем?

— Да.

— И приехали сюда искать работы более подходящей?

— У меня на руках мать и сестра, а жалованье письмоводителя ничтожно.

— Так, так... Это я к слову... Мне все эти подробности сообщил Николай Николаевич, рассказывая, как вы помогаете вашему семейству. Это такая редкость нынче...

Я потупил скромно глаза, недоумевая, к чему он делает мне такой допрос.

— Сын мой, мальчик двенадцати лет,— продолжал Рязанов,— к сожалению моему, несколько ленив и в пансионе не очень бойко учился, так что ему надо хорошенько призаняться летом для поступления в гимназию.

— В классическую? — спросил я.

— Ну, разумеется! — заметил Рязанов, словно бы удивляясь вопросу.— Так не угодно ли будет вам, господин Брызгунов, взять на себя труд призаняться с мальчиком в течение лета?

Я, разумеется, согласился.

— Я слишком много слышал о вас хорошего, господин Брызгунов, и считаю излишним пояснять, что только отличные рекомендации относительно вашего направления заставляют меня поручить вам занятия с сыном. Надеюсь, вы не обижаетесь и понимаете меня, господин Брызгунов?

Он говорил отчетливо, словно бы произносил спич, глядя на меня своим пронизывающим взором, и так отчеканивал «господин Брызгунов», что каждый раз этот «господин Брызгунов» производил на меня отвратительное впечатление. Уж слишком противной казалась моя фамилия в его отчетливом произношении.

Рязанов остановился в ожидании моего ответа и снова повторил:

— Надеюсь, вы не обижаетесь и понимаете меня, господин Брызгунов?

Я ответил, что «обижаться нечем» и что понимаю, как трудно найти подходящего человека.

— Совершенно верно. Я ни за что бы не пригласил к сыну молодого человека, особенно такого молодого, как вы, к которому бы не питал доверия. Нередко молодые люди, быть может и совершенно искренно, бросают в головы детей семена, которые впоследствии дадут печальные всходы. К несчастию, многое в нашей жизни способствует этому и как бы подтверждает нелепицу, которой пичкают непризванные учителя детские головки.

Господин Рязанов остановился на секунду, поправил очки и продолжал:

— Я, господин Брызгунов, очень люблю сына, и вы поймете, почему я позволил себе обратить ваше внимание на те трудности, которыми обставлены родители. Я буду просить вас, господ... (по счастию, взгляд Рязанова упал на мою карточку, и он вместо «господин Брызгунов» произнес: Петр Антонович) я буду просить вас, Петр Антонович, обо всех щекотливых вопросах, которые может предложить мальчик, сообщать мне. Мой мальчик очень нервный, и с ним надо быть осторожным. Мы общими силами будем отвечать ему на щекотливые его вопросы. Мне бы хотелось, и, насколько в моих силах, я постараюсь достичь, чтобы из мальчика вышел трезвый, разумный слуга отечеству,— продолжал господин Рязанов взволнованно,— понимающий, что надо довольствоваться возможным, а не стремиться к невозможному. Надо уметь делать уступки, чтобы не остаться смешным донкихотом. В наше время, когда каждому приходится пробивать себе дорогу горбом, донкихотство обходится очень дорого. Зерно заключающейся в нем истины не стоит будущих разочарований. Надо жить, а не питаться фантазиями.

Я слушал господина Рязанова с удовольствием. Его речь находила во мне полный отклик. Он словно повторял все то, о чем я часто и много думал и что заставляло меня идти, не сворачивая в сторону, по избранной мною дороге. Я не знал еще в то время, как господин Рязанов добился своего положения,— пробивал ли он свою дорогу, как он выразился, «горбом» или нет, но, во всяком случае, он был тысячу раз прав, когда говорил, что «жить надо, а не питаться фантазиями».

Я слушал, и передо мной промелькнул образ моей сестры. Как жаль, что, сидя в захолустье, она не могла слушать таких умных речей! Тогда поняла бы она, что все умные и порядочные люди думают так же, как я, и понимают, что без борьбы, без уступок, без хитрости нельзя ни до чего добиться нашему брату, у которого нет ни свя-

зей, ни денег, ни хорошего родства. Глупенькая! Она все еще думала, что Петербург меня испортит, и все еще в письмах звала назад, в захолустье. Как бы не так! Петербургская жизнь понравилась мне и еще более укрепила мое решение во что бы то ни стало составить себе приличную карьеру. Остаться проходимцем на всю жизнь и видеть одно презрение со всех сторон я не желал.

Должно быть, господин Рязанов заметил благоприятное впечатление, произведенное на меня его словами, потому что, окончив свою речь, он мягко заметил:

— Ну, теперь поговорим об условиях, Петр Антонович!

На этом пункте мы скоро сошлись. Он предложил мне семьдесят пять рублей в месяц.

— Вы, кажется, знакомы с моей женой? — заметил он, когда мы покончили с условиями.

— Как же. Я имел удовольствие видеть вашу супругу у Остроумовых.

— А вот сейчас познакомитесь с сыном,— проговорил Рязанов и позвонил.

Через несколько минут в кабинет вошла пожилая гувернантка-англичанка и привела с собой мальчика, лицом похожего на отца. То же некрасивое лицо и те же умные, черные глаза, но только сложения он был нежного, и взгляд его был какой-то задумчивый.

Рязанов с любовью поцеловал сына и, знакомя меня с ним, проговорил:

— Вот, Володя, твой учитель на лето, Петр Антонович. Он был так добр, что согласился помочь тебе заниматься.

Володя протянул худенькую руку, взглянул на меня своим задумчивым взором и ничего не сказал.

С гувернанткой мы раскланялись.

— Мама встала? — спросил отец.

— Нет, спит еще,— отвечал Володя.

Володя был сыном от первой жены Рязанова. От второй жены, той красивой барыни, которую я встречал у Остроумовых, детей не было. Мальчик скоро вышел из кабинета с гувернанткой, и Рязанов проговорил:

— Володя, как вы, вероятно, заметили, слабого здоровья. Кроме того, он очень нервный мальчик. Впрочем, вы сами это увидите. Так уж, пожалуйста, Петр Антонович, берегите его и не позволяйте ему слишком много заниматься. Да пишите мне, как он учится. Я в деревню теперь не поеду; месяц или два вы проживете без меня. Я могу приехать только в августе. Жена собирается через

3*

иеделю. Вы можете быть готовы к отъезду к этому времени?

— Могу.

— Ну, отлнчио, а сегодня милости просим к иам обедать в пять часов. Кстати, вы покороче познакомитесь с женой, и затем мы окоичательно решнм день отъезда.

Когда я снова прншел к пяти часам к Рязановым, госпожа Рязанова встретила меия довольно приветливо и, оглядывая меня, казалось, осталась довольиа, что у иих в доме будет учитель, приличный на вид.

Оиа сказала иесколько любезных слов, выразила иадежду, что я не буду скучать в деревие, и, как кажется, иичего ие имела протнв выбора мужа. Это была женщнна лет двадцатн шестн нлн семи, красивая, статная, видиая брюнетка, с бойкими каримн глазами н нзящными манерамн, в которых проглядывала избалованность капрнзной жеищиины, привыкшей к поклонению.

За обедом господни Рязаиов казался совсем не таким, каким был в кабннете. Перед женой он как-то прнтихал, бросая на нее беспокойные взгляды, полные любви и нежностн. А она как будто ие замечала нх н капризно делала мнны, когда господин Рязанов в чем-нибудь не соглашался с ней. Нельзя было ие заметить тотчас же, что эта барыия — нзбаловаииое существо н в доме играет первую роль. С мужем она была снисходнтельно-любезна н, казалось мие, холодна. За обедом она два раза меняла дни отъезда и наконец решила, что уезжает через восемь дней.

— Это решеиие, надеюсь, последнее? — ласково пошутил Рязанов.

Рязанова сделала иедовольную грнмасу н ответила:

— Последнее!

Володя кииул иа мачеху быстрый взгляд, в котором иельзя было заметить привязанностн.

Предстояло объявнть о моем отъезде Софье Петровие. Я рассчнтывал простнться с ией навсегда, хотя, разумеется, не думал говорить ей об этом, чтобы не расстраивать понапрасну бедную жеищнну, привязавшуюся ко мне. Возвратившнсь от Рязановых, я прошел к ней в комиату. Оиа сидела на диване печальная, с заплаканнымн глазами. При входе моем она вытерла глаза н радостно улыбиулась.

— Ты что это... плачешь, Соия?..

— Нет... нет... ничего... Так взгрустнулось...

— А я на лето работу нашел, Соия! — проговорил я, обнимая ее.

Она вся встрепенулась и быстро спросила:

— Здесь... в городе?..

— Нет, какая летом в городе работа! Я еду в деревню прнготовлять одиого птенца в гимиазию... на три месяца! — поспешил я прнбавить, заметив, как Соия бледнеет.

— Так ты, значнт, оставляешь меия теперь, когда я... в таком положеиии!

— Соия... Соия! Ведь мие нельзя сидеть сложа руки, ты зиаешь...

Но разве жеищина понимает резоны?

— На лето!.. Лето ты мог бы отдохиуть... Накоиец, я говорила тебе: ие стесняйся, у меня есть деньги...

— Я на чужой счет жнть не привык!

— На чужой счет? Разве ты со мной счнтаешься?..

— Ты сама, Соня, ие богачка, чтобы с тобой не считаться... И наконец, я должеи помогать матери... Бросим лучше этот разговор! — твердо сказал я.— Я приехал в Петербург работать, а ие сидеть сложа руки. Надеюсь, ты не захочешь стать мие поперек дороги, еслн действнтельио любнше меня... У меня, Соня, впереди дорога широкая...

Она слушала, взглядывая на меня во все глаза, покачала головой и грустно усмехнулась.

— Люблю лн я?.. И тебе не стыдио сомиеваться?

— Так если любишь — не удерживай и не делай сцеи. Я сцеи ие люблю!

Тогда Соня, по своему обыкновеиию, от упреков перешла к извииеииям. Она склонила голову на мою грудь н, иервио рыдая, просила прощения.

— Ты прав, ты прав, Петя,— прерывая слова всхлипываииямн, говорила она.— Я гадкая женщииа... я эгоистка... я мешаю тебе... Поезжай, милый мой, поезжай... Как нн тяжело мне будет прожнть без тебя трн месяца, но я вытерплю, все вытерплю...

Оиа уверена была, что я вернусь.

— И когда ты вернешься, Петя,— продолжала оиа, улыбаясь сквозь слезы,— когда вериешься, ты увнднщь, какая у тебя будет комиата! Я отделаю тебе большую комиату, в которой теперь живет геиерал... Я его попрошу выехать... У тебя будет превосходиый кабинет... Я поставлю туда иовую мебель... Ты какую хочешь обивку... зеленую или сннюю?.. Что же ты молчншь?..

— Все равно...

— Ну нет, ие все равно... Сннюю лучше... Я куплю хорошего репсу, н к твоему прнезду все будет готово...

Обои тоже новые, под цвет мебели... Гардины, знаешь, с узорами... Ты увидишь, как будет хорошо.

Я не мешал ее веселой болтовне и не спешил разрушать ее надежд. А она, раз попавши на любимого своего конька, продолжала на ту же тему, рассказывала, как можно летом выгодно купить подержанную мебель и всякие вещи, и рисовала одну за другой светленькие картинки нашей будущей жизни. Она не отдаст ребенка, но он не будет меня стеснять... Кормить она будет сама, а как ребенок подрастет, мы непременно поедем на дачу на Крестовский остров.

— Ты непременно полюбишь его! — говорила она, краснея, в каком-то волнении.— Ты ведь добрый.

Глупая! Она и не понимала, как резала мое ухо эта болтовня о дешевой мебели, светленьких обоях и даче на Крестовском! Она с восторгом рассказывала обо всем этом, думая, вероятно, что я всю жизнь просижу на мебели из Апраксина двора и что дача на Крестовском составляет для меня недосягаемую прелесть. Впрочем, и то: я беден, так как же мне не мечтать о дешевой мебели и светленьких обоях?

Бедная женщина с обычной своей аккуратностью собирала меня в дорогу и, утирая набегавшие слезы, укладывала в чемодан платье, белье и несколько книг. Она непременно хотела меня проводить на железную дорогу, и мне стоило немалых трудов отговорить ее от этого, доказывая, что присутствие такой «хорошенькой» женщины, как она, может уронить меня в глазах Рязанова.

— Ты скажи, что я твоя сестра,— настаивала она.

— Он знает, что здесь у меня сестры нет.

Она наконец согласилась на мои доводы.

Накануне отъезда Соня целый день плакала и ничего не ела, и только вечером, когда я приласкал ее, она повеселела и стала душить меня горячими поцелуями. Словно бы предчувствуя, что в последний раз целует меня, она с какой-то страстью отчаяния обнимала меня, беспокойно заглядывая в глаза. Она то и дело спрашивала: люблю ли я ее, и, получая утвердительный ответ, смеялась и плакала в одно время, прижимаясь ко мне, как испуганная голубка. Когда наконец наступил час разлуки, она повисла на шее и, судорожно рыдая, шепнула:

— Смотри же, пиши и возвращайся... Ты ведь вернешься, не обманешь?

— Вернусь, вернусь,— отвечал я.

— Смотри же, а то... будет стыдно бросить так человека... Ведь я тебя люблю!

Я вышел расстроенный. Мне все-таки жаль было Соню, с которой я расставался навсегда.

Еще раз она крепко поцеловала меня, и... я вышел из своей маленькой конуры с тем, чтобы никогда больше в нее не возвращаться.

XIII

Приехав на Николаевский вокзал, я уже застал там все семейство Рязановых: мужа, жену, сестру жены — пожилую даму, племянницу господина Рязанова — девушку лет шестнадцати, англичанку-гувернантку и Володю.

Рязанова оглядывала публику в pince-nez, которое придавало ее лицу необыкновенно пикантный вид, Рязанов был какой-то сумрачный и недовольный. Он сидел около жены и что-то говорил ей, но она, казалось, не очень-то внимательно его слушала и продолжала разглядывать публику.

Когда я подошел к группе, Рязанова оглядела меня с ног до головы, кивнула головкой и сухо проговорила:

— Наконец-то! Мы думали, что вы опоздаете.

Рязанов любезно протянул свою руку и сказал:

— Напрасно ты конфузишь, Hélène, молодого человека: еще полчаса времени до отхода поезда.

Затем он представил меня своей свояченице и племяннице и, отводя в сторону, проговорил:

— Смотрите же, Петр Антонович, пишите мне, как занимается Володя. Пишите чаще,— обронил он.

Я обещал писать о сыне, и мы подошли к группе.

Рязанова пристально взглянула на меня, отвела взгляд и как-то странно пожала плечами, взглядывая на своего осоловевшего мужа.

Пора было садиться в вагоны. Рязанова поднялась с места, а за нею вся остальная компания с мешками, баулами и сумками. Мне тоже дали нести маленький саквояж. Муж и жена пошли вместе и оживленно заговорили. Я шел недалеко от них, и до меня доносились звонкий смех Рязановой и веселый голос мужа. На платформе Рязанов не имел уже мрачного вида. Напротив, он был доволен и весел и не отходил от жены. Как видно, она умела по своему желанию менять его настроение. Недаром Остроумов предупреждал меня, что Рязанова

взбалмошная бабенка и держит мужа в руках. По всему было видно, что он говорил правду.

Для семейства Рязанова было отведено особое купе (Рязанов был директором железнодорожного общества. Он занимал несколько должностей), в котором и разместилась дамская компания. Рязанова, однако, находила, что тесно, и сделала гримасу, так что муж беспокойно взглянул на нее. Впрочем, когда поставили к месту все мешки, чемоданы и баулы, то оказалось, что «ничего себе».

Мое место было в соседнем вагоне I класса. Я занял место у окна и вышел из вагона наблюдать за Рязановыми, к которым бросила меня судьба. Рязанов мне очень нравился, а сама она казалась капризной и избалованной женщиной, которой, пожалуй, трудно будет понравиться. Я помнил совет Остроумова: «Постарайтесь понравиться ей».

— Уж вы, Петр Антонович, будьте так добры, навещайте изредка дам и вообще не оставляйте их в дороге! — любезно просил меня Рязанов, оборачиваясь ко мне.

— Непременно.

— Не пугайтесь просьбы мужа! — вставила Рязанова.— Вам не придется очень хлопотать с нами. Мы привыкли путешествовать.

Я взглянул на барыню. Она была необыкновенно изящна в сером коротком дорожном платье, плотно облегавшем красивый ее стан и не скрывавшем маленьких ножек, обутых в ботинки на толстой подошве, с сумкой через плечо и в крошечной соломенной шляпке, надетой почти на затылок. Она была такая свежая, красивая, статная. Все на ней было изящно и просто. Тонкая струйка душистого аромата приятно щекотала нервы, когда она стояла близко. На подвижном лице ее играла приветливая, довольная улыбка выхоленной женщины, сознающей свою красоту и силу. Теперь она отвечала ласковым взглядом на взгляды, полные любви, бросаемые на нее мужем. Он, казалось, сам расцветал под ее взглядом, тихо разговаривая с ней.

Пробил второй звонок.

Рязанов поцеловал женину руку, потом поцеловался с ней три раза и перекрестил ее. Сына он горячо обнял и тоже перекрестил.

— Смотри, Леонид, скорей приезжай! — говорила Рязанова из вагона.

— Ты знаешь, Hélène, как бы я хотел скорей быть с вами!.. Быть может, в конце июля вырвусь...

— Приезжай, папа! — крикнул сын.

— Приеду, приеду. Кланяйся, Володя, Никите... Твой пони ждет тебя! Ты, Hélène, пожалуйста, не рискуй... Не садись на Орлика, пока его не выездят... С кем ты будешь ездить? С Андреем? Да скажи, пожалуйста, Никите, чтобы он написал мне... Ну, Христос с вами... Прощайте! Прощай, Hélène, до свидания, Володя... Поправляйтесь, Marie... Не шали, Верочка!.. Прощайте, мисс Купер!..

Пробил третий звонок.

Рязанов приветливо махал шляпой, махнул и в мою сторону. Поезд тихо двинулся.

Дорогой я изредка подходил к Елене Александровне, осведомляясь, не могу ли я быть чем-нибудь ей полезен, но она любезно благодарила и говорила, что ей не нужно ничего. В Москве мы остановились на сутки и затем поехали дальше по Рязанской дороге. На третий день вечером мы вышли на маленькой станции, где два экипажа ожидали нас, чтобы везти в деревню. Елена Александровна была не в духе. Она суетилась и жаловалась на усталость. Совершенно напрасно она сделала замечание Володе, распекла горничную и, обратившись ко мне, раздражительно сказала:

— Пожалуйста, поскорей, Петр Антонович... Да что ж вещи?.. Распорядитесь, чтобы скорей их несли!

Я ни слова не ответил на ее выходку... Да и что сказать? Ясно, она глядела на меня, как на «учителя», который, по ее понятиям, почти приравнивался к слуге.

Мне пришлось ехать в экипаже вместе с гувернанткой, Володей и горничной. Всю дорогу я молчал и злился.

XIV

Прелестный уголок был Засижье, куда мы приехали. Огромный старинный дом стоял в тенистом саду с вековыми липами, кленами и дубами. Сад тянулся к маленькой быстрой речке, шумевшей по камням... За речкой шли поля с черневшими крестьянскими избами.

Усадьба была отлично устроена. Дом содержался в порядке и чистоте. Мне отвели прекрасную комнату во втором этаже с балконом в сад. Классная комната была внизу.

С следующего же дня я начал занятия с мальчиком. Он занимался недурно, но был рассеян. Задумчиво глядел он большими черными глазами во время уроков и вздраги-

вал, когда я обращался к нему с вопросами. Со мной он был ласков, но, казалось, я ему не особенно нравился; он никогда не рассказывал мне, что волнует его ребячью голову и о чем он так задумывается; никаких щекотливых вопросов не задавал.

Жизнь в деревне потекла однообразно, правильным порядком. Я рано вставал и ходил гулять, потом пил кофе у себя в комнате, затем часа два мы занимались с мальчиком; остальное время было в полном моем распоряжении. Завтракали и обедали по звонку. Я спускался к завтраку и обеду и скоро уходил наверх. Меня не удерживали внизу и не стесняли. Я держал себя в стороне, обмениваясь короткими фразами с членами семейства.

Елена Александровна в деревне казалась еще красивее, чем в городе. Румянец играл на ее щеках, и она, всегда изящно одетая, свежая, веселая, вела в деревне деятельную жизнь. По утрам беседовала с приказчиком Никитой, умным, плутоватым мужиком, читала, а после обеда устраивала общие прогулки и катания. Меня никогда не приглашали принять в них участие, и я, признаться, был очень рад этому, так как Рязанова продолжала держать себя со мной с любезной сухостью и, казалось, боялась допустить меня стать с членами семейства на равную ногу. Меня, очевидно, третировали как учителя, бедного молодого человека совсем другого круга, которому место не в порядочном обществе. Все члены семейства смотрели Елене Александровне в глаза. Когда она бывала в духе за обедом, все весело шутили и смеялись; но чуть Елена Александровна капризно поджимала губки, хмурила брови и пожимала плечами — все притихали. Старшая ее сестра, немолодая и болезненная женщина, беспокойно взглядывала на нее, подросточек-племянница, бойкая гимназистка, опускала свои быстрые глазки на тарелку, а мисс Купер, аккуратная англичанка, еще более вытягивалась и сидела, точно проглотила аршин. Один только пасынок не разделял общего поклонения. Он очень сдержанно относился к мачехе и, по-видимому, не очень-то ее любил. И она не выказывала большой привязанности к нему, была с ним ласкова, ровна, но между ними теплых отношений не было... Общее поклонение, которым окружали эту барыню, она принимала как нечто должное... Избалованная вниманием, она, казалось, и не могла подумать, чтобы к ней могли относиться иначе. За обедом, отлично сервированным, обильным и вкусным, она изредка обращалась ко мне с двумя-тремя фразами, как бы желая осчастливить учителя, и часто, не дожидаясь

ответов, обращалась к другнм, не обращая иа меия ии малейшего винмаиия. Понятно, это оскорбляло меия, ио я ие показывал вида н держал себя сдержаино и скромио, ие вмешиваясь в разговор и отвечая короткими фразами, если со миой заговаривалн.

Первое время Рязаиова была весела. Каждый вечер до меия доиосились из сада веселый ее смех и болтовия. Оиа ежедневио каталась верхом и, возвратившись, вечером садилась за рояль и пела. У иее был приятный контральтовый голос, н я нередко, сндя одии иа балкоие, заслушивался ее пеннем. В такне вечера мне делалось тоскливо... Злоба и тоска подступали к сердцу, и я особеиио чувствовал, как иехорошо быть бедиым и иезиачительиым человеком... Посмотрел бы я, так ли со миою обращалнсь, если бы я ие был скромиым молодым человеком, наиятым в качестве учителя! Прошло две недели, и Рязаиова стала хандрить, капризиичать и раздражаться. Все было ие по ией. За обедом она приднралась к сестре, к племяииице, распекала лакеев и делала замечаиия Володе, иисколько ие стесияясь моим присутствием. Все сидели молча и с трепетом ждали, когда Елеиа Александровиа успокоится. Меня смешнл этот трепет, особенно смешила сестра Рязановой, которая глядела на свою младшую сестру с благоговейиым восторгом. Одиажды во время обеда, когда Елена Александровиа особеиио капризиичала, я взгляиул иа иее и улыбиулся... Оиа поймала мой взгляд и нзумилась, так-таки просто изумилась. Прошло мгновеиие. В глазах ее мелькиула злая улыбка, но оиа перестала капризиичать и до конца обеда просидела молча.

«Черт меия дериул смеяться! — думал я, досадуя иа себя, что так опростоволосился.— Пожалуй, оиа мие ие простит улыбки, иапишет мужу и... прощай мои иадежды...»

Но, к удивлению моему, иа другой деиь оиа была со мной гораздо любезиее и после обеда, когда, по обыкиовению, я хотел уходить, заметила:

— Ну, что, довольиы вы своим учеииком?

— Доволеи.

— И пнсалн об его заиятиях мужу? — спросила оиа с едва заметиой улыбкой.

— Нет, еще ие писал.

— Вы напишнте. Леоиид Григорьевич так любит Володю, что отчет об его занятнях обрадует его. Ну, а сами вы довольны деревенской жизнью?..

— Очеиь.

— И не скучаете?

— Нет.

— А мне все казалось, что вам должно быть скучно. Вы все сидите у себя наверху и никогда не гуляете.

— Я гуляю.

Разговор не завязывался. Она пристально взглянула на меня и вдруг как-то странно улыбнулась, точно красивую ее головку осенила внезапная мысль.

— Куда же вы? Мы сейчас едем кататься. Хотите? — проговорила она.

Я вспыхнул от этого неожиданного приглашения. Она взглянула на меня, уверенная, что осчастливила несчастного учителя. Явился каприз пригласить его, и он, бедненький, смутился от восторга.

— Благодарю вас, но я бы лучше остался дома. Я хотел пешком идти в лес.

— Не хотите?..— изумилась Елена Александровна.— Как хотите!

Она повернулась и ушла на балкон.

Дурное расположение ее продолжалось. Елена Александровна хандрила. Гостей никого не было, а если бывали, то не интересные — какой-то допотопный помещик с женой и дальние родственники Рязановой. Рязанова, видимо, скучала. Она по целым вечерам каталась верхом и, возвратившись усталая, одевала капот, распускала волосы и лениво прилегала на оттоманку, заставляя подростка играть Шопена.

— Ах, Верочка, ты не так играешь! — доносился снизу ее голос.— Разве можно так барабанить Шопена?

Она садилась за рояль, и рояль начинал петь под ее пальцами. Капризные, страстные звуки доносились до меня. Я выходил на балкон и жадно слушал.

Обыкновенно она скоро переставала, уходила в сад, и долго в тени густого сада мелькал ее белый капот.

Со мной она стала любезней, оставляла меня после обеда «посидеть» и иногда спускалась до шутки.

Барыня, видно, со скуки не прочь была даже пококетничать с учителем. Это я очень хорошо видел и держал себя настороже. Ей забава, а мне может кончиться плохо. С одной стороны — капризная барыня, а с другой — ревнивый муж.

О ревности его я уже догадывался из разговоров, которые вели иногда между собою сестры, смеясь, что они живут в деревне, запертые «Синей бородой».

Наступил июль.

Я не просиживал уже букой наверху, а проводил большую часть времени внизу с дамами, гулял вместе, читал им журналы, ездил иногда верхом вместе с Еленой Александровной и держал себя с почтительной скромностью тайно вздыхающего по ней молодого человека. Это, заметил я, Рязановой нравилось. Я робко иногда взглядывал на молодую женщину и, когда она вскидывала на меня взор, тотчас же опускал глаза, как бы смущенный, что она заметила. Приютившись где-нибудь в уголке, когда Рязанова играла на фортепиано, я задумывался, и, когда она спрашивала о причинах моей задумчивости, я вздрагивал и отвечал, как будто застигнутый врасплох. А она как-то весело усмехалась и, казалось, принимала мое почтительное ухаживание снисходительно, как маленькое развлечение от деревенской скуки, тем более что она не допускала и мысли, чтобы скромный учитель *смел* когда-нибудь обнаружить чувства, волнующие его.

Меня интересовала эта игра, я с затаенной улыбкой смотрел, как эта капризная, избалованная женщина, самоуверенная, гордящаяся своей красотой, снисходила к скромному молодому человеку, уверенная, что он тайно влюблен в нее и что достаточно одного ласкового слова с ее стороны, чтобы осчастливить его. И Рязанова иногда дарила меня этим счастьем! Она бросила прежний тон и сделалась ровна, ласкова, покровительственно-ласкова. Ей, кажется, было забавно и весело видеть молчаливого и застенчивого учителя (она считала меня застенчивым), робко поднимающего на нее глаза и как-то осторожно отодвигающегося от нее, когда она удостоивала присесть рядом. Она продолжала свою забаву, вполне уверенная, что в ней нет никакой опасности. Ей и в голову, конечно, не могло прийти, чтобы из этого могло выйти что-нибудь серьезное; она иногда брала меня с собой верхом, и мы носились как бешеные вдвоем по лесу.

Сестра Елены Александровны, познакомившись со мной поближе, была необыкновенно ласкова. Эта добрая, больная женщина, вечно с удушливым кашлем, жалела «молодого человека, разлученного с семьей», расспрашивала о матери и сестре с женским участием и за завтраком и обедом хлопотала, чтобы я больше ел, и по нескольку раз приказывала подавать мне блюда. Все принимали меня за скромного тихоню, и я, разумеется, не стал разуверять их. Мисс Купер, пожилая англичанка, очень чопорная и щекотливая, и та находила, что я благовоспитанный мо-

лодой человек, и однажды вызвалась похлопотать за меня о месте гувернера в каком-нибудь «вполне приличном» доме. Только подросток-гимназистка да Володя как-то сухо относились ко мне и редко со мной разговаривали; ну, да это меня не заботило. Мальчик занимался очень хорошо; я написал два письма Рязанову об его успехах и получил от него в ответ благодарственное письмо. После оказалось, что Елена Александровна написала обо мне лестный отзыв, как о скромном молодом человеке, не похожем на обыкновенных учителей-студентов.

От Софьи Петровны я получал письма по два раза в неделю. Письма ее заключали в себе одни любовные излияния и скрытную ревность. Я читал их, рвал и изредка отвечал, отговариваясь занятиями. Несколько раз хотел я написать Соне, что между нами все кончено, но как-то не решался. Лучше, думал я, исподволь приготовить бедную женщину и написать ей после лета, что я уезжаю на Кавказ, что ли, и не скоро вернусь.

Ко мне в Засижье мало-помалу так привыкли, что, когда я после обеда долго засиживался наверху, за мной посылали, и Елена Александровна капризно спрашивала:

— Что вы там делаете, Петр Антонович? Мы ждем вас, хотим читать!

Я садился за чтение, в то время как дамы работали, а Верочка вертелась на стуле, вызывая строгие взгляды тетки.

XV

Был чудный июльский вечер. Дневная жара только что спала. В воздухе потянуло приятной свежестью и ароматом цветов и зелени. Все ушли гулять. Елена Александровна осталась дома; ей нездоровилось, и она просила меня почитать ей.

Она сидела на балконе, в капоте, с распущенными волосами, протянув ноги на подушки, и слушала повесть, в которой описывалась какая-то добродетельная женщина, не любившая мужа, но верная своему долгу и не поддавшаяся искушению любви. Когда я кончил, Елена Александровна задумчиво глядела в сад, играя махровой розой.

Я встал, чтобы уйти, но она остановила меня:

— Куда вы? Посидите.

Мы молчали несколько минут. Я смотрел на нее. Она заметила мой взгляд и улыбнулась.

— Нравится вам повесть? — спросила она.

— Нет,— ответил я.— Мне кажется, автор выбрал неестественное положение.

— Чье?

— Жены. Если она не любила мужа, кто же мешал ей...

— Оставить его?..— перебила она.

— Нет. Сказать ему об этом.

Она усмехнулась.

— Разбить чужую жизнь? Нет, автор прав, молодой человек. Порядочная женщина должна поступить так, как поступила эта женщина! — сказала она горячо и вдруг замолчала.

— И наконец, довольно того, что она позволяла любить себя другому,— проговорила она задумчиво,— любить светлой, высокой любовью, как может любить только чистая, неиспорченная юность.

Она поднялась с кресла, жмуря глаза, потягиваясь и изгибаясь всем телом с грацией кошки, нежащейся под лучами солнца, взглянула на меня и весело заметила:

— Какой еще вы юный мальчик! Вам сколько лет?

— Двадцать три! — серьезно проговорил я.

— Двадцать три! как много! — пошутила она над моим серьезным ответом.

Она тихо усмехнулась и вышла с балкона, забыв на столе цветок, который держала в руках.

Не прошло и минуты, как она вернулась. Я быстро отдернул розу от своих губ и казался смущенным. Она взглянула, усмехнулась и не сказала ни слова. Я сидел, опустив голову, точно виноватый. Меня забавляла игра с этой кокеткой — забавляла и наполняла сердце каким-то злорадством. Мне нравилось, что она верит; мне приятно было, что эта светская, блестящая барыня, сперва третировавшая меня, как лакея, теперь держит себя на равной ноге и даже намекает о своей неудавшейся жизни с мужем. Конечно, она бесилась, что называется, с жиру, вообразила о своем несчастии от скуки. Сытая, богатая, окруженная общим поклонением, не знавшая, куда девать время,— мало ли каких глупостей не лезло ей в голову? А тут, под боком, молодой, свежий и, по совести сказать, далеко не уродливый малый, с пробивающимся пушком на румяных щеках, не смеющий поднять глаз на блестящую барыню и втайне по ней страдающий. Положение интересное для такой милой бездельницы, как она! Можно поиграть, позабавиться, пощекотать нервы двадцатитрехлетнего «мальчика» крепким пожатием, нежным взглядом, тонким, опьяняющим арома-

том, которым, казалось, было пропитано все ее существо; пожалуй, пощекотать и свои нервы и потом забыть, как прошлогодний снег, несчастного учителя и с веселой усмешкой рассказывать какой-нибудь подобной же бездельнице, как смешон был этот медвежонок, осмеливавшийся робко вздыхать и вздрагивать в присутствии красавицы. Если я поступал неискренно, то у меня по крайней мере было оправдание. Я хотел ей понравиться, чтобы через мужа добиться положения, а она... Что оправдывало эту барыню, опытную светскую женщину двадцати шести-семи лет? Что заставляло ее как бы нечаянно спускать косынку с плеч и повертывать голыми плечами перед «скромным мальчиком», заставляя его вздрагивать не на шутку?

А с каким презрением эта же самая женщина говорила иногда о безнравственности прислуги; как жестока она была в своих приговорах, когда вопрос касался какой-нибудь девушки, оставившей родительский дом! Тогда глаза ее сверкали злостью, и она говорила о «нравственном падении» с патетической восторженностью, отыскивая во всем грязную сторону и относясь к «непорядочным» людям с нескрываемым презрением, хотя и была деятельным членом какого-то благотворительного общества.

«Вот она,— нередко думал я, весело усмехаясь,— этот образец добродетели, эта ненавистница мужчин, какою рекомендовал мне ее шут гороховый Остроумов! Она не прочь «пошалить» с «мальчиком», но так «пошалить», чтобы все было прилично и чтобы никто не смел кинуть камень осуждения в эту добродетель, защищенную богатством, связями и изящными формами».

Заметив мое смущение, Елена Александровна приблизилась ко мне и тихо проговорила:

— Что это вы задумались и повесили голову? Верно, деревня уже надоела вам и вам хочется скорей в Петербург? Кстати, извините за вопрос, вы знаете, женщины так любопытны,— добавила она, смеясь,— с кем это вы ведете такую деятельную переписку? Каждую неделю мне подают два-три письма из Петербурга на ваше имя.

— Это старая тетка мне пишет.

— Советует, верно, не скучать в деревне?

— Я не скучаю!..— прошептал я.

— Не лгите!.. Какое же вам веселье здесь? Вот, впрочем, скоро приедет муж, и тогда вы будете с ним в пикет играть. Вы играете?

— Играю.

— Все веселее будет! — подсмеивалась она.— Не правда ли?

Я поднял на нее глаза. Она стояла такая веселая, свежая, блестящая и так кокетливо улыбалась. Я пристально и смело посмотрел на нее, и вдруг лицо ее изменилось. Куда девалась кокетливая ласковая улыбка! Она нахмурилась и взглянула на меня строгим, надменным взглядом, точно наказывая меня за смелость, с которою я взглянул на нее, и показывая, какое огромное расстояние разделяло меня от нее, Елены Александровны Рязановой, супруги Леонида Григорьевича Рязанова, видного деятеля и чиновника-аристократа.

Она ушла с балкона, не проронив ни слова и не дожидаясь ответа на свой вопрос, села за рояль и долго играла в темной зале, играла порывисто, бурно, словно бы негодуя на что-то.

Я сидел, прижавшись в углу, и слушал.

Она оборвала резким аккордом какую-то бравурную арию, вышла на балкон и, облокотившись на перила, перегнулась станом, глядя в темневшую глубь сада. Ее белая стройная фигура резко выделялась в темноте. Она простояла долго, не оборачиваясь, и, проходя назад, повернула голову в мою сторону и проговорила строго:

— Вы еще здесь? Подите, пожалуйста, взгляните, не идут ли наши? Уже поздно!

Скоро пришли все с прогулки и сели за чайный стол. Елена Александровна была не в духе; зато сестра ее Марья Александровна, по обыкновению, пододвигала мне хлеб и масло, удивлялась, что я мало ем, и спрашивала, отчего я такой скучный.

— Верно, от матушки давно писем не получали? — заметила она ласково.

— Да,— отвечал я.

Елена Александровна подняла на меня глаза, и, показалось мне, усмешка пробежала по ее губам.

«Смейся, смейся! — думал я.— Смейся, сколько тебе угодно!»

Первые дни после этого вечера Елена Александровна выдерживала свой строгий тон и почти не говорила со мной, думая, конечно, что наказывает меня за дерзость, обнаруженную мной несколько дней тому назад, но через несколько дней она смягчилась и стала любезней. Ее точно забавляло дразнить меня, и она нередко меняла обращение: то была любезна, кокетлива, внимательна, то вдруг снова третировала меня с небрежностью гордой барыни и даже бывала

дерзка, так что Марья Александровна не раз пожимала плечами и с укором шептала, взглядывая на сестру впалыми большими глазами:

— Hélène! Hélène!

Раз я даже слышал, притаившись в саду, как Марья Александровна допрашивала сестру:

— За что ты так притесняешь бедного Петра Антоновича? Ты иногда бываешь просто невозможна с ним.

— Будто?

— Он прекрасный молодой человек. Такой скромный, такой внимательный и, кажется, несчастный! За что такое обращение?

— Уж не нравится ли он тебе? — И Елена Александровна залилась смехом.— Ты так горячо его защищаешь.

— Hélène! Что за вздор! Как тебе не стыдно говорить глупости? Мне просто жаль его. Я удивляюсь, как еще он выносит твое обращение.

— Еще бы! — как-то самоуверенно сказала она.— Смел бы не выносить!..

— Ты просто взбалмошная женщина! — с сердцем проговорила сестра.

— Может быть; только напрасно ты так жалеешь этого... сурка. Он вовсе не так скромен, как кажется. Карие его глаза часто бегают, как мышонки. Ну, да бог с ним!

И разговор сестер смолк.

Я слушал и злился. Злился и хотел проучить эту женщину. Но как проучить, в этот момент я не давал себе отчета.

Я стал реже спускаться вниз. Когда Елена Александровна приглашала меня «поскучать вместе», я отговаривался спешной работой, которую будто бы должен приготовить для Остроумова. Рязанова пристально взглядывала на меня, точно изумляясь моему стоицизму. Ей хотелось продолжать шалить, а я настойчиво уклонялся. Она стала капризна и раздражительна. Очевидно, ей было скучно. Целую неделю я выдержал добровольное затворничество, и когда Рязанова, недоверчиво улыбаясь, спрашивала: «А вы все работаете?» — я отвечал, что «все работаю».

Однажды после обеда Марья Александровна с Верочкой и мисс Купер собрались на озеро смотреть рыбную ловлю. Звали Рязанову, но она сказала, что поедет кататься верхом, и приказала седлать Орлика.

— С кем же ты поедешь, Hélène? Андрей болен.

— С кем? — переспросила она и прибавила: — Петр Антонович меня проводит.

Марья Александровна с укором взглянула на сестру. Действительно, тон Рязановой был небрежен и резок.

— Но, быть может, Петр Антонович не может. Он кончает работу...

— Он, верно, кончил! — проговорила Рязанова.— Хотите провожать меня? — повернулась она вдруг ко мне, окидывая быстрым ласковым взглядом, резко отличавшимся от небрежного тона ее слов.

— С большим удовольствием!

Марья Александровна пожала плечами, видя, как безропотно я согласился, а Верочка и Володя даже сердито взглянули, изумляясь покорности и безответности перед этим небрежным приказанием.

Рязанова взглянула на сестру с усмешкой, точно хотела сказать: «Видишь, какой он послушный!»

Марья Александровна с детьми уехала на озеро, а мы выехали на дорогу и тотчас же свернули в лес, большой густой лес, тянувшийся верст на пятнадцать.

Сперва мы ехали шагом, молча. Елена Александровна была серьезна. Я искоса взглядывал на барыню: она была очень хороша в амазонке; высокая шляпа, надетая набекрень, удивительно шла к ней. Стройная, изящная, красивая, блестевшая под лучами солнца, она прекрасно сидела на красивом коне и точно чувствовала, что ею любуются.

— Ну, не отставайте от меня! — проговорила она, подтянула поводья, взмахнула хлыстиком, пустила лошадь рысью, потом в галоп и понеслась по лесу.

Мы скакали по лесной дороге, среди густой чащи деревьев, сквозь которую едва пробивалось солнце. В лесу было свежо и несло смолистым ароматом. Рязанова неслась впереди как бешеная, подгоняя лошадь хлыстом, когда Орлик уменьшал бег. Я едва поспевал за ней; в моих глазах мелькал только развевавшийся длинный вуаль. Мы углублялись все дальше и дальше в чащу, а Рязанова все неслась как сумасшедшая... Наконец я стал отставать. Она обернулась назад, взмахнула хлыстом и скрылась из моих глаз...

Когда наконец я догнал ее, она ехала шагом, опустив поводья. Орлик был весь в мыле, и она ласково трепала его благородную шею. Елена Александровна раскраснелась и прерывисто дышала... Глаза ее блестели и улыбались; полуоткрытые губы слегка вздрагивали.

— Благодарите меня,— проговорила она, смеясь, когда я подъехал к ней,— что я позволила вам догнать себя, а то бы ехали вы теперь один-одинешенек... Ах, как хорошо здесь... в лесу! — прибавила она, заворачивая лошадь

в узкую тропинку, по которой едва можно было проехать двоим.

Она поехала вперед, я ехал сзади. Так ехали мы несколько минут. Наконец Рязанова обернулась:

— Что ж вы сзади?.. Мне поболтать хочется...

Мы поехали рядом; наши лошади почти касались друг друга.

Она посмотрела на меня, улыбаясь какой-то странной улыбкой, и сказала:

— А вы все еще сердитесь?

— Я не сердился...

— Ну, ну, не сочиняйте, скромный юноша; точно я не знаю, что у вас никакой работы нет. Ведь правда? — шепнула она, нагибаясь ко мне.— Правда?

— Правда! — еще тише проговорил я.

— То-то! Ведь я все вижу,— сказала она и засмеялась.

Тон ее был особенный: ласковый и в то же время резкий. Она глядела на меня каким-то загадочным, странным взглядом, продолжая улыбаться. Я ощущал в это время обаяние близости этой женщины. Казалось, между нами не было теперь никаких преград, и я свободно любовался ее пышным станом, ее разгоревшимся лицом, ее маленькой ручкой. Она позволяла мне любоваться ею, точно испытывая силу своего очарования.

Мы все подвигались вперед. В лесу было так хорошо и свежо. Только треск под копытами сухого валежника нарушал торжественную тишину леса. Впереди, на полянке, показалась маленькая полуразвалившаяся изба, густо заросшая вьющимся хмелем.

— Я устала. Отдохнем здесь! — проговорила Рязанова.

Я спрыгнул с лошади и помог ей сойти. Когда я обхватил ее стан, руки мои вздрагивали.

Я привязал лошадей. Елена Александровна вошла в избу и присела на лавке у окна.

— Тут прежде лесник жил,— заметила она и задумалась.— А вы что стоите? Садитесь! — резко сказала она.

Я сел около, молча любуясь ею. Она сдернула краги, облокотилась на окно и глядела в лес, вся залитая багровыми лучами заходившего солнца. Я любовался ею и видел, как тяжело вздымалась ее грудь, как вздрагивали ее губы.

— Что же вы молчите? — повернула она свою голову.— Говорите что-нибудь... Посмотрите, как хорошо здесь!

Но что я мог сказать?

— Какой вы... смешной! Что вы так смотрите, а? Говорите же что-нибудь, а то вы так странно молчите! Ну, рас-



«Похождения одного благонамеренного молодого человека...».
Художник Ю. Гершкович

сказывайте, отчего вы так сердились на меня? Теперь не сердитесь, нет? — говорила она странным шепотом, вовсе не думая о том, что говорит.

Но вместо ответа я вдруг схватил ее руку и покрыл ее поцелуями. Она не отдернула руки, и я чувствовал, как рука ее дрожала в моей. Я взглянул на нее. Она сидела, улыбаясь все тою же загадочной улыбкой, с полуоткрытыми губами. Глаза ее подернулись влагой. Вся она словно млела.

У меня застучало в висках. Я вдруг почувствовал, что эта женщина моя, обнял ее и стал покрывать поцелуями шею, лицо, грудь... Она тихо смеялась, замирая в моих объятиях.

«Что, теперь не смеешься?» — думал я, когда через четверть часа помогал Рязановой садиться на Орлика. Она старалась не глядеть на меня. Передо мной теперь была уже не капризная, гордая барыня, а усталое, нежное создание, склонившее голову.

Мы ехали молча. Но скоро она погнала лошадь и помчалась из лесу как сумасшедшая. Когда я вернулся домой, Орлика уже водили по двору.

На следующий день, встретившись за завтраком, Елена Александровна держала себя как ни в чем не бывало. Она сухо поздоровалась со мною и сказала несколько слов. С этого памятного вечера обращение ее сделалось еще суше и резче. Она редко говорила со мной, и если говорила, то небрежным тоном, третируя меня как несчастного учителя, что приводило добрую Марью Александровну в огорчение. Я редко оставался внизу и продолжал относиться к Рязановой с почтительной вежливостью учителя; мое обращение ей, видимо, нравилось. После обеда мы часто ездили кататься и заезжали в избушку, а через несколько времени, когда ночи стали темней, я лазил из сада к ней в спальню, и она ждала меня, встречая горячими объятиями, тихим смехом и сладостным лепетом...

Я торжествовал. Самолюбие мое было удовлетворено. Эта светская барыня, третировавшая меня днем, была моей послушной любовницей ночью, делала сцены ревности, когда я пропускал одну ночь, говорила, что только в моих ласках она поняла счастие любви. Ни одна душа не догадывалась о наших отношениях. Такой скромный любовник, как я, и нужен был этой женщине, боявшейся светской молвы как огня.

XVI

Наступил август.

В одно прекрасное утро была получена телеграмма, что приедет Рязанов. Елена Александровна казалась очень обрадованной и веселой. Я, признаться, струсил. А вдруг она в порыве признается мужу? Я намекнул ей об этом. Она весело расхохоталась и шепнула:

— Глупый! Разве я отпущу тебя? — и прибавила: — мы будем опять кататься верхом!

Рязанов приехал, веселый и довольный; в последнее время Рязанова часто писала ему и звала его приехать. В течение месяца, который пробыл Рязанов в деревне, он был постоянно весел и счастлив. Елена Александровна как будто изменилась: не капризничала, не делала мужу сцен и даже позволила ему спать в спальне. Он благодарил меня за занятия с сыном и был предупредителен со мной.

После обеда он нередко просил меня ехать кататься с его женой и часто делал замечания Елене Александровне за то, что та недостаточно со мной любезна... По вечерам мы играли с ним в пикет. Рязанов все более и более ко мне привыкал и однажды спросил меня, не желаю ли я служить? Я, конечно, пожелал.

— Мне нужен секретарь! — сказал он.— Вы пишете хорошо. В скромности вашей я уверен, в трудолюбии тоже. Хотите?

Я, конечно, рассыпался в благодарности.

— Работы у вас будет много, но жалованье у нас невелико. Впрочем, мы пособим и этому. Я вам еще устрою место в правлении железной дороги... так что вы будете получать тысячи три, а впереди дорога для вас открыта... Такой способный молодой человек, как вы, не может остаться незамеченным.

Он попробовал меня, дал составить резюме из огромной докладной записки и остался очень доволен моей работой...

— Что же касается до взгляда на службу, то едва ли мне нужно говорить с вами, Петр Антонович. Вы, кажется, понимаете, что на службе личные убеждения надо спрятать в карман и... исполнять волю пославшего тя...— заметил он улыбаясь.— Впрочем,— прибавил он,— у вас такта довольно. Главное — такт... Без такта служить нельзя...

Когда на другой день мы ехали по лесной глуши с Еленой, то она сказала:

— Предлагал муж тебе место?

— Да... и этим я, конечно, обязан вам?

Она засмеялась, как ребенок, веселым смехом и проговорила:

— Вы всем обязаны себе, мой красивый и скромный Ромео!..

Она весело болтала, рассказывала, как сделает меня секретарем благотворительного общества, в котором она председательствует, как мы будем ездить вдвоем посещать бедных и как она будет смотреть, чтобы я в Петербурге вел себя хорошо...

А я?.. Я ехал и думал, как скоро судьба помогла мне. Прошел год с тех пор, как я приехал в Петербург, и я уже вышел на дорогу... Впереди — дорога открытая, и от меня будет зависеть не сходить в сторону. С Соней я уже покончил. Недели две тому назад я наконец написал ей письмо, в котором писал, что отношения наши кончены, что мы не пара. Письмо было убедительное, и я уверен был, что Соня поймет и примет его как неизбежный конец наших отношений. Меня только удивляло, что я не получал никакого ответа.

При сравнении ее с блестящей, красивой Еленой, маленькая Соня казалась такой невзрачной мещаночкой, такой глупенькой, смешной...

Елена весело болтала. В это время, в нескольких шагах от нас, из леса вышла толпа крестьянских мальчишек, окружавших высокую, стройную фигуру девушки. Невдалеке от них шел какой-то пожилой рыжебородый господин в высоких сапогах.

Мы поравнялись с толпой, и в изящной девушке я узнал Екатерину Нирскую. Она весело разговаривала с мальчишками, и, когда подняла голову, я поклонился ей; она вдруг побледнела, едва кивнула на мой поклон и с презрением отвернулась от меня. Я был изумлен, когда до моих ушей долетели ее слова, произнесенные с ироническим смехом:

— Это тот самый скромный молодой человек!

— Вы знаете Нирскую?! — изумилась Рязанова.

— Знаю. Я был чтецом у ее бабушки!

— А!.. Она живет верстах в десяти от нас, в деревне. Странная девушка! Оригинальничает!.. Открыла школу и возится с этими пачкунами,— произнесла она, презрительно щуря глаза.— Нравится она вам?

— Нет.

К счастию, Рязанова не слыхала слов, произнесенных Нирской, и не входила в дальнейшие объяснения. Она взмахнула хлыстом; мы понеслись вперед и скоро свернули в глухую тропинку.

Дня через два, когда я сидел у себя наверху, лакей сказал мне, что какой-то господин желает меня видеть. Я недоумевал, кто бы это мог быть, и удивился, когда через несколько минут в комнату вошел тот самый рыжебородый господин в высоких сапогах, которого я на днях встретил в лесу. Лицо его напомнило мне Соню, что-то похожее было. Господин взглянул холодно и проговорил:

— Вы господин Брызгунов?

— Я! Что вам угодно?

Я хотел было протянуть руку, но господин держал руки засунутыми в карманах.

— Моя фамилия Иванов. Я двоюродный брат Сони Васильевой! — проговорил он.

Я струсил. Он, должно быть, заметил это, как-то презрительно усмехнулся, помолчал и тихо начал:

— Соня больна. Она получила ваше письмо и слегла в постель.

— Если надо, я поеду навестить ее,— проговорил я.

— Послушайте, зачем же вы ее обманывали? — как-то грустно проговорил господин.

Я начал было оправдываться, но он остановил меня:

— Я знаю все от сестры. Она давно догадывалась, что вы не любите ее, и просила разузнать о вас. Я недалеко живу, на фабрике. Я слышал, как вы любезничали с этой барыней в лесу, и написал Соне, чтобы она забыла вас, но вы продолжали писать ей жалкие слова и наконец написали письмо, жестокое письмо. Она сообщила мне его содержание, но просила ничего вам не говорить.

Он умолк и как-то грустно взглянул на меня.

— Вы так молоды, а между тем так поступили с бедною женщиной! А она надеялась! Ее письма дышали такою любовью к вам! Впрочем, не в том дело. Вчера я получил телеграмму от доктора, что она опасно больна. Она выкинула ребенка, и жизнь ее находится в опасности.

— Я поеду к Софье Петровне, если вы находите это необходимым, и успокою ее.

Он пристально оглядел меня с ног до головы и повторил:

— Если я нахожу необходимым? А вы... вы не находите это необходимым?! — вдруг крикнул он, подходя ко мне вплотную...

Я подался назад, заметив, как вдруг лицо его исказилось злобою и стало белей полотна...

Он стоял как бы в раздумье, стиснув зубы, и снова спросил:

— А вы... вы не находите необходимым?

Я инстинктивно схватился за стул. Он окинул меня презрительным взглядом и тихо прошептал:

— Господи! Такой молодой и такой подлец!

С этими словами он тихо вышел из комнаты.

Злоба душила меня. Я хотел было броситься на него, но вспомнил, что внизу занимался Рязанов, и употребил чрезвычайные усилия, чтобы остаться на месте.

Я припал на постель и долго не мог прийти в себя. Через несколько часов я был спокоен и дал себе слово никогда не забыть этого человека и припомнить ему оскорбление.

И что я такое сделал? Разве я обязан был вечно нянчиться с этой влюбленной дурой и смотреть, как она чинит мое белье?

Это по меньшей мере было бы глупо.

В сентябре я приехал с Рязановыми в Петербург и скоро получил обещанное место. Жизнь моя изменилась. Я жил в приличной квартире, держал лакея, работал, познакомился с порядочными людьми и принимал у себя тайком Рязанову. Я достиг своей цели и мог сказать наконец, что живу так, как люди живут... Будущее манило меня блестящими картинами, а пока и настоящее было хорошо. Ко мне все относились с уважением; чиновники заискивали в секретаре Рязанова, а сам Рязанов не чаял во мне души и радовался, как дурак, когда через восемь лет супружества у него наконец родился сын...

Те самые люди, которые год тому назад не протянули бы мне руки, теперь относились с уважением к солидному молодому человеку, принятому в порядочном обществе. У меня было положение, была будущность; оставалось приобрести состояние, и я решил, что и оно у меня будет...

Через год я увидал Соню. Однажды я шел по улице и встретил ее. Она была такая же пухлая и свежая, но теперь лицо ее показалось мне слишком вульгарным. Я приветливо поклонился ей, но она вдруг побледнела, взглянув на меня, и прошла, не ответив на мой поклон. Я только пожал плечами и усмехнулся.

Я съездил в свое захолустье, к матушке, и застал ее в большом горе. Лена, как я и предвидел, кончила скверно, отыскивая какую-то дурацкую свою «правду».

Я старался успокоить старушку, но она была безутешна и все просила меня похлопотать за нее у Рязанова.

Но разве мог я, не компрометируя себя, просить за сестру, и у кого? У Рязанова?

Разве я мог сказать слово в защиту глупой, смешной девчонки?

Я старался объяснить это матушке, но она как-то странно посмотрела на меня, залилась слезами и с укором заметила:

— Петя, Петя! Что сказал бы твой отец?

— Покойный отец был непрактичный человек, маменька!

— А ты... ты слишком уж практичный! — грустно прошептала она и простилась со мною очень холодно.

Глупая старушка!

Она не понимала, что я был прав и что в жизни бывают положения, когда надо заставить молчать сердце и жить рассудком. Благодаря тому что я жил рассудком, я выбился из унизительного положения.

Прошло несколько лет, я расстался с Рязановой. Уж очень ревнива стала она, и наконец связь наша могла компрометировать меня в глазах общества.

Она стала упрекать меня, говорила, будто я погубил ее, но, как умная женщина, скоро поняла, что говорит глупости. Елена Александровна, впрочем, утешилась, отыскав другого юного любовника...

Я имел положение и средства. Я был счастлив.

Оставалось увенчать счастие семейной жизнью, и я стал приискивать приличную невесту...

Вспоминая прошлую жизнь, я с гордостью могу сказать, что обязан всем самому себе, гляжу на будущее с спокойствием и трезвостью человека, понимающего жизнь как она есть.

Только сумасшедшие, дураки или блаженные вроде Лены могут погибать в житейской борьбе, не добившись счастия.

Умный и практичный человек нашего времени никогда не останется наковальней.

Жить, жить надо!

1879

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ КОМЕДИЯ

I

Заседаиие «Общества для пособия истиино бедиым и иравствеииым людям» было иазиачеио ровио в два часа в квартире члеиа общества, Елеиы Николаевиы Красиогор-Ряжской.

Елеиа Николаевиа сама присмотрела, как в залу виесли большой стол, иакрыли его зелеиым сукиом и вокруг расставили кресла. Затем оиа прииесла из своего кабииета малеиькую изящиую чериильиицу и крохотиый звоиок с броизовым амуром для председательиицы и собствеииоручио разбросала по столу чистеиькие экземпляры отчета, листки почтовой бумаги и очииеииые фаберовские караидаши. Окоичив эти заиятия, Елеиа Николаевиа окииула довольиым взглядом стол и подошла к зеркалу посмотреть иа себя. Зеркало без малейшей лести показало ей хорошеиькую молодую жеищиию в чериом фае, гладко обливавшем стройиый стаи. Темиые локоиы, спускавшиеся к плечам, оттеияли матовую белизиу личика с тоикими чертами, чуть-чуть подиятым иосиком и парой карих улыбающихся глазок. Веселое выражеиие № 1 очеиь шло к этой подвижиой физиоиомии. Елеиа Николаевиа осталась довольиа иумером первым и сделала миму № 2, мечтательио-задумчивую. Глаза перестали улыбаться и глядели куда-то вдаль через зеркало, розовые, ие без зиакомства с кармииом, губки сжались в иитку, белый высокий лоб подериулся морщиииками.

Елеиа Николаевиа иашла, что и № 2-й был иедуреи. Оиа собиралась было перейти к № 3-му, как из прихожей мягко звякиул звоиок. Елеиа Николаевиа отпорхнула от зеркала с легкостью ласточки и, опустившись иа угловой диваичик, стала виимательио штудировать изящиую бро-

шюрку полугодового отчета, посматривая, однако, одним глазком повыше страниц.

Знакомые шаги медленной, уверенной походки заставили Елену Николаевну сделать гримасу № 5, более знакомую супругу, чем публике, отложить брошюру в сторону и бросить недовольный взгляд на проходившего мужа, бледного, серьезного, пожилого господина лет сорока с хвостиком.

— Опять? — тихо процедил он сквозь зубы, кисло улыбаясь и косясь на стол.

— Что опять?

— Говорильню устраиваете?

Карие глазки сощурились, лицо подернулось выражением № 4, снисходительного презрения, и тихий, не без иронической нотки голос проговорил:

— Ты, Никс, верно, опять не в духе... Что твоя печень?

Муж на ходу полуобернулся, взглянул на жену серыми, полинявшими от департаментского воздуха глазами таким взглядом, в котором всякая другая женщина, кроме жены, легко прочитала бы «дуру», и, не соблаговолив комментировать своего взгляда, той же медленной, уверенной походкой прошел в кабинет.

— Моя печень? — повторил он вслух.— Моя печень! Очень нужна ей моя печень!

Он присел к столу, придвинул к себе бумаги, взял своими длинными, прямыми пальцами такой же длинный, прямой карандаш и стал читать.

«Удивительно стала беспокоить ее моя печень!» — пронеслось в голове его превосходительства в последний раз, и он углубился в бумаги.

Надо полагать, что Елена Николаевна была права, выказывая заботливое участие к печени своего мужа, так как лежавший перед ним доклад подвергался таким помаркам, а надписи, восклицательные и вопросительные знаки ставились им в таком изобилии, точно перед господином Красногор-Ряжским лежал не доклад о «строптивом столоначальнике», а манускрипт русского литератора.

«Строптивый столоначальник», позволивший себе в соборе губернского города N подойти к кресту раньше другого, старшего чиновника, и не уступивший места, несмотря на сделанное ему по сему предмету предложение, в докладе, составленном на основании местных донесений, являлся лишь в образе «строптивого» столоначальника, за что господин докладчик и «полагал бы» уволить столоначальника от службы, с тем чтобы впредь его никуда не

принимать. Но под бойкими литерами карандаша его превосходительства «строптивый столоначальник» мало-помалу терял строптивость за счет неблагонамеренности и начал постепенно принимать образ, более похожий на провинциального Мазаниелло, чем на удрученного семейством, солидного, хотя и «строптивого столоначальника».

Карандаш резво шалил по докладу, вычерчивая сбоку краткие сентенции, вроде «для примера прочим», «снисхождение, как учит нас опыт, не всегда приносит плоды», «важен не самый факт, а подкладка его» и тому подобное. В заключение длинный, прямой и уже притупленный карандаш «в свою очередь полагал бы» строптивого столоначальника...

На этом карандаш замер в руке его превосходительства.

Господин Красногор-Ряжский послал ко всем чертям «строптивого столоначальника», с сердцем отодвинул бумаги и стал прислушиваться. Из соседней комнаты долетали слабые звуки голоса... Его превосходительство поморщился, встал, подошел к дверям и тихонько их приотворил...

В его ушах ясно раздавался ненавистный голос «долговязого» секретаря, рассказывавшего нежным тенором di grazia[1] трогательную повесть о посещении первого участка истинно бедных и нравственных людей. Голос его то возвышался до негодующих нот, то замирал, то переходил в тихое журчанье...

— Каналья! Как он поет этим дурам! — прошептал господин Красногор-Ряжский, и его желтое лицо перекосилось в злую усмешку.

Господину Красногор-Ряжскому с чего-то вообразилось, будто пара прелестных глаз Елены Николаевны непременно должна в эту самую минуту смотреть на оратора с выражением № 1. Как бы он желал удостовериться и незаметно посмотреть! Но это было невозможно, неприлично. Он с сердцем затворил двери и заходил по кабинету. «То-то стала нужна ей моя печень!» — проносилось у него в голове, и вслед за тем перед глазами его превосходительства мелькали такие нумера взглядов супруги, которые часто останавливались на многих молодых людях и только раз в месяц на нем самом, именно двадцатого числа, когда господин Красногор-Ряжский выдавал Елене Николаевне деньги на домашние и личные ее расходы.

[1] лирическим *(ит.)*.

Он наконец присел к столу, взял снова карандаш и стал проделывать с бедным строптивым столоначальником такие ужасные комбинации, после которых, казалось, строптивость должна была вовсе исчезнуть из обращения в том ведомстве, где служили господин Красногор-Ряжский и строптивый чиновник.

II

— И главное, отрадно то, милостивые государыни,— говорил между тем секретарь «Общества для пособия истинно бедным и нравственным людям», высокий (но вовсе не «долговязый») молодой человек с вкрадчивыми голубыми глазами и светлыми волосами,— отрадно то, что факты свидетельствуют о плодотворной деятельности нашего, едва окрепшего младенца-общества. Пусть скептики указывают на узкие будто бы рамки нашей деятельности, но я смею, милостивые государыни, надеяться, что дешевый скептицизм не смутит нашей энергии. *(Разумеется! Разумеется!)* Если мы поможем хотя десяти истинно бедным и нравственным людям, возвратив обществу действительно полезных его членов, то мы сделаем, милостивые государыни, действительную услугу и обществу и возвращенным в него членам, хотя, конечно, не в состоянии будем хвалиться тем обилием вспомоществований, которым щеголяют отчеты общества «Утоли моя нужды»... *(Очень хорошо!)*

Секретарь сделал паузу, встряхнул головой, словно бы желая сбросить с нее какую-то тяжесть, поискал подбородком, на своем ли месте белоснежные воротнички рубашки, взглянул на Елену Николаевну и на всех «милостивых государынь», внимательно вперивших взоры в оратора, откинулся назад, потом подался вперед, сделал тот известный жест (протягивания руки вперед и несколько кверху, ближе к небу), которым артисты Александринского театра обыкновенно предупреждают публику о патетическом монологе, и быстро разразился следующей тирадой:

— Милостивые государыни! Благодаря самоотвержению, с которым вы, часто с опасностью жизни... да, я могу сказать это: с опасностью жизни, идете навстречу людским страданиям, и с гуманностью, отличающей наш век, не гнушаетесь снять перчатку, чтобы подать руку помощи нравственности, готовой поскользнуться, наши дружные

усилия дали блестящие результаты, и мы вправе сказать себе в глубине сердца, указывая на тех лиц, которые вырваны нашими усилиями из бездны нищеты и порока: наше семя не пало на каменистую почву. Голодные накормлены, сирые призрены, несчастные утешены. Какая награда может быть выше этого?! — заключил речь секретарь, опускаясь на кресло и робко опуская глаза на им же составленный полугодовой отчет, под бременем скромного сознания торжества.

Все до одной «милостивых государынь» — а их было тридцать — выразили самую горячую благодарность оратору за его «прочувствованную» речь. Раздались рукоплескания, многие говорили: «Как хорошо!», другие шептали: «Прелестно». Только Елена Николаевна ни слова не сказала, но зато наградила оратора (когда он уже оправился от смущения и поднял голубые глаза на «милостивых государынь») таким быстрым, но теплым взглядом, который придал ее лицу выражение несравненно мягче известного мужу под нумером один.

Что мог сделать секретарь?

Он мог только встать, приложить обе руки («Какие прелестные руки»,— шепнула какая-то «милостивая государыня» на конце стола, обращаясь к соседке) к борту фрака и раскланяться с тою же грацией, с которою раскланиваются оперные певцы. Он это и сделал, и только минуты через две заседание могло продолжаться.

Василий Александрович (так звали секретаря) снова принимает строго деловой вид и почтительно просит у председательницы, почтенной женщины с крупными седыми буклями и крупными глазами, позволение, согласно программе заседания, прочесть список лиц, получивших в прошлом месяце пособия. Седые букли несколько наклоняются вперед, что, без сомнения, означает согласие. Василий Александрович встает и читает:

— «Список лиц, получивших в декабре 187* года пособия от «Общества для пособия истинно бедным и нравственным людям»:

Вдова майора Василиса Никифоровна Дементьева согласно протокола от пятнадцатого марта, за нумером тысяча двести пятьдесят четыре, ежемесячного вспомоществования пять рублей...»

— Это у которой муж был изрублен на Кавказе? — спрашивает громким голосом адмиральша Троекурова.

— Нет,— отвечает тихим голосом графиня Долгова.— Эта та самая бедняжка, у которой муж погиб в Днепре...

Он бросился с обрыва спасать ребенка и утонул... Несчастная женщина передавала мне все эти ужасные подробности.

— Или я забыла, но мне кажется, что бедная мне говорила, как черкесы изрубили ее мужа и он погиб под шашками... Впрочем...

Адмиральша умолкла и вопросительно взглянула на Василия Александровича.

— Эта та несчастная женщина, милостивые государыни, которая потеряла своего мужа, храброго русского офицера, в Кокане... Сперва он был ранен, потом взят в плен и там казнен ужасной смертью. Бедная женщина до сих пор не может прийти в себя, и когда рассказывает, то с ней делается истерика... Ужасная казнь!

И адмиральша и молодая графиня делают глаза, но, боясь ошибиться (так много ведь вдов в Петербурге, у которых мужья погибают особенным образом), не роняют ни слова, к благополучию майорши Дементьевой, более известной в распивочной на углу Зелениной улицы, что на Петербургской, под именем «сороки-воровки».

Секретарь продолжает:

— «Жена коллежского секретаря Мария Валерьяновна...— Василий Александрович как будто конфузится и еле слышно оканчивает: — Потелова... получила в ежемесячное пособие два рубля.

Мещанка Дарья Осипова единовременного пособия один рубль семьдесят пять копеек».

— Она такая славная, эта Дарья! — замечает графиня Долгова...— Я у нее была... Вообразите,— обращается графиня к председательнице,— трое детей... такие хорошенькие, но, боже, в каком виде!.. Ни сапожек, ни белья, ни платьиц...

Сидевшая рядом другая «милостивая государыня», молодая белокурая девица, с английской складкой и серьезным лицом, тихо покачивает головой и, несколько конфузясь, говорит:

— Книга Манасеиной советует иметь по крайней мере двенадцать дюжин пеленок, в противном случае...

— Но тут, вы представьте,— перебивает ее графиня,— ни одной...

— Ни одной?

— Ни одной!

Все повторяют: «Ни одной!», все качают головами, все соболезнуют, все выражают такое искреннее участие к трем детям Дарьи Осиповой, что если бы его можно

было употребить вместо пеленок, то их хватило бы не только для трех детей, но даже еще человек на пять, только бы Дарья Осипова продолжала не стесняться в увеличении народонаселения.

— Мне кажется,— опять конфузится почему-то девица с английской складкой,— следовало бы прибавить этой женщине...

— Я буду иметь честь предложить вашему вниманию, милостивые государыни, смету пособий на январь, и размер вспомоществования Дарьи Осиповой будет зависеть от усмотрения собрания...

Белокурая девица с английской складкой, пропагандировавшая книгу госпожи Манасеиной, конфузится еще более. В деловом ответе любезного секретаря ей слышится личное невнимание. Она опускает свои голубые глаза на полугодовой отчет и начинает его перелистывать с некоторым раздражением за «бедную Дарью Осипову», у которой трое детей и ни одной пеленки...

— «Евдокия Багрова, новгородская крестьянка. По болезни принуждена была оставить место. Ввиду ее болезни и самых лучших рекомендаций ей выдано три рубля».

— Это я отыскала бедняжку! — не без скромного чувства удовольствия от такой находки замечает Елена Николаевна.— Она была у вас, Василий Александрович?

— Была. Очень симпатичная девушка! — отвечает секретарь.

— Бедняжка обварила себе руку,— продолжает Елена Николаевна, обращаясь ко всем «милостивым государыням»,— и принуждена была оставить место. В больницу идти боялась; она такая робкая, скромная, приветливая и вообще не похожа на нашу прислугу.

Все «милостивые государыни» замечают, что нынче почти невозможно достать хорошую прислугу (адмиральша выразилась даже гораздо энергичнее), и все так или иначе, голосом или взглядом, движением рук или плеч, выражают участие «к бедняжке», обварившей руку и непохожей «на нашу прислугу».

Одна только белокурая девица с английской складкой оказалась бессердечной и ничем не выразила участия к «бедняжке», обварившей руку. Мало того: девица почувствовала даже некоторую неприязнь к этой «бедняжке» за другую «бедняжку» — Дарью Осипову, у которой трое детей и ни одной пеленки. Хотя белокурая девица не видала ни той, ни другой «бедняжки», но она взяла под особое свое покровительство Дарью Осипову (отчасти



«Благотворительная комедия».
Художник Ю. Гершкович

в пику секретарю и Елене Николаевне) и находила большой несправедливостью, что за обожженную руку выдали три рубля, а за троих детей без пеленок только один рубль семьдесят пять копеек.

«Это несправедливо!» — подумала девица, краснея до ушей от такой несправедливости и досады на Елену Николаевну и секретаря.

Василий Александрович тем не менее продолжал чтение списка и заключил его, несколько возвысив голос:

— Итого в декабре месяце выдано пособий в количестве девяноста восьми рублей тридцати двух с половиною копеек двадцати трем истинно бедным и нравственным лицам обоего пола.

Вслед за тем Василий Александрович начал читать, без всяких перерывов и более или менее патетических отступлений, прозаическую месячную ведомость расходов Общества. В нежных ушах «милостивых государынь» быстро, обгоняя друг друга, проносились многочисленные статьи под наименованием бланок, канцелярских расходов, найма помещения для прихода истинно бедных и нравственных людей, отопления и освещения, жалованья помощнику секретаря (секретарь, разумеется, приносил себя в жертву бескорыстно), двум писцам и сторожу, разъездных для справок, ремонта мебели, непредвиденных, случайных и экстраординарных расходов, и шум в ушах прекратился только тогда, когда секретарь, перечислив все означенные статьи и соответствующие им цифры, заключил, снова несколько возвысив голос:

— Итого двести тридцать девять рублей сорок четыре с половиною копейки, а вместе с выданными пособиями триста тридцать семь рублей семьдесят восемь копеек. Мне остается прибавить, милостивые государыни, что в будущем месяце расходы наши сократятся, вследствие возможности приискать сторожа на меньшее жалованье!

Василий Александрович сел и передал ведомости почтенной даме в буклях. Ведомости были переписаны превосходным почерком, а цифры стояли одна под другой в таком красивом порядке, в котором могут стоять только солдаты на параде. Дама в буклях посмотрела на английский почерк пяти дам комитета, подписавших ведомости, и на энергическую закорючку в росчерке секретаря (он же и казначей) и передала ведомости следующей за ней даме. Та в свою очередь полюбовалась английским почерком пяти дам, между которыми, между прочим, была подпись и самой любовавшейся, и закорючкой в фамилии секре-

таря и передала ведомости следующей даме. Следующая дама сделала то же самое, и таким образом все до одной «милостивые государыни» полюбовались ведомостями, после чего они снова лежали перед Василием Александровичем.

Пока ведомости гуляли между «милостивыми государынями», Елена Николаевна успела сделать три нумера выражений, графиня Долгова успела поймать их и сообщить соседке свои подозрения насчет кокетства Красногор-Ряжской с секретарем, соседка успела сочинить на ухо следующей соседке целую сплетню, в которой и графиня Долгова была замешана в качестве соперницы Елены Николаевны; белокурая девица успела убедить адмиральшу Троекурову в необходимости двенадцати дюжин пеленок и в несправедливости относительно Дарьи Осиповой, а адмиральша в свою очередь успела убедить белокурую девицу в невозможности иметь хорошую прислугу, и только когда Василий Александрович снова встал во весь рост и показал перед благотворительницами двойника Аполлона Бельведерского, только тогда прекратился дамский змеиный шепот и глаза устремились на Аполлонова двойника.

— Вы заметили?..— оканчивала между тем молодая графиня новую комбинацию на ухо соседки...— Тсс... Будем слушать!..

— Милостивые государыни! В программе сегодняшнего заседания стоят несколько вопросов. Угодно ли будет позволить приступить к ним? — обращается Василий Александрович к почтенной даме с буклями, наклоняя голову ровно настолько, насколько следует солидному молодому человеку, подающему надежды.

Дама снова тряхнула буклями и прибавила, обращаясь к собранию, что она просит собрание позволить. Собрание позволяет без малейшей заминки. Дама с буклями снова трясет ими и говорит: «Начинайте, Василий Александрович!» — после чего седые ее букли, висящие по бокам круглого и пухлого лица, еще шевелятся несколько мгновений, но потом останавливаются неподвижно, словно часовые перед генералом.

Секретарь читает:

— Ввиду нескольких, впрочем немногочисленных, случаев оказания помощи лицам, далеко не отвечающим требованиям устава помогать истинно бедным и нравственным людям, не сочтут ли милостивые государыни уместным собирать самые тщательные справки о лицах,

обращающихся к помощи общества без рекомендации почтенных его членов?

Многие сочли уместным, но вслед за тем возник вопрос: как собирать справки?

Начались прения.

Первой заговорила девица с английской складкой. Она привстала, вытянулась во всю длину своего высокого роста и покраснела, как может покраснеть белокурая девица с добрым сердцем, двадцатью восемью годами и некрасивым лицом, которое, впрочем, очень близкие друзья ее находили, конечно, симпатичным. (Заметьте: если женщина некрасива, то она всегда бывает или «необыкновенно симпатична», или «необыкновенно умна».)

Несколько заикаясь, точно в тонком горле ее еще сидела бедная Дарья Осипова с тремя детьми, она находила, что справки едва ли приведут к чему-нибудь, и предлагала главнейшим образом основываться на первом впечатлении.

— Первое впечатление... первое впечатление,— заключила несколько дрожащим голосом девица с добрым сердцем,— редко обманывает, почти никогда не обманывает.

Она снова вспыхнула и села под картечью взглядов двадцати девяти «милостивых государынь», не пропустивших ни одного прыщика на лице белокурой девицы и подумавших ехидно, что, вероятно, все мужчины судили «симпатичную» девушку по первому впечатлению, иначе давно бы ей быть замужем.

Елена Николаевна Красногор-Ряжская «позволила себе не согласиться с уважаемой Евгенией Петровной».

— Исходя из принципа,— говорила она, уверенно делая ударение на «принципе» и окидывая собрание выражением № 6 (строго-деловым),— что общество обязано помогать только истинно бедным и нравственным людям, на первое впечатление полагаться нельзя. Оно может обмануть в ту или другую сторону. («Однако же как хорошо это у меня выходит!» — промелькнуло у нее в головке почти одновременно с чувством зависти, сжавшим сердце графини Долговой.) Возможны случаи помощи недостойным, равно как (ей очень понравилось это «равно как») случаи отказа достойным. В принципе она стоит за справки, хоть и понимает «сопряженные с ними трудности».

Василий Александрович взглянул на Елену Николаевну очарованным взглядом, быстро опуская глаза под встречным взглядом оратора, как бы желая скрыть в глубине души волновавшие его чувства. Тем не менее они поняли

друг друга, хоть и не смотрели один на другого. Елена Николаевна подумала: «Какой он милый, этот Петровский!» — а Василий Александрович подумал: «Подою я тебя, дуру, будь спокойна!»

Графиня Долгова крепко потерла тонким батистовым платком свои румяные губки, как бы в доказательство, что продаются такие румяны, которые не стираются, и в свою очередь «отдавая справедливость благородству намерений своего друга — Елены Николаевны» (оба друга шлют друг другу нежные взгляды, удивляясь лицемерию друг друга), тем не менее должна заметить, что по ее «скромному» мнению («Хороша скромница!» — думает Елена Николаевна, припоминая целый десяток мужских имен) ни «первые впечатления», ни справки не приведут к желанному результату.

— Самое лучшее,— заключила хорошенькая графиня с нестираемыми румянами,— попросить нуждающегося рассказать свою историю, одним словом une confession...[1] На основании этого и судить...

— Исповедь иногда так трудна, графиня! — смиренно возражает Елена Николаевна своему другу.

— Отчего ж?.. Если сделать ее с открытым сердцем... Мне кажется, она только облегчит душу, chère Hélène...[2] Право!.. Мы, женщины, должны знать это!

Обе, сказавши по пакости друг другу, умолкли. Стали говорить другие «милостивые государыни». Баронесса Шпек стояла за справки у соседей. Генеральша Быстрая стояла за справки в полиции. «Там всё должны знать!» Адмиральша Троекурова предлагала решать дело по происхождению. «Благородные всегда достойней!» — выпалила она баритоном с резкостью морской волчицы.

Стали вопрос голосовать. Но во время голосования несколько «милостивых государынь» непременно хотели говорить в один и тот же момент, и поднялся такой шум, что снова затряслись седые букли, председательница позвонила, объяснила, что прения закончены, и снова букли покачались-покачались и остановились на своем месте.

Большинство голосов высказалось за справки у соседей, а в случае недостаточности и в полиции.

Затем Василий Александрович хотел было приступить к чтению второго вопроса, как из передней донеслись чьи-то голоса. Слышно было, как чей-то голос говорил

---

[1] исповедь *(фр.)*.

[2] дорогая Елена... *(фр.)*

«нельзя», но другой протестовал. Елена Николаевна взглянула на секретаря. Тот попросил позволения у Елены Николаевны узнать, не пришли ли по ошибке сюда просители, но едва он хотел встать, как в залу вошел пожилой, скверно одетый человек, ведя за руку, словно на буксире, оборванного мальчугана.

III

Вошедший нисколько не сконфузился при виде такого блестящего дамского собрания и поспешил только утереть нос своему мальчугану, любовно оправить его истасканное тоненькое пальтишко, мешковато сидевшее на худеньком маленьком теле, и снять с шеи несколько раз обмотанный вокруг ее красный шарф. Когда он сделал все это, то вывел мальчугана вперед с таким торжественным видом, точно он привел перед собрание благодетельных фей маленького королевича, принужденного только до времени скрываться в плохом костюме, зябнуть при двадцатиградусном морозе, питаться черт знает чем и ночевать где пошлет бог.

Сам попечитель этого мальчугана ничем особенным не отличался от тех нищих в истертых порыжелых хламидах, когда-то бывших пальмерстонами[1] или альмавивами[2] (трудно разобрать) «капитанов» и «чиновников», которые пугают дам в уединенных улицах и сиплым басом, и бледно-зелеными, припухлыми лицами, и блестящим пронзительным взором глаз, выглядывающих из глубины темных ям не то с угрозой, не то с таким выражением страдания, что долго после встречи эти глаза мерещатся и не дают спокойно заснуть.

Вошедший был стар, сед, старался глядеть на этот раз приветливо, хотя все-таки походил на волка, нечаянно из леса попавшего в людское общество. Он потер грязными руками шею, будто отыскивая, куда девался его галстух, и оставался в положении сфинкса, в ожидании того времени, когда ему придется заговорить.

Мальчуган лет девяти, очевидно, не желал чести быть непременно впереди. Он пятился назад и успокоился только тогда, когда приблизился к ногам своего товарища и почувствовал, как знакомая вздрагивавшая рука ласково гладила его косматую, плохо знакомую с гребенкой голову.

---

[1] пальто (*англ.* palmerston).
[2] плащами (*исп.* almaviva).

Появление этой странной пары, как кажется, не входило в программу заседания «Общества истинно бедных и нравственных людей», вследствие чего не только все «милостивые государыни», но и единственный «милостивый государь» были в первую минуту озадачены и смотрели на появившихся гостей глазами, в которых было много изумления, брезгливости, испуга, но очень мало теплоты и участия. Эти чувства вызывал главным образом, конечно, странный старик, лицо которого хоть и старалось быть приветливым, но все-таки не внушало большого расположения; особенно его глубоко засевшие глаза, смотревшие на «милостивых государынь» с какой-то блуждающей улыбкой, производили неприятное впечатление: не было в них того смиренно-льстивого выражения, которое так хорошо знакомо и так нравится благотворителям и благодетельницам.

Однако надо было заговорить с этими нежданными гостями, и Василий Александрович заговорил.

— Что вам угодно? — спросил он тем канцелярски-вежливым тоном, который он считал образцом нежности в сношениях с клиентами общества.

— Мне почти что ничего! — отвечал странный старик, улыбаясь глазами,— а вот этому мальчику надо бы помочь.

— Вы его отец?

— Нет...

— Родственник?

— По Христу!..

— Ггмм... Странное родство... Он ваш приемыш?

— Приемыш.

Секретарь взглянул на «милостивых государынь», лукаво прищурив глаза, словно бы говоря: «Вот отчаянный лгун!» — и обратился к мальчику:

— Как тебя зовут?

— Сенькой.

— Есть у тебя отец?

— Не знаю.

— А мать?

— Не знаю.

— Кого же ты знаешь?

— Дедушку знаю.

— Кто ж твой дедушка?

— А вот!

Мальчик улыбнулся, оскалив ряд белых зубов, и показал пальцем на старика. Старик ласково ему усмехнулся.

— Давно ты его знаешь?
— Давно...
— Чем заннмаешься?
Мальчнк не понимал.
— Что делаешь?
— Все делаю, когда дрова есть — печку топлю, дедушке помогаю...
— Ваше звание? — обратнлся секретарь к старнку.
Тот вынул нз кармана засаленную бумагу н подал секретарю.
Васнлнй Александровнч прочел бумагу, пожал плечамн н с осторожной брезгливостью положнл ее перед почтенной председательницей. Та в свою очередь пожала плечамн, потрясла седымн буклямн н передала дальше. Осторожно, словно боясь чумной заразы, дотрогнвались до этой бумаги ручкн «мнлостнвых государынь» и затем торопнлнсь сбыть, проводнв ее вздохом нлн пожатием плеч.
— До чего дошел!
— Как пал!
— Ужасно!
Такне восклнцання в внде шепота вырвались нз груди многнх «мнлостнвых государынь».
— У вас есть рекомендация? — снова спроснл секретарь.
— Нет.
Васнлнй Александровнч обвел собранне взором сожаления, что у него нет рекомендацни.
«У него нет рекомендацни!» — отвечали взгляды в ответ.
«У него нет рекомендацнн!» — безмолвно сказалн все лнца н лнчнкн.
— И внд у него скверный! — тнхо шепнула председательница.
— Пьяннца!..— еще тнше отвечал секретарь.— А мальчнк, верно, взят напрокат!
Дело старнка, внднмо, было пронграно. Он это понял и вдруг стал угрюм.
— Так вы говорнте, что у вас нет рекомендацнн?
— Ннкакой.
— Даже ннкакой? Это очень жаль! Судя по вашим бумагам (секретарь встает н брезгливо отдает назад бумагу), вы человек не без образовання и поймете, следовательно, что целн нашего общества не позволяют удовлетворнть вашей просьбе.

Старик слушал эту речь с каким-то угрюмым вниманием, но когда секретарь кончил, он опустил голову и как-то весь съежился. Глаза его спрятались в темных ямах, и из груди вылетел надтреснутый голос, произнесший тихо:

— Но ведь я не за себя... За мальчика!

— За мальчика? — переспросил секретарь и пошел на свое место.

Несколько секунд недоумения.

— Имеем ли мы право? — тихо шепчет секретарь.

— Имеем ли мы право? — также тихо шепчет почтенная председательница, строго покачивая буклями.

«Имеем ли мы право?» — спрашивают сами себя все «милостивые государыни».

— К сожалению, мы не имеем права! — решает сперва лицо секретаря, потом жест, а затем и тихий шепот.

— К сожалению, мы не имеем права! — говорит по-французски председательница.

«Мы не имеем права!» — отвечают лица «милостивых государынь», и все они обращают внимание на мальчика, помочь которому они не имеют права.

А мальчик глядит зоркими карими глазенками на блестящее собрание и — вообразите себе! — не только не ищет права разжалобить сердца «милостивых государынь», а, напротив, словно бы ищет права назваться самым невежливым, дерзким мальчуганом, когда-либо обращавшимся за помощью. Он весело смеется и шепчет что-то своему угрюмому товарищу, указывая пальцем прямо на лицо почтенной председательницы. Его заинтересовали седые букли, и он сообщает свои наблюдения вполголоса, нисколько не стесняясь местом, в котором он находится. Очевидно, четырнадцать градусов по Реомюру привели его в игривое настроение, и он, несмотря на знаки старого товарища, продолжает весело хихикать...

Эта веселость окончательно сгубила мальчика. «Милостивые государыни» находят, что перед ними испорченный мальчик. (Секретарь давно уже это нашел.) Они совершенно забывают, что у многих из них есть дети, и помнят только, что перед ними всклокоченный, грязный мальчишка, с бойкими глазенками между впалых щек и дерзким смехом.

— К сожалению... мы не имеем права помочь и мальчику!..— говорит секретарь.

— Без рекомендации? — иронически подсказывает старик.

— Да-с! — резко заметил секретарь и как бы говорит

взглядом: «Можете теперь убираться если не к черту, то, во всяком случае, иа улицу, где восемнадцать с половиной градусов мороза».

Старик резко дергает мальчугана за руку, делает иесколько шагов, затем остаиавливается и говорит:

— Милостивые государыни!.. Я вас прошу (голос его становится глуше, и на испитом лице сказывается большое страдание)... я вас прошу... Помогите мальчику... У него иет пристанища. У него иет одежды... Помогите мальчику!

Все вдруг притихли. Всем вдруг стало как-то совестно. Притих и мальчик. Ои ие смеется, а испуганио смотрит иа своего товарища. В его испуганном взгляде и страх и любовь.

— Дедушка, что с тобой?.. Что ты? — говорит он, заглядывая иа иего снизу...

Многие полезли в карманы. Девица с английской складкой и добрым сердцем давно сидела на своем кресле, точно иа угольях. При последиих словах она вскакивает с места, роияет кресло, конфузится, подходит к мальчику и сует ему маленькое портмоие.

Старик сперва ии слова ие говорит, потом, будто спохватившись, шепчет:

— Будьте спокойиы, сударыня... Его деиег я не пропью... Будьте спокойиы, сударыия!..

Ои благодарит теплым, ласковым взглядом девицу и уходит из залы.

— Ваш адрес... адрес ваш! — конфузливо шепчет девица.

Но ответа иет. Старик уж скрылся.

Белокурая девица возвращается иа свое кресло, краснея, как пиои, с иависшими слезами иа глазах. Все на иее смотрят, как иа выскочку, и иаходят, что она очеиь «смешная».

После этого эпизода прошло иесколько минут, пока заседаиие не пошло своим порядком. Опять ставились вопросы, разрешались и заиосились в протоколы. В пять часов заседание было окоичено. «Милостивые государыни» поболтали и разъехались.

Елена Николаевна, довольиая, оставалась еще несколько времени в зале. Было решено, что она завтра поедет с секретарем для посещения истинно бедных и нравствениых людей. Оиа была рада посетить бедных и пококетничать с Василием Александровичем.

«Я иадеиу чериое шерстяное платье. И скромно и хо-

рошо!» — подумала молодеиькая жеищииа, уходя в гостииую.

И Василий Алексаидрович ехал обедать довольиый. Благодаря «Обществу для помощи истиино бедным н иравствениым людям» ои поправил свои служебиые делншки и теперь рассчнтывал иа завтрашнее посещенне бедиых, иа свои голубые глаза, мягкий голос и расположеиие Красиогор-Ряжской. «Она думает, что я влюблеи, и, конечно, заставит мужа надеть мундир и попроснть за меия... истниио бедиого и иравствеиного человека!» — улыбался Василий Александровнч, плотиее кутаясь в бобровый воротник.

IV

Успев «вырвать зло с корием» из того ведомства, где служил «строптнвый столоначальник», н отправнть бедного провиициального Мазаниелло туда, где даже настоящий никогда не бывал, господии Красногор-Ряжский вошел в гостииую в самом отвратнтельном расположении духа.

— Наболталнсь? — спросил ои.

— Неужели вы ие можете говорить, не оскорбляя меия?

Елеиа Николаевна делает мнну № 9 — глубоко оскорбленной невиииости. Слезы нависают иа ресницах. Грудь иесколько подымается. Страдаиие напечатаио на ее милом лнчике.

Господии Красиогор-Ряжскнй иачниает советь. Елена Николаевиа, иесмотря на страдаиие, вндит это н, усиливая № 9, иечаяиио обиажает локоть.

Господии Красиогор-Ряжский совеет еще более.

— Леиа... Леиочка!..— робко проиэносит его превосходительство.

Ни звука в ответ.

— Леночка!..— совсем иежно начал господни Красиогор-Ряжский и поперхиулся...— Леиочка! Ведь я... вы там что хотнте говорите, но мие ие нравится секретарь.

Елеиа Николаевиа открывает глаза, и муж усматривает в иих такое море изумлеиия, что иаконец изумляется сам.

— Ты, Леиа, что так смотришь?

— Я?..

Картина меияется. Страдание нсчезает. Елеиа Николаевиа хохочет как ребеиок, хохочет весело, мнло, заразительио.

Муж хлопает глазами.

— Так ты, Никс, ревновать?.. Ха-ха-ха... Глупый мой! К секретарю?.. Ха-ха-ха!..

Хохот был так заразителеи, что даже сам Никс ие выдержал, захохотал, как дурак, и прижал супругу к своей высохшей груди.

В тот же вечер «строптивый столоиачальиик» был возвращеи к своему семейству. Ои ие был исключеи из службы, как предлагал докладчик, а получил только выговор с замечанием, чтобы впредь, и так далее.

— А я было думал, Леиочка, ха-ха-ха!..— весело говорил солидиый Никс, ужииая вдвоем с Леиочкой.— Я было думал...

— А ты, Никс, ие думай!..

И Елеиа Николаевиа шаловливо зажала мужу рот своей ладоиью и посмотрела иа иего тем чудиым взглядом (№ 1), каким оиа смотрела иа него только двадцатого числа или иакаиуие какой-нибудь замышляемой жеиской шалости.

1880

СЕРЖ ПТИЧКИН

I

Когда, лет десять тому назад, этот чистенький, благообразный и румяный юноша с подстриженными белокурыми волосами и большими ясными голубыми глазами приехал в Петербург для поступления в университет, на юридический факультет, со ста рублями в кармане, скопленными уроками,— он не особенно торопился навестить свою родную сестру, немолодую уже девушку, жившую в гувернантках. Но зато он предусмотрительно скоро разыскал весьма отдаленную родственницу, богатую вдову, генеральшу Батищеву, известную спиритку и благотворительную даму, имевшую свой приют для призрения шести младенцев, и в первое же воскресенье, надев свой новенький сюртучок и причесавшись у парикмахера, отправился с визитом к генеральше, в ее собственный дом, на Сергиевской улице.

— Как прикажете доложить? — спросил молодого человека лакей во фраке, с таким представительным видом и с такими великолепными бакенбардами, что и этой представительности и этим бакенбардам мог позавидовать любой директор департамента.

— Птичкин! — громко, с вызывающим, горделивым видом ответил молодой человек, но при этом почему-то вспыхнул.

Старуха Батищева приняла с неба свалившегося родственника, о степени родства которого имела крайне смутные представления, с той вежливо строгой холодностью, с какой обыкновенно принимают бедных дальних родственников, которых подозревают в недобром намерении — обратиться с какой-нибудь просьбой.

Молодой человек, одиако, не смутился.

Ои стоически переиес неприятиость первых мииут встречи и, как будто не замечая этого застлаииого, серьезиого взгляда старой дамы в кружевиой иаколке, с седыми буклями, обрамлявшими маленькое сморщеиное личико с вздернутым иосиком и выцветшими глазками, ие спеша объяснил, что, приехавши в Петербург, ои счел своим священным долгом явиться к Ание Михайловне, как родствеиииице и когда-то зиакомой его покойиой матери, с единственной целью засвидетельствовать свое глубочайшее почтение и постараться заслужить ее родствеииое расположеиие.

Ои проговорил эту малеиькую приветствеииую речь почтительио, но без заискивания, и при этом глядел иа старуху своими ясными голубыми глазами так скромио и в то же время уверенно, что Батищева тотчас же измеиила тои и сделалась проще. В ее лице и в глазах появилось обычиое ласковое выражеиие, и оиа уже с родствеииой приветливостью протяиула свою малеиькую костлявую ручку, которую молодой человек, коиечио, почтительно поцеловал, и стала расспрашивать о покойиых родителях молодого человека, припоминая, что оиа в молодости действительио была дружиа с его maman, которая доводилась ей, кажется, троюродиой сестрой.

Молодой человек, являющийся лишь для засвидетельствоваиия глубочайшего почтения, во всяком случае приятиая иеожидаиность, и старая геиеральша, видимо, была этим тронута, тем более что и манеры, и костюм, и тихая, приятная речь — все обличало благовоспитаииого, скромиого юношу в этом неожидаиио объявившемся родствеиииике.

В течеиие получасового визита молодой человек так очаровал старушку, что оиа в тот же деиь позвала его обедать. Особенно ей понравилось вниmaиие, с каким слушал Птичкин ее болтовню. Словоохотливая старуха, видимо не особенно избалованная терпеливыми слушателями, рассказала ему про несколько «спиритических» явлеиий с подробностями, отступлениями и повтореииями, столь обычными у болтливых стариков и старушек, и молодой человек, казалось, был весь — внимаиие, точио спиритические рассказы генеральши были для него самой интересиой вещью иа свете. Он вовремя подавал реплики, вовремя серьезно покачивал своей гладко прилизаииой головой, вовремя улыбался — словом, слушал так хорошо, что Батищева нашла, что молодой человек — умиица.

Обед лишь довершил очарование.

Птичкин ел рыбу не с ножа, а вилкой, держал себя с тактом, недурно говорил по-французски и, при удобном случае, скромно, но не без твердости, высказал взгляды, отличавшиеся таким редким в юноше благоразумием и столь трезвенной ясностью, что старушка пришла в восторг, в тот же вечер по-родственному назвала Птичкина «Сержем» и раз навсегда пригласила его приходить к ним обедать каждый день.

— А то в ресторанах вы, мой милый, только катар наживете! — любезно прибавила старуха, совсем очарованная своим «проблематическим» племянником и в то же время рассчитывавшая с старческим эгоизмом иметь в молодом человеке жертву ее послеобеденной болтовни.

И на остальных членов семьи — двух барышень и молодого офицера Батищева — наш юноша произвел хорошее впечатление. Они нашли, что он милый, неглупый малый и вообще «comme il faut»[1].

— И недурен собой! — прибавили обе барышни.

— Фамилия только его... Птичкин! Птичкин! — повторял со смехом Батищев.— Отзывается mauvais genre'ом![2]

— Но это, во всяком случае, дворянская фамилия! Он дворянин,— заметили барышни, хотя тоже согласились, что фамилия действительно неблагозвучная.

Особенно участливо отнеслась к этому «одинокому сироте», принужденному с юных лет заботиться о своем существовании, старшая сестра Элен.

Это была девушка тех зрелых лет (между тридцатью и сорока), когда всякая надежда на замужество по любви уже потеряна и когда обеспеченные и не особенно озлобленные девицы этого «переходного» возраста чувствуют склонность к благотворительности или к спиритизму, восторгаются Мазини, Фигнером или Гитри, рисуют на фарфоре или делают искусственные цветы, зачитываются романами Поля Бурже и Золя, любят «теоретические» разговоры о чувствах и скептически относятся к мужской привязанности, хотя и волнуют свое воображение небывалыми романами с небывалыми героями и питают особенное пристрастие, полное участливой материнской заботливости, к свежим, румяным и приличным юнцам.

Высокая, стройная брюнетка с бледно-желтым лицом, сохранившим еще следы увядающей красоты, с впалой

[1] Здесь: вполне приличен *(фр.)*.
[2] дурным тоном! *(фр.)*

грудью, с темными добрыми, немного грустными глазами и красивыми руками, с длинными, тонкими пальцами, с изумрудом на крошечном мизинце,— эта Элен с первого же дня прониклась жалостью к скромному бедному родственнику и, узнавши, что он рассчитывает найти уроки, на другой же день отправилась к знакомым и просила их рекомендовать в свою очередь вполне приличного молодого человека, нуждающегося в уроках.

И через неделю или две наш молодой человек уже имел два хорошие урока, обеспечивающие вполне его существование, и благодарил Элен с таким горячим чувством, что скромная, добрая девушка сконфузилась и, ласково глядя на Сержа, проговорила:

— Полно... полно... Стоит ли из-за таких пустяков благодарить.

Но Серж все-таки продолжал благодарить и несколько раз, в знак благодарности, принимался горячо целовать красивую руку своей «кузины», взглядывая на закрасневшуюся Элен своими ясными голубыми глазами, с видом наивного ребенка, переполненного чувствами.

II

Будущность, казалось, улыбалась молодому человеку, явившемуся в Петербург без денег, без связей, с одними мечтами добиться впоследствии и связей, и положения, и денег.

Первые шаги его были удачны. Он отыскал вполне приличных родственников, которые могли быть очень полезны и у которых можно было иметь даровой обед; благодаря этой сентиментальной старой деве Элен он скоро получил уроки; словом, все начиналось очень хорошо.

Думая об этом, молодой человек весело улыбался, и его постоянные мечты стать со временем вполне порядочным человеком, то есть сделать блестящую карьеру и быть богатым, окрылялись от первого успеха.

Одно только смущало его, являясь источником его тайных терзаний, это... его фамилия, неблагозвучная, какая-то мещанская фамилия, которая еще с отроческих лет отравляла спокойствие обыкновенно хладнокровного, рассудительного мальчика...

Бывало, когда кто-нибудь спрашивал этого скромного гимназистика, как его фамилия, он при ответе всегда краснел от стыда. И хотя покойный отец его, почтенный

человек, бывший учителем русской словесности в гимназии, нередко внушал мальчику, что называться Птичкиным не стыдно, а быть мерзавцем стыдно,— эти поучения и однажды даже строгое наказание за то, что мальчик презрительно назвал одного товарища «паршивым мужиком», не излечили юного Птичкина. И старый учитель, идеалист шестидесятых годов, с тоскливым изумлением и ужасом спрашивал себя: «Откуда это у сына такие аристократические вожделения и такие эгоистические наклонности? Что это — атавизм или знамение новых времен?»

Он умер, не дождавшись полного расцвета своего юного отпрыска, уверенный, однако, что этот рассудительный, спокойный и практический мальчик, с красивыми голубыми глазами, не пропадет в битве жизни, как пропал другой, старший сын, увлекающийся, порывистый юноша, горячо любимый отцом.

Когда прежние неопределенные мечтания отрока стали принимать более реальную форму, молодого человека еще более стала раздражать его фамилия.

И он нередко думал:

«Нужно же было отцу называться Птичкиным! И как это мать, девушка из старой дворянской семьи, решилась выйти замуж за человека, носящего фамилию Птичкина? Это черт знает что за фамилия! Ну хотя бы Коршунов, Ястребов, Сорокин, Воронов, Воробьев... даже Птицын, а то вдруг... Птичкин!» И когда он мечтал о будущей славной карьере, мечты эти отравлялись воспоминанием, что он... господин Птичкин.

Даже если бы он оказал отечеству какие-нибудь необыкновенные услуги... вроде Бисмарка... его ведь все-таки никогда не сделают графом или князем.

«Князь Птичкин... Это невозможно!» — со злобой на свою фамилию повторял молодой человек.

Правда, он любил при случае объяснять (что он и сделал скоро у Батищевых), что род Птичкиных — очень старый дворянский род и что один из предков, шведский рыцарь Магнус, прозванный за необыкновенную езду на коне «Птичкой», еще в начале XV столетия выселился из Швеции в Россию и, женившись на татарской княжне Зюлейке, положил основание фамилии Птичкиных. Но все эти геральдические объяснения, сочиненные вдобавок еще в пятом классе гимназии, когда проходили русскую историю, мало утешали благородного потомка шведского рыцаря Птички.

III

Уннверситетская пора пронеслась быстро н весело для Птичкнна.

Способный н неглупый, ои заиимался хорошо и отлично зиал то, что требовалось для экзамеиов. Дальше этого он не шел и не находил нужиым. Вообще, отвлечеииые мыслн как-то не заннмали его практический ум и слишком себялюбивую натуру, и ои с глубочайшим презреиием относнлся к людям, которые пускались в отвлечеиия. И отец его нз-за этого весь свой век прожил иесчастным учителем и умер бедияком, и старший его брат где-то скитается по захолустьям. Брата он решнтельио презирал как дурака, ие умеющего поннмать, казалось, самых простых вещей, н всегда боялся, что «этот болван» может его скомпрометировать. И когда одиажды Серж Птичкии, уже студеитом третьего курса, получил от старшего брата письмо, то ои, не задумавшнсь, ответил ему таким послаинем:

«Я полагаю, брат, ты согласишься со мной, что родственные связн, при известиых обстоятельствах, ровио ничего не зиачат. Мы с тобой стоим совершеиио иа разных точках зрення. То, что ты счнтаешь хорошнм, я считаю мерзким, то, что ты считаешь благом, я считаю иесчастием. Короче говоря, между иами решительио иичего нет общего, н, несмотря на то, что случай сделал иас братьями, я не нахожу иужным скрывать полиого отвращення и к твоим ндеям и к твоей жизии. Поэтому было бы, полагаю, удобнее прекратить всякие отношеиия».

Через иесколько времени Серж Птичкии получил от брата следующий ответ:

«Извиии, брат. Я решительио ие думал, что ты такая современная скотнна в столь молодые годы. Поздравляю».

Младшнй брат прочитал эти строкн совершеино спокойно. Ни однн мускул его красивого румяиого, иесколько женствеииого лица не дрогиул. И только в глазах сверкиуло презрение.

Он медлеиио разорвал письмо н произиес:

— Идиот!

От товарнщей Птнчкин держался в стороне. Водил ои зиакомство лишь с нзбраииыми студеитами, такимн же раниими молодыми людьми, как и ои, да с иесколькими прилнчиымн шалопаями.

В этом кружке он был божком. Он иередко проповедовал, слушая сам себя, свою собствеиную теорню государственного права и рисовался крайиим коисерватизмом. Это

отвечало его аристократическим вожделениям и не мешало будущей карьере. Напротив!

Говорил он недурно: тихим, спокойным голосом, с апломбом человека, уверенного в своем превосходстве, и любил напускать на себя строгую солидность, особенно когда толковал о задачах трезвого молодого поколения. Выходило недурно.

У Батищевых молодым человеком все восхищались, кроме младшей сестры Ниты, хорошенькой, неглупой барышни, не особенно доверявшей молодому человеку. Птичкин пробовал очаровать эту изящную молоденькую кузину с насмешливыми глазами, но это ему никак не удавалось. Он чувствовал подчас ее тонкую иронию, и ему с ней было как-то не по себе.

Зато Элен восторгалась своим любимцем. Хотя его крайние взгляды и казались ей уж слишком непреклонными и возмущали ее доброе сердце, но она считала, что этот пыл со временем пройдет, и все прощала «бедному сироте». И он зато оказывал ей, особенно вначале, почтительно-нежное внимание, уверял в своем расположении и часто и горячо целовал ее маленькую белую руку, думая в то же время, что эта старая дева может еще пригодиться и что рука у нее все-таки аппетитная.

IV

И Элен все более и более привязывалась к «милому юноше», как она его называла.

Это чувство было довольно сложное. В нем соединялось: несколько восторженная влюбленность старой девы с чистой привязанностью доброй души к бедному молодому человеку, пробивавшему себе жизненный путь без посторонней помощи, и с поклонением перед умом, энергией и другими достоинствами, которыми обильно наделяла молодого человека девушка, не привыкшая хорошо всматриваться в людей. Она, разумеется, тщательно скрывала свои чувства под видом обыкновенного дружеского расположения, но втайне радовалась всяким успехам Птичкина и была уверена, что из него со временем выйдет замечательный человек. Ее трогало его внимание, его благодарность за ее пустые услуги, и она как порядочный человек искренно верила в его расположение... верила и считала своего протеже безусловно честным молодым человеком.

Ей точно чего-то недоставало, когда он несколько дней

ие приходил. Оиа любила говорить с иим и с участием доброй сестры отиосилась ко всем его иуждам. Одиажды даже оиа, вся красиея, со слезами иа глазах, предложила ему взять взаймы деиег, ио Птичкии так холодио и резко отказался, видимо обижеииый этим предложеиием, что Элеи должиа была извиияться и уверять Сержа, что в ее предложеиии ие было и мысли сделать обиду.

На спиритических сеаисах, бывавших поочередио у каждого из члеиов иебольшого спиритического кружка, как-то случалось, что Элеи и Птичкии всегда сидели рядом. И эта близость, это прикосиовеиие рук всегда иаполияло Элеи каким-то сладким томлеиием. И оиа еще более верила в спиритическое сродство душ. А Серж, как иарочио, иногда слегка иадавливал ее крошечиый мизииец своим пальцем, приводя бедиую девушку в большее спиритическое воодушевлеиие. Разумеется, это ие ои давит. Ои ие посмел бы этого сделать. Это дело духов.

В спиритическом кружке, кроме старухи Батищевой и Элеи, участвовали еще три дамы и два почтеииых старика — всё люди более или меиее состоятельиые и со связями, и Птичкии, особеиио первое время своего студеичества, охотио посещал сеаисы и был, казалось, ревиостиым спиритом. С самым серьезиым видом выслушивал ои, когда одиа из «спиритических дур», как мыслеиио ои окрестил своих соучастииц по опытам, иачииала рассказывать о своей беседе с каким-иибудь из жильцов загробиого мира или объясиять теорию переселеиия душ.

Но эти сеаисы сослужили добрую службу. Благодаря им завязывались полезиые зиакомства и связи, и иаш молодой человек во все время своего студеичества имел миого уроков, и таких хороших, что мог ие только прилично жить, ио и скопить иебольшую сумму, чтобы по выходе из уииверситета одеться, как приличествует благородиому потомку рыцаря Птички.

Его охотио приглашали, и года через два по приезде в Петербург молодой студеит имел возможиость обедать в разиых домах, ие подвергаясь, таким образом, опасиости ежедиевио слушать утомительиые послеобедеииые рассказы — иередко в пятом издаиии — старухи Батищевой, в обществе одиой Элеи, так как хорошеиькая Нита и брат ее обыкиовеиио исчезали из комиаты, как только старуха открывала рот, ибо зиали все эти рассказы с тех пор, как помиили себя.

Ои иравился вообще дамам, этот свежий, румяиый белокурый студеит, с ясиыми голубыми глазами, малеиь-

кой шелковистой бородкой, с отличными манерамн и с таким иепреклоииым образом мыслей. Под его наружиым спокойствием чувствовался огонек. Его звали иа балы и вечера и им любовались,— так ои мнло таицевал.

И в том обществе, где он вращался, почтн все находнли, что monsieur Serge[1] — редкий молодой человек, н инoгда жалели, что у иего такая «малоговорящая» фамилия. Наш молодой человек зиал, что ои производит впечатлеиие иа дам, особеиио «бальзаковских» лет и любящих пылкость чувств. Это льстило его самолюбию. Ои втайне гордился своими победами, ио, казалось, не замечал их, ие позволял себе ии за кем ухаживать н иапускал иа себя серьезиую солидиость слишком заиятого и скромного человека, которого ие занимает ухаживанье. Ои хорошо разыгрывал роль Иосифа Прекрасиого н не забывал, что ои — Птичкии, чтобы серьезио ухаживать за светской барышией, пока не оперится. Влюблеииый лишь в самого себя, сухой и самолюбивый, ои и ие увлекался иикем, мечтая впоследствии жениться иа девушке с осиовательным придаиым. Плодить бедиых ои ие хотел и с цииизмом подсмеивался над дураками, которые «женятся, ие подумавши».

А пока иаш молодой человек пользовался расположеиием своей квартириой хозяйки, молодой, смазливой жеиы мелкого старого чииовиика. Эта связь была по крайией мере удобна. Она гараитировала его здоровье и ии к чему ие обязывала. Так предусмотрительно обсуднл Птичкин этот вопрос, заметив, что пышиая брюнетка к иему неравиодушиа. И ои третнровал ее, относясь к ией с высокомериым сиисхожденнем высшего существа, и дарнл ей маленькие подарки, которыми оплачивал свои чувствеииые удовольствия. Полюбившая его чииовиица вздумала было отказываться от этих подарков, ио молодой человек прикрикнул на иее, и она покорио согласилась, не смея ему противоречить.

V

Когда в отличио сшитом фраке Серж Птичкии, уже заручившийся благодаря хлопотам Батищевой иедуриым местом в провииции, явился иа Сергиевскую с первым визитом по окончании курса, ои застал в гостииой одиу

[1] господин Серж *(фр.)*.

Ниту. Старушки и Элен не было дома. Они уехали в свой приют.

Фрак очень шел к Птичкину, и вообще этот двадцатипятилетний молодой человек глядел совершеннейшим джентльменом того особенного стиля, которым щеголяют молодые чиновники ведомства иностранных дел и вообще светская золотая молодежь. И если бы не знать, что это Серж Птичкин, мифический потомок рыцаря Птички, его по виду можно было бы принять хоть за маркиза,— так он был великолепен.

Уж он умел ходить с небрежным развальцем, щурить глаза, растягивать слова, не узнавать на улице плохо одетых знакомых, зевать, с видом скуки, в театре и смотреть собеседнику, если он простой смертный, не в глаза, а пониже или повыше: не то в подбородок, не то в макушку... Одним словом, Серж Птичкин уже принял облик «горохового шута»,— облик, считаемый за настоящий «cachet»[1] порядочного тона.

— Да вы великолепны! Просто-таки великолепны в своем фраке, Сергей Николаевич! — воскликнула Нита при виде Птичкина на пороге гостиной.

И ироническая улыбка мелькнула в ее серых глазах и скользнула по алым тонким губам.

И тотчас же прибавила:

— Поздравляю вас и...

Она на секунду остановилась и глядела на великолепного молодого человека с веселой, чуть-чуть насмешливой улыбкой, эта блондинка с гладко зачесанными назад пепельными волосами, бойкая и живая, с выразительным лицом, хорошеньким и необыкновенно привлекательным со своим задорно приподнятым носиком. В ее чуть-чуть вздернутой кверху головке было что-то надменное и капризное. В живых, смеющихся глазах точно играл бесенок, и выражение в них быстро менялось. Она была среднего роста и хорошо сложена. Серое шерстяное платье обливало ее изящную, полную грации фигурку.

— И что же дальше? По обыкновению, какая-нибудь колкость, Анна Александровна? Что ж, говорите... Я к этому привык! — проговорил на ходу Птичкин умышленно веселым тоном, стараясь скрыть досаду на эту насмешливую барышню, не разделявшую к нему общего поклонения.

И, приблизившись к девушке, он почтительно поднес к губам ее крошечную, точно выточенную, розовую ручку.

---

[1] Здесь: образец *(фр.)*.

— Они, я думаю, не особенно чувствительны, мои колкости... для такого умного человека! Не правда ли? — лукаво прибавила Нита.— Я просто не решаюсь вам ничего желать.

— Это почему?

— Да потому, что и без моих желаний... успехи не заставят вас ждать...

— Остается поблагодарить за такое лестное мнение обо мне! — промолвил молодой человек, наклоняя голову.

— Да ведь вы и сами уверены в этом? Вы ведь вообще влюблены в себя!

— Вы думаете? — промолвил, краснея, молодой человек.

— Думаю...

— Напрасно так думаете...

— Ну уж что делать...

— А мне это обидно...

Молодая девушка усмехнулась.

— И этому не верите?

— Досадно — это я еще пойму, но чтобы обидно...

Эта «девчонка», как про себя ее звал Птичкин, положительно его раздражала своим ироническим тоном и разными неприятными откровенностями, а между тем она ему нравилась, настолько нравилась, что он порой мечтал, что жениться на ней было бы очень недурно. Она невеста богатая — сто тысяч приданого. Но она, видимо, ему не доверяла и не оказывала ему особенного расположения, и это раздражало его самолюбие. То ли дело Элен... Та охотно пошла бы за него замуж, но ей тридцать три, а ему двадцать пять... Уж слишком она зрела, эта отцветшая красавица! — думал Птичкин.

Он принял строго-оскорбленный вид и мягко, мягко заговорил о том, что Нита глубоко заблуждается и совсем не понимает его. Он вовсе не так дурен, как она его считает, и ему обидно, что именно она так относится к нему.

— Мне всегда было искренно жаль, что я не заслужил вашего расположения, Анна Александровна... а я всегда был и буду глубоко вам предан...

Он проговорил эту фразу не без огонька, сделал паузу и бросил взгляд на девушку. Она, казалось, слушала внимательно.

«Клюнуло!» — подумал молодой человек и, понизив голос до нежного минора, продолжал:

— Теперь, когда, быть может, нам долго не придется увидеться, я не скрою от вас, что меня всегда мучило ваше

недоверие... Чем я его вызвал? За что оно? А между тем... я больше чем предан вам... я...

В эту минуту из залы донеслись голоса Батищевой и Элен.

Птичкин остановился.

— Что ж вы, мосье Серж?.. Allez, allez toujours![1] — с громким смехом проговорила Нита, и презрительная улыбка светилась в ее глазах.

Птичкин позеленел от злости.

— Здравствуйте, Серж! Поздравляю вас!

И Батищева и Элен радостно пожимали ему руку, высказали много самых искренних и добрых пожеланий и находили, что он прелестен во фраке.

— А ты, Нита, отчего так хохотала? — спросила мать.

— Сергей Николаевич рассмешил...

— Чем?

— Он великолепно прочитал комический монолог из... «Тартюфа».

VI

Года через четыре Серж Птичкин показался на петербургском горизонте в качестве видного товарища прокурора, уже успевшего зарекомендовать себя. Карьера его обеспечена. Его считают дельным, солидным юристом, но только чересчур непреклонным. Но это не смущает Птичкина, так как он мнит себя носителем идеи самого чистого консерватизма и аристократических тенденций. Он стал еще солиднее и принял вид государственного человека. Он одевается с изысканно строгой простотой, «по-английски», и по праздникам посещает аристократические церкви, сделавшись религиозным человеком настолько, насколько требует хороший тон последнего времени. «Для увенчания здания» оставалось сделаться богатым человеком. И это не заставило его ждать. Год тому назад он женился на хорошенькой купеческой дочке с миллионом. Он снисходительно позволяет себя любить, считает жену дурой и строго дрессирует ее. В год он выдрессировал жену настолько, что она уже тянет слова, щурит презрительно глаза и боится своего благоверного как огня.

Сам Серж Птичкин, получив миллион, еще более влюбился в собственную особу и стал говорить еще медленнее,

[1] Дальше, дальше! *(фр.)*



«Серж Птичкин».
Художник Ю. Гершкович

точно произносить звуки ему в тягость. Ходит он с большим развальцем, словно бы ноги у него развинчены, зевает артистически и совсем не узнает на улице многих прежних знакомых и в том числе Элен. У Батищевых он бывает раз-два в год. Чаще бывать ему некогда. Он так занят!

Недавно я имел счастье видеть Сержа Птичкина у одного из его подчиненных, которого он осчастливил своим посещением. За картами он обратил внимание на какой-то портрет, висящий на стене, и, немного гнусавя, процедил:

— Что это? Фо-то-ти-пия или фо-то-гра-фия?

И вдруг так зевнул, что смутившиеся хозяева поспешили объяснить, что это фотография.

— А я по-ла-га-л, фо-то-ти-пия! Не-дур-но. О-чень недурно!

Вообще, Серж Птичкин счастлив. У него прелестная квартира, экипажи на резиновых шинах, лошади превосходные, влюбленная дура-жена, впереди очень видная карьера...

Одно только по-прежнему терзает его, это — его фамилия.

— Птичкин... Птичкин! — повторяет он иногда со злобой в своем роскошном кабинете.— И надобно же было родиться с такой глупой фамилией!

1890

ТАНЕЧКА

I

Профессор математики, Алексей Сергеевич Вощинин, высокий худощавый старик, с гривой волнистых седых волос, выбивавшихся из-под широкополой соломенной шляпы, окончил копаться в саду и, поднявшись на террасу своей маленькой, спрятанной в зелени дачи, уселся в плетеное кресло у большого стола, собираясь читать только что принесенные почтальоном газеты.

День стоял превосходный. Июльский зной умерялся близостью моря, с которого тянуло приятной свежестью. На небе ни облачка. Солнце ярко и весело глядело сверху, заливая блеском небольшой сад с липами, березами и рябинами, окруженный со всех сторон густым сочным кустарником,— чистый, посыпанный песком, пестревший массой цветов в красиво разделанных клумбах. Над ними заботливо жужжали пчелы и весело порхали бабочки, присаживаясь на цветы. В золотистой дымке воздуха кружилась мошка. Воробьи задорно чирикали, храбро подпрыгивая на ступени террасы за хлебными крошками. Кругом царила тишина.

Прежде чем приняться за газеты, старый профессор поглядел и на даль тихого моря, и на чернеющие пятна фортов кронштадтского рейда, и на дымок виднеющегося на горизонте парохода, и на белую ленту дороги внизу, вдоль берега, и весь этот давно знакомый ему пейзаж, видимо, производил на старика тихое, радостное впечатление, словно при встрече с испытанным старым другом.

Вощинин любил эту местность, эти три, четыре десятка домиков немецкой кронштадтской колонии, ютившихся в садах, на небольшой возвышенности, над берегом Фин-

ского залива, в пяти верстах от Oраниеибаума. Эта окрест-иость Петербурга, отиосительио довольно глухая, не отрав-леиная еще железной дорогой, музыкой, театром, миого-людством, разряжеиными дачиицами и тщеславиой суетой модиых дачиых мест, иравилась Вощиииту своей тишиной и близостью моря, и ои, вот уж пятое лето, проводил в этом месте вакации вместе с Таиечкой, своей едииствеи-иой дочерью, от иедолгого и ие особеиио счастливого брака с ее покойиой красавицей матерью.

Здесь профессор отдыхал от Петербурга: копался в саду, с любовью ухаживал за цветами, бродил в ближнем лесу, сиживал иа берегу моря, писал, ие торопясь, давио иачатый мемуар о бескоиечио малых величииах, читал журиалы и удил окуней иа ряжах, забывая иа все лето столичиую сутолоку, университетские дрязги и свой профессорский, подчас тесиый хомут.

— А ведь хорошо! — иевольио сорвалось с губ старого профессора.

И на его хорошо сохраиившемся лице, вдумчивом и добром, опушеииом большой седой бородою, придававшей профессору вид патриарха, засветилась тихая довольиая улыбка, полиая чарующей прелести кроткого, детски-иаивиого выражеиия.

Ои повериул голову к открытому окну, выходившему иа террасу, и громко проговорил:

— Не правда ли, чудиый сегодия деиь, Таиечка?

— Да, папа. Отличиый деиь! — отвечал из глубииы комиаты твердый молодой серебристый голосок.

— Что ж ты сидишь в комиате?

— Платье окаичиваю, папочка. Ведь ты обещал в воскресеиье идти со мной в Ораииеибаум иа музыку. Мы пойдем, не правда ли? — прибавила Таиечка с иежиой, ласкающей иитонацией.

— Коиечио, коиечио, если тебе хочется! — ласково отвечал старик и в то же время подумал: «Что иитересиого иаходит Таиечка иа этой глупейшей музыке?»

«А впрочем, ей ведь скучно без развлечеиий... Молодость!» — тотчас же оправдал ои Таиечку.

— А ты что делаешь, папа?

— Сейчас буду газеты читать.

— Смотри, только ие возмущайся!

— Постараюсь, Таиечка! — весело сказал старик и прибавил: — Да что это Петра Алексаидровича иет, Танечка?

— А ие зиаю.

— Уж не поссорилнсь ли вы вчера?

— Я вообще ие ссорюсь. Да и не нз-за чего с ннм ссориться!

— Обещал быть к часу и не приехал. Пожалуй, н совсем не приедет.

— Приедет! — пронзиесла Танечка с иебрежиой увереииостью.

Наступило молчаиие. Старик стал было читать телеграммы, ио, ие дочнтав их, снова заметил:

— А славиый человек этот Петр Александровнч! Не правда ли, Таиечка?

— Отличный, папочка. Такая же Эолова арфа, как н ты.

В молодом веселом голоске прозвучала едва заметиая нроннческая иотка.

Но старый профессор этой ноткн не уловнл и оживленно продолжал:

— И главное, Танечка, с сердцем человек. Нет в нем этого противиого ныиешнего индифферентнзма... Искорка божня горит в Петре Александровнче, н чуткая совесть есть. Небось из него самодовольиый ученый болван не вышел... Самомиеиием он ие грешнт и своего бога не продаст... Это, Танечка, дорогая черта.

— Влюблен ты в своего доцента! — со смехом проговорила Танечка...— Послушать тебя, так он совершенство...

— Совершенства иет, девочка, а что человек ои хорошнй — это вие сомнення. И голова светлая!.. Работалто он как, если бы ты знала!.. И всем обязан себе одиому... Перед иашим братом профессором не юлил... Ни к кому ие забегал... За все это я его н люблю. И ои нас любнт.

— Тебя в особенности, папа,— вставила Танечка.

— И тебя не меньше, я думаю. Пожалуй, н больше... Как ты думаешь, Танечка?

— Думаю, что ты ошнбаешься. Со мной он больше браннтся, папочка, н постояиио спорнт.

— Горячий ои, потому н спорит. А он прнвязан к тебе... А ты? — неожиданно спросил старый профессор шутливым тоиом.

— К чему ты спрашнваешь? Точно ие зиаешь, что я очень расположена к Петру Александровичу! — спокойно ответила Танечка.

Старик профессор сконфузился н торопливо проговорнл:

— К чему спрашиваю? Так, к слову пришлось, иу... иу и спроснл.

И ои решнтельио прннялся за газеты.

Но читал ои их сегодия рассеяиио и, ие докоичив чтеиия, задумался.

II

— Ну, что нового в газетах, папочка?

С этими словами Таиечка вошла иа террасу и, прнблизившись твердой, увереиной походкой к отцу, поцеловала его в лоб.

При в165нде своей Танечки старнк весь просветлел. Во взгляде его светилось столько любви, восторга и умнления, что сразу было видио, что отец боготворил свою дочь.

Она вся сняла блеском молодости, свежести н красоты, эта иевысокого роста, отличио сложеииая, с пышными формами блондиика, лет двадцати двух, с красиво посажеииой головкой иа молочной, словио выточеииой шее, с большими серо-зелеными глазами н роскошиыми золотнстыми, зачесанными иазад волосами, вившимися иа внсках. На ней было летиее голубое платье с прошивками иа груди и рукавах, сквозь которые виднелось ослепительиой белизиы тело. На мнзницах маленьких холеиых рук блестели кольца.

Наружиостью своей она иисколько ие походнла иа отца.

У профессора было сухощавое, продолговатое, смугловатое лицо с высоким лбом, из-под которого кротко и вдумчиво глядели темные, еще сохраннвшне блеск глаза, н вся его ннтеллигентная физномия дышала выражением той одухотворенностн, которая бывает у людей мыслн.

Чем-то слншком трезвым и жнтейским, закончеииым н определенным веяло, иапротив, от всей крепкой, грацнозной фнгуркн Танечки, от ее круглого хорошенького личика с родимымн пятиышкамн на пышных щеках, с задорио прнподнятым носом и алыми тоикнми губами,— от ее большнх глаз, ясиых н увереиных, во взгляде которых светнлся ум практнческой натуры.

Она стояла перед отцом свежая, блестящая, спокойио улыбающаяся, показывая ряд краснвых мелких белых зубов, виднмо привыкшая, что ею любуются, и созиающая свою власть над любящнм сердцем старика. Что-то грацнозио-кошачье было и в ее позе и в ее улыбке.

— Так что же нового в газетах, папа? — повторила она свой вопрос.

— Да ничего нового... Все одно и то же...

Присев к столу, Танечка взяла газету и с видимым удовольствием стала читать фельетон. По временам на ее лице появлялась улыбка.

— Нравится? — спросил профессор, не спускавший глаз с Танечки.

— Ничего себе... забавно!..— ответила Танечка.

— Однако я тебе мешаю... Читай, а я пойду к себе... позаймусь немного и сосну часок перед обедом...

И старик удалился, ласково погладив свою любимицу по ее золотистым волосам.

Оставшись одна, Танечка впилась в фельетон. Веселая, довольная улыбка не сходила с ее личика.

В саду раздались торопливые шаги. Танечка их услыхала и отлично знала, чьи это шаги, но головы не повернула и еще более углубилась в газету.

— Здравствуйте, Татьяна Алексеевна,— раздался около нее радостный, несколько взволнованный мужской голос.

— Ах, это вы, Петр Александрович? — как будто удивилась она.— Здравствуйте! — любезно промолвила Танечка и, отложив газету, протянула свою маленькую белую ручку Поморцеву. Тот крепко сжал ее в своей широкой мясистой руке.

Поморцев был молодой, недурной собою брюнет лет тридцати. Свежее, румяное лицо его, с мягкими чертами, было опушено вьющейся черной бородкой. Он выпустил руку хорошенькой Танечки и смотрел на нее через очки своими черными, бархатными глазами, словно очарованный. Восторг влюбленного сиял у него на лбу.

— Что так поздно?

— Задержали меня в городе, Татьяна Алексеевна! А то бы я, разумеется, поспешил надоесть вам! — говорил он мягким приятным тенорком, благоговейно любуясь Танечкой и нервно пощипывая дрожащими пальцами свою шелковистую бородку.

И, присаживаясь около Танечки, прибавил пониженным тоном:

— Если б вы знали, как вам идет это платье, Татьяна Алексеевна!

А его лицо как будто договаривало: «И как я вас люблю, милая девушка!»

— А вы думаете, я не знаю, что идет? Отлично знаю! — засмеялась Танечка.

— Не сомневаюсь.

— А папа вас ждал к завтраку — и уж думал, что вы не придете.

— А вы, конечно, не ждали? — шутливо промолвил Поморцев.

— Конечно, нет! — ответила она, вздергивая кверху капризно головку. Этот надменный жест очень шел к ней.

На лицо Поморцева набежала тень. Он внезапно сделался мрачен и как-то весь съежился. Еще вчера ему сказали, что будут ждать его, а сегодня... «Нет, это невозможно... надо выяснить!» — подумал он и вдруг почувствовал себя глубоко несчастным.

А Танечка через минуту уже говорила:

— К чему мне было ждать? Я и так была уверена, что вы придете... навестить папу! — лукаво прибавила она.

И, словно пробуя свою власть менять состояние духа Поморцева по своему желанию,— власть, которою Танечка пользовалась широко,— она так ласково, так нежно взглянула на Поморцева, чуть-чуть щуря свои глаза, что Петр Александрович снова просиял, и снова надежда согрела его сердце.

Он помолчал и спросил:

— А вы не сердитесь на меня?

— Я? За что?

— За вчерашний спор... Я всегда наговорю лишнего.

— И не думала. Я в эти два года нашего знакомства привыкла к вашим обвинениям и знаю, что вам во мне все не нравится.

— Что вы, что вы, Татьяна Алексеевна!

И голос и лицо Поморцева протестовали против этих слов.

Но Танечка, как будто не замечая этого, продолжала:

— Я и слишком трезвая, холодная натура, я и кокетка... одним словом, я...

— Побойтесь бога!..— воскликнул Поморцев, перебивая.— Ничего подобного я никогда не думал... Иногда, в минуту раздражения, срывались едкие слова, но разве их можно ставить в упрек?.. Я говорил и повторяю опять, что вы часто клевещете на себя, представляясь не той, какая вы на самом деле...

— А какая я на самом деле? — спросила Танечка, поднимая на Поморцева свои ясные большие улыбающиеся глаза.



«Танечка».
Художник Ю. Гершкович

В качестве влюблениого Поморцев по отношеиию к Танечке совсем не пользовался высшим аналнзом н был слеп, как все влюбленные ндеалнсты, а потому восторженно прошептал, словно нзрекая неоспорнмую математнческую формулу:

— Вы?.. Вы прелестное существо, лучше которого я не видал, Татьяна Алексеевна!

Танечка усмехнулась.

— Вот н поймн вас: то — прелестиое существо, то... бессердечная кокетка!

— А, кажется, понять не трудно. Как вы думаете, Татьяиа Алексеевна? — чуть слышно пророиил Поморцев.

Ответа не было. Поморцев заволновался н совсем затеребил свою бородку.

«Необходнмо теперь же все выяснить!» — думал он. Эта мысль не давала ему покоя н страшно пугала его. Как ответнт Танечка? По времеиам ему казалось, что оиа более чем расположена к нему; по временам ои думал, что она к нему равнодушна н только кокетиичает с ннм. Целый год он нспытывает подобиую каторгу: то верит, то сомиевается. Надо покончить.

И он решительио сказал:

— Пойдемте гулять, Татьяна Алексеевна!

— Жарко! — леннво протяиула Танечка.

— Недалеко, к морю... Там не жарко.

В голосе его звучала мольба. Лнцо было серьезио.

— Пожалуй, пойдемте.

Танечка сходила за зонтиком, н молодые люди спустилнсь к дороге, пересекли ее н пошли по густой, прохладной аллее к морю.

III

Сперва оба молчали. Поморцев шел, инзко опустив голову, как человек, подавленный думамн, илн подсуднмый в ожндании прнговора. Танечка шла своей твердой, ровной походкой, чуть-чуть покачиваясь, и временами взглядывала нз-под зонтнка на Поморцева. Сегодня ои был какой-то странный, ие такой, как всегда. Таиечка чувствовала по всему, что он позвал ее гулять для объяснення, н ждала его с любопытством. Ее ннтересовало, как он объясннтся.

Это ожидаиие слегка взволиовало и Танечку. Оиа

стала напряженнее. Ясные н спокойные глаза ее ожнвилнсь.

Поморцев поднял голову н взглянул на девушку. Ее сняющая красота словно ослепила его. Он отвернулся, стараясь пересилнть овладевшее нм волненне.

— Так вы не поннмаете, Татьяна Алексеевна? А ведь, кажется, понять так легко! — вдруг заговорнл он н стал как-то особенно вннмательно смотреть себе под ногн. Голос его слегка дрожал.

— Чего не поннмаю?

— Что я безумно вас люблю! — медленно, с трудом выговарнвая слова, пронзнес Поморцев, не подннмая головы.

Прошло несколько мгновеннй, показавшнхся молодому доценту бесконечнымн.

И наконец, точно поддразннвая его, Танечка сказала:

— Вы слншком впечатлнтельны, Петр Александровнч, н любнте страшные слова. А я нм не верю.

Поморцев поднял голову н, недоумевая, смотрел на профнль Танечкн. Казалось, он не поннмал смысла ее слов.

А она, поннкнув головкой, продолжала спокойно-нроннческнм тоном:

— Вы немножко увлеклнсь мною... Это я знаю н этому верю... А вам кажется, будто уж вы безумно любнте... Это мнраж нлн, как вы выражаетесь, аффект, возведенный в куб... Лучше останемтесь по-прежнему добрымн прнятелямн.

— К чему вы так говорнте? К чему? — восклнкнул, точно ужаленный, весь закнпая, Поморцев.— Зачем вы рнсуетесь напускным скептнцнзмом? Вы, в двадцать два года, не вернте в любовь н называете ее аффектом? Вы просто нздеваетесь надо мной. Как вам не стыдно, Татьяна Алексеевна!

Поморцев вдруг остановнлся, взял Танечкнну руку н, прндержнвая ее, продолжал страстным шепотом, порывнсто н торoплнво бросая слова, словно боясь, что не успеет сказать всего, чем было переполнено его сердце:

— Слушайте, мнлая девушка... Это не увлеченне, не аффект... Я не юноша... Я проверял себя, н у меня не легкомысленный характер... Я люблю вас второй год... За что? Почему? Я не знаю, но чувствую, что люблю, что без вас жнзнь теряет свою прелесть, н другнх женщнн для меня не существует... Вы, одна вы, всегда н везде... О вас все думы... Люблю вас, какая вы есть... И ваш ха-

рактер, и ваше дьявольское спокойствие, и ваши глаза, и ваши крошки руки, и ваш голос... Люблю и за то, что вы мучаете меня, вечно оставляя в сомнении... Люблю вас всю, всю люблю с макушки до пяток и не верю вашему безотрадному скептицизму, вашим взглядам на жизнь... Понимаете ли, не верю... Вы клевещете на себя... Вы добрая, чудная, и я не могу вас не любить!..— говорил он, и слезы стояли у него в глазах.

Нет такой женщины, которая не слушала бы с радостным чувством удовлетворенного самолюбия любовного признания даже от человека, к которому равнодушна, если только он не очень стар, не очень безобразен и не слишком глуп.

И Танечка, вся торжествующая и тронутая, с удовольствием внимала этой искренней и горячей песне любви. Каждое слово Поморцева ласкало ее, пробираясь к сердцу и волнуя молодую кровь. Глаза ее блестели. Она вся притихла, словно очарованная.

— Теперь вы верите? Верите, что я вас безумно люблю? — допрашивал Поморцев, заглядывая Танечке в глаза.

— Верю! — проронила Танечка и пожала Поморцеву руку.

— А вы? Вы любите ли меня? Хотите ли быть моей женой?

Танечка тихо высвободила свою руку из горячей руки Поморцева и сказала:

— Я очень расположена к вам... Вы мне нравитесь, Петр Александрович, но я отказываюсь от чести быть вашей женой.

Поморцев безнадежно опустил голову.

— Решительно? — глухо промолвил он.

— Решительно! — твердо ответила Танечка.

Они повернули назад к дому.

— Вы не сердитесь на меня, Петр Александрович,— заговорила Танечка через минуту, увидав убитое лицо Поморцева.

— За что сердиться? — угрюмо вставил он.

— Надо быть благоразумным...

— Еще бы!

— Подумайте: у меня ничего нет и у вас ничего нет.

Молодой человек с изумлением взглянул на Танечку и, весь вспыхивая, проговорил:

— Как ничего?.. У меня уроки... Сколько угодно будет уроков, и наконец, не вечно же я буду доцентом...

— Меня не удовлетворит эта серенькая, полубедная

жизнь, эти вечные заботы о завтрашнем дне... Довольно их... Я хочу спокойной, обеспеченной жизни... Я люблю блеск и роскошь... Вот какая я...

— Вы опять лжете на себя, Татьяна Алексеевна.

— Как видите, не лгу! Я выйду замуж только за богатого человека!

— Даже не любя его?

— Любовь понятие относительное... Я не такая идеалистка, как папа и вы! — прибавила Танечка.— Любовь проходит, а жизнь вся впереди...

— Да понимаете ли вы, что говорите! — воскликнул Поморцев, задыхаясь.— Вы собираетесь продать себя?

— Опять страшные слова?! — усмехнулась Танечка.— Я не собираюсь продавать себя, я просто благоразумно выйду замуж.

Поморцев все еще не верил. Он думал, что «прелестное существо» нарочно лжет, чтобы поскорее излечить его от любви. Он пристально посмотрел в ее хорошенькое личико. Ни признака волнения. Ни черточки стыда. Оно было ясно, спокойно и уверенно. Казалось, Танечка даже не понимала, что говорит безнравственные вещи.

Поморцев ужаснулся от этого открытия. Тоска и злоба овладели им. Он ненавидел и в то же время страшно любил эту хорошенькую блондинку, так жестоко разрушившую его иллюзию.

Когда они подходили к дому, Танечка мягко промолвила:

— Надеюсь, Петр Александрович, мы останемся друзьями? Вы не перестанете хоть изредка навещать нас?

— Я на днях уезжаю.

— Уезжаете?..— удивилась Танечка.

— Да, к своим старикам, на юг.

Старый профессор ждал молодых людей на террасе и встретил их веселый и радостный. Тотчас же сели обедать. И только за столом старик заметил, что его молодой друг был мрачен, хотя и старался скрыть это, с каким-то ненатуральным увлечением рассказывая профессору о новых работах какого-то математика... Вощинин взглянул на Танечку. Та, по обыкновению, спокойно и приветливо исполняла обязанности хозяйки...

Вскоре после обеда Поморцев собрался уезжать.

— Куда вы? — удивился Вощинин.

— Нужно, Алексей Сергеич!

— Нужно, так не стану удерживать!

Поморцев угрюмо простился с Танечкой и стал было

прощаться с профессором, но старик сказал, что проводит его до дороги.

Когда они вышли за калитку сада и отошли от дачи, старый профессор спросил:

— Говорили с ней?

— Говорил.

— И что же?

— Отказала!

— Отказала? — с горячим участием переспросил профессор.— Ах как жаль, голубчик мой, как мне жаль... А я лелеял эту мысль... Думал: будем все вместе жить... Но почему она отказала?

— Почему?.. Пусть Татьяна Алексеевна вам сама лучше объяснит почему! — с сердцем воскликнул Поморцев.

И, вдруг спохватившись и жалея старика, прибавил:

— Впрочем, нет... Лучше не спрашивайте ее, Алексей Сергеич... Право, лучше не спрашивайте... К чему волновать Татьяну Алексеевну расспросами?.. Известно, отчего барышни отказывают нашему брату. Не любит!

— А мне казалось, что Таечка очень расположена к вам...

— Расположение не любовь... И мне казалось... Ну прощайте, дорогой Алексей Сергеич... Спасибо вам за вашу привязанность... Месяца два мы не увидимся.

— Это что значит?

— Завтра еду к своим старикам.

Старый профессор горячо пожал руку своего молодого друга и сказал:

— А вы, голубчик, все-таки не унывайте... Еще, быть может, не все потеряно... Она передумает.

— Нет, все! — безнадежно ответил Поморцев.

«И для тебя она потеряна, бедный, славный старик!» — подумал Поморцев и пошел, не оглядываясь, по той самой дороге, по которой он еще недавно ходил радостный и полный надежд.

IV

Старый профессор все ждал, что Таечка скажет ему о предложении Поморцева и объяснит причину отказа. Ему казалось, что она была неравнодушна к молодому человеку и подавала ему надежды. На основании этих заключений он и лелеял мысль о браке Танечки с Поморцевым, считая Поморцева прелестным человеком.

Но Танечка, по обыкновению приветливая, ласковая и внимательная с отцом, молчала, видимо избегая объяснения. Когда приходилось упоминать имя Поморцева, она говорила сочувственно, оставаясь совершенно спокойной. Крайне деликатный в таких делах, старик не только не спрашивал Танечку, но даже не позволял себе намека и делал вид, что считает внезапный отъезд Поморцева самым естественным делом.

Тем не менее молчание Танечки сперва очень обидело старика. Ему было больно, что Танечка таится от него. Могла же она открыться ему, своему верному пестуну и другу? Знает же она, как горячо и беспредельно любит он свою Танечку, и уверена, что никогда он не станет насиловать выбора ее сердца. Боже сохрани!

Но любящий старик, всегда как-то умевший оправдывать свою любимицу, и теперь старался объяснить ее молчание женской скромностью и вообще сдержанным, мало экспансивным характером Танечки.

«Это ее интимное дело, о котором ей, вероятно, неловко говорить и с отцом. Бог их знает, этих женщин. Они совсем особенные существа!» — думал старый профессор, очень мало знавший женщин, кроме одной, своей покойной жены, и, как добросовестный человек, не обобщавший по одному факту своих понятий о женщинах.

Объяснить себе как-нибудь иначе молчание Танечки он не умел. Не мог же он, в самом деле, подумать, что Танечка, его ненаглядная Танечка, которую он один пестовал и лелеял с десятилетнего возраста, не имеет доверия к отцу? Он не заслужил этого. Танечка, кажется, знает, что душа его открыта для нее. Он всегда, бывало, делился с нею впечатлениями, высказывал перед ней свою веру в людей, свои задушевные мнения, поверял свои неприятности, искал ее сочувствия и одобрения и даже пускался перед ней в философские отвлечения. Старик любил их и был уверен, что и Танечке должно нравиться все возвышенное, хорошее и честное.

Не желая огорчать отца, Танечка внимательно иногда выслушивала старика и не всегда понимала его. Она не охотница была до отвлечений и до серьезных бесед. Окружавшая ее с детства атмосфера, споры и разговоры мало влияли на Танечку, и она не полюбила ни серьезных занятий, ни серьезного чтения. Жизнь со всеми ее прелестями более занимала ее. Она окончила курс в гимназии и дальше не пошла. Отец, завзятый идеалист, в свое время пострадавший за свой образ мыслей, считал дочь умницей

и вообще образцом совершенства и, раз составивши себе такое мнение с давних пор, продолжал смотреть на свою «девочку» глазами очарованного отца. Он страстно любил ее, никогда не анализируя, и не замечал, что то, что волнует его самого, оставляет ее равнодушной и безучастной. Увлеченный, он часто не замечал, что Танечка подавляет зевоту, слушая отцовские теории, стараясь свести разговор на более низменную почву. Это было какое-то ослепленное непонимание. Иногда его удивляло ее равнодушие к жгучим вопросам, ее скептическое отношение к людям, но он приписывал все это особому свойству ее ума, а страсть ее к удовольствиям и нарядам — молодости. Придет время, и все это пройдет.

Сам дитя в практических делах, простодушный и доверчивый, недаром прозванный Танечкой Эоловой арфой, старый профессор тем более удивлялся и приходил в восторг от трезвого, практического ума молодой девушки. Она редко ошибалась в людях и довольно тонко умела определять отношения. Наблюдательная и не особенно словоохотливая, Танечка отлично подмечала слабости и смешные стороны людей и, когда отец, бывало, принимался кого-нибудь хвалить, она подчеркивала недостатки. Отец горячо спорил. Дочь никогда не спорила,— она только констатировала, как она выражалась, слегка подтрунивая над увлечением отца. Это были диаметрально противоположные натуры.

Весь дом был у нее на руках. Танечка распоряжалась всем, вела хозяйство в образцовом порядке, сама заказывала платье отцу, оплачивала счеты его сапожника и выдавала профессору карманные деньги. Прежде, бывало, ему не хватало жалованья,— он как-то ухитрялся раздавать деньги; но с тех пор как Танечка, по окончании курса, взяла бразды правления в свои умелые ручки, все пошло иначе. Им хватало на все, и Танечка всегда хорошо одевалась. Она постепенно отучила старика от раздачи денег.

— Нельзя же помогать всем бедным студентам, когда самим едва хватает. Мы совсем не богаты, папочка!

Так говорила Танечка, ласково улыбаясь своими ясными глазами, и отец невольно подчинялся ее неотразимым доводам.

Она пользовалась полной самостоятельностью и имела своих знакомых. Знакомые отца не удовлетворяли ее. Эти старые профессора и увлекающиеся студенты ей были скучны, как и их беседы. Ее тянуло к другим людям, и до-

ма ей не сиделось. Когда профессор бывал на лекциях, она бывала в гостях или бегала по магазинам, возвращаясь к обеду домой, чтоб отцу не было скучно обедать одному. Раз в неделю они вместе с отцом ходили в оперу. Остальные вечера Танечка бывала или в театре, или у своих знакомых. Сам отец всегда предлагал ей развлечься.

«Она молода! — думал старик.— Со мною вдвоем коротать вечера ей скучно!»

Но, случалось, он сожалел, что ему приходится по вечерам одному наслаждаться чтением многих прекрасных вещей и что Танечки нет тут подле. Оживленная и нарядная, Танечка возвращалась из гостей, целовала отца и, присаживаясь, передавала свои впечатления, и старик забывал все, слушая остроумную, спокойно насмешливую болтовню Танечки о разных лицах, и весело смеялся, с восторгом любуясь своей умной «девочкой».

V

Лето кончилось. Стоял конец августа, ненастный и дождливый. Вощинины собирались переезжать в город.

Старик сидел как-то вечером в кабинете за книгой. Танечки не было дома. Она после обеда ушла в гости к одним дачникам, с которыми познакомилась летом. Не нравились профессору эти новые знакомые — Искерские, совсем не их круга, совсем других взглядов и привычек, праздные, богатые люди, жившие в недалеком соседстве, в собственной роскошной даче-особняке. Особенно не нравился Алексею Сергеевичу брат Искерского, господин лет за сорок, помятый, стареющий франт, изрекавший с необыкновенным апломбом разные пошлости в современном вкусе. Он, видимо, щеголял и своими взглядами, и своими изысканными манерами, и своим фатовством и произвел на старого профессора отвратительное впечатление.

Вощинин отдал Искерским визит и больше не бывал у них, но Танечка в последнее время часто навещала Искерских; гуляла с ними, каталась в их экипаже, бывала вместе на музыке в Ораниенбауме.

Старику это казалось странным, но он, по обыкновению, ничего Танечке не говорил.

Он взглянул на часы. Скоро восемь часов.

— Верно, Танечка к чаю вернется! — проговорил старый профессор.

И действительно, через несколько минут внизу раздался голос Танечки, и вслед за тем на лестнице послышались ее шаги.

Она вошла в кабинет. Старик отложил книгу и радостно взглянул на дочь.

— Папочка! Я пришла тебе сообщить очень важную вещь! — проговорила она необыкновенно серьезным тоном.

— Что такое, моя родная?.. Какая такая важная вещь?

— Сейчас Николай Николаич Искерский сделал мне предложение.

— И ты, конечно, отказала этому шуту гороховому, моя девочка? — смеясь, ответил старик.

— Нет, папа. Я приняла его предложение! — чуть слышно, но твердо произнесла Танечка.

Старик, казалось, не расслышал. Он во все глаза смотрел на Танечку. Лицо его выражало испуг и изумление.

— Что ты сказала, Танечка? — переспросил он.

— Я сказала, что приняла предложение.

— Тебе понравился Искерский... этот...

Он не досказал фразы.

— Неужели это правда, Танечка? Неужели ты предпочла его Петру Александровичу?

— У Поморцева ничего нет. Чем бы мы жили?

Старик слушал, пораженный и подавленный. Слова ее точно молотом ударяли его по голове и разрывали бедное любящее сердце.

— А этот... господин Искерский очень богат? — глухо, с видимым страданием, произнес старик.— Ты, следовательно, собираешься выйти замуж по расчету. Ведь не могла же ты полюбить такого человека... Или полюбила? — ядовито прибавил он.

— Я его не люблю, но... но он не хуже других. Он вовсе не такой дурной человек, как ты думаешь, папа... Не всем же иметь одинаковые взгляды с тобой.

Старик все ниже и ниже опускал свою седую львиную голову, словно под бременем позора.

— Танечка, Танечка! — вдруг воскликнул он, и в старческом его голосе стояли рыдания,— ведь ты пошутила, моя голубка... Да? Ведь ты шутишь, не правда ли?.. Ведь ты не сделаешь такой гадости... Ты ведь не такая испорченная, моя девочка...

Танечка хранила молчание.

Отец взглянул на ее красивое личико, взглянул в ее

ясные, слншком ясные глаза и вдруг вспомннл свою покойную красавнцу жену.

«Такая же! Такая же!» — пронеслось у него в голове и словно озарило ее неожиданым открытием. Гнетущая скорбь охватила его всего. Скорбь и презренне. Ему вдруг показалось, что перед ннм не его любнмая, взлелеянная девочка, не его славная, честиая Танечка, а какая-то другая, чужая, злая девушка, которая прншла оскорбнть его самые лучшие верования, осквериить самую чнстую любовь.

И он совсем опустил свою голову. Ему было стыдно н больно взглянуть на дочь.

Несколько мгновений царило молчаиие. Старнк точно окаменел в своем кресле.

— Так что же, папа, ты согласен? Может Ннколай Ннколаевнч проснть твоего согласия? — спросила Таиечка.

— Делайте как знаете! — прошептал ои.

Танечка ушла. Старнк еще долго сндел в кресле, неподвижный, переживая свое горе. Стакан с чаем стоял нетронутый на его столе. Уж стало светать, а старнк все сидел, стараясь понять, как это Танечка могла такою вырастн у иего иа глазах. Не он ли сам вnноват в этом? Или это знамеине временн?

По времеиам он прнслушнвался к шороху, словно ждал: не придет лн Танечка, н не скажет лн она, что пошутила, что хотела только нспытать отца. Но Танечка не прнходила. Старнк чувствовал, что отныне он совсем однНОК, н скорбиые слезы незаметио текли из глаз профессора.

1890

«БЕСШАБАШНЫЙ»

Из современных нравов

I

— А почему, позвольте вас спросить, я должен стесняться? Ради чьих прекрасных глаз?

— Но известные принципы... правила...

— А если у меня нет никаких?

— Как никаких?

— Да так, никаких-с. Мой принцип: беспринципность.

— А боязнь общественного мнения? Страх перед тем, что скажут?

В ответ на эти слова мой сосед за обедом в честь одного почтенного юбиляра, бессменно и безропотно просидевшего на одном и том же кресле двадцать пять лет,— молодой человек того солидного и трезвенного вида, каким отличаются нынешние молодые люди, выстриженный по-модному, под гребенку, с бородкой à la Henri IV[1], в изящном фраке, румяный от избытка здоровья и выпитого вина,— взглянул на меня, щуря свои серые, слегка осоловелые, наглые глаза, словно на человека, только что вырвавшегося из больницы «Всех скорбящих», с одиннадцатой версты.

— Вы из... из какой неведомой Аркадии изволили приехать? — насмешливо сказал он.

Он подлил в стакан кло-де-вужо, отпил не спеша несколько глотков с серьезностью человека, знающего толк в хорошем вине, и продолжал слегка докторальным тоном своего мягкого и нежного баритона:

---

[1] как у Генриха IV *(фр.)*.

— Я, милостивый государь мой, боюсь только своего патрона. Одного его боюсь и никого больше!.. Вы знаете Проходимцева? Нет? Вон, наискосок сидит, рядом с худощавым седым стариком и, верно, заговаривает ему зубы, такой приземистый и широкоплечий пожилой господин, с пронизывающими маленькими глазками, лысый, в очках... Видите?

— Вижу.

— Ну, вот это и есть мой патрон. Слышали, конечно, о нем?

— Слышал...

— Это замечательный человек. Был когда-то приходским учителем в каком-то захолустье, а теперь председатель трех правлений, учредитель многих предприятий, общественный деятель, меценат, филантроп и ко всему этому, разумеется, продувная бестия, сто́ящая, выражаясь языком янки, двух миллионов. Нынче он сыт и потому позволяет себе роскошь быть честным человеком и преследовать злоупотребления. Он больше уже не получает промесс, не рвет процентов с заказов, не пишет дутых отчетов, не устраивает общих собраний с подставными акционерами и не играет на бирже. Он проповедует теперь экономию и воздержание; как бывший искусный вор, отлично ловит неискусных воров, пишет записки о народном благосостоянии, называет себя патриотом восемьдесят четвертой пробы и по воскресеньям ездит в Лавру помолиться о своих грехах...

— Однако ваш патрон...

— Весьма большая умница! — с авторитетом и видимым сочувствием произнес молодой человек.— Un homme à tout faire...[1] Знает где раки зимуют и умеет влезть куда угодно. Голова золотая.

— Отчего же вы его боитесь?

— Наивный вопрос! Причина простая: Проходимцев может выгнать меня из своего правления, как только придет ему в голову эта глупая фантазия...

— Но такая фантазия не приходит?

— Положим, Проходимцев ко мне благоволит и даже верит... На всякого мудреца довольно простоты... верит в мою преданность, как я верю в свои шесть тысяч жалованья и две ежегодной награды. Положим, я работаю много: сижу целый день в правлении и по вечерам правлю литературные произведения Проходимцева... Он говорит

[1] На все руки мастер... *(фр.)*

не хуже Гамбетты, а пишет, как сапожник. Но ведь и его может укусить муха? Могут ему ловко шепнуть через даму его сердца, что я недостаточно усердно мечусь в своей канцелярии и недостаточно проникнут его идеями... А он любит проникновение... Ведь могут?

— Ну, допустим, что могут...

— И тогда ваш покорный слуга на тротуаре. Ищи другого места, ищи нового принципала! Вот я и боюсь Проходимцева и вполне проникаюсь его идеями... А общественное мнение? — усмехнувшись, протянул молодой человек.— Какое мне до него дело? Что мне Гекуба, и что я Гекубе? Кто из мало-мальски неглупых людей боится его? Возьмите хоть Проходимцева! Разве его, нажившего два миллиона без вмешательства прокурорского надзора, общественное мнение преследует? Разве от него отворачиваются? Напротив! Его везде принимают с большим почетом. Он свой в обществе и выдает дочь за испанского гранда... У него бывают, в нем ищут, его просят о местах. Его портрет с биографией помещается в «Ниве», и газеты не иначе упоминают его имя, как предпослав: «Наш известный железнодорожный деятель и истинно русский человек». Все знают, что его два миллиона не с неба упали, все помнят, как трепали, лет пятнадцать тому назад, его имя в газетах, и все тем не менее ласкают его, втайне завидуя ему, как умному человеку, который, так сказать, из ничтожества сделался тузом, избегнув бубнового туза на спину, и обеспечил себя и своих близких. Все это старо, как божий мир, и известно, как таблица умножения... А вы: боязнь общественного мнения! Какое такое общественное мнение? Кого оно удерживает? Вон, взгляните на того толстяка с отвислой губой и с оголенным черепом, похожего на раскормленного борова, со звездой Льва и Солнца... Это крупный землевладелец в одной из южных губерний. Все знают, что сын его, юноша, застрелился, ужаснувшись действий отца... Конечно, психопат был... а дочь убежала... А посмотрите, как любезно все с ним говорят... И он, как видите, совсем не похож на кающегося... Посмотрели бы вы, какие он фестивали задает, приезжая по зимам в Петербург... Обеды — восторг.

— Вы бываете у него?..

— Бываю. Отчего ж не бывать? У него все бывают. А вон... на том конце стола... красивый молодой человек, такой здоровый и сильный, покручивающий усы... Разве его тоже преследуют,— продолжал мой собеседник, становившийся все более и более словоохотливым к концу

обеда, после нескольких бутылок вина,— разве преследуют его за то, что он за приличный гонорар состоит в артюрах? Его, не без некоторого основания, оправдывают отсутствием средств и необходимостью сделать карьеру при помощи чужой бабушки, если своей нет... Да и по правде сказать, если отрешиться от предрассудков, профессия как и всякая другая!.. Кому же, скажите на милость, мешает ваше так называемое общественное мнение? Кто только не плюет на него? — с циничным, откровенным смехом добавил молодой человек.

II

Кстати, надо его представить читателю. Рекомендую: кандидат прав и естественных наук Николай Николаевич Щетинников. От роду двадцать восемь лет, но его серьезный и строгий вид заставляет ему давать больше. Сын небогатых и почтенных родителей, из захудалого дворянского рода, обожавших своего первенца и выбивавшихся из сил, чтоб дать ему образование и поставить на ноги. С отроческих лет подавал надежды, что не пропадет, и в гимназии слыл под прозвищем «бессовестного» за отвагу, с какою он разрешал разные этические вопросы. Учился отлично и, поступив в университет, окончил два факультета. Родителей почитал, получая ежемесячно по пятидесяти рублей, но считал отца порядочным дураком за то, что он, бывши одно время на хорошем месте, не сумел воспользоваться случаем и пребывал в бедности, а мать считал дурой за то, что потакала отцу в его, давно потерявших смысл, идеях. Еще в университете, слыша про чужие успехи, выработал теорию полной свободы личности делать то, к чему влекут желания, не стесняясь средствами, и эту теорию успешно оправдывал историческими примерами и ссылался на Шопенгауэра и Гартмана, которых изучал с удовольствием. В эту же пору он усвоил себе докторальный самоуверенный и несколько наглый тон и щеголял откровенностью мнений. Он говорил, что у молодого поколения и иные изгибы мозговых линий (эту чепуху он, впрочем, вычитал в каком-то журнале), и особого устройства нервная система, и более чувствительная организация, в особенности желудка и кишечника, и следовательно, и иные задачи, чем у старого поколения. Надо принимать жизнь как она есть и не стесняться предрассудками и разными, по счастью, забывающимися

словами. Бери от жизни всякий, что может, и думай лишь о себе. Успех оправдывает решительно все.

Все это он не без гордости называл «новым словом».

Надо сказать правду, это «новое слово», подкрепленное немножко философией, немножко историей, немножко естествознанием, немножко статьями распространенных газет и даже стихотворениями некоторых молодых поэтов,— хотя и всецело заимствованное у щедринского Дерунова, имело благодаря оскудению мысли и глухому времени успех среди некоторых товарищей, хотя их и шокировала, так сказать, оголенность этого нового слова. Молодость все-таки брала свое даже и у «молодых стариков», выраставших в неблагоприятных условиях. Но Щетинников именно хвастал этой самой наготой, называя ее доблестью независимого мнения. Внимательное наблюдение над жизнью еще более укрепляло его теорию и дало санкцию его вожделениям, и он вышел из университета вполне готовый для практической деятельности, лозунг которой: «Прочь предрассудки, и да здравствует бесшабашность!»

По окончании курса Щетинников мало-помалу прекратил переписку с родителями. Не было никакого расчета, ибо они, по недостатку средств, не могли ему больше помогать. Кроме того, отец надоедал ему разными вопросами о душевном его настроении и о планах будущей деятельности,— вопросами, которые представлялись молодому человеку совсем наивными, чтоб не сказать глупыми. А мать, кроме того, требовала длинных писем. Ему было не до писем. Он искал места.

Сперва он хотел было поступить в судебное ведомство, рассчитывая со временем быть отличным товарищем прокурора. На этом месте можно было, по его мнению, показать себя какой-нибудь пикантной обвинительной речью или лукавой прозорливостью в уловлении неосторожных сограждан,— недаром же у господина Щетинникова был такой мягкий, такой вкрадчивый баритон. Но, на великое счастье будущих клиентов будущего прокурора, судьба столкнула Щетинникова с Проходимцевым. Они познакомились, и молодой человек пришел в восторг от этого умного и превосходно говорящего дельца. В свою очередь и Щетинников понравился Проходимцеву. Он словно узнал в молодом человеке самого себя в молодости, с тою же отвагой и с тою же бесшабашной беззастенчивостью, но в улучшенном издании, дополненном образованием и научным обоснованием бесстыдства. И была еще разни-

ца: Проходимцев рассуждал и действовал исключительно как художник, не ведая дебрей науки, а только чутьем угадывая, где что плохо лежит, а Щетинников — как трезвый мыслитель, по наперед составленному плану, без страха и сомнений.

Судьба Щетинникова была вскоре решена. Он поступил на службу к Проходимцеву и с тех пор служит у него. Он — член правления и управляющий делами Проходимцева. Кроме того, он секретарь дамского благотворительного кружка, член Общества мореходства и торговли и надеется, что звезда его поднимется высоко. У него на черный день уж есть десять тысяч. Он холост, выжидает богатой невесты и широкого поприща.

III

Щетинников положил на тарелку спаржи и принялся есть, запивая вином. Под шум многочисленных тостов в честь почтенного юбиляра, просидевшего двадцать пять лет на одном и том же кресле и ни разу даже не воспользовавшегося отпуском, несмотря на гнетущую боль в пояснице и вообще расстроенное здоровье — такова была любовь его к служебным обязанностям (обо всем этом, конечно, упомянули ораторы!),— Щетинников снова вернулся к прерванному разговору.

Несколько возбужденный после пяти бокалов шампанского и еще наглее щуря свои глаза, он сказал:

— Уж не называете ли вы общественным мнением газетную болтовню,— это ежедневное переливание из пустого в порожнее с более или менее пикантными faits divers[1], скандальчиками и, подчас, игривыми фельетонами да руганью между собою журналистов? Не этой ли выразительницы общественного мнения прикажете бояться? Ха-ха-ха! Кого пугает отечественная пресса? Какого серьезного человека, понимающего, что он не актер и не певичка, которых можно пробирать на здоровье! Разве еще провинциальную сошку, какого-нибудь мелкого воришку, бездарных артистов, страдающих манией величия, молодых беллетристов да, по временам, самих же газетчиков, когда они вдруг почувствуют себя не на настоящем курсе для... для успеха розничной продажи... Они ведь народ пугливый... эти выразители общественного мнения... и доходами не брезгуют!

[1] происшествиями *(фр.)*.

Щетинников помолчал, погладил свою выхоленную, благоухающую светло-русую бородку и заметил со смехом:

— Меня самого, я вам скажу, года два тому назад две-три газеты удостоили своим вниманием...

— Вас? За что?

— Да, видите ли, на работах при железной дороге в один прекрасный день обвалилась насыпь и... три человека рабочих были задавлены, а пять вытащены увечными... Дураки сами были виноваты. Я тогда имел главное наблюдение за работами. Проходимцев меня командировал из Петербурга. Ну-с, газеты, разумеется, обрадовались случаю. Не всегда же им представляются случаи, на которых можно разыграть, так сказать, героическую симфонию и в то же время не бояться никаких largo...[1] И завопили о том, что ваш покорнейший слуга да еще один техник виноваты и что следует нас по меньшей мере в места не столь отдаленные, благо мы с техником состояли на частной службе, и, следовательно, нас можно было, во имя торжества справедливости, посылать хоть на Сахалин без риска задеть чье-нибудь корпоративное самолюбие. И торжество справедливости, и надлежащий курс! Чего же более желать газетчику? А ведь есть дураки: верят, что это геройство! Ну и что же вы думаете, проиграл я от этой газетной травли? — внезапно обратился он ко мне.

— Не знаю.

— Напротив, даже выиграл в глазах моего патрона Проходимцева. Выиграл и награду получил. А вернувшись в Петербург, я вскоре познакомился с этим самым джентльменом, который посылал меня на Сахалин. Премилый человек... Мы с ним у Кюба завтракали и до сих пор сохранили приятельские отношения. Смеялся тогда, как узнал, что я тот самый, который и так далее... «Очень, говорит, рад что вы не на Сахалине. А я, говорит, рад был случаю... Как же: три убитых и пять раненых. По крайности, можно было не об Аркадии да Ливадии писать. И без того, говорит, вроде девицы легкого поведения... Строчишь неизвестно о чем и в каком придется тоне. Что, говорит, редактор велит, то и излагай, а редактор, в свою очередь, требует, чтобы было написано и весело, и с маленькой загвоздкой, и обязательно в истинно русском духе. Вот ты и изворачивайся с таким винегретом...»

[1] Здесь: промедлений, затруднений *(ит.)*.



«Бесшабашный».
Художник Ю. Гершкович

Неглупый малый этот публицист... Еще на днях приходил ко мне за даровыми билетами и жаловался...

— На что?

— Да на тяжесть своего ремесла... Прежде, говорит, хоть «жида» да «чухну» изо дня в день пробирали — всегда, значит, был материал, а теперь вдруг редактор приказал изъять «жида» из повседневного употребления... Просто беда... Не придумаешь, говорит, о чем и писать, чтобы было и весело, и патриотично, и с загвоздкою!..— передавал Щетинников и при этом хохотал.

— Вы очень заблуждаетесь, воображая, что все журналисты похожи на вашего знакомого.

— Знаю-с. Есть разновидность, которая величает себя честными журналистами,— иронически подчеркнул Щетинников.

— А вы как их величаете?

— Порядочными таки болванами, вот как я их величаю, если вам угодно знать... Людьми предрассудков, совершенно отставшими от времени...

И после минутной паузы воскликнул:

— И после этого вы думаете, что кто-нибудь боится газетной болтовни? Боится газет? Нашли кого бояться! — с презрением прибавил Щетинников и велел подать себе шартрезу.

Тем временем юбиляр, окруженный толпой, перешел в другую комнату, и мы остались одни за столом.

Нам подали кофе. Щетинников закурил сигару.

Эта редкая, даже и в наши дни, откровенность молодого человека, несмотря на возбуждаемое отвращение, заинтересовала меня. Я знал Щетинникова, когда он еще был гимназистом, встречал его — редко, впрочем,— во времена его студенчества и, хотя много слышал о нем и об его «новом слове», тем не менее никак не ожидал встретить подобный расцвет открытого и словно бы гордящегося собой бесстыдства.

И, чтобы поддразнить его, я заметил:

— Вы хвастаете. Наверное, и вы боитесь и общественного мнения и газет.

— Напрасно так думаете,— отвечал он, пожимая плечами.— Я никогда не хвастаю. Наплевать мне и на общественное мнение и на газеты.

— Так-таки и наплевать?

— Еще бы. Они не остановят меня от всего того, что я лично для себя считаю удобным. По-ни-маете ли, у-до-бным! — отчеканил он с самым наглым хладнокровием.

— А совесть, наконец?

— Совесть? — переспросил он и вслед за тем так весело и беззаботно залился своим пьяным смехом, что я, признаться, совсем опешил.

А Щетинников, словно наслаждаясь моим смущением, не спускал с меня глаз и после паузы отхлебнул ликера и, протяжно свистнув, продолжал:

— Стара, батюшка, штука... Эка что выдумали, какого жупела!.. Он, может быть, годится для вашего поколения, но не для нас... Совесть?! Это одно из тех глупых слов, которые пора давно сдать в архив на хранение какому-нибудь добродетельному старцу. Ха-ха-ха!.. Пилат, говорят, спрашивал: что есть истина? А я спрошу: что есть совесть?

— Что ж она, по-вашему?

— Отвлеченное понятие, выдуманное для острастки дураков и для утешения посредственности и трусости... Вот что такое совесть, по моему мнению, если вам угодно знать. Наука ее не признает... Она знает мозг, центры, сознание, печень и так далее, а совести не знает... Это один из предрассудков... И многие люди носятся с ним, как уродливые женщины со своей добродетелью, на которую, к сожалению, никто не покушается... И хотели бы обойтись без совести, да не умеют. Никому их совесть не нужна-с... Вы, конечно, изволите знать историю? — неожиданно спросил Щетинников.

— Изволю.

— В таком случае вам должно быть небезызвестно, что от древнейших времен и до наших дней так называемые бессовестные люди всегда имели успех и даже иногда удостоивались памятников от благодарного потомства, как, например, Наполеон Первый. Я на памятник не рассчитываю, нет-с, но рассчитываю на отличную квартиру, на роскошь, на богатство, на положение — словом, на то, что мне нравится, не заботясь о совести, которой не имею чести знать... Ха-ха-ха! Вас, я вижу, удивляют мои положения?

— Не стесняйтесь... продолжайте, продолжайте...

— Я и не стесняюсь, предоставляя вам удивляться на доброе здоровье... Я человек без глупых предрассудков...

— Как же, вижу, совсем без предрассудков...

— И — заметьте — имею доблесть самостоятельного мнения. Са-мо-сто-ятель-ного! — продолжал он, начиная слегка заплетать языком...— Все эти прежние идеалы от-

жили свой век... Довольно-с! А то — чем пугают людей: совесть!.. И наконец, самая эта совесть бывает различная. Одного она беспокоит именно за то, за что другой считает себя сосудом добродетели, как изображают эти сосуды в детских книжках... Наполеона Третьего, я полагаю, мучила бы совесть, даже допуская ее, если бы не удалась декабрьская резня, а Проходимцева, например,— если бы он прозевал случай нажить честно и благородно свои миллионы... У животных нет совести, и они — ничего, живут себе, не чувствуя в ней потребности. Этот фетиш поистаскался и перестает, слава богу, пугать даже и не особенно мудрящих людей. И gros publique[1] умней стала. А то, прежде, крикнет какой-нибудь любимый писатель: «Берегись, совесть!» — публика и ошалеет и остановится в нерешительности, словно перед городовым, готовым схватить за шиворот.

— А теперь? — подал я реплику.

— А теперь хоть горло надорвите, господа проповедники и хранители священного знамени... Ваша песенка спета... Теперь иные песни поют старики поумнее и молодые писатели с новыми взглядами и с новыми задачами... Еще неумело, но тон взят верный... А моралистов слушать не желают... Довольно!.. Если же и прочтут, то... пожмут плечами и... усмехнутся... Вот хоть бы сам граф Лев Толстой... Его сиятельство дописался до чертиков со своей правдой и совестью, а в последнее время даже нелепые вещи пишет... Пусть забавляется его сиятельство на разных диалектах... Его философия нас не переделает-с. Мы жить хотим, а не резонерствовать без толку и философствовать на тему: что было бы, если б ничего не было? Да-с. Жить хотим в свое удовольствие и не по стариковской указке, а по своей! — воскликнул не без некоторого раздражения Щетинников, словно что-то все-таки ему мешало жить, несмотря на его бесстыдство, по своей указке.

Я молча взглядывал на это раскрасневшееся, красивое и наглое лицо, несомненно неглупое и энергичное; на эту статную, видную, уже выхоленную фигуру, дышавшую самоуверенностью и смелостью молодого, полного сил, наглеца, чувствующего под собою крепкую почву, и невольно вспомнил об его отце, который после смерти жены одиноко доживал свой век в маленьком заштатном городке на скромную свою пенсию. Вспомнил и порадовался,

[1] широкая публика *(фр.)*.

что он не видит и не слышит своего сына да, вероятно, и не вполне представляет себе, что вышло из его первенца — прежнего любимца.

Старый идеалист, старавшийся прожить всю свою жизнь по совести, веривший в добро, искавший, худо ли, хорошо ли, истины и стремившийся в своем маленьком скромном деле приложить свои идеи,— как бы поникла твоя седая голова при этих речах!..

А Щетинников между тем под влиянием хмеля становился все развязнее и наглее и словно хотел поразить меня независимостью своих мнений...

— Да-с... Все вопросы нравственности, собственно говоря, заключаются в приспособлении к духу времени и в успехе... Успех покрывает все. Сделайся я в некотором роде персоной, как Проходимцев, так ваши газеты и пикнуть обо мне не посмели бы, хотя бы я нажил не два миллиона, как мой патрон, а целых пять, и хотя бы моя совесть казалась бы либеральным дятлам не чище помойной ямы... Да наделай я каких угодно, с вашей точки зрения, пакостей... что из этого?.. Кого я побоюсь, если относительно прокурора я прав?.. Еще посвятили бы мне прочувствованные статьи... А я утром за кофе буду читать и... посмеиваться себе в бороду, пока совестливые дураки будут дожидаться меня в приемной... Ха-ха-ха! Вот вам и совесть... Однако... боюсь вас утомлять. И то, кажется, я с достаточной полнотой изложил свои взгляды! — проговорил Щетинников.— Пора туда, к старикам пойти... Ишь они разошлись, заспорили...

Он замолчал и прислушался. Из соседней комнаты явственно доносились громкие голоса.

Говорили о голоде и голодающих.

— А вы как об этом думаете?

— А мне-то что? Мне какое дело? От этого мне ни холоднее, ни теплее. Жалованье свое из правления я попрежнему буду получать. Лепту свою я все-таки принес: триста рублей пожертвовал, вручив их одной любвеобильной старушке... Нельзя же... Noblesse oblige...[1] Может быть, с нею и экскурсию свершу в неурожайные губернии... Она носится с этой мыслью... Открывать хочет столовые. Сама имела глупость пожертвовать десять тысяч на это дело... Ищет людей и обратилась ко мне... Что ж, на месяц я поеду... Это в моде нынче, да и поездка с этой ярой филантропкой может мне пригодиться. Она с большими

[1] Положение обязывает... *(фр.)*

связями, эта старуха! — прибавил, засмеявшись пьяным смехом, Щетинников и, поднявшись, прошел в соседнюю комнату, откуда все еще доносился громкий разговор.

Я расплатился и вышел из ресторана.

Этот молодой человек с его цинизмом и наглостью не выходил у меня из головы, и я думал: «Неужели таких бесшабашных много?»

Это было бы ужасно, если б не было и другой молодежи, ничего общего не имеющей с господами Щетинниковыми и которая с презрением отворачивается от этого «нового слова» бесстыдства.

Месяца через три после встречи с Щетинниковым я услыхал, что он, благополучно съездив в голодающие местности, охотится за богатой невестой, немолодой уже девушкой, Зоей Сергеевной Куницыной. Я знавал эту барышню и понял, что охота должна быть интересной. Коса нашла на камень.

IV

Зрелый девичий возраст как-то незаметно подкрался к Зое Сергеевне. Ей стукнуло тридцать лет. Ее лицо потеряло свежесть, поблекло и пожелтело, как осенний лист. Черты обострились, и в выражении подвижной физиономии появилась жесткость. В углах неспокойных блестящих глаз обозначились чуть заметные «веерки» и над бровями — морщинки. Приходилось надевать косынки и фишю, чтоб скрывать худобу прежде красивого бюста. Маленькие холеные руки в кольцах сделались костлявыми, и ямки на них исчезли. Молодые люди уже не заводили, как прежде, «интересной», полной недомолвок, болтовни, изощряясь в остроумии, чтобы понравиться девушке, не бросали на нее красноречивых взглядов, не возили цветов и бонбоньерок, не проигрывали на пари конфект и при встречах бывали как-то особенно почтительно-серьезны, стараясь при первом удобном случае дать тягу. По временам у Зои Сергеевны стали пошаливать нервы, вызывая мигрени и беспричинную хандру. В такие дни Зоя Сергеевна нервничала и, несмотря на свою сдержанность, бывала раздражительна и зла. Она придиралась к горничной, ядовито допекала кухарку и по целым дням не говорила с maman, приводя в смущение

кроткую старушку, вдову-генеральшу с седыми буклями и недоумевающим взглядом круглых глаз, которая боготворила и немного побаивалась своего единственного сокровища — «очаровательной Зизи», и говорила о ней всем не иначе как с благоговейным восторгом низшего существа к высшему.

Модный петербургский доктор по нервным болезням, курчавый брюнет лет под сорок, с умным, несколько наглым лицом и уверенными манерами, с напускной серьезностью тщательно исследовал Зою Сергеевну. Он задавал ей множество вопросов, глядя в упор своими пронизывающими, казалось насмешливо улыбающимися черными глазами, покалывал острием иглы спину, плечи, руки и ноги и с небрежным апломбом определил неврастению, осложненную малокровием. «Болезнь очень обыкновенная в Петербурге!» — прибавил он в виде утешения, прописал бром, мышьяк, посоветовал весной прокатиться в Крым, на Кавказ или за границу («куда вам будет угодно!») и, зажимая в своей пухлой волосатой руке маленький конвертик с двадцатью пятью рублями, любезно проговорил провожавшей его до прихожей генеральше:

— Никакой опасности нет... Весьма только жалею, что не в моей власти прописать вашей дочери более действительное средство! — значительно прибавил доктор, понижая голос.

В ответ старушка мать только безнадежно вздохнула.

V

Надо сказать правду, Зоя Сергеевна мужественно встретила свое увядание. Она поняла, что с зеркалом спорить бесполезно, и, с присущим ей тактом, стала на высоте своего нового положения. Как девушка умная и притом казавшаяся моложе своих лет, она не скрывала своей тридцать первой весны и, с рассчитанной откровенностью самолюбивого кокетства, называла себя старой девой, к ужасу генеральши, все еще считавшей Зизи «обворожительной девочкой», и к досаде многих барышень-сверстниц, все еще желавших, при помощи косметического искусства, казаться юницами, забывшими арифметику.

Она почти перестала выезжать и носить туалеты и цветы, которые могли бы обличить претензию моло-

диться, и стала одеваться с изящной простотой женщнны, не думающей нравнться, но всегда одетой к лнцу, и кокетннчала скромностью костюмов. Чтобы как-ннбудь убнть время, Зоя Сергеевна запнсалась членом благотворнтельного общества «Копейка»; начала посещать «пснхологический» дамский кружок, в котором «иаучно» вызывались духи н «научно» поднималнсь иа воздух столы; принялась читать, кроме любнмых ею французскнх романов, статьн по философии и искусству, бойко перевнрая потом в разговоре философские термнны; выучилась играть в внит н рассуждать, по газетам, о политике; сделалась ярой патриоткой в духе времени; бранила евреев н усилеино заиялась живопнсью по фарфору.

В то же время Зоя Сергеевиа, к вящему огорчению maman, все с большей энергией и, по-видимому, искреииостью стала выражать чувства презрения к браку и к семейной жнзнн. То ли дело быть свободной и иезависнмой! Еще насмешлнвее, чем прежде, относилась оиа теперь ко всяким любовиым увлечениям, глумилась над «прозябаннем» замужиих приятельннц и иад «дурамн», которые еще верят в мужскую любовь, и хвалила «Крейцерову сонату». Впрочем, как девушка благовоспнтаиная, хвалила с оговорками. Мысль в основе верна, но, боже, что за неприличный язык! И Зоя Сергеевна, не красневшая прн чтеннн самых скабрезиых фраицузскнх романов, которых нзящный стиль как будто заволакнвал грязиейшне мыслн н положення, искренно возмущалась резкнми выражеииями великого русского писателя.

Презрительиое отиошение к замужеству было любимым коньком зрелой барышнн. В последнне три-четыре года оиа так часто н много болтала иа эту тему, что уверила и себя н мать, будто оиа в самом деле чувствует иеиависть к браку. Оиа даже рисовалась этим, считая себя оригииальной, ие похожей иа других, девушкой. В самом деле, все рвутся замуж, а она не чувствует ни малейшего желання. Все влюбляются, страдают, делают глупости, а Зоя Сергеевиа ннчего этого зиать не хочет. Она, правда, любила прежде пококетиичать с мужчннамн, подразнить ухажнвателей,— это, во всяком случае, ннтересио. Но сама оиа была слишком холодного темперамента и чересчур рассудительна и осторожна, чтоб увлечься очертя голову. Она легко держала себя в узде и не сделала бы подобной оплошности.

Прежде, когда Зоя Сергеевна была моложе, она не прочь была от замужества и к браку не относилась с брезгливым презрением. Она втайне лелеяла мечту покорить какого-нибудь изящного кавалера из высшего общества, с звучной фамилией и, разумеется, с большим состоянием. Эта атмосфера grand genre'a[1] привлекала Зою Сергеевну. И молодая девушка не раз мечтала, как *он*, высокий, красивый и элегантный брюнет, упадет перед ней на колени и на лучшем французском языке предложит ей руку и сердце, и как она великодушно согласится быть его женой, сперва проговоривши маленький монолог на таком же отличном французском языке. Выходило очень красиво, точь-в-точь как во французских романах. Выйдя замуж, она сумеет держать мужа в руках, стараясь ему нравиться. Для этого она достаточно умна и знает мужчин.

Но — увы! — эти мечты так и оставались мечтами. Родители Зои Сергеевны были небогатые люди. Отец ее, военный генерал, получал одно лишь жалованье. В ту пору бабушка Зои Сергеевны еще не думала оставить своей внучке трехсот тысяч наследства,— и блестящего кавалера, во вкусе молодой девушки, не оказалось. Были, правда, два-три жениха, но ни один не представлял собой «хорошей партии» и не нравился, и она им отказывала. У одного была невозможная фамилия, другой был вульгарен, третий, наконец,— без определенного положения и ревнивый до неприличия.

— Теперь я и подавно не сделаю глупости — не выйду замуж, если б и нашелся какой-нибудь любитель старых дев и моих трехсот тысяч! — говорила Зоя Сергеевна с обычной своей усмешкой.

— А если влюбитесь? — допрашивали приятельницы.

— Я — влюбиться? Никогда.

— А если вас полюбят?

— Не поверю!

Она самодовольно щурила глаза. Все ее лицо озарялось торжествующим выражением, словно говорящим: «Вот я какая!»

Она щеголяла скептицизмом и не доверяла ближним. Не такая она дура, чтоб лишиться состояния, выйдя замуж за какого-нибудь охотника до чужих денег!

[1] Здесь: высшего общества *(фр.)*.

VI

Между тем эти триста тысяч Зои Сергеевиы ие давали покоя Щетиииикову, и ои стал обхаживать «красиого зверя» с тоиким искусством и хладиокровиым упорством умиого и осторожного охотиика. Ои собрал предварительно справки: действительио ли у этой зрелой барышии триста тысяч, и, убедившись, что оии лежат в государствеииом баике, решил, что оии крайие полезиы для его будущей карьеры и что Зоя Сергеевиа, как придаток к иим, ие представляет особеииых иеудобств. Ои позиакомился, стал бывать в доме Куиицыиых и после тщательного иаблюдеиия иашел даже, что Зоя Сергеевиа как раз такая жеиа, какая ему иужиа. Правда, оиа старше его года иа два, ио это ие беда. Оиа достаточио моложава, чтоб ие бросалась разиица лет в глаза, и ие такой уже иаружиости, чтобы могли сказать, что ои жеиился исключительио из-за деиег. Оиа, правда, ие красива, но и далеко ие урод. По времеиам, когда оживляется, оиа даже бывает миловидиа и пикантна, эта брюнетка с чериыми волосами и с иасмешливыми карими глазами. В ией тогда есть что-то вызывающее. Сложена она иедурио, руки и ноги малеиькие и красивые. Оиа, правда, худа и костлява — иедаром иосит фишю и косыики,— раздражительиа и иервна, ио после замужества нервы, разумеется, пройдут, и оиа, вероятио, пополнеет и расцветет. Так, по крайней мере, уверяет зиакомый доктор, у которого Щетиииков предусмотрительио расспрашивал иасчет худых, бледных и нервных зрелых девиц.

Одиим словом, он оцеиивал виешиость Зои Сергеевны во всех подробиостях, с объективиым хладиокровием лошадииого барышника, покупающего коня с браком, и пришел к заключеиию, что Зоя Сергеевиа, при трехстах тысячах, достаточно удовлетворительиа с супружеской точки зреиия и, как женщина умиая, сумеет не быть надоедливой. И самый холодиый темпераметт Зои Сергеевны имел, по мнению Щетиииикова, свои выгоды, предотвращая семейиые ссоры. Ои по недавнему опыту зиал неудобство иметь дело с пылкими жеискими иатурами и боялся их. Оии только вносят иеровиость в отношеииях, иарушая покой.

Что же касается до прочих качеств, то они во миогом отвечали его требоваииям. Оиа умна и тактичиа. Самолюбие гараитирует ее от какого-нибудь ложиого шага. Оиа отличио вымуштроваиа светской выучкой, привет-

лива и любезна, может вести разговор о чем угодно и владеет в совершенстве двумя иностранными языками. Она бойка без крайностей, практична и умеет приспособляться к людям. Одевается со вкусом и ни в каком обществе не ударит лицом в грязь. Она консервативна и прилично религиозна, в меру патриотична для порядочной женщины, знает верхушки разных наук и умеет ими пользоваться без претензии «синего чулка»,— словом, такая жена не заставит покраснеть мужа, какое бы положение он ни занял.

От Щетинникова не скрылись и отрицательные стороны Зои Сергеевны. Как человек наблюдательный и серьезно изучавший намеченную им себе жену, он скоро понял, что, несмотря на экспансивность и живость ее характера, она, в сущности, себялюбивая, холодная натура и недоверчивая к людям эгоистка. Но все эти недостатки не пугали Щетинникова. Он и сам ведь был далеко не из чувствительных натур и надеялся справиться с подобной женщиной, только бы она вышла за него замуж, повернув его привязанности.

Вот это-то и было самое трудное. И охотник и «красный зверь» — оба были ловки и способны.

Щетинников повел атаку необыкновенно тонко.

VII

В это зимнее воскресенье Щетинников встал, против обыкновения, поздно и не поехал показаться своему патрону. Было одиннадцать часов, когда он, взяв холодную ванну и окончив свой туалет, свежий и красивый, выхоленный и благоухающий, одетый в короткий утренний вестончик[1], с расшитыми туфлями на ногах, вошел в кабинет своей уютной холостой квартиры в нижнем этаже на Сергиевской улице. Окинув зорким взглядом комнату и убедившись, что все убрано как следует и все сияет чистотой, он присел к большому письменному столу с тем видом веселого довольства на лице, которое бывает у человека, находящегося в отличном расположении духа.

Письменный стол черного дерева, мягкая удобная мебель, крытая темным сафьяном, массивный шкаф, полный книг, хорошие гравюры по стенам, дорогие безделки

---

[1] пиджачок (от *фр.* veston — пиджак).

и старииные вещи — все было ие лишеио вкуса и изящества в этом просториом кабииете, где весело потрескивали дрова в камиие, все свидетельствовало о любви хозяииа к комфорту.

Тотчас же вслед за Щетиииковым появился с подиосом и газетами в руках молодой, благообразиый, чисто одетый лакей Аитои, видимо хорошо вышколеииый, и, осторожио поставив иа стол стакаи чая и положив газеты, почтительио-тихо осведомился:

— Хлеба прикажете?

Отрицательиое движеиие коротко остриженой белокурой головы, и Аитои исчез.

Отхлебывая чай, Щетиииков стал быстро пробегать газеты. Окоичив чтеиие, ои отодвииул их ие без гримасы и с веселой усмешкой промолвил:

— Ну, теперь соорудим любовиое послаиие!

Перед тем чтобы начать, ои закурил сигару, потяиул иосом ароматиый ее дымок и, достав из красивой коробки листок плотиой аиглийской бумаги, украшеииой золотой короикой, прииялся за письмо к Зое Сергеевие.

Ои писал далеко ие с той лихорадочиой поспешиостью, с какой обыкиовеиио пишутся любовиые письма, и по времеиам остаиавливался, чтобы обдумать то или другое выражеиие и покурить. Страиичка уже была исписаиа красивым, твердым почерком, как из передией доиесся звоиок.

— Прикажете прииимать? — спросил появившийся Аитои.

— Прииимать!

И ои отложил в стороиу иачатое послаиие.

Через миииуту в кабииет входил, леииво покачиваясь рыхлым, полиым туловищем, фраитовато одетый госполии лет за сорок, с моложавым, хотя истаскаииым лицом, бросающимся в глаза выражеиием иаглости и хлыщества. Лицо было ие глупое. Малеиькие карие глазки блестели улыбкой.

Это был Аркадий Дмитриевич Кокоткии, довольио известиый человек, особеиио среди постояииых посетителей театров, увеселительиых заведеиий и среди дам более или меиее вольиого обхождеиия. Ои заиимал видиое место, был иемиожко учеиый, иемиожко литератор, иемиожко музыкаит, друг актрис и содержаиок, замечательиый иахал, говоривший о чем угодио с великим апломбом, и циник, заставлявший красиеть даже самых отчаяииых бесстыдииков и бесстыдииц.

Он преуспевал, мечтая о блестящем венце своей карьеры, и имел репутацию талантливого человека.

«А главное — перо! Что за бойкое, хлесткое перо у этого Кокоткина! О чем бы он ни писал — записку ли о разведении лесов или об уничтожении мировых учреждений, статейку ли о шансонетной певичке или исследование о домах терпимости,— везде бойкость и стиль!»

Так говорили о нем везде и похваливали. Действительно, у Кокоткина перо было не только бойкое, но и повадливое.

— Кокоткин, изобразите!

— В каком духе-с?

— В таком-то...

И Кокоткин изображал — и сделался, в некотором роде, персоной.

Тем не менее его цинизм все-таки несколько шокировал, и о нем ходило множество анекдотов. Один из последних, циркулировавших в городе и, без сомнения, выдуманный кем-нибудь из шутников, если не самим же Кокоткиным, был очень характерен.

Рассказывали, будто какой-то крупный промышленник однажды приехал к нему на квартиру и, предлагая ему промессу в пять тысяч за хлопоты, говорил убеждающим конфиденциальным тоном:

— Поверьте, Аркадий Дмитрич, это останется между нами. Ни одна душа не будет знать...

— А я вот что вам скажу, любезнейший,— возразил на это с веселым смехом Кокоткин,— вы лучше дайте мне десять тысяч и рассказывайте кому угодно.

Анекдот гласит, что проситель опешил.

Еще бы не опешить!

Вероятно, проситель, видавший на своем веку немало всяких людей, в первый раз увидал такого откровенного и, разумеется, исключительного бесстыдника в наше время экономии, бережливости и бескорыстия.

— А вы разве не чтите субботнего дня, Николай Николаич? — воскликнул с веселым смехом Кокоткин, пожимая приятелю своему руку.— И отчего вы сегодня не в храме божием, как подобает благонравному россиянину? Ужели за работой? Помешал?

— Нисколько. Писал письмо... Успею. Садитесь. Что нового, Аркадий Дмитрич,— вы ведь все знаете? Прикажете сигару?

— А у вас какие? Для друзей? — засмеялся Кокоткин, снимая перчатки.

— Хорошие.

— Тогда давайте.

Он грузно опустился в кресло, заложил одну ногу на другую и, закурив сигару, сделал довольную мину и продолжал крикливым, громким тенорком, пощипывая свою темную бородку:

— Сигара недурна... Очень недурна... А я ведь к вам, Николай Николаич, завернул, между прочим, за билетиками... Уважьте приятелю.

— Опять для дам?

— Ну, конечно, для дам,— захихикал Кокоткин,— для двух, знаете ли, недурненьких девочек... Хотят Москву поглядеть. Желаете, они сами явятся к вам сюда, как-нибудь вечерком за билетами? Одна из них, Мария Ивановна, сложена, я вам скажу...

И, приняв вид знатока по этой части, Кокоткин вошел в невозможные подробности насчет достоинств этой Марьи Ивановны, смакуя их с видимым наслаждением развратника.

Щетинников слушал собеседника, не разделяя его восторгов и с скрытым презрением к этому истасканному и до мозга костей развращенному виверу. Сам он не был развратником и вел более или менее правильный образ жизни, благоразумно оберегая свое здоровье и имея связи, гарантирующие его и от увлечений и от излишеств. Он недаром уважал гигиену.

— Так прислать к вам дамочек, а?

— Нет, не надо. Я пришлю билеты вам.

— А познакомиться с ними не хотите?.. Да что вы, Иосиф Прекрасный, что ли? Не любите бабы?.. Да я без нее пропал бы от скуки. Или к женитьбе себя сохраняете, ха-ха-ха! Кстати, как ваши дела с Куницыной?

— Идут помаленьку.

— На каком пункте, дружище? Срываете уже мирные поцелуи или только по части рук... До каких пор дошли: до локтя или пробавляетесь пока еще у пульсика?..

— Да полно вам врать, Аркадий Дмитрич!

— Нет, вы поймите, это важно... очень важно. Флирт флирту рознь. Ведь не влюблены же вы в эту барышню, надеюсь, а хотите, так сказать, прикарманить ее триста тысяч?.. Вы ведь тоже малый не промах... ха-ха-ха!

Даже Щетининикова покоробило от этих сочувственных замечаний, и он заметил:

— Просто хочу сделать выгодную партию.

— Ну это, мой друг, то же, что и я говорю, только мягче выражено. И потому надо, чтобы она втюрилась... Флирт этому способствует, особенно относительно старых дев. С ними надо действовать по-суворовски... Только смотрите, молодой мой друг, не проморгайте трехсот тысяч.

Щетиниников высокомерно подумал: «Не проморгаю, она сама мне после свадьбы отдаст!» — и громко сказал:

— То есть как?

— А так... Я Зою Сергевну вашу имею честь знать. Прежде бывал у них. Она — дева не глупая и деньгу бережет, а главное — холодный темперамент... Мало, знаете ли, расположения настоящего к мужчине... Это какая-то femme-homme[1]. Да глядите, как бы, женившись, вы не получили одной лишь подруги жизни... Денежек можете и не увидать. Она умная дама, Зоя Сергевна... В таких делах надо, мой друг, быть очень осторожным... Меня в дни молодости тоже чуть было не надули...

— Как так?

— Я тоже нацелил барышню с приданым. Ну, конечно, любовь и все такое... сладкие поцелуи — она была недурна и молоденькая; я звал ее Асей, она меня — Арочкой, одним словом — идиллия... Все было готово. Назначен день свадьбы. А папенька обещал перед свадьбой в руки мне сто тысяч привезти. День проходит — нет моего папеньки. Ну я, как был во фраке, к ним в дом... Невеста уехала в церковь, а папенька собирался. Так и так, говорю, «argent comptant»[2]. Он, шельма, туда, сюда... «Будьте, говорит, спокойны, завтра получите...» — «Ну, так и я завтра буду венчаться!» — и от него домой... ха-ха-ха... Скандал... невеста без чувств, как следует, а я, как видите, до сих пор гарсоном остался, предпочитая свободную любовь... Дня через три после скандала я и подарки потребовал обратно... списочек составил... За что же их дарить?.. За поцелуи?.. Так ведь за это не стоит...

Он залился смехом и заметил:

---

[1] мужеподобная женщина *(фр.)*.
[2] наличные деньги *(фр.)*.

— А у вас что нового?
— Где у иас?
— Да у Проходнмцева?
— Кажется, ннчего.
— Ну, так я вам сообщу иовость, касающуюся вашего патрона. Да разве вы, его наперсник, ннчего ие знаете?
— Не знаю. Что такое?
— Он получает еще два банка под свое главное иаблюдеине.
— Неужелн? — нзумлеиио восклнкнул Щетнннннков.
— Кажется, что верно. Вчера вечером «мой» мне сообщнл н прнбавнл: «Как этой каналии везет!» Уднвлеиы н, коиечно, обрадоваиы?
— Мне-то что?
— Ну, полно врать... Он теперь и вас устронт, дай вам бог здоровья н генеральскнй чнн! Не забудьте н нас грешных,— смеясь, прнбавнл Кокоткни.
Щетнннннков, несмотря на свой отчаянный скептнцнзм, был поражен этой новостью.
— Вот что значнт ум! — проговорнл он, как бы отвечая на собственные мыслн.
— Да, умеи и кому хотите зубы заговорнт!.. Да, кстати,— вдруг точно спохватнлся Кокоткии,— скажите-ка вашему патрону, чтобы он н мне порадел... Пусть мне место члеиа какого-инбудь правлення устронт, чтобы жалованье н ннчего ие делать, а то, ей-богу, большие расходы... Одии женщнны чего стоят! — добавил, смеясь, Кокоткин.— А ведь комаиднровкн не каждый же год!..— Он помолчал н продолжал: — А еслн ваша шельма заартачнтся...
— Тогда что? — не без любопытства перебнл Щетинннков.
— Тогда, мой милый друг, скажнте мнлейшему Анатолню Васильевнчу, что у меня есть очень интересная статья о тмутараканском банке и о деятельности там Проходнмцева... Очеиь пнкаитная н, главиое, полная фактов... Илн эта делнкатиая мнссия вас затрудиит? Ну, в таком случае я сам заеду иа днях к Проходнмцеву посоветоваться иасчет статьн... Надеюсь, он разъясинт мне... превосходно разъясиит! — с хохотом проговорнл Кокоткни.
— Ои, кажется, печати ие очеиь-то боится!
— Вы полагаете? Надеюсь, еще бонтся... Да, мнлейший Нниколай Нниколанч, как вы там с вашнм пат-

роном ни фыркаете на прессу, а все-таки лучше с ней быть в ладу до той поры, пока... вы понимаете? И вам советую, по-приятельски, на будущее время водить дружбу с журналистами. Однако addio...[1] Пора! Уж первый час! Мы сегодня завтракаем за городом... Partie carrée![2] — прибавил Кокоткин и поднялся с места.

Проводив гостя, Щетинников подумал: «И без того этот Кокоткин нахватывает с разных мест тысяч пятнадцать, а теперь будет двадцать получать. Вот как дела люди делают. Проходимцев, наверное, сделает его членом. Даже такие нахалы ценятся!»

Взволнованный только что сообщенной новостью, он быстро и нервно ходил по кабинету. Сегодня же он поедет к Проходимцеву, и тот, вероятно, сообщит ему в чем дело. Странно только, что вчера они виделись в правлении и Проходимцев ни слова не сказал.

Если слух окажется справедливым, тогда, быть может, и его звезда поднимется, а там... кто знает? С энергией и умом чего нельзя достигнуть?!

И Щетинников долго еще ходил по комнате, увлеченный самыми приятными мечтами, какие только могут быть в наши дни у свободного от всяких предрассудков современного молодого человека.

VIII

Часов в десять вечера Щетинников вернулся домой от Проходимцева необыкновенно веселый и радостный. Слух оказался справедливым, о чем ему и сообщил не без торжественности Анатолий Васильевич, уведя его после обеда в кабинет. Потом произошла трогательная сцена: Проходимцев обнял Щетинникова, сказал, что верит его преданности и надеется, что они будут снова вместе работать, причем наговорил ему много комплиментов.

В свою очередь и Щетинников не без волнения благодарил своего патрона, обещая до конца дней своих помнить; и так далее. Оба слишком были радостны и потому разыграли эту комедию вполовину искренно. Однако Проходимцев все-таки был правдивее: он был расположен к молодому человеку, а не только ценил в нем

---

[1] прощайте... *(ит.)*
[2] Двумя парами! *(фр.)*

дельного и способного работника и умного человека, понимающего его идеи с намека. Щетинников, напротив, готов был предать своего патрона во всякую минуту, если б того потребовали его интересы. Недаром же он говорил, что его принципы — беспринципность, а совесть — жалкое слово, пугающее только глупых людей...

Впереди ему открывались широкие горизонты. После беседы с Проходимцевым он твердо верил в свою звезду, и нервы его успокоились.

— Ну, теперь можно и послание окончить! — проговорил он, присаживаясь к столу.

Через четверть часа письмо было окончено, и он стал прочитывать его вслух:

— «Уверять, что я влюблен в вас, подобно гимназистам и юнкерам, было бы и глупо и неверно; сказать, что жизнь моя будет разбита или что-нибудь в подобном роде, что говорят обыкновенно, если встречают отказ, было бы еще глупей и маловероятней, и вы, конечно, посмеялись бы от души, Зоя Сергеевна, получив от меня подобные строки. Так позвольте же мне вместо всего этого правдиво и откровенно сказать, что вы мне больше чем нравитесь, что я искренно привязан к вам и считал бы большим счастием разделить жизнь с такой милой, изящной и умной девушкой, как вы. Пишу это вам после долгих и зрелых размышлений, уверившись в своей привязанности. Надеюсь, что, при всем вашем скептицизме, вы, Зоя Сергеевна, догадывались, что меня тянуло в ваш дом не одно только сродство наших натур и сходство взглядов, не одно только удовольствие живых бесед, а нечто большее...»

«Твои триста тысяч!» — мысленно проговорил, улыбаясь, Щетинников и промолвил вслух:

— Кажется, начало ничего себе. Не очень банально, не особенно чувствительно и в ее вкусе. Эта старая дева любит оригинальность!

И, покуривая сигару, Щетинников молча продолжал пробегать продолжение своего любовного произведения, не очень длинного, но и не короткого, ловко написанного, с рассчитанной сдержанностью в выражении чувств, придававшей письму тон правдивости,— не без шутливого остроумия насчет того, что Зоя Сергеевна и он слишком большие скептики и слишком хорошо воспитаны, чтобы сделать из семейной жизни подобие каторги, и не без блестящих метафор на хорошем французском языке, столь любимых Зоей Сергеевной.

— Написано недурно! — произнес молодой человек и затем снова прочел вслух следующие заключительные строки письма:

— «Мы хорошо понимаем с вами жизнь с ее требованиями, чтобы я умолчал о прозаической стороне дела, то есть о средствах. Не имея их, я, разумеется, не подумал бы о женитьбе, не веря в счастье «шалаша». У меня пока десять тысяч содержания и дохода и, вероятно, на днях будет двенадцать, что дает возможность жить до известной степени прилично. Положение мое для моих лет хорошее, но, разумеется, оно не удовлетворяет меня, и я рассчитываю — а я редко ошибаюсь в расчетах — на блестящее положение в близком будущем и на более значительные средства, при которых мы могли бы жить вполне хорошо. Говорю обо всем этом, чтобы вы имели в виду, что я не рассчитываю на ваше состояние. Я сумею составить свое, и следовательно, вы будете пользоваться вашим, как вам будет угодно. Мне до него нет дела. Я сказал все. От вас, Зоя Сергеевна, будет зависеть решение задачи. Подумайте хорошенько и, если вы не прочь быть моей женой, любимым другом и помощником,— ответьте: «Приезжайте», и я приеду к вам немедленно, радостный и счастливый».

Он не спеша вложил письмо в конверт, надписал адрес и надавил под доской письменного стола пуговку от электрического звонка.

В ту же минуту в кабинет явился Антон.

— Отнести завтра утром это письмо к Куницыным. Знаете, где они живут? — проговорил Щетинников, отчеканивая слова холодным, слегка повелительным, резким тоном, каким он имел обыкновение говорить с прислугой.

— Знаю-с! — тихо и почтительно отвечал Антон, принимая письмо.

— Где?

— В Моховой-с.

— Если ответа не будет, спросите, приходить ли за ответом потом. Понял?

— Понял-с.

Антон вышел.

Щетинников поднялся с кресла, потянулся, хрустнул своими белыми крупными пальцами и с веселой самоуверенной улыбкой промолвил:

— Эта мужененавистница, верно, будет приятно удивлена письмом и согласится, пожалуй, вкусить от брака... Я ей нравлюсь... Да и возраст критический...

И молодой человек заходил по кабинету, улыбаясь по временам скверной, циничной усмешкой при воспоминании о своем сближении с этой недоверчивой девицей, о том, как постепенно он дошел до целования рук, с какой тонкой расчетливостью он старался возбуждать ее инстинкты и как мастерски охотился за ее состоянием.

Действительно, он охотился недурно, с цинизмом и утонченностью холодного развращенного психолога.

IX

Он начал с того, что вел с Зоей Сергеевной одни лишь «умные разговоры», беседовал о Шопенгауэре, о спиритизме и не подавал ни малейшего повода считать себя ухаживателем. Он как-то сразу стал с Зоей Сергеевной на приятельскую ногу, как добрый товарищ, сходный с ней во взглядах и вкусах. Как будто не замечая в ней женщины, он горячо беседовал с ней, давая ей тонко понять, что она замечательно умная девушка, беседовать с которой доставляет ему истинное удовольствие,— потому только он и ездит, чтоб «отвести душу». Он часто вызывал ее на спор, делая вид, что интересуется ее мнениями, и сам, в пылу спора, представляясь увлеченным, как бы в рассеянности, брал ее руку и, слегка пожимая, задерживал в своей теплой, мягкой руке, украдкой посматривая, не производит ли это пожатие того действия, на которое он рассчитывал.

Зоя Сергеевна, всегда приветливая и любезная, всегда довольная случаю поболтать, хоть и принимала Щетинникова радушно, но сперва не доверяла ему. «К чему он часто ездит?» — спрашивала она себя и добросовестно не находила ответа. Тем не менее ей было не скучно с Щетинниковым. Он говорил недурно, щекотал ее ум и нервы. Под конец она привыкла к молодому человеку. Его ум, хладнокровие, светская выдержка, его скептические взгляды на людей и, наконец, его вызывающее, красивое лицо — все это производило некоторое впечатление. Она стала с ним откровеннее, шутя звала его своим приятелем и под конец скучала, если он долго не приходил.

И в течение этих трех месяцев Щетинников приходил часто по вечерам. Генеральша обыкновенно сидела в гостиной, а Зоя Сергеевна, на правах старой девы, звала молодого человека в свой роскошный, уютный кабинет,



«Бесшабашный».
Художник Ю. Гершкович

где оин обыкиовеиио проводили вечера, она — иа ннзеньком диване, он — около, на мягком кресле, болтая о разных разностях, споря илн читая какую-нибудь книгу, и расходилнсь нногда зá полночь. Оиа, веселая н оживленная, шла спать, а Щетинннков, несколько подавлеиный от скуки н голодный, ехал в трактир ужинать.

Во время этих бесед Щетнников ии разу ие заводил разговора о «чувстве» — этой нзлюблеиной теме молодых людей в иачале ухаживания. Это как будто его совсем не нтересовало. Не противоречил ои, особеиио в первое время, Зое Сергеевие, когда оиа называла себя «старой девой» и смеялась иад товарками, все еще стремящимнся выйти замуж. Ои словио пропускал эти речи мимо ушей, н это немножко раздражало Зою Сергеевиу, заставляя ее слегка кокетннчать н стараться быть одетой к лнцу к приходу Щетиииикова. Он как будто и этого ие замечал и с большей, казалось, нскреииостью прниял по отиошеиию к Зое Сергеевне тон доброго товарища, далекого от мысли за нею ухаживать. Ои чаще брал ее рукн или присаживался совсем близко около нее, обдавая ее горячнм дыхаиьем, когда оиа прочитывала какое-нибудь место в кинге, н в то же время с самым серьезным видом продолжал «умиый» разговор, взглядывая украдкой на раскрасневшееся лнцо н загоравшиеся глаза девушкн. Затем он садился в кресло н терпеливо выслушивал возбуждениую Зою Сергеевиу, рассказывавшую, какие у нее были ромаиы. Она любила их вспомииать н изукраснть собствеииым воображеиием, являясь в инх всегда героиией, отвергавшей со смехом влюблеиного героя. Ои виимательио слушал, зиая, что оиа привирает, и когда, закоичив рассказ, Зоя Сергеевиа говорила, что любнть не умеет н ни разу ннкого ие любила, молодой человек казался совсем равнодушиым. Ои лишь слегка, как светский человек, оппоннровал, когда Зоя Сергеевна, словно бы вызывая иа ответ, прибавляла, что теперь уж ее песенка спета, она уж не может нравиться. Это еще более подзадоривало самолюбивую девушку. Ей так хотелось, чтобы этот красивый молодой человек горячо оспарнвал ее слова! И оиа еще тщательнее стала заниматься собой.

Так прошло месяца два с половииой. Щетиииков видел, что его дела подвигаются вперед, что ои иравится и что пора сделаться слегка влюблеиным.

И вот одиажды, когда ои застал Зою Сергеевиу, по случаю мигрени, с распущенными волосами, которые

волной ниспадали на плечи, моложавя лицо девушки,— он с таким, казалось, восхищением, словно бы внезапно очарованный, глядел на Зою Сергеевну, приостановившись у порога, что она заалела, как маков цвет.

— Вы что так глядите, Николай Николаевич? — прошептала она и тут же извинилась, что, на правах старой девы, позволила себе принять его в таком виде.

Щетинников как бы очнулся от своего очарования, и с его губ, точно невольно, сорвался возглас, произнесенный тихим, мягким голосом:

— Да ведь вы совсем молодая и такая...

И, словно спохватившись, он прибавил уже более спокойно, тоном светского человека:

— Такая авантажная, Зоя Сергеевна...

И с этими словами подошел поздороваться с хозяйкой.

Вся эта коротенькая сценка была разыграна с мастерством большого негодяя.

Зоя Сергеевна испытывала величайшее удовольствие от этой, показавшейся ей столь искренней, хвалы. Но это, разумеется, не помешало ей сделать изумленное лицо и, прищурив глаза, со смехом спросить:

— Комплимент старой деве? И вы думаете, я вам поверю?

— Полно, Зоя Сергеевна, вам кокетничать этой кличкой. Ведь вы сами знаете, что это вздор! — умышленно резким тоном ответил Щетинников.

— Да вы чего сердитесь?! Садитесь-ка лучше... Что вы называете вздором?

— А то, что вы хотите считать себя старухой.

— Мне тридцать один год, Николай Николаевич.

— А хоть бы тридцать два — не все ли равно? На вид вам нельзя более двадцати пяти-шести дать!..— заметил Щетинников и тотчас же переменил разговор.

В этот вечер Зоя Сергеевна была необыкновенно оживлена и весела. Она слегка кокетничала и нередко дарила молодого человека каким-то загадочным взглядом, не то вызывающим, не то ласкающим, своих карих глаз.

«Клюнула!» — подумал, внутренне усмехаясь, Щетинников и при прощании крепко поцеловал ее руку.

— Это — новость! — промолвила, вся вспыхивая, со смехом Зоя Сергеевна.

— В чем новость?

— Прежде вы иикогда ие целовали моих лап...

— Я просто ие замечал, что у вас такие красивые руки! — смеясь, отвечал и Щетиииков.— А я, как поклоииик всего изящиого, люблю хорошие руки... Посмотрите, какой красивый склад кисти, какие линии пальцев...

И ои взял малеиькую, бледиую, красивую руку Зои Сергеевиы, с самым серьезиым видом иесколько секуид любовался ею и сиова поцеловал ее долгим поцелуем.

— До завтра? — промолвила Зоя Сергеевиа.— Завтра придете поболтать?..

— Постараюсь.

Но Щетиииков ие приходил целую иеделю. Зоя Сергеевиа иервничала и скучала. Накоиец явился Щетиииков. Ои был как будто расстроен.

— Где вы пропадали? — спросила Зоя Сергеевиа, видимо обрадоваииая гостю.

— Хаидрилось что-то,— как-то миогозиачительно промолвил Щетиииииков, целуя ее руку.

— Что с вами? — участливо спросила девушка.

— Да ничего особеииого... Так, видио, и у иашего брата иервы... С чего бы, кажется, хандрить?.. Положеиие хорошее... средства есть, а вот подите: одииочество иногда дает себя зиать...

И Щетиииииков так мягко, так задушевио, словио бы говорил с любимой сестрой, рассказывал в этот вечер о своей жизии, о блестящей будущности, которой ои достигиет, о своих плаиах.

Зоя Сергеевиа слушала с видимым иитересом и, когда Щетиииииков окоичил, спросила:

— И все-таки вы хаидрите?

— Все-таки порой хандрю. Приятели говорят: жениться надо.

— А в самом деле, отчего вы ие женитесь?

— Жеииться нетрудио, ио...

— В чем же дело? Или вас удерживает какая-нибудь старая привязаииость?..

— И иикакой такой привязаиности иет.

— Так что же вас остаиавливает? Не иаходите достойиой приицессы? — смеясь, спрашивала Зоя Сергеевна.

— То-то не нахожу, Зоя Сергеевна. Я ведь очеиь требователен. У меия совершеиио особенный вкус.

— Любопытио узиать какой?

«Любопытно?!» — усмехнулся про себя Щетинников и с самым искренним видом, точно поверяя свои задушевные мысли, отвечал:

— Все эти юные смазливые барышни с пустыми головками, занятые одними туалетами да глупой болтовней, не моего романа. Скучно с ними, они скоро надоедят. Да и вообще я не поклонник юниц!..— как бы мимоходом вставил Щетинников.— Отзывчивая, изящная натура, характер, ум, такт, знанье жизни, уменье стать на высоте всякого положения — вот чего я ищу в женщине. Мне нужна не пустая дура, а нужен умный верный друг и помощник, с которым я говорил бы как равный с равным. К такой женщине я мог бы привязаться! — закончил Щетинников с горячностью.

Зоя Сергеевна слушала с участливым вниманием и в каком-то раздумье.

А Щетинников подумал:

«Попалась, мужененавистница!»

Приехавшие гости помешали дальнейшей беседе в этом интимном тоне, и Щетинников скоро уехал, уверенный, что дело его в шляпе.

Обо всем этом Щетинников припоминал теперь с видом победоносного охотника. Гнусность его поведения, казалось, нимало не смущала его. Надо же было как-нибудь подъехать к этой подозрительной деве. И торжествующая улыбка играла на его красивом лице, когда он проговорил:

— Наверно выйдет замуж!

Он рано сегодня лег спать, но долго пролежал с книгою в руках.

Наконец он заснул. И ему снился дивный, обворожительный сон.

X

Он — правая рука Проходимцева и главный контролер трех банков. Тот его любит, доверяет и осыпает щедротами с истинно русской расточительностью, не стесняющейся сорить общественными деньгами. Разные «добавочные», «путевые», разные «не в пример прочим» значительно округляют его хорошее жалованье и вознаграждают за труды. Ему кланяются и льстят. В нем ищут, и он видит себя во сне еще более солидным и серьезным, с внушительным и строгим лицом влиятельного авгура. И походка стала тверже, и

голос самоуверенней, и мнеиия категоричиее. Только со «своим» ои кроток н проиикновеиеи — с другими, особеиио с подчииеиииымн, он холодно любезеи н, при случае, иагл.

А дома? Изящно, роскошно, уютно. Дом — полная чаша. Пополневшая, похорошевшая Зоя Сергеевиа, со вкусом одетая, бежит ему навстречу, когда он, усталый, прнезжает домой. Глаза ее утратили прежнюю беспокойиость взора и глядят мягко н нежио, словио за что-то благодарят своего молодого краснвого мужа. Еще бы! Она после замужества полюбила его со всем пылом запоздалой страсти н смотрит в глаза Никсу, угадывая малейшие его желаиия...

— Кстати, возьми, Никс, нз банка мон деиьги и помести, как найдешь удобией! — говорнт она.

Деиьги к деньгам! Ои поместнл их удобио, как помещает и свон. Он вндит во сне эти пачкн, эти большне пачки радужных бумажек, которые как-то незаметио текут к нему н увелнчнвают его капиталы. Звонок! Это, ои зиает, представитель одного синдиката. «Проснть и иикого не прииимать!» Мириая, конфидеицнальиая беседа, обещание похлопотать у Проходимцева, устроить дело, прнинять даже в нем участие. И новые вклады, новый прнлнв деиег, новая записка о каком-ибудь иеобходимом соглашеиин между баиками, конечно для пользы дела... И как все это просто, как мило н делнкатно даже н во сне... Сон быстро уносит годы, один, два, трн, четыре, бог их знает сколько, н Щетинников во сне богат, очень богат... У иего около миллиоиа, не считая жениных деиег. С богатством живется легче... Ои пользуется всемн благами жизии. Он достиг, чего только можио желать в его годы, н, кажется, счастлнв... А впереди? Все впереди кажется таким светлым, маиящнм...

Но вдруг чудный сои омрачен внденнем. Что же? Разве отец не похоронен два года тому назад на малеиьком кладбнще захолустного городка? Разве об этом ие сообщил ему какой-то приятель покойиого? Зачем он здесь, в кабииете, как раз в то время, когда с иим сндят два американца, предлагающие грандиозиый проект ие то благодеяния, ие то опустошення,— с какой точки зрения взглянуть, с объективной илн субъективной. «Последняя даст крупиый куш!» — думает во сне Щетинннков н внимательнее следит за выкладкамн амернканцев. И вдруг перед ннм это скорбное, мертвенное лнцо, этот грустный упрек тусклых глаз, эти бледиые губы, тихо шепчущие:

— И тебе, Коля, не стыдно? Опомнись!

И что-то похожее на робость охватывает в это мгновение Щетиииикова. Чем-то детским, давио забытым веет

на иего, напомиив старый отцовский домик и чистые ребячьи мысли. Но прошло мгновенне, и дерзкая улыбка самоуверенного иаглеца снова играет иа его лице, н он отвечает:

— Чего стыдиться? Перед кем стыдиться? Уходи, старик! Ты — прошлое. Я — настоящее. Ты — бессилие. Я — сила, которой на мой век хватит. Ты верил в призраки, всю жизнь кипятился, из-за чего-то убиваясь. Я верю в действительность, я счастлив и покоен и ни о чем не печалюсь. Ты думал всю жизнь о других, забывая о себе. Я думаю только о себе, ие думая о других. Ступай, старик! Теперь наше время!

— Но подумай, подумай только, кого ты грабишь? Ты грабишь народ, бедный, темный народ. Он заплатит за твоих американцев, за твои записки, за твое желание угодить Проходимцеву. Подумай только, сколько горя, слез стоит твой бесстыдный эгоизм. Подумай, что о тебе скажут потом твои дети?

— Какое мне дело? Наверное, поблагодарят, что не оставил их нищими. И зачем я упущу случай? Не я, так другой. Не Щетининков, так Иванов!

— Срамник, остановись!

Видение исчезает. Щетининков поворачивается на другой бок, облегченно вздыхая, и снова приятные сновидения сменяются, одно за другим, точно в калейдоскопе.

Ему снится, что его произвели в штатские генералы (мало ли что во сне ни приснится!), и он доволен. Это, во всяком случае, ступень. Честолюбивый червяк отчасти удовлетворен. Зоя Сергеевна — она очень хотела быть генеральшей и по мужу — так нежно, так страстно целует своего милого генерала, поздравляя его, что тот несколько хмурится от этих излияний своей подруги, темперамент которой оказался не такой холодный, как он предполагал. Но нет розы без шипов. И Зоя Сергеевна умеет скрывать эти шипы и с присущим ей тактом несет свои обязанности, не надоедая мужу излишней пылкостью чувств. И между ними царит потому согласие. В этот день они оба так веселы, так радостны. У них сегодня званый обед, тонкий обед; Проходимцев и разные лица, более или менее влиятельные, сидят за столом. Несколько красивых дам украшают собрание. Пьют за здоровье молодого генерала, и сколько несется пожеланий! И сколько надежд в груди у Щетининкова!

И вот наконец... Даже у сонного замирает от волненья сердце... Он предчувствует, зачем к нему приехали от Про-

ходимцева и в иеурочиый час зовут к иему... Ои видит что-то особеииое и в лице послаииого, и в тех особеиио почтительиых поклоиах, которыми его провожают лакеи в доме патроиа. Ои видит радостио-торжествеииое лицо Проходимцева и сразу поиимает, что это зиачит... Но это так иеожидаиио. Ужели его иазиачат директором-распорядителем баика?

Проходимцев обнимает и поздравляет...

— Вы иазиачеиы... Видите, я ие забыл вашей службы... Вы иазиачеиы главиым директором одиого из баиков. Вам открывается поле самостоятельиой деятельиости.

Самостоятельиой?.. Даже и во сие у Щетииииикова иет слов. Ои молчит от избытка чувств.

— Надеюсь, вы достойио оправдаете мою рекомендацию... И уж более... Вы ведь сыты теперь? — ласково прибавляет вдруг, после паузы, плутовски улыбаясь, Проходимцев...

— Сыт, Аиатолий Васильич,— иежио отвечает Щетииииков, ио чувствует, что в глазах его мелькают миллиоиы... И как теперь оии легко могут прийти... Даже без риска...

— То-то... Я так и думал... У вас около миллиоиа, родиой мой?

— Около, Аиатолий Васильич.

— Ну и довольио. Не правда ли? Теперь для общества потрудитесь бескорыстио... Экоиомия и бережливость... Твердые прииципы. Вы поиимаете?..

— О, поверьте!..

Ои едет домой, и кажется ему, что его кровиые рысаки бегут иеобыкиовеиио тихо... Ему машет рукой Кокоткии особеиио мило. Зиакомые клаияются, казалось, ииаче. Уж все зиают... Зоя Сергеевиа чуть ие упала от радости в истерику и с благоговейиым восторгом смотрит иа Никса. Никс взволиоваи и за обедом плохо ест, а после обеда ходит и думает, как ои подтяиет свое учреждеиие и скольких выгоиит... Пусть видят, что ои ие шутит. Это реклама и для иего.

— Экоиомия и твердые прииципы! — повторяет ои и думает в то же время: «А какие теперь можио дела делать!»

Ои встал иа следующее утро и, словио бы уж привыкший к новому положеиию, заходил по кабииету величествеииой походкой и заговорил, чуть-чуть растягивая слова.

Ои прочитывает утром хвалебиые статейки в мелкой прессе и даже мииутами иачииает верить, что ои ие бесстыдиик, а «иеподкупиая честиость». А вот и Прощалыжииков, старый зиакомый репортер, просит иитервью. Ще-

тинников, которого давно ли этот самый репортер хотел послать на Сахалин, теперь мякнет и говорит, что он будет искать поддержки в прессе. Он сочувствует ей. Он всегда... Прощалыжников тает и уходит в телячьем восторге, получив тут же в кабинете место юрисконсульта в отделении «текущих счетов» с обязательством приходить лишь двадцатого числа за жалованьем. И на другой день Щетинников уже читает новый дифирамб, необыкновенно прочувствованный, но читает наскоро, так как спешит ехать в свой новый частный банк.

Толпа служащих уже ждет в приемной. Тут и старики, и пожилые, и молодежь. Стоят и трепещут за свое жалованье. Скрипнула дверь, и он вышел...

И во сне он говорит речь:

— Прошу, господа, любить и жаловать... Я строг, но справедлив, и подтяну наше учреждение. Люди, не желающие работать, пусть лучше уходят, а полезные работники найдут во мне всегда покровителя и защитника. Надеюсь, я не услышу более ни о злоупотреблениях, ни о послаблениях, ни о мздоимстве. Язву эту я вырву с корнем!

И, чтобы показать, что он не шутит, он на другой день уволил десять бухгалтеров, двадцать помощников и сто двадцать конторщиков.

Опять утро. Его речь опять в печати, благодаря усердию Прощалыжникова, и в заключение хвала его энергии и решительности. Щетинников опять читает и даже во сне улыбается циничной усмешкой и сам затрудняется, как себя назвать: великим ли дельцом или просто большим прохвостом. Его правдивость одерживает победу, он называет себя прохвостом и весело смеется, переполненный счастьем торжества... Ему хочется крикнуть: «Да здравствует бесстыдство!» Он вскрикивает и от собственного крика просыпается.

— Так это был сон? — говорит Щетинников, потягиваясь в кровати.— Авось он будет вещим сном! — прибавляет он, веселый и радостный, припоминая вчерашнюю беседу с Проходимцевым.

Он взглянул на часы. Был одиннадцатый час.

— Есть ли ответ от Куницыной? — тревожно проговорил он и позвонил.

Вошел Антон с письмом в руке.

Щетинников быстро вскрыл конверт и с торжествующей улыбкой прочитал: «Приезжайте».

— Сон в руку! — весело заметил он, начиная одеваться.

1891

ИСПОРЧЕННЫЙ ДЕНЬ

I

В этот ясный и солнечный декабрьский морозный день Дмитрий Александрович Черенин, главный контролер крупного петербургского банка и член нескольких деловых обществ, в пятом часу подъехал к подъезду большого дома на Кирочной, необыкновенно веселый и возбужденный. Неудержимая улыбка счастия и довольства светилась на его красивом, моложавом и умном лице. Черные быстрые глаза искрились.

Он дал извозчику двугривенный на чай, как-то особенно приветливо улыбнулся рыжему швейцару Егору, которого еще вчера за что-то распек, и, взбежав, не переводя духа, в четвертый этаж, нервно и сильно надавил пуговку электрического звонка у дверей своей квартиры.

— Барыня дома? — весело спросил он, тяжело дыша, молодую горничную Пашу, сбрасывая на ее руки шубу с заиндевевшим воротником.

— Дома-с.

— Никого нет?

— Никого.

— Отлично!

И, бросив на стол мерлушечью шапку и перчатки, Черенин, не заходя в кабинет, что обыкновенно делал, возвращаясь со службы, быстрыми и легкими шагами, слегка раскачиваясь своим крепким, плотным корпусом, направился через гостиную и столовую в комнату жены.

В этом гнездышке, видимо свитом заботливой и умелой женской рукой, светлом, уютном и теплом, где весело потрескивали сухие дрова в камине,— на мягком низеньком диванчике сидела, с книжкой журнала в руках, маленькая хорошенькая блондинка, лет около тридцати, с пепельными

волосами, гладко зачесанными назад и собранными в пышные косы. Мягкая шерстяная ткань темно-синего платья обливала красивые формы молодой женщины.

При появлении из-за портьеры мужа, веселого и радостного, и эта маленькая женщина вдруг вся засветилась радостной улыбкой, полной любви и сочувствия. Улыбалось ее миловидное личико, нежное и кроткое, отливавшее розоватым цветом легкого румянца, улыбались ее крупные, сочные алые губы, между которыми сверкал ослепительной белизной ряд красивых зубов, улыбались ее большие, карие ясные глаза, глядевшие из-под густых ресниц с ласковой мягкостью любящей и любимой женщины.

— Ну, поздравь, Катя, с большой новостью! — еще на ходу проговорил Черенин, спеша сообщить жене радостную весть.— Я назначен директором нашего банка.

— Ты, Митя? Директором! — взволнованно, словно не смея верить этому известию, проронила молодая женщина, и щечки ее залились яркой краской.

— Пятнадцать тысяч в год и два процента с чистой прибыли! — продолжал Черенин слегка приподнятым торжественным тоном.— Это, Катя, значит еще по меньшей мере десять тысяч!.. Контракт на три года...

И, присевши на диван, Черенин обнял жену и, целуя ее пухлую атласную щеку, на которой чернело маленькое родимое пятнышко, весело промолвил своим мягким, несколько певучим голосом:

— Ну, что, довольна, Катя, а?

Праздный вопрос!

Она в первую минуту совсем обомлела от радости, эта миниатюрная женщина с большими кроткими глазами, и смотрела на мужа с выражением гордости и любви. Она страстно его любила, но успех его, казалось, еще усиливал ее чувство уважения и благоговейного восторга к этому красивому, статному брюнету в темном кургузом вестоне, с кудрявой головой и большой черной бородой,— свежему, румяному и веселому, казавшемуся совсем молодым, несмотря на свои сорок лет.

Вместо ответа, она обвила маленькими белыми ручками шею мужа, крепко-крепко поцеловала его и горячо промолвила:

— Я рада и за тебя и за детей, голубчик...

— Не ожидала такого сюрприза, Катя?

— Не ожидала, Митя. Ведь у тебя нет связей в финансовом мире... Нет протекции... Одна светлая голова, мой милый!

— Да, у меия бабушек нет! — горделиво подтвердил Черенин.— Пять тысяч, что оии мие платили четыре года, как пригласили коитролером, я получал иедаром. Работать я умею и дело поимаю... Это все в баике зиают... Призиаться, и я ие ожидал, что мие предложат такое место... Мало ли иа иего охотииков среди родствеииков фииансовых тузов! Одиако иаши баиковые патриции поияли, что я дело поведу хорошо. Этот миллиоиер Ковригии, председатель правлеиия, даром что мужик, а умеи и умеет оцеиивать людей... Ои, кажется, меня и предложил...

— А Крафта куда?

— Крафт уходит. Не ладил ои последиее время с нашими директорами. Рутииер был этот старик иемец. Рутинер и упрям. И облеиился под коиец. Опочил иа лаврах... Да ему что? У иего двести тысяч состояиия... Он да старуха жеиа... Уедут в свой Меклеибург и будут благодеиствовать.

Черении, веселый и возбуждеииый, передавал жене подробиости сегодияшиего дия: как утром у Крафта было бурное объясиеиие с Ковригииым, после которого Крафт объявил, что больше служить ие иамерен. Но эта угроза ие подействовала, как бывало в прежиее время, и ему сказали, что его ие удерживают... Вскоре после этого позвали в правлеиие его, Череиииа, и предложили место Крафта... Ои им поставил свои условия. Все было окоичеио в полчаса, и ои вышел оттуда директором одиого из крупиых баиков. Скоро иовость эта облетела баик, и все его поздравляли... А помощиик директора Линский позелеиел, бедиый, от злости.

— Ои ждал, что его иазиачат?

— Вероятио... Протекция у иего большая: зять одиого из члеиов правлеиия, племяииик бывшего мииистра...

— Теперь он, конечно, уйдет из баика? — предусмотрительио спросила жеиа, у которой сейчас же явилась мысль, что Леиский будет вредить мужу.

— А ие знаю... Я его выживать ие стаиу. Во всяком случае, ему придется очеиь долго ждать моего места,— усмехиулся Дмитрий Александрович... Я своего места из рук ие выпущу, будь покойна, Катя... С директорами ладить сумею, а главное, дело поиимаю лучше их всех. Оии это зиают... Да, Катя, ие выпущу, пока мы ие отложим себе состояиие!..— решительно прибавил он.

И, словио бы желая мотивировать закоииость такого намереиия, Черенин с одушевлеиием произнес:

— Как там ни рассуждай теоретически о вреде капитала, а пока деиьги, к сожалению, великая сила. Оии дают

человеку независимость. Мы и завоюем ее для себя и для наших деток... Жизнь не книжная теория, и бедность в наши дни порок! Не правда ли, моя родная?..

Маленькая женщина лишь сочувственно улыбалась в ответ на эти здравые речи, вся переполненная счастием за мужа и за детей. Разумеется, она ни разу не вспомнила теперь об иных, совсем иных, горячих и восторженных речах своего мужа, которые когда-то заставляли биться ее сердце и волновали все ее существо...

II

Они заговорили о том, как устроят жизнь при новом материальном положении, и входили в разные подробности с радостным чувством людей, впервые располагающих большими средствами. Этот разговор, видимо, доставлял им наслаждение, как детям, получившим необыкновенную игрушку.

Они решили проживать не более десяти — двенадцати тысяч в год. Этого за глаза достаточно, чтобы жить хорошо, конечно, не особенно роскошествуя, но и не отказывая себе ни в чем. Остальные деньги они будут откладывать, помещая их в солидные бумаги. Лет через десять у них будет не менее полутораста тысяч, т. е. тысяч девять годового дохода. А будут дела банка хороши, и процентное вознаграждение увеличится, следовательно, и отложить можно более. Он надеется, что так и случится.

Квартиру они с осени переменят, возьмут побольше, эдак комнат в восемь, чтобы у детей была большая, светлая детская с гимнастикой и отдельная классная комната с рациональными столами и скамейками. Нужна тоже комната для гувернантки. Остановились на англичанке рублей в шестьсот, а француженка по-прежнему будет приходить три раза в неделю для практики. Вообще на образование детей они обратят особенное внимание и будут приглашать лучших учителей.

— На это не следует жалеть расходов. Ты ведь согласна, Катя?

— Конечно...

— Можно и лошадь свою держать,— продолжал Черенин.— Обойдемся пока одной. Купим фаэтон и сани... Ты с детьми будешь кататься, а я ездить на биржу... А лошадь куплю, конечно, серую в яблоках! — прибавил, улыбаясь, Дмитрий Александрович.

Жена его действительно когда-то мечтала о серой собственной лошади и говорила об этом мужу. А он вот теперь вспомнил!

— Милый ты мой! — шепнула Катерина Михайловна.— Надеюсь, Митя, ты только купишь смирную?

— Еще бы! самую смирную, чтоб ты не трусила за детей... Ну, а с мебелью как? Подновить, что ли, или купить для гостиной новую?

Катерина Михайловна почему-то вспомнила, как еще на днях ее приятельница-кузина, жена прокурора, хвастала своей гостиной, и нашла, что новую мебель в гостиную не мешает.

— А будуар твой, Катя, мы сделаем весь голубой... Хорошо?

— Еще бы не хорошо... Теперь есть отличные крепоны... Спасибо тебе, голубчик...

— Надеюсь, ты теперь не будешь скупиться на свои туалеты, Катя?

— Бог с ними!..

— Нет, все-таки...

— Разве я худо одеваюсь?

— Напротив, всегда мило, но тебе надо сделать несколько шикарных платьев. Я люблю, когда ты изящно одета... Ведь ты у меня такая хорошенькая маленькая женщина! — нежно прибавил Черенин, целуя руку жены.

Оба продолжали весело болтать, перескакивая с предмета на предмет и чувствуя себя какими-то именинниками. Эти двадцать пять тысяч содержания словно окрасили весь мир в розовый цвет и словно увенчивали их редкое семейное счастие и взаимную любовь. Несмотря на десятилетнее супружество, эта маленькая, хорошо сложенная блондинка с ослепительно белым телом продолжала быть обаятельным созданием в глазах мужа.

И Катерина Михайловна, конечно, отлично знала это и с тонким кокетством любящей женщины, понимавшей обаяние своих чар, заботилась о том, чтобы продолжать нравиться мужу и быть для него не только любящей и преданной женой-другом, но и желанной любовницей. Всегда к лицу одетая, свежая и миловидная, предусмотрительно заботившаяся и о своей красоте, и о своих капотах и щегольских рубашках,— она старалась быть привлекательной как женщина, никогда не показываясь мужу в неряшливом виде. При этом она не отравляла его жизни ни ревностью, ни тиранической притязательностью, вполне доверяя мужу. И эта пара представляла собой редкое олицетворение суп-

ружеской идиллии, под тихой сенью которой свило себе гнездо мириое эгоистическое благополучие.

— Воображаю, как удивятся твои родиые, Катя? — весело промолвил Череиии.

Катерииа Михайловиа усмехнулась, утвердительио кивнув головкой.

— Теперь оии залебезят... а помиишь, когда мы женились и жили в двух комиатах иа Песках, получая семьдесят пять рублей в месяц? Как тогда каркали твои братцы и сестрицы? Как жалели тебя?.. Теперь ие то будет... Да, успех покоряет людей! Теперь и твой старший братец найдет, что я очеиь умиый человек! — с ироиическим смехом заключил Череиии.

— А ты все-таки пристроишь брата Колю? Ты это сделаешь для меия, Митя?

— Пристрою, но пусть подождет... Нельзя сразу... Неловко... Надо осмотреться.

— И своего брата перевел бы к себе. Аиатолий — умница... Вот бы иа твое прежиее место контролером...

— Я уж думал об этом, Катя, но решил подождать... Со временем все сделаем: и Толю переведем, и твоего брата пристроим... Но пусть только твои родиые не рассчитывают иа места. Нельзя же насажать их всех в банк и сделать из иего родствеииую обитель. Это было бы совсем не умио!

Сообразительиая малеиькая жеищииа согласилась с мужем.

В эту миииуту в комнату вбежали мальчик и девочка, оба красивые, свежие и веселые, в щеголеватых костюмчиках. Оии радостно бросились к отцу и стали шумно его целовать, объясияя, что madame Durand[1] только что ушла, и оии прибежали сюда.

Дмитрий Александрович посадил обоих к себе иа колени и, с особенной нежностью глядя на них, сказал ие без радостиого умилеиия:

— Да, Катя... Вот вырастут наши голубчики, получат хорошее образоваиие и ие будут иищими... Им легко будет вступать в жизиь.

Катерииа Михайловиа в безмолвном восторге тихо гладила руку мужа.

А девятилетиий первеиец Костя, бойкий, видимо избаловаииый мальчугаи с умиыми черными глазеиками, похожий иа отца, спросил:

---

[1] мадам Дюран *(фр.)*.

— Мы разве могли быть нищими, папа?.. Я не хочу быть нищим,— прибавил он с решительным видом.

— И я не хочу!.. Ни за что не хочу! — повторила младшая сестренка, похожая на херувима.— Нищие так скверно одеты. И им так холодно!

— И не будете, мои голубенькие! Не будете, мои ненаглядные! — проговорила мать, и радостные слезы показались у нее на глазах.

Паша доложила, что кушать подано. Все перешли в столовую. Обед прошел весело. Болтали и взрослые и дети. За жарким Черенин приказал подать шампанского и чокался с женой и детьми, и всех перецеловал.

— Разве сегодня именины, мама, что у нас шампанское? — спросил Костя.

— Нет, не именины... Но сегодня папа получил новое место, на котором будет получать много-много денег! — весело отвечала Катерина Михайловна.

И дети, казалось, тоже прониклись важностью того, что папа будет получать «много-много денег».

III

Вскоре после обеда Катерина Михайловна уехала. Ей ужасно хотелось поскорей сообщить новость матери и сестрам и похвастать перед ними успехами мужа.

— Я скоро вернусь, а ты, верно, подремлешь часок, Митя? — весело говорила она, целуя мужа.

— Попробую.

Но сегодня Черенин решительно не мог «подремать часок», что делал обыкновенно, примостившись на кушетке в комнате жены. Сон не приходил. Он побыл несколько времени с детьми, поиграл с ними и, сдав их на попечение няни, прошел в кабинет.

Сперва он присел к письменному столу, уставленному разными безделками, среди которых стояли фотографии жены и детей, и взял было только что полученный нумер "Revue scientifique"[1], но Дмитрию Александровичу не читалось и не сиделось на месте. Он встал и быстрыми, нервными шагами заходил по комнате, волнуемый роем радужных мыслей.

«Отлично все устроилось. Отлично!» — мысленно повторял он, улыбаясь. Теперь счастие в руках, надо только уметь воспользоваться положением. Он должен сделаться

[1] «Научного обозрения» *(фр.)*.



«Испорченный день».
Художник Ю. Гершкович

незаменимым человеком в банке и ближе сойтись с этим умным миллионером Ковригиным! Это не трудно сделать с его умом и тактом. И он это сделает. Он будет главным воротилою.

— Отлично... Отлично! — громко проговорил он, увлеченный мечтами.

И в голове Черенина уже носились проекты новых операций и мелькали грандиозные цифры ежегодной прибыли, два процента которой представляли собой внушительную цифру гораздо более предполагаемых десяти тысяч. А через несколько лет — целое состояние и независимость!

Перспектива вполне обеспеченной жизни без мелочных забот и без стеснений из-за какой-нибудь сотни рублей,— жизни с разумным комфортом, с удовлетворением духовных потребностей развитого интеллигентного человека, вкусившего от науки,— возбуждала в Черенине какое-то особенное чувство удовлетворения, впервые им испытываемое. Слишком взволнованный от радости, он не мог сосредоточиться, и приятные мысли беспорядочно носились в его голове. Он то присаживался, то снова ходил, то думал, как расширит дело и привлечет к банку массу клиентов, как заберет постепенно в руки своих «патрициев» и подтянет служащих, то покупал мысленно дачу, хорошенькую, уютную дачу в Петергофе или в Ораниенбауме, или дарил жене изящный браслет, роскошную шубу из чернобурых лисиц и заказывал ей сам тончайшие рубашки с кружевными кокетками, то вдруг припоминал, что ему повезло в жизни именно с тех пор, как он женился на своей хорошенькой и доброй Кате и, бросив глупую мысль существовать одной литературой и быть человеком без определенных занятий, хотя и с званием кандидата математических наук, поступил на службу в государственный банк,— как он скоро выдвинулся, благодаря своим способностям, труду и такту и через два года был уже инспектором; как перешел оттуда в частный банк, и вот теперь — директор с большим содержанием и член нескольких обществ, в которых внимательно слушают, когда он там говорит своим мягким, убедительным баритоном красноречиво-деловитые речи о торговле и промышленности, о коммерческом флоте и тарифе.

— Да, ему повезло в жизни!

И снова радужные мечты и надежды, чередуясь с воспоминаниями, продолжают приятно волновать счастливого Черенина.

Не вспоминает он только о прежнем Чернине, точно его и не было, когда, полный благородных стремлений, молодой, смелый и влюбленный, он звал свою маленькую хорошенькую Катю, только что окончившую гимназию, на служение ближнему, на борьбу с невежеством, говорил искренние, горячие речи об обязанности порядочного человека быть полезным «младшим братьям» и рисовал картину их будущей трудовой, скромной жизни, не похожей на жизнь «довольных буржуа», живущих на счет народа.

И молодая девушка трепетала от восторга, готовая идти за этим дьявольски красивым брюнетом куда угодно, и добросовестно читала его политико-экономические статьи, ратовавшие за новые начала, громившие современный строй и банкократов — этих «общественных паразитов», хотя и не всегда понимала эти статьи.

Он женился и скоро взял место, чтобы не писать, как он говорил, «из-под палки». Первое время он писал какое-то исследование, жаловался на служебный «хомут», но мало-помалу втягивался в него и тем более, чем более он приносил жалованья, забывая в заботах о собственном благополучии «служение ближнему» и значительно понижая тон своих речей. Как-то незаметно он стал солиднее и менее восприимчив, все реже и реже говорил об «обязанностях порядочного человека» и, занятый настоящим, понемногу забывал прошедшее.

Жизнь засасывала его без всяких душевных драм, а напротив, мягко и ласково, в счастии семейной жизни. Прежние друзья и приятели разбрелись. Одни, как и Чернин, успокоились, других он потерял из вида и забыл о них. Литературные знакомства давно порвались.

Шли годы, и Чернин, по-прежнему мягкий и добрый, стал уже скептически относиться к возможности «служения ближнему» и называл многое, чему прежде поклонялся, «симпатичными, но ребяческими иллюзиями, не имевшими никаких научных оснований». И он сожалел «неуравновешенных людей», оставшихся на всю жизнь «младенцами», и, почитывая в часы досуга разные серьезные книги, старался находить в них подтверждение своего скептицизма.

Но если б и тогда ему сказали, что он, прежний поклонник Маркса, автор горячих статей против капитализма, станет сам банкократом и дельцом, мечтающим о банковых операциях, и будет водить дружбу с Ковригиными,— Чернин первый рассмеялся бы, до того подобная будущность казалась ему невероятной, оскорбляющей его нравственное чувство.

Все это как-то исчезло из памяти. Прежние «заблуждения» не портили счастливого дня своим напоминанием.

Но судьбе, как нарочно, угодно было напомнить прошлое, напомнить совершенно неожиданно и именно в этот вечер, когда Дмитрий Александрович, ничем не смущаемый, переживал первые радости своего нового положения.

Черенин уже видел себя и семью на вершине благополучия, как в кабинет вошла Паша с докладом, что какой-то господин желает видеть Дмитрия Александровича.

— Кто такой?

— Извините, запамятовала фамилию! — отвечала, краснея, Паша.

— Бывал у нас?

— Нет, кажется...

— Просите сюда! — приказал Черенин и в то же время подумал, что нужно нанять лакея, а то Паша довольно-таки бестолкова: или забывает, или перевирает фамилии.

IV

При виде этого приземистого, сухощавого господина пожилых лет, с большой рыжей бородой, начинавшей седеть, одетого в черную пару, видимо сшитую неважным портным,— Черенин в первое мгновение подумал, что перед ним искатель места, проведавший уже о новом его назначении, и глядел на него, не двигаясь к нему навстречу, вопросительно серьезным взглядом, каким обыкновенно глядят на незнакомых людей.

Но господин с рыжей бородой, нисколько не смущенный этим взглядом, подошел к Черенину и, весело улыбаясь, протянул руку.

— Не узнаете, Дмитрий Александрыч? — проговорил он все с тою же улыбкой.— Видно, очень-таки постарел, а?..

То, что казалось давно уплывшим, забытым и словно чужим,— целая полоса жизни: молодость с ее горячей верой в свои силы и смелыми решениями труднейших вопросов жизни; шумные споры в маленькой меблированной комнате, на Васильевском острове, у этой добрейшей квартирной хозяйки, старушки Матрены Васильевны, всегда широко открывавшей кредит студентам и молодым людям без определенных занятий; жидкий чай с ситником и дешевая колбаса; табачный дым, возбужденные лица приятелей, собравшихся вместе прочесть хорошую книжку или статью интересного писателя; толки о народе и обещания послу-

жить ему,— все это проиеслось в памяти Черенина с быстротой молиии в те мгиовеиия, когда ои всматривался в худощавое, некрасивое, ио привлекательиое лицо господииа с рыжей бородой...

И этот высокий открытый лоб, и длинный иос, и иепокориые вихры волиистых волос, и особеиио эти лучистые голубые глаза, большие и добрые, точио глядевшие изиутри, из самой души, ясиым правдивым взором,— теперь казались Черениину хорошо зиакомыми; ио ои все-таки ие мог припомиить и иазвать фамилию того, кто так горячо пожимал его руку, и скоифужеино иедоумевал, стараясь припомнить.

— Чериопольский! Иван Чериопольский!.. Вспомиили теперь старого приятеля? — произиес гость с веселым смехом и, потяиувшись первым, троекратно облобызался с Дмитрием Алексаидровичем.

Иваи Чериопольский?!

Это имя тотчас же иапомиило Череиину бывшего товарища и приятеля, этого редкого добряка, всегда за когоиибудь хлопотавшего, всегда готового уступить свой урок более иуждавшемуся, хотя более нуждаться, чем всегда иуждался бедиый, как Ир, Чериопольский, казалось, было трудно.

— Вот иикак ие ожидал встретить! Откуда? Какими судьбами? — восклицал Череиии, радостио пожимая сиова руки Чериопольского.

Ои искреине обрадовался и в то же время чувствовал какую-то иеловкость при виде приятеля, иапомииавшего ему молодость.

— Но как же вы измеиились! Я ии за что бы вас ие узиал.

— Еще бы! Целых двеиадцать лет ие видались... Воды-то утекло миого!

— Да... миого! — задумчиво повторил Череиии.

— А вы так мало постарели. Такой же молодец... Вот только брюшко как будто собираетесь завести! — прибавил, добродушио улыбаясь, Чериопольский.

Оии уселись и первую минуту молча оглядывали друг друга, словио бы каждый вспомииал в другом прошедшее и пытался угадать, что с каждым из иих сделала жизиь в иастоящем.

— Ну, рассказывайте, как вы живете, что делаете, Дмитрий Александрович? Ведь я в своей глуши иичего о вас ие зиаю. Слышал давио еще, что вы женились...

— Как же, жеиат, двое детей... Тяну хомут, как и все... Служу...

— Служите?

— Да, в частном банке! — отвечал Черенин и почему-то умолчал о своем новом назначении.

— А литература? Разве не пишете? Я и то удивлялся, что уж давно не встречаю вашего имени в журналах... У вас такие славные были статьи! — горячо прибавил Чернопольский.

— Некогда... Да и не пишется...

— Вот это жаль... У вас ведь и талант был, и знания были... Право, жаль.

— Таких талантов и без меня много...

— А все-таки... Искреннее и убежденное слово всегда полезно, а по нынешним временам и подавно... Люди как-то забывчивее за последнее время стали... и напоминать им об идеалах — доброе дело! — прибавил горячо, застенчиво краснея, Чернопольский.

«Такой же «младенец», как и был!» — подумал Черенин и, видимо не расположенный продолжать разговор на эту тему, спросил:

— Ну, а вы как живете?.. Какой хомут носите?..

— Прежде учительствовал, но принужден был оставить педагогию... Затем был бухгалтером в N-ской думе, а теперь вот уже пять лет, как живу в деревне.

— Помещиком?

— Ну, куда помещиком! — усмехнулся Чернопольский.— Так, знаете ли, вроде фермера скорее... После смерти отца мне досталось шесть тысяч, я и бросил бухгалтерию — скука одна с ней, так, из-за жалованья служил — и купил клочок земли. Самое любезное дело... И как-то на совести покойно... Живем себе, очень скромно, конечно, но ведь я и не привык к роскоши... Жена у меня — врач: мужиков и баб лечит; ну, а я, некоторым образом, вроде адвоката у крестьян. Кругом беднота, народ темный... ну и рады, что человек совет дает... Мы с мужиками ладим. В гласные меня выбрали... Трое детей, ребята славные... Старшему уж девять лет... Соседи есть: порядочные люди... И духовную пищу вкушаем... Да, вот так и живем себе и судьбой довольны, поскольку может быть доволен наш брат, когда-то мечтавший горы сдвинуть! — прибавил с грустной усмешкой Чернопольский.

И Черенин на минуту задумался.

— Надолго сюда? — спросил он.

— Недельки на две, я думаю. Я ведь сюда по делу.

— По делу? Какое же у вас дело, Иван Андреич?

— Не у меня, а у наших соседей-крестьян...

И Чернопольский рассказал о процессе, который уже тянется несколько лет у мужиков с бывшим их помещиком из-за земли. Дело теперь в сенате.

— Я приехал узнать о нем и посоветоваться тут с одним адвокатом...

— И вам заплатят за хлопоты?

— Что вы? Где им платить? — промолвил Чернопольский и совсем сконфузился.— Да и как с бедноты-то брать!..

Он примолк и продолжал, словно бы оправдываясь:

— Зимой-то в деревне работы меньше. Я и прикатил сюда... Кстати и Петербург хотелось повидать, и на старых приятелей поглядеть.

Чернопольский стал было расспрашивать о них, но оказалось, что ни о ком Черенин не мог дать сведений.

— А Потресова видаете? — спрашивал Чернопольский.— Вот редкий писатель, который сохранился...

— Нет, не видаю! — отвечал Черенин.

Оба несколько времени молчали. Оба почувствовали какую-то неловкость, какую испытывают долго не видавшиеся люди, которые расстались в молодых годах.

Чернопольский пробовал было расспрашивать о петербургских веяниях, о литературных новостях, о молодежи, но Черенин на все это отвечал как-то скупо и неопределенно, причем в словах его звучала скептическая нотка; его, повидимому, так мало интересовали вопросы, казавшиеся его гостю важными, что Чернопольский под конец весь будто съежился, молчал и конфузился.

После получасового визита он стал прощаться.

— Куда же вы? Сейчас приедет жена. Будем чай пить! — вдруг воскликнул Черенин с необыкновенной ласковостью.— Я ведь очень рад вас видеть. Вы мне напомнили молодость! — прибавил он.

Но Чернопольский не мог остаться. Сегодня в девять часов у него назначено свидание с адвокатом.

— Вы все тот же... вечно хлопочете за других, как, помните, в старину, когда мы вас звали общим дядей...

— Ну, что вы, что вы?.. А хорошее время то было... Не правда ли?

Но Черенин промолчал и, горячо пожимая гостю руку, звал непременно Чернопольского обедать: завтра, послезавтра, когда он хочет, в шесть часов.

— Смотрите, приходите... Во всяком случае приходите... Я рад вас видеть! Очень, очень рад! — говорил возбужденно Черенин в передней.

V

«Милейший... младенец!» — думал Черенин, возвращаясь в кабинет. И он стал вспоминать о нем, вспоминал о себе и невольно сравнивал прежнего Черенина с нынешним.

Эти воспоминания несколько омрачили его благополучие. Что-то грустное подымалось откуда-то, со дна души, и говорило о бывших мечтах, о прежних идеалах... Где они?

Да, он изменился. Этот «младенец в сорок лет» напомнил ему прошлое и словно бы обезоруживал его скептицизм, прикрывающий индифферентных людей. Ну, так что же? Он иначе теперь глядит на вещи и поступает по убеждению. Не делает же он ничего бесчестного, что берет хорошее место и собирается заработать себе состояние. Тысячи людей поступили бы точно так же, и совесть их так же была бы спокойна, как спокойна и его.

Так здраво рассуждал Черенин и все-таки чувствовал какую-то неловкость, нечто вроде стыда перед прежним Черениным, и, сознавая, что прежнего Черенина никогда не будет, словно бы сожалел о нем...

Он пробовал было думать о счастливом настоящем, но снова молодость проносилась перед ним. И раздумье охватило Черенина, отравляя счастливый день...

1892

ЖЕНИТЬБА ПИНЕГИНА

I

Александр Иванович Пинегин, статный, высокий молодой человек лет тридцати, не торопился в это утро на службу. Погруженный в думы, он ходил взад и вперед по своей комнате в четвертом этаже большого дома, убранной по обычному шаблону меблированных комнат средней руки. Подбор книг в большом шкафу, два журнала на письменном столе и фотографии некоторых писателей свидетельствовали об известных литературных симпатиях молодого человека.

Он ходил быстрой, нервной походкой, как ходят сильно взволнованные люди, опустив на грудь голову, покрытую белокурыми, слегка волнистыми густыми волосами. По временам он останавливался у письменного стола и рассеянно отхлебывал из стакана чай или подходил к окну и напряженно всматривался в серую дождливую мглу мрачного осеннего петербургского утра.

Глядя на молодого человека, никак нельзя было предположить, что он — жених, накануне сделавший предложение и получивший порывистое, радостное согласие горячо любящей его девушки. Его красивое и неглупое, с тонкими и мягкими чертами лицо вовсе не походило на влюбленное счастливое лицо жениха. Напротив. Оно было подавлено, серьезно и хмуро. Большие карие глаза глядели сосредоточенно и мрачно и порой зажигались недобрым огоньком. Казалось, он переживал минуты какой-то внутренней борьбы и не о невесте думал он, а о чем-то другом, более важном и, по-видимому, очень неприятном.

— Ну, да... подлость! — проговорил он вслух, точно подводя итоги своим размышлениям.

Вчера, когда было сделано предложение, он словно не вполне сознавал всей низости своего поступка и, обрадованный перспективой будущего благополучия, как будто и искренно уверял эту некрасивую, простодушную на вид девушку, с большими ясными доверчивыми глазами, в своей привязанности. И она, обрадованная и влюбленная, поверила, как раньше верила, и в серьезность его возвышенных речей, нашедших отклик в ее горячем сердце...

Но сегодня, как только он проснулся, вся эта низость предстала перед ним во всей своей наготе... Он ведь украл любовь девушки, представляясь перед ней совсем не тем человеком, каким был... Он ведь лгал, уверяя в своей любви...

Какая любовь?!

Она ему нисколько не нравится, и если б не ее миллионы, стал бы он с ней разговаривать! Она некрасива почти до уродливости: черты грубые, резкие, толстый нос, выдавшиеся скулы, обличавшие инородческую кровь, большие руки, грубоватые и красные, сложена отвратительно, маленькая, неуклюжая — одним словом, внешность непривлекательная... Одни только глаза, кроткие, вдумчивые, большие темные глаза хороши у нее. И этот доверчивый взгляд...

— И все-таки я сделаю эту подлость,— проговорил Пинегин.

Тон его дрогнувшего голоса звучал вызовом, точно он подбадривал себя, как дети, когда желают побороть страх.

Да, он ее сделает... Богатство — сила и независимость. Неужели отказаться от этого из-за того только, что не любишь эту девушку. И ради чего? Чтоб остаться попрежнему пролетарием, сидеть за дурацким делом в канцелярии, в свободное время строчить рассказы и статейки, вырабатывать жалкие сто рублей и вечно считаться с грошами, утешаясь, что ты, в некотором роде, носитель идей, до которых никому нет дела, втайне завидовать обеспеченным людям и разыгрывать благородного аскета, живущего не так, как другие?..

И какой он, по правде-то говоря, носитель идеи? Так себе, один из охвостья. Юн был... увлекался, наконец, и мода была, а потом, когда кончил университет, так более ради рисовки и в пику пошлякам щеголял крайними взглядами и болтал разный вздор о переустройстве мира. И за это терял места и пугал дураков. А в сущ-



«Женитьба Пинегина».
Художник Ю. Гершкович

иости-то до переустройства мнра ведь ему мало дела, да н когда-то еще оио будет. А пока — жнть хочется. Из-за чего же он должен прозябать в качестве бедиого, ио благородиого человека принцнпа, не чувствуя в том ни малейшего удовольствня?.. Благодарю покорно! Нет... ои ие упустит редкого случая насладнться шнроко жизиью, хотя бы цеиою подлости. Обманывать себя нечего. Подлость, которую иикакимн высшими соображеииями ие оправдаешь. Да и перед кем оправдываться? Все иайдут, что он поступил умио, н позавндуют.

«Все ли?» — явился назойлнвый вопрос н вызвал краску иа побледиевшее лнцо Пннегииа.

Ои вспомнил девушку, которая очень ему нравилась, эту милую умиую и хорошеиькую Ольгу Николаевну. Ои был с нею дружеи и часто виделся. И оиа, виднмо, была расположеиа к иему. Как теперь он встретится с ией и что может сказать в свое оправдание? Не ои ли так горячо порицал браки по расчету?.. Какнм презреиием загорятся ее глаза, когда она узиает, почему ои жеиится?.. Нет, лучше ие вндеть этого взгляда и больше не ходить к ией. Миллиоиы тут иедействнтельны. Пниегин должеи был созиаться в этом.

Вспомиил он и иебольшой кружок людей, которых считал безусловио хорошнмн людьми. Он бывал в этом кружке и гордился знакомством с ннм тем более, что в ием были два-три известных пнсателя.

И все этн люди тоже отнесутся с негодованием к его поступку и отвериутся. Наверное отвериутся от иего.

— И черт с ними! — раздражеиио воскликиул ои.

Ои стал перебнрать этнх самых людей, отыскивая в них теперь слабости или дурные стороиы и раздувая эти иедостатки с злорадством человека, сделавшего подлость и утешающего себя, что и другне, слывущне за честиых и добродетельиых, тоже способны на подлость. Ои мысленно разбирал каждого по косточкам, стараясь найти что-нибудь гадкое еслн не в фактах, то хотя бы в возможностн. В самом деле, так лн онн безупречиы и не надувают лн себя н другнх?..

И, злобио настроенный, Пииегнн старался уверить себя, что миогне из этнх самых людей поступилн бы точно так, как ои, представься только случай, да еще в виде двух миллнонов. А еслн бы н отказались, то из трусости перед миеиием других н носились бы со своим подвигом, сожалея в душе, что ие хватило смелостн.

Эти мысли иесколько успокоили Пииегииа, и ои вышел

из дома, чтоб сообщить новость матери и полюбоваться впечатлением, которое эта иовость произведет на родных.

— То-то обрадуются, что я нсправился, да еще так радикальио! — промолвил Пииегии с презрительиой усмешкой.

II

Он шел по улицам в возбуждениом иастроении, несколько растеряиный от созиаиня, что ои скоро — обладатель миллиоиов, ие считая еще приисков, которые дают огромиый доход, н большого дома в Петербурге, и улыбался при мысли, что ои, у которого в кармаие всего пять рублей, через месяц-другой может сыпать деиьги пригоршиями. И все это иесметное богатство будет в полном его распоряжеиии. Оиа вчера прямо сказала: «Бери все, все твое. Ты, честиый и добрый, лучше меия сумеешь сделать богатство источииком добра». Коиечио, ои кое-что даст иа добрые дела, ио ие раздаст всего, как бы хотела эта бессребреннца, его невеста, готовая отказаться от богатства. Этого ои не допустит. Не для того он женится. Да и к чему послужила бы эта самоотверженная филантропия?.. Капля в море...

Он взглядывал иа рысаков, на блестящне экипажи, останавливался у витрии магазинов, бросал взгляды на роскошиые дома-дворцы и думал: «Все это будет и у меия», н ему было прнятно чувствовать эту власть деиег. Теперь все блага жизни к его услугам, и ои воспользуется ими ие как пошляк, а как развитой человек нзящиых вкусов, с высшнми духовными потребностями. У него будет превосходиая бнблиотека, хорошие картииы... У него будут досуг и независимость... Тогда ои иапишет действнтельно превосходную вещь, а не скороспелые, непродуманные рассказы, которые пнсал он до сих пор ради деиег. Разные неясные планы внхрем иоснлись в голове Пинегииа насчет будущей жнзии. После свадьбы онн тотчас же уедут за граиицу н пробудут там год по крайией мере, чтобы ознакомнться с лучшими местамн Европы. Затем оии поселятся в Петербурге в своем доме, уютном небольшом особняке, который он купит и сам отделает на английскнй манер. У иего будет своя половнна, где он может заииматься... На лето н осень оии будут уезжать за границу... В этнх планах не былн забыты и добрые дела. Он улучшит положенне рабочнх на прннсках жеиы, по-

шлет туда хорошего человека. Он даст в пользу голодающнх... В первый момент Пннегнн подумал о ста тысячах, но затем остановился на пятндесятн — довольно н этого. Он пожертвует лнтературному фонду двадцать пять, столько же в пользу высшнх женских курсов н ежегодно будет давать несколько стнпенднй студентам н курснсткам. Все-такн как будто совесть покойнее, когда что-нибудь уделншь нз богатства... Пснхологня трусостн... Недаром людн, нагревшне рукн, любят жертвовать н чнтать потом комплнменты в печатн... Человек награбил, бросил крохн, н его благодарят... Лестно!

Хорошенькая н стройная, изящно одетая дама, шедшая навстречу, обратнла на себя вннманне молодого человека н направила его мыслн на будущую жену...

Он невольно сравнил ее н нахмурился...

«Ах, зачем она такая некраснвая!» — мысленно проговорнл он.

«Стерпнтся — слюбится. Она добрая, честная, образованная»,— пробовал утешать себя Пинегин, но утешенне выходнло слабое. Неподкупаемый инстинкт протестовал, и мнллноны, казалось, покупалнсь дорогою ценою. Прндется лнцемернть н лгать, скрывать брезглнвое чувство, даря супружескнмн ласкамн эту некрасивую, желтолнцую, с скуластым лнцом, фнзнческн протнвную женщнну, вдобавок влюбленную в него до безумия...

Но он решнл поступать добросовестно. Он сумеет скрыть от этого доброго, доверчнвого создания свою нелюбовь, будет с ней ласков н внимателен... Он не заставнт ее раскаяться, не разобьет ее жнзнн, хотя бы из благодарностн... Пусть она останется в неведенни...

Так рассуждал он, а ннстнннкт подсказывал, что свои вкусы к женской красоте он может удовлетворять на стороне. И глаза его занскрнлнсь прн мыслн, что при богатстве ему предстонт шнрокий простор для любовных похожденнй... Жена ннчего не будет знать... И наконец, можно будет по временам уезжать за граннцу одному, на воды, что лн...

Пннегнн остановнлся на Большой Морской у внтрины ювелнрного магазнна н, разглядывая выставленные вещн, решил, что следует сделать невесте подарок, разумеется что-ннбудь скромное: простенький браслет или кольцо — брнльянтов у нее н так много. Недурно было бы н цветов прннести. Она их так любит.

Но так как у будущего мнллнонера было всего пять рублей в кармане, то надо было достать денег. Теперь

этот вопрос не удручал его, как прежде. Теперь он достанет сколько угодно. Дюфур не откажет!

И Пннегнн отправился к Дюфуру, нзвестному ростовщику, который жнл поблнзости. Этого Дюфура Пннегнн знал давно, звал его в шутку «миннстром» и был должен ему триста рублей года два, довольно аккуратно уплачнвая пять процентов в месяц.

Он поднялся во второй этаж н отворнл матовые стеклянные дверн. Раздался звонок, предупреждающнй о посетителе. Высокнй, здоровый лакей снял с Пннегина пальто н сказал, что придется немного подождать. Огромное зеркало в соседней небольшой прнемной позволяло вндеть сндевшего в глубнне большой комнаты, лицом к дверям, за большим круглым столом Дюфура и спину одного из многочнсленных его клиентов; Дюфур в свою очередь видел входившего.

Пинегнн прнсел в маленькой прнемной, где клненты господина Дюфура могли в ожидании просматривать газеты и иллюстрированные журналы, разбросанные на столе. По счастию, в приемной больше ннкого не было, н ждать прншлось недолго. Минут через пять нз залы вышел военный генерал, сопровождаемый низеньким кругленьким румяным пожилым господином с самым добродушным лнцом.

— Чем могу служить вам, Александр Ивановнч? — проговорил с легким иностранным акцентом господин Дюфур, прнветливо и ласково улыбаясь своему нсправному плательщику процентов.— Давно не нмел удовольствня вас вндеть,— продолжал господин Дюфур, пожнмая Пинегину руку и пропуская его в большую комнату.

Они прнселн за круглый стол, на котором лежалн знакомые Пинегину толстые небольшие книги с нменами клнентов н отметками сроков и платежей, два перечеркнутых векселя, несколько чнстых бланков н небольшая пачка денег, вероятно только что полученных...

— Я к вам, Адольф Адольфовнч, с просьбой. Мне нужно денег,— проговорил Пннегин веселым, уверенным тоном, совсем не таким, какнм говорнл, бывало, прежде, обращаясь к Дюфуру за сотней рублей.

Лицо Дюфура тотчас же сделалось необыкновенно серьезным. Он поджал губы и мягкнм, почти нежным голосом ответил:

— Мне очень жаль, но в настоящее время я не могу исполнить вашего желания, Александр Ивановнч. Все деньгн розданы, а получаются очень трудно.

Пиегин хорошо знал эту манеру отказывать с первого раза, особенно клиентам, кредитоспособиость которых, в глазах Дюфура, ие велика, но Пинегии иисколько ие смутился и продолжал:

— Мие ие сейчас. Сейчас я у вас попрошу пустяки: рублей двести, триста, а на днях мие иужно тысяч пять, десять, сколько можете дать, и иа самый короткий срок.

Пиегии выговорил эти цифры с такой иебрежиостью, что благообразиый, чистенький и иеобыкиовеиио вежливый швейцарец, спокойное лицо которого, казалось, иичему ие удивлялось, иа этот раз с удивлеиием взгляиул иа молодого человека.

— Не удивляйтесь, Адольф Адольфович,— произнес со смехом молодой человек.— Я женюсь и... беру за женой два миллиона и прииски...

— Два миллиоиа? Вы не шутите? — взволиоваино воскликнул Дюфур.

— Какие шутки!

Гладко выбритое безусое лицо швейцарца отразило восторжеииое изумлеиие. Цифра эта произвела чарующий эффект. Он подиялся с кресла, с чувством пожал руку своего клиеита и торжествеиио поздравил с таким счастливым событием.

Затем ои сел и в каком-то благоговейиом раздумье прошептал:

— Два миллиоиа большие деиьги...

И после паузы спросил:

— А дело это вериое? Не расстроится?

— Будьте покойиы, Адольф Адольфович. Я ие дурак, чтоб лишиться двух миллионов... Дело вериое.

Круглеиький и румяиый швейцарец с иевольным уважеиием взгляиул иа молодого человека, представившего такой веский довод и сумевшего отыскать жену с двумя миллиоиами. Хотя ои и верил словам Пиегииа, тем ие меиее «позволил себе» спросить, если это ие секрет, фамилию иевесты.

— Коиовалова, Раиса Андреевна.

Оказалось, что господии Дюфур, зиавший весь Петербург, слышал про эту девушку.

— Огромиое состояиие у вашей иевесты, Александр Ивaиович, и, кажется, в полиом ее распоряжеиии... Папенька ихиий год тому иазад умер...

— И маменька тоже умерла,— добавил Пииегии...

— Без мужчины как-то и страшно девушке с таким богатством,— сеитеициозно промолвил господии Дюфур.—

Ваша невеста, если не ошибаюсь, живет в своем доме, в Караванной? Славный домик! — прибавил Адольф Адольфович.

— Совершенно верно в Караванной, номер четырнадцатый.

— Да, да... Господь награждает добрых людей... Я весьма рад счастливой перемене в вашей судьбе и всегда уважал вас: вы так аккуратно вносили проценты, а это такая редкость... Не смею не исполнить вашего желания и отдам вам триста рублей, приготовленные для другого лица... Вам — экстреннее... Такой случай...

С этими словами господин Дюфур, не спеша, выбрал из пачки вексельных бланков бланк «от 500 до 600» и подал его Пинегину, придвинув чернильницу и перо. Пинегин подписал бланк без проставленного текста, предоставив это сделать самому Дюфуру, зная, что Дюфур, соблюдая свою честность — честность ростовщика, никогда не злоупотребит доверием.

Посмотрев на подпись, Адольф Адольфович с обычной своей аккуратностью отметил карандашом на уголке векселя цифру 300, что значило, что в тексте будет проставлено 600 (он брал двойные векселя, но при расчетах получал что следует), затем записал по-французски выдачу в одну из своих книг и только тогда встал и отпер большой железный шкаф, где хранились деньги и документы. Вынув оттуда две сотенные и пачку мелких бумажек, он подал их Пинегину и проговорил:

— Двести восемьдесят четыре рубля... Рубль за бланк... Будьте любезны, сосчитайте.

Пинегин сосчитал и, пряча деньги в бумажник, спросил:

— А когда прикажете, Адольф Адольфович, прийти за той суммой?.. Я уверен, вы не откажете?.. Предстоят большие расходы: подарки невесте, надо сшить себе платье, белье... А у невесты брать неловко, вы понимаете?

— Еще бы... Как можно! Надо подождать до свадьбы! — с благородным жаром согласился и господин Дюфур...— Отказать вам не могу... Ведь вы не на пустяки берете... Дня через два-три пожалуйте... Я постараюсь приготовить пять тысяч...

Пинегин стал прощаться и, довольный, благодарил Дюфура.

— О, помилуйте... я всегда готов помочь хорошему человеку! — патетически проговорил Дюфур и, провожая Пинегина до передней, еще раз выразил свое сочувствие,

что капитал попадет в хорошие руки, и кстати осведомился: «Скоро ли будет свадьба?»

— Не позже как через месяц.

— Это очень хорошо, что скоро,— одобрительио заметил со своей приветливой улыбкой швейцарец.— К чему откладывать в долгий ящик доброе дело... Так, следовательно, деиьги вам на месяц или полтора?

— На месяц, Адольф Адольфович...

Пинегин сунул рубль лакею, весело спустился с лестиицы и, кликнув извозчика, велел ехать в Измайловский полк, где жила его мать, вдова действительного статского советника, Олимпиада Васильевна Пииегина, с двумя младшими сыновьями и дочерью.

А мосье Дюфур приказывал своему лакею, жившему у него пятнадцать лет, вечером сходить в дом Коиоваловой и осторожно узнать: правда ли, что Коновалова выходит за Пинегина.

III

Олимпиада Васильевна, высокая, худощавая и, несмотря на свои шестьдесят пять лет, бодрая и живая старушка с зоркими и пытливыми умными глазами, резко очерченым острым подбородком и длинным, внушительным носом с бородавкой,— носом, который она, по своей любознательности, любила всюду совать с умелой, впрочем, осторожностью,— эта почтенная дама, известиая среди многочисленных родственников под кличкой «тети-дипломатки», окончила свои обычные утренние дела лишь к двеиадцатому часу.

Дел было немало для такой неутомимой хозяйки, как Олимпиада Васильевна.

Вставши с неизменной аккуратностью в восемь часов утра и облачившись в вытертый старый флаиелевый капот, простоволосая, с седоватыми жидкими прядками, наскоро причесанными, довольно непривлекательная и совсем ие похожая на ту приодетую «генеральшу» с чепцом, какою являлась к завтраку, Олимпиада Васильевиа напилась одна кофе, пока дети спали, и затем вся отдалась хозяйственным заботам и приведению своей небольшой квартиры в тот идеальный порядок, которым она по справедливости могла гордиться и поддержанию которого отдавала всю свою душу. Как всегда, она волновалась и суетилась все утро, донимая прислугу ядовитыми словами.

Толстой кухарке, при осмотре провизии, Олимпиада Васильевна подпустила несколько шпилек по поводу веса говядины и, понюхав рыбу, велела ее переменить.

— Или у вас насморк, или вас, милая, совсем обманули... Понюхайте-ка судачка! — говорила она язвительным тоном.

Она шла затем в комнаты, заглядывала во все углы и зудила горничную:

— Разве, Дуня, так пыль вытирают? Ах, какая вы рассеянная, голубушка! Опять влюбились, видно?

И, проведя своим длинным, костлявым пальцем по столику или внутри какой-нибудь вазочки в гостиной, она подносила весь в пыли палец почти к самому носу горничной, наслаждаясь ее смущением. И нередко, вооружившись пуховкой, сама обметала сокровенные уголки.

Она затем поливала и мыла цветы, чистила клетки, в которых заливались канарейки, и, когда уборка была окончена, обошла все комнаты и с особенным чувством удовлетворения постояла минуту-другую в гостиной, любуясь этой комнатой с большим ковром, полной мебели, цветов и разных безделок и убранной с большой претензией на подражание обстановкам богатых домов. Каждое кресло, каждая вещица, каждый столик были для Олимпиады Васильевны предметами восторженного культа. В них она чувствовала приличие своего благополучия, чувствовала, что живет, как живут люди, и может принять кого угодно, не смущаясь.

Передвинув чуть-чуть кресло, обитое шелком, и поправив кружевной абажур на лампе, Олимпиада Васильевна, окончательно убежденная, что все в полном порядке, все хорошо и вполне прилично, удалилась наконец в свою спальню и занялась туалетом. Через несколько минут она преобразилась в приличную и благообразную генеральшу в черном платье, с накинутой мантилией, в чепце, прикрывшем ее жидкие волосы, и, в ожидании завтрака, присела в кресло и принялась за газету.

В газете Олимпиада Васильевна более всего любила читать описание разных празднеств, встреч и торжественных балов, на которых присутствовали высокопоставленные лица. Подобные описания — особенно подробные — приводили почтенную старушку в восторг, и она потом пересказывала о разных блестящих туалетах и перечисляла разные громкие имена с увлечением, точно о чем-то необыкновенно ей близком, хотя сама никогда на таких балах не бывала и высокопоставленных лиц не знала

и происходила из очень скромной чиновничьей среды. Тем не менее все, относящееся до таких лиц, ее очень интересовало и даже волновало. Она даже и фамилии их прочитывала не так, как имена простых смертных. Читая иногда вслух о каком-нибудь торжестве, Олимпиада Васильевна с особенной интонацией, полной восторженной приподнятости, подобной той, какая бывает у плохих актеров, декламирующих стихи, произносила фамилию какого-нибудь генерал-адъютанта князя Скопина-Шуйского, и тон ее мгновенно падал, делаясь, так сказать, самым прозаическим, когда она прочитывала чин и фамилию какого-нибудь статского советника Иванова. Он словно бы оскорблял ее эстетическое чувство своей ординарной фамилией, и возбуждал к себе даже что-то неприязненное, этот «Иванов»!

Охотница была Олимпиада Васильевна и до происшествий и этот отдел читала обязательно, точно так, как и объявления об умерших. Фельетоны читала не все и к политике относилась довольно равнодушно; однако пробегала и иностранные известия, чтобы при случае в разговоре вставить свое слово. Нечего и прибавлять, что она была горячей патриоткой, порицала Запад и при случае жестоко бранила «жидов».

Вообще, Олимпиада Васильевна представляла собой характерный тип чиновничьего мещанства и самого искреннего, бескорыстного раболепия перед знатностью, богатством и перед ходячими правилами приличия. Всю свою жизнь она посвятила заботам об устройстве приличной жизни, с приличной обстановкой. Жить, как живут вполне порядочные люди, было ее идеалом, и на осуществление его она потратила немало ума, энергии и изворотливости. Покойный ее муж, сперва мелкий чиновник, потом получивший хлебное место и дослужившийся до штатского генерала, был всегда под башмаком у Олимпиады Васильевны. Она, так сказать, вдохновляла его, поощряя к разным, не вполне законным, действиям постоянными напоминаниями о детях, об их образовании, о будущем положении. И когда он умер, у вдовы осталось небольшое состояние, проценты с которого вместе с пенсией давали возможность Олимпиаде Васильевне жить прилично. Дети были на своих ногах и радовали сердце обожавшей их матери. Старшая дочь сделала недурную партию — вышла замуж за товарища прокурора, младшая — Женечка, только что окончившая гимназию, была хорошенькая, вполне благовоспитанная барышня, которая, конечно,

не засидится в девушках; один сын служил чиновником, другой — офицером, и оба были добрые, почтительные сыновья, вполне свои, разделявшие взгляды матери. Один только Саша смущал Олимпиаду Васильевну. Он нигде основательно не устраивался, менял места, «воображал о себе», высказывая резкие, совсем дикие, по мнению Олимпиады Васильевны, взгляды, иронизировал, считая себя умником и вообще держался особняком от семьи. И семья его считала каким-то «отщепенцем», могущим скомпрометировать фамилию Пинегиных. Олимпиада Васильевна любила его меньше других детей.

«Те люди как люди, а этот — совсем неладный какой-то... Что толку с его ума, когда денег не может заработать!» — не раз думала мать и молила господа, чтобы он вразумил сына. Однако дипломатическая Олимпиада Васильевна избегала давать сыну советы, тем более что он никогда денег у нее не просил, да, кроме того, она и побаивалась его языка, зная, что в ответ на ее наставления сын иронически усмехнется, а не то и вышутит ее же, старуху. И то случалось, что братьев он в глаза называл пошляками и по нескольким неделям после этого не показывался к матери.

Одним словом, этот Саша был больным местом Пинегиных и их многочисленных родных.

IV

— Ах, это вы, братец?.. Даже испугали! — промолвила Олимпиада Васильевна, увидав на пороге комнаты своего брата, отставного полковника Василия Васильевича Козырева, высокого, худощавого старика, с продолговатым, сморщенным лицом, напоминающим лисью мордочку, на котором бегали маленькие и лукавые, точно что-то высматривающие глазки.

Этот «братец», которого Олимпиада Васильевна не очень таки долюбливала за его коварство и ехидное сплетничество, вошел бесшумно, словно подкравшись. Он вообще имел привычку появляться у родных всегда как-то незаметно и умел все высмотреть и разузнать, частью из любопытства, а частью чтобы иметь материал для разговора у родственников, которым можно сообщить что-нибудь новенькое о других.

— Гулял и зашел проведать тебя, сестра. Не звонил: думаю, зачем беспокоить, и прошел через кухню,— отве-

чал полковник тихим, вкрадчивым, тоненьким голоском и троекратно поцеловался с сестрой.— Ну, как живешь? Надеюсь, у вас все благополучно, сестра? — прибавил полковник.

— Ничего себе, слава богу, братец. Живем себе помаленьку... Да что ж мы здесь?.. Пожалуйте, братец, в гостиную... А вы как поживаете? — с приветливой улыбкой осведомилась Олимпиада Васильевна, выходя вслед за полковником из спальной.

— И я, родная, помаленьку... Что мне? Гуляю себе больше, пока ноги носят, да милых родных навещаю. Вот вчера у сестры Антонины был...

Войдя в гостиную, полковник воскликнул:

— И как же у тебя уютно здесь... прелесть!.. Право, лучше, чем у Антонины... С большим вкусом убрано...

Олимпиада Васильевна, хотя и знала коварство братца, тем не менее приятно осклабилась.

— А эта хорошенькая вазочка, видно, новая? Я что-то ее не видал,— продолжал полковник, подходя к столу и разглядывая вазу.

— Да, братец... Катенька недавно подарила...

— Похвально... Почтительная дочь твоя Катенька... И муж ее славный человек... Я думаю, дорогая? — осведомился полковник.

— Не могу вам сказать, братец... Вот сюда, в кресло присядьте... Антонина здорова?

— Слава богу, все там здоровы,— отвечал полковник и после паузы прибавил: — А Леночке новую шубу сделали...

— Новую? Да у Леночки есть шубка и довольно приличная.

— Верно, Антонине показалось, что не хороша... Ты ведь знаешь Антонину? И какая, я тебе скажу, сестра, шуба!..

Олимпиада Васильевна, завидовавшая младшей сестре Антонине, у которой и обстановка была красивая, и лакей был, и дочь говорила по-английски, с живостью спросила:

— Какая же, братец, шуба?

— В семьсот рублей,— медленно произнес полковник, глядя с самым невинным видом на сестру.

— В семьсот рублей! — ахнула Олимпиада Васильевна и на секунду замерла от изумления.

— При мне деньги платили.

— И что же, действительно красивая шуба?

— Шикарная... Знаешь ли, ротоида — кажется, так на-

зывается? — ротонда из чернобурых лисичек, легонькая такая. А покрыта темно-зеленым плюшем и с пелеринками... Говорят, мода нынче — пелеринки... Прелестная шубка... Видно, у них лишние деньги-то есть!

— Откуда у них лишние деньги? — воскликнула, волнуясь, Олимпиада Васильевна.— Положим, муж получает шесть тысяч.

— Семь, сестра...

— Хоть бы и семь. Так ведь на эти деньги не раскутишься, да еще с их привычками... За одну квартиру полторы тысячи платят... Антонина вечно жалуется, что им не хватает...

— Значит, заняли. Долги-то у них есть, я знаю,— конфиденциально, понижая голос, промолвил полковник.— Есть... Не по средствам живут... Любят форснуть. Вот хоть бы эта шуба? Ну к чему, скажи на милость, Леночке такая дорогая шуба? Положим, отец — тайный советник... Так ведь и ты, сестра, генеральша, однако и не подумаешь делать своей Женечке шубу в семьсот рублей... К чему?..

В эту минуту в гостиную вошли Женечка, недурная собой, полненькая, свеженькая брюнетка, и Володя, молодой, довольно пригожий офицер, остриженный под гребенку, высокий и стройный, с кольцом на мизинце и браслетом на руке. Он имел заспанный вид и протирал глаза.

— Вот и поздние птички явились,— ласково приветствовал молодых людей полковник.— Ну, здравствуй, милая племянница, здравствуй, мой друг Володя... Видно, вчера ужинал, а? — подмигнул глазом полковник.

— Было дело под Полтавой, дядюшка! — весело смеясь, отвечал Володя.

Дядя поцеловался с молодыми людьми, после чего они подошли к матери и поцеловали ее руку.

Мать с видимым восторгом любовалась своими птенцами.

— Про какую это вы шубку говорили, дядя? — спросила Женечка.

— Вообрази себе, Женечка,— сказала Олимпиада Васильевна,— тетя Тоня сделала Леночке новую ротонду... Денег нет, а они ротонду...

— В семьсот рублей, Женечка,— досказал полковник.

— Ловко! — откликнулся Володя.

В Женечкиных глазах блеснул завистливый огонек, и она заметила:

— Тетя так любит Леночку... Недавно вот новое бальное платье ей сшила... И прелестная, дядя, я думаю, ротонда?..

— Разумеется. И деньги прелестные...

Олимпиада Васильевна бросила недовольный взгляд на полковника, что он своим разговором об этой «дурацкой ротонде» только смущает Женечку, и заметила:

— Это разве любовь настоящая!.. Просто пыль в глаза хотят бросить... Антонина воображает, что эти шубы да бальные платья помогут скорей найти Леночке жениха...

— А о женихах что-то не слышно! — вставил полковник.

— Еще бы... Леночка хоть и милая, а — сапог! — засмеялся Володя...— А кто на сапоге без хорошего приданого женится, а?

Олимпиада Васильевна бросила многозначительный взгляд на сына. «Дескать, не говори при дяде!» И то она уж пожалела, что сама дала волю языку из-за этой шубы. Братец ведь все передаст Антонине.

И Олимпиада Васильевна поспешила заметить сыну:

— Володя! Какие выражения! И ты неправду говоришь. Леночка хоть и не красавица, а прехорошенькая. Очень миленькая, особенно глаза у нее прелестные. Ведь правда, братец?..

Горничная вошла и доложила, что подан завтрак. Олимпиада Васильевна с обычным своим радушием пригласила братца позавтракать чем бог послал.

— Посидеть с вами — посижу, а есть не стану... Боюсь, сестра... У тебя всегда все так вкусно, а у меня, сама знаешь, катар...

— Отличное средство есть против катара, дядюшка! — проговорил Володя.

— Какое, мой друг?

— Три рюмки перцовки перед каждой едой, вернейшее средство! — рассмеялся Володя.

— Шутник ты...

— Нет, в самом деле попробуйте... Мамаша, а разве водки не полагается сегодня?..

Олимпиада Васильевна достала из буфета графинчик, бросив меланхолический взгляд на Володю.

Завтрак был вкусен и обилен, и полковник, несмотря на катар, отведал и маринованной осетринки, и телячьей котлетки, не переставая рассказывать о том, как он сегодня утром был на Сенной и прицениваясь к провизии, как потом встретил богатые похороны и узнал, что хоро-

нили купца Отрепьева, оставившего пятьсот тысяч, как потом прошел на Большую Морскую...

— И знаешь, сестра, кого я встретил?

— Кого, братец?..

— Твоего Сашу... Стоит у витрины и брильянты рассматривает... Что, он разве больше не служит?..

Олимпиада Васильевна встревожилась.

— Он, может быть, на службу шел...

— Едва ли... Служба его совсем в противоположном конце. Да и двенадцатый час был.

— Странно... разве дело какое, что он не пошел на службу...

— То-то и я подумал... Но ежели дело, к чему разглядывать брильянты?

— Покупать собирается... Женечке подарить,— иронически усмехнулся брат.

— Он брильянтов не признает,— насмешливо заметила Женечка.

В это время из прихожей раздался звонок, и через минуту в столовую вошел Саша Пинегин.

— Вот легок на помине. Только что о тебе говорили, мой друг! — поспешил сказать самым любезным тоном полковник.

Все притихли. Приход «отщепенца» встречен был сдержанно и молчаливо.

V

Пинегин поцеловал у матери руку, пожал руку дяде, брату, сестре и присел к столу.

— Завтракать будешь? — без особенной приветливости спросила Олимпиада Васильевна, бросая тревожный взгляд на несколько возбужденное лицо сына.

«Наверно, опять бросил место!» — подумала она.

— Пожалуй, что-нибудь съем...

— Сейчас разогреют котлетку, а то холодная.

Дуня, принесшая прибор, хотела было унести блюдо, но Пинегин остановил ее.

— Не стоит... Так съем...

— Напрасно, Саша, горяченькая вкуснее,— заговорил своим мягким, ласковым голосом полковник и, подвигая к нему графин с водкой, прибавил: — Чудная, братец, осетринка для закуски.

— Он не пьет водки,— сказал Володя, заметно притихший при брате.

— Не пьет?.. И без водки осетринка прелесть. И мастерица же ты, сестра!

Пинегин молча ел. Олимпиада Васильевна терзалась желанием скорей разрешить беспокоившее ее недоумение: отчего Саша не на службе и зачем он зашел? И она дипломатически спросила:

— Давно ты, Саша, у нас не был. Уж и записку хотела писать: здоров ли?

— Здоров, мамаша... Занят был это время...

— По службе?

— И по службе и так... дела были.

— То-то сегодня ты не на службе. Видно, заработался и отдохнуть денек собрался... Это ты умно придумал... Служба-то у вас тяжелая, а платят гроши... Везде протекция да протекция! — вздохнула Олимпиада Васильевна.

— Такому умнице, как Саша, давно бы тысяч пять получать, если бы у нас места по заслугам давали! — воскликнул не без пафоса полковник.

— Спасибо за комплимент, дядюшка, и за пять тысяч! — иронически промолвил Пинегин и, обращаясь к матери, прибавил: — Я больше, мамаша, совсем не пойду на службу... Довольно с меня!

— Бросаешь? — испуганно спросила Олимпиада Васильевна.

— Да, бросаю.

— Саша, верно, лучшее место получил. С его умом не сидеть же ему на пятидесяти рублях, кандидату естественных наук,— проговорил полковник с едва слышной иронической ноткой в своем вкрадчивом, тонком голоске.

— И лучшего места не получил, даже и с моим умом, дядюшка.

Все неодобрительно взглянули на этого «отщепенца», который бросает место и еще иронизирует.

— Думаешь одной литературой пробавляться? — насмешливо спросил Володя.

Пинегин только повел равнодушно-презрительным взглядом на брата, не удостоив его ответом, и сказал, обращаясь к матери:

— Вы не волнуйтесь, мамаша... Теперь мне места не надо... Я женюсь, и на богатой девушке...

Брат и сестра иронически хихикнули, подтолкнув друг друга локтями. Полковник саркастически улыбался. Олимпиада Васильевна недоверчиво смотрела на сына, не зная — верить ему или нет. Он ведь любит иногда потешаться над родными. У него есть эта злая привычка.

Да иакоиец, какая богатая девушка пойдет за такого голыша, за человека без какого-иибудь определеииого положеиия. Это что-то иевероятиое!

Пииегин между тем продолжал, и голос его слегка вздрагивал от иервиого возбуждеиия:

— Очеиь милая и образоваииая девушка... Надеюсь, вам поиравится... Дочь покойного золотопромышлеиника Коиовалова...

Все встрепеиулись при слове «золотопромышлеииика». Казалось, Саша не шутил.

— Коиовалова?! — воскликиул в каком-то сладостном восторге полковиик.— Это та, у которой, говорят, иесколько миллиоиов, прииски и громадиый дом на Караваиной?

— Оиа самая, дядюшка,— ответил Пииегии.

— И... ты... Саша, жеиишься... Ты ие шутишь?..— задыхаясь от волиеиия, спрашивала Олимпиада Васильевиа.

— Какие, мамаша, шутки. Завтра я привезу к вам свою иевесту.

— И оиа... в самом деле... так богата?

— Богата: два миллиона, прииски и дом.

Миллиоиы н прииски произвели ошеломляющее впечатлеиие. Все впились в Пииегниа, глядя иа иего, как иа сказочиого прииц, в безмолвиом очароваиии, проннкнутые почтительиым уважеиием. Этот Саша, отщепенец Саша, вдруг стал в глазах всех совсем другим человеком, словио свершившим необыкновенный подвиг и осененный лучезариым ореолом. У офнцера Володн уже бродила мысль заиять у брата крупиый куш. «Вероятио, он не откажет иа радостях!» И вместе с почтением ои чувствовал иевольиую завись.

Олимпиада Васильевиа в умилеиии заплакала. Чувствуя прилив матерниской иежиости к сыиу, оиа проговорила прерывистым голосом:

— Саша... Александр... Поздравляю тебя... Будь счастлив... Постой, тебе сейчас зажарят другую котлетку... Володя, достаиь виио... Там есть бутылка мадеры.

Пииегии подошел к матери. Растрогаииая, счастливая, оиа обияла его и благословила.

— Жеия!.. Да скажн, чтоб Саше котлетку скорей...

— Да ие иадо, мамаша...

Розлили вниo. Все чокались с Пииегииым, поздравляли и целовались. Полковиик глядел с таким победоиосным видом, точио сам ои жеиился на миллиоиах, и восторжеиио повторял:

— Я ведь всегда говорил... всегда говорил, что Саша умница. Голова!

— А хорошенькая твоя невеста, Саша? — спрашивала Женечка.

— А вот увидишь... Предупреждаю: она далеко не красавица...

— Да разве красота все? — горячо подхватила Олимпиада Васильевна.— Ты лучше спроси: какого характера?

— Тихая, славная девушка, мамаша.

— Вот это-то главное!

— Я думаю, роскошно одевается? — опять спросила Женечка.

— Напротив, очень скромно...

— Должно быть, прелестная девушка! — с пафосом воскликнула Олимпиада Васильевна.

— Да разве Саша женился бы на дурной! — вставил полковник.

Несколько времени шли расспросы. Олимпиада Васильевна очень ловко выспросила обо всем и отлично сообразила, что сын женится не по любви и что будущая жена не хороша собой. Она в душе вполне одобряла Сашу и искренно дивилась его уменью подцепить такую невесту. Она горделиво радовалась, что один из Пинегиных будет миллионер, и питала надежду, что Саша не забудет при таком богатстве о своих. «Ведь он добрый!» Мысль о том, как будет завидовать сестра Антонина, приятно щекотала ее нервы.

Решено было, что завтра Саша будет обедать с невестой у Олимпиады Васильевны и к обеду будут приглашены многие родственники, чтобы познакомиться с невестой. Олимпиаде Васильевне хотелось хвастнуть перед родными.

Она перечислила всех, кто будет приглашен, и спросила:

— Ты ничего не имеешь против, Саша?

— Делайте как хотите, мамаша.

— А мы в грязь не ударим, голубчик... Обед будет хороший...

И, оживленная и радостная, она объявила, что будет суп с пирожками, форель, рябчики, зелень и мороженое от Берена...

— Надеюсь, Раиса Андреевна не взыщет, Саша? — прибавила мать.

— Раиса неприхотлива...



«Женитьба Пинегина».
Художник Ю. Гершкович

— А вино, а шампанское, надеюсь, будет? — спросил Володя.

— Все будет, не беспокойся, дружок... Уж я не пожалею денег для такого случая...

Но сын не хотел, чтобы мать разорялась из-за него. Он вынул бумажник, в который заглянули любопытные глаза всех присутствующих, и дал матери пятьдесят рублей.

Когда «счастливец» собрался уходить, все вышли провожать его в переднюю, и Олимпиада Васильевна еще раз горячо поцеловала на прощанье Сашу и просила расцеловать «милую Раису».

VI

Весть о женитьбе Саши Пинегина на миллионерке произвела потрясающий эффект среди всех родственников. Их было бесчисленное множество в Петербурге. Почти все они принадлежали к небогатой чиновничьей среде и жили кланами на Петербургской стороне, в Измайловском полку и на Песках, исключая нескольких, побогаче, выселившихся в более фешенебельные части столицы.

Несмотря на горячие родственные чувства, выказываемые при встречах, они довольно-таки зло сплетничали друг про друга. Каждый клан зорко следил за тем, что делается в другом, и между ними шло постоянное соперничество; каждая семья старалась отличиться перед другой и обстановкой, и костюмами дочерей, и их талантами (почти в каждом семействе было, конечно, по «замечательной» певице — будущей Патти), и угощением на журфиксах, и служебным положением мужей и сыновей. Ехидному полковнику было раздолье травить родственников и ежедневно завтракать и обедать у кого-нибудь из них, являясь с какой-нибудь новостью. И значительная часть пенсии, получаемой полковником, превращалась в бумаги, которые полковник относил на хранение в государственный банк, гарантируя себе, таким образом, более или менее любезный прием у родственников, по счету которых у полковника лежало в банке тысяч до двадцати.

Нечего и говорить, что полковник не отказал себе в удовольствии, после завтрака у сестры Олимпиады, обойти многих братьев и сестер, племянниц и племянников, чтоб сообщить о Сашином счастье и о завтрашнем обеде и, разумеется, с самым серьезным видом прибав-

лял к состоянию невесты где одни, а где и два-три лишних миллиона, возбуждая всюду взрывы изумления и плохо скрываемую зависть, что миллионы достаются Саше Пинегину.

Бывает же такое невероятное счастье людям! Чем мог пленить он Коновалову? Ведь со своими миллионами она могла сделаться графиней, княгиней, чем угодно, и вдруг... Однако молодец же этот Саша!

Только к вечеру полковник попал к сестре Антонине на Литейную. Он застал ее дома одну в ее маленькой голубой гостиной за вязаньем какого-то сюрприза к именинам «Никса», как с некоторых пор она величала своего мужа, найдя, что «Никс» звучит гораздо аристократичнее, чем прежнее уменьшительное «Николаша».

Сестра Антонина была довольно еще моложавая женщина, лет за сорок, с пышными формами внушительного бюста, щеголевато одетая, благоухающая, с блестящими кольцами на своих не особенно изящных, красноватых толстых пальцах, со взбитыми каштановыми волосами, падавшими завитками на лоб, полноватая, румяная, с подведенными серыми глазами, втайне думавшая, что еще может нравиться мужчинам. Она считалась между родственниками аристократкой, так как была женой тайного советника, имела свой экипаж, щеголяла туалетами и вообще любила задать тону и похвастать своими знакомствами. Она щурила глаза и говорила немного в нос, растягивая слова, как и следовало, по ее мнению, говорить тонной даме, у которой, между прочим, бывают с визитами княгиня Подлигайлова и жена статс-секретаря Ардатова, урожденная баронесса фон дер Шмецк. Этих дам знали все родственники со слов Антонины Васильевны и, разумеется, завидовали ей. Но самое большое впечатление производил ее рассказ о том, как два года тому назад, на каком-то парадном балу, к ней подошел сам его светлость князь Отрешков и говорил с ней четверть часа и как она спрашивала, когда он сжалится и вернет ей мужа из командировки. «И светлейший обещал и действительно вернул скоро Никса!» — прибавляла Антонина Васильевна, довольная, что могла поразить родственников вниманием его светлости и доставить несколько неприятных, завистливых минут старшей сестре, Олимпиаде Васильевне, постоянно грезившей о титулованных высоких особах...

— Я к тебе на минутку, сестра,— заговорил после родственного лобзания самым невинным тоном полковник.—

Олимпиада просила передать записочку, зовет завтра обедать...

Антонина Васильевна прочла записку и довольно небрежно протянула:

— Вот как, Саша женится?.. Какая это дура идет за него?

— Разве Олимпиада не пишет?

— Ни слова... Зовет только на родственный обед познакомиться с Сашиной невестой, точно в самом деле очень важное событие, что Саша женится... Верно, такая же сумасбродная и нищая, как и он сам.

— Видно, Олимпиада растерялась от радости и главного не написала... Знаешь ли ты, сестра, на какой дуре Саша женится? — с таинственной торжественностью проговорил полковник.

— Не особенно интересно и знать... Этот Саша...

— Очень даже интересно! — перебил полковник.— Ты и вообразить себе не можешь, Антонина, как интересно! — еще значительнее прибавил полковник, понижая голос почти до шепота.

Антонина Васильевна вся насторожилась, но в качестве светской дамы не выказала своего нетерпения.

«Подожди, сестрица, ахнешь!» — не без злорадства подумал полковник, задетый за живое кажущимся равнодушием сестры и почему-то считавший женитьбу племянника близким и кровным для себя делом,— так он много сегодня о ней говорил.

И как опытный актер, подготовляющий зрителя к эффекту, он выдержал паузу и медленно проговорил своим тихоньким тенорком:

— На Ко-но-ва-ло-вой!

— А что такое эта Коновалова? — умышленно равнодушным тоном протянула Антонина Васильевна, втайне уже волнующаяся и чувствующая по тону брата что-то значительное и важное.

— Не слыхала фамилии Коноваловой?.. Удивительно!.. Не знаешь Ко-но-ва-ло-вой? Она дочь известного золотопромышленника. Прииски в Сибири, громадный дом на Караванной и пять миллионов наличными деньгами в государственном банке. Пять миллиончиков чистоганом. Вот на какой дуре женится Саша Пинегин, наш племянник!

У Антонины Васильевны при этом известии сперло в зобу и от волнения выступили на пухлых щеках красные пятна. Тем не менее она все-таки пыталась скрыть свои чувства,— нельзя же светской даме ахать как ку-

харке,— и, притворяясь спокойной, проговорила дрогнувшим голосом:

— Пять миллионов?.. Принцки?.. Это точно волшебная сказка! Как сестра должна быть счастлива... А Саша?.. Кто бы мог ожидать!!

— Я, сестра, всегда ожидал от Саши чего-нибудь необыкновенного,— внушительно проговорил полковник.— Саша — умница... Голова у него — золотая... Теперь он навек счастлив с таким богатством... У невесты ведь ни отца, ни матери.

— Ни отца, ни матери, скажите пожалуйста!! Бедная!!. И миллионы у нее? Да, Саша умный и образованный, это и Никс всегда говорит, но он какой-то неродственный... А я его всегда очень любила и защищала... Воображаю, как Олимпиада рада!.. Саша ведь не забудет своих при таком громадном состоянии... Неужели пять миллионов?

— Говорят, пять... Саша, впрочем, кажется, сказал, что три... Ну, разумеется, не забудет матери, будет ей помогать... Теперь Олимпиада заживет... Еще бы!.. Тысяч десять, двадцать в год дать матери ничего не стоит при двухстах тысячах годового дохода... Уж он обещал! — присочинил полковник.

— Где он познакомился с этой Коноваловой?.. Она хороша собой, образованна?.. Как все это случилось? Расскажите все подробно, братец... Это так интересно. Она, разумеется, влюблена, иначе пошла ли бы она за Сашу?.. Конечно, Саша недурен собой... Он в нас, в Козыревых, и может нравиться женщинам... ну, и умеет говорить... Кто был ее отец? Когда свадьба? — лихорадочно забрасывала вопросами Антонина Васильевна и, охваченная любопытством и завистью, забыла теперь даже растягивать слова и корчить из себя тонную даму.— Да не хотите ли, голубчик братец, чаю? Мы пьем в десять, но я велю сейчас подать. Напьемся вдвоем. Никс в клубе, а Леночка в опере... Княгиня Подлигайлова пригласила ее к себе в ложу.

Полковник отказался. Он только что пил у племянницы Катеньки... «Какая эта милая Катенька и как она прелестно поет... Зовут в оперу... И муж ее такой славный!» — не удержался полковник, чтобы не поддразнить сестру Антонину, дочь которой Леночка тоже была певцей и, по мнению матери, пела несравненно лучше дочери Олимпиады Васильевны. «Какое сравнение! У Леночки не голос, а масло... Тембр, чувство, а Катенька визжит, как при-

давленная кошка... Правда, есть две-три сносные нотки, вот и все!» — говорила нередко за глаза сестра Антонина.

Однако на этот раз Антонина Васильевна не противоречила полковнику (и что он понимает в пении!) и жадно слушала его. Он, впрочем, далеко не удовлетворил любопытства сестры Антонины, хоть и подробно, не без собственных прибавлений, рассказал, как Саша за завтраком объявил о своей женитьбе, как расхваливал свою невесту, как сестра Олимпиада плакала и как все рады были за Сашу и пили за его здоровье...

— Завтра вот увидим невесту,— говорил полковник, поднимаясь с кресла.— Обед будет превосходный... Ты ведь знаешь, Олимпиада мастерица угостить... Ты, конечно, будешь, сестра?

— Еще бы... такое радостное событие... Мы все приедем... Да вы куда же, братец? посидите, расскажите, как все это случилось, что Саша говорил про свою невесту...

— Поздно сидеть, дорогая... Устал, пора старым костям на покой. С утра сегодня бродил, навещал милых родных... Что Саша про невесту говорил? Да говорил, что умная, образованная, добрая девушка...

— А про наружность что говорил?.. Брюнетка, блондинка, хороша?

— Про наружность не говорил. Да и что говорить? С таким состоянием всякий урод красавица! — заметил полковник, улыбаясь.— Ну, кланяйся своему милому Николаю Аркадьевичу да поцелуй красавицу Леночку... До завтра, мой друг.

Облобызавшись с сестрой, полковник ушел, оставив сестру Антонину в неописанном волнении. Несмотря на усталость, он не взял извозчика и по своей скаредности даже не сел в конку, а тихо побрел на Васильевский остров, где жил в двух маленьких комнатках, нанимаемых от жильцов.

Когда Никс, высокий и довольно видный мужчина лет за пятьдесят, с роскошными черными бакенбардами, обрамлявшими моложавое, хорошо сохранившееся лицо, вернулся во втором часу домой из клуба, Антонина Васильевна еще не спала. Одетая в красивый капот с широким воротом, открывавшим пышную пожелтевшую шею, она пошла в кабинет, чтобы сообщить мужу об удивительной новости.

Никс, несколько румяный после ужина, выслушал жену и с тонкой улыбкой весело проговорил:

— Однако ловкая бестия этот Саша! Вот никак не думал! Такое урвал состояние!

И, словно озаренный счастливой мыслью, сказал:

— Надо теперь Сашу устроить при министерстве. Пусть числится и получает чины... Можно и камер-юнкером сделать... И знаешь ли что, Тоничка?

— Что, Никс?..

— Недурно было бы у него занять денег на уплату долгов... С рассрочкой, что ли... Ты бы это устроила, Тоничка, а? — промолвил Никс, нежно целуя жену и привлекая ее к себе...— И позовем их на днях обедать...

VII

Едва ли Наполеон перед Ватерлооской битвой был в таком возбужденном состоянии, в каком была на следующий день Олимпиада Васильевна, вся поглощенная заботой, как бы не ударить лицом в грязь с парадным обедом. На обед, кроме невесты, было приглашено пятнадцать человек самых близких и избранных родственников и притом не состоящих друг с другом в открытой вражде. Пригласить большее число, при всем желании Олимпиады Васильевны показать всем невесту-миллионерку, было нельзя — места в столовой не хватало. И то будет тесновато.

В этот день Олимпиада Васильевна проснулась в шесть часов утра и тотчас же стала одеваться. После нового и продолжительного совещания с кухаркой она вместе с ней поехала закупать провизию в лучшие лавки столицы и на этот раз не жалела денег. Закуски, вина и фрукты поручено было купить Володе. Форель на садке была выбрана, после тщательного осмотра, громадная и великолепная. Рябчики и зелень взяты в известной лавке, где берут повара самых аристократических домов. Мороженое заказано у Берена.

Целый день Олимпиада Васильевна носилась по квартире как угорелая, не зная устали, сама все прибирая и подчищая, и сегодня не ссорилась с кухаркой, не шпыняла ее, как обыкновенно. Напротив, была с ней предупредительна, ласкова и даже заискивала в ней, умоляя «Аксиньюшку» постараться и ничего не испортить. Толстая, жирная Аксинья, сама проникнутая важностью предстоявшего обеда, успокоивала барыню: «Все будет хорошо. Не извольте беспокоиться, барыня!» И в сиявшей

чистотой кухне, среди массы кастрюль н всякой посуды, Аксинья, ие суетясь, сама несколько возбуждеииая, ловко управлялась со своим делом, по временам вызывая барыню для какого-ибудь совещання.

К четырем часам Дуня и приглашениая в помощь горничиая дочерн, обе прнфранчеиные, шурша иакрахмалеииымн ситцевыми платьями, уже накрыли иа стол под иаблюдением самой Олимпиады Васнльевиы. Сервнз был парадиый, серебро новое — из будущего Жеиечкина придаиого. Хрусталь так н сверкал. Обериутые в гофрированиую бумагу горшки с розами и две, взятые иапрокат, вазы для шампаиского украшали стол вместе с рядом бутылок. А в углу столовой маленький стол весь был уставлен закусками: целая ваза была полиа свежей икрой. «Три с полтииой за фуит!» — ие без горького чувства думала Олимпиада Васильевиа, жалея, что сама ие купила икру подешевле, а поручила Володе.

Олимпиада Васильевиа несколько раз обошла вокруг стола, выровняла стакаиы, бокалы и рюмки, поправила десертные ножички и, иакоиец убедившись, что стол накрыт как следует, понеслась в своем парадном сером шелковом платье, с чепцом иа голове, в кухию и с тревожной боязливостью в голосе, полиом иежиости, спросила:

— Как рыба, Аксиньюшка?

Спокойио-уверенный вид раскрасневшейся Аксиньюшки успоконл барыию. Суп и пирожки она уже пробовала — отлнчиые. Кухарка уверяла, что и рыба, и жаркое, и зелеиь — все будет хорошо. «Не осрамнмся!»

И Аксинья подияла крышку длиниой рыбной лохаии н предложила барыие вилку. «Еще четверть часа — и готова!»

В это время в прихожей звякиул звоиок. Олимпнада Васильевиа бросилась в гостииую, проговорив умоляющнм голосом:

— Уж вы, Аксньюшка, пожалуйста... Форель не передержнте да гарнир покраснвее...

На звонок в гостнную выпорхиула и Жеиечка, свежая, румяиая, хорошеиькая и нарядиая. Вышли и братья: Володя н Петя — апатичиый молодой человек, служившнй в департамеите.

Через мннуту показалась Катенька, молодеиькая блондиика в ннтересном положенни, с капризным и несколько болезненым выраженнем подурневшего миловидного лица, вместе с своим мужем, «Бобочкой», товарищем про-

курора, свеженьким, чистеньким, изящным и необыкновенно вежливым и обходительным молодым человеком, очень любимым тещей. Катенька горячо обняла мать, расцеловалась с сестрой и братьями и лениво опустилась на диван. Бобочка нежно поцеловал руку у Олимпиады Васильевны и по-родственному поздоровался с остальными членами семьи.

Звонки раздавались все чаще и чаще. Собирались родственники. Сперва явился полковник, сияющий словно именинник в своем отставном мундире и в орденах. Затем приехал брат Сергей, длинный и худой статский советник, похожий на задумчивую цаплю, с геморроидальным и несколько кислым лицом заматорелого «чинюги», обиженного, что его долго не производят в генералы, и с ним такая же худая и тоже словно чем-то обиженная жена и сын, молодой и серьезный путеец в очках, которого мать называла «Базилем». Шумно влетел потом племянник Жорж, краснощекий, бойкий и развязный бухгалтер железнодорожного правления, в щегольском рединготе и белом галстухе, получавший семь тысяч жалованья, вслед за женой, вертлявой, пикантной брюнеткой, пестро одетой и довольно умело подкрашенной, добродушной и глупой «Манечкой», которую «обиженная дама» оглядела с ног до головы злыми глазами и подавила вздох, словно бы желая сказать: «Бывают же на свете такие женщины!» Впрочем, «обиженная дама» или «тетя-уксус», как звали ее молодые Козыревы и Пинегины, вообще была строга и известна как самая ядовитая сплетница в Песковском клане.

После Жоржа с женой в гостиную вошла мелкими, быстрыми шажками, чуть-чуть повиливая бедрами и нося с собой душистую тонкую струйку, племянница Вавочка, довольно еще свежая женщина проблематических лет «около тридцати», жена капитана-моряка, бывшего в дальнем плавании, полная, круглая, раскрасневшаяся от туго стянутой талии и избытка здоровья и ласково улыбающаяся своими большими темными глазами и от удовольствия видеть родных, и от удовольствия быть в изящном туалете на посрамление других. Вавочка среди родных считалась элегантной женщиной, умеющей одеваться со вкусом, и она, разумеется, поддерживала эту репутацию, считая себя вдобавок и неотразимой. И хотя она была непреклонной добродетели, тем не менее подводила брови и не прочь была вести теоретические разговоры о чувствах и хвалилась, что за ней очень ухаживают мужчины, к которым она совершенно равнодушна. Она любит одного Го-

гу, своего мужа, а остальные мужчины для нее не существуют.

Родственники сегодня с какою-то особенной нежностью целовались с Олимпиадой Васильевной и с большой горячностью уверяли, скрывая зависть, как были рады узнать, что Саша — жених. Олимпиада Васильевна благодарила, утирала набегавшую слезу и, вдруг вспомнив, что форель может перевариться, исчезала из гостиной, летела на кухню, смотрела рыбу и жаркое и с облегченным сердцем возвращалась к гостям. Слава богу, все, кажется, будет хорошо!

За четверть часа до пяти приехали сестра Антонина, Леночка и тайный советник Никс. Приезд «аристократов» возбудил некоторую сенсацию и еще более нахмурил чело брата Сергея. Его превосходительство, свежий и веселый, с благоухающими расчесанными великолепными своими бакенбардами, был очень представителен во фраке с двумя звездами. На жене и дочери Леночке были блестящие туалеты. Толстенькая Вавочка и «вертлявая брюнетка» так и впились глазами. Этих шикарных платьев они не видали. Верно, недавно сделаны, и, главное, что несколько смутило Вавочку, совсем новый фасон!

Его превосходительство с обычной своей приветливой любезностью, втайне слегка презирая жениных родственников, здоровался с ними, поздравил Олимпиаду Васильевну, сказал Вавочке комплимент и подсел к вертлявой брюнетке, с которой любезничал Володя, уже успевший выпить начерно с Жоржем рюмки три водки...

Антонина Васильевна, с черепаховым длинным лорнетом в руке, порывисто и горячо обняла сестру Олимпиаду и нежно шепнула о своем радостном участии. После родственных приветствий она заняла место на диване около Катеньки и заговорила с ней, снова растягивая слова и щуря глаза. Не очень громко, но так, чтобы слышали другие, она рассказывала, в каком восхищении осталась вчера Леночка от оперы. Леночка была с княгиней Подлигайловой.

— Ты, Катя, кажется, видела у меня княгиню Подлигайлову?..

Все сидели вокруг стола, перекидываясь вопросами о здоровье, замечаниями о погоде, о театре, и с нетерпением ожидали появления невесты-миллионерки. Все приглашенные были в сборе. Недоставало только жениха и невесты.

Полковник волиовался, подходил к окнам и взглядывал иа часы.

Накоиец раздалось ровиое звякаиье копыт по мостовой, без шума колес, и замерло у подъезда.

Володя и Жеиечка бросились к окну.

— Оии! — крикиули оба.

— Какие чудные лошади! — восторжеиио прибавила Женечка.

Миогие подбежали к окиам и увидали малеиькую каретку с парой красивых вороиых лошадей в аиглийской упряжи. Бритый рыжий кучер в чериой ливрее и в цилиндре, с иевозмутимым видом поддельиого англичаииина, сидел иа козлах. Из кареты торопливо вышла малеиькая женская фигурка и Саша Пииегии.

— Аккуратиы! Ровио пять часов! — заметил полковник, отходя от окна, и, обращаясь к Антоиние Васильевие, прибавил: — Ну и коии, сестра! Тысячиые!

Раздался звоиок. Олимпиада Васильевиа с Володей и Жеиечкой вышли в прихожую. Все родствеиииики невольио притихли, ожидая появлеиия невесты. Тетя-уксус вся насторожилась, вытяиув свою длииную шею. Вавочка оправляла прическу. Аитоииия Васильевиа с иапускиым равиодушием рассматривала альбом. Его превосходительство с едва заметиой иасмешливой улыбкой перегляиулся с молодым прокурором.

VIII

Под руку с сиявшей и умилеиной Олимпиадой Васильевиой в гостииую вошла, смущеиио и ласково улыбаясь, иекрасивая молодая девушка лет двадцати пяти иа вид, маленького роста, плохо сложеииая, плотная и кореиастая брюиетка, с крупиыми и резкими чертами смуглого, отливавшего желтизиой лица, с выдающимися скулами, широким иосом и крупиыми губами.

Но зато глаза у этой девушки были прелестиы и зиачительио смягчали иекрасивость ее физиоиомии: большие серьезиые и вдумчивые чериые глаза с ясиым и иеобыкиовеиио кротким взглядом, какой бывает у детей или у очеиь добрых хороших людей.

Скромиость туалета миллионерки даже удивила многих родствеиииков, ожидавших блеска и кричащей роскоши. Оиа была одета, правда, с изящной простотой, свидетельствовавшей об ее тонком вкусе и привычке одеваться хо-

рошо, и жадный взгляд Вавочки оценил по достоинству и прелесть нежной, дорогой ткани, и изящество отделки, и мастерство артиста, сшившего это ловко сидевшее светлое платье модного цвета гелиотроп, но костюм ее не бил в глаза. И на этой владелице миллионов не было ни дорогих брильянтов, ни других богатых украшений. Только красивые крупные жемчужины белели в ушах. На руке был скромный port-bonheur[1], а у шеи простенькая брошка. Прическа у нее была самая простая и немодная. Черные, гладко причесанные по-старинному волосы, с пробором посредине, обрамляли ее высокий лоб, а сзади были собраны в косы. И держалась она скромно и просто, несколько застенчиво среди незнакомых людей.

Олимпиада Васильевна, успевшая еще в прихожей очаровать приемом свою будущую невестку, знакомила Раису Николаевну с родственниками.

— Раиса Николаевна Коновалова... Сестра Антонина... дочь Катенька... брат Сергей... племянница Вавочка,— говорила она нежным голосом, подводя Раису Николаевну то к одному, то к другой...— Здесь все наши близкие милые родные,— прибавляла она, ласково взглядывая на Раису.

Все отнеслись к гостье необыкновенно приветливо и сердечно, чувствуя невольный прилив почтительной нежности к этой скромной некрасивой девушке, обладавшей миллионами. Все как-то значительно и крепко жали ей руку, и дамы горячо целовали ее крупные губы, как бы приветствуя в ней будущую родную и близкого человека. Сестра Антонина, помня совет Никса, с нежной порывистостью протянула обе свои руки, потом привлекла Раису к себе и поцеловала, а затем, когда Раиса попала в родственные объятия Вавочки, Антонина Васильевна в избытке чувств прошептала, но так, однако, что Раиса могла слышать:

— Ах, что за милая девушка! Не правда ли, Катенька?

Тетя-уксус, уже шепнувшая изнемогавшему от зависти путейцу Базилю, что невеста «урод и кривобока», сохраняя все тот же обиженный вид страдалицы, так впилась своими тонкими губами в губы Раисы и так крепко сжала ей руку, что бедная Раиса чуть-чуть поморщилась от боли. Полковник почтительно поцеловал лайковую перчатку на ее руке.

Видимо, тронутая общим дружеским отношением, молодая девушка с искренней горячностью отвечала на все

[1] браслет без застежки *(фр.)*.

эти ласки родных любимого человека, перенося на них частицу любви, которую питала к Пинегину.

Несколько бледный, стараясь скрыть под маской спокойствия свое волнение, свежий и красивый, казавшийся красавцем в сравнении со своей невестой, он весело здоровался с родными и глядел им прямо и смело в глаза, словно бы заранее предупреждая какие-нибудь щекотливые вопросы. Но, разумеется, никаких щекотливых вопросов не было. Все с какою-то особенной почтительной приветливостью здоровались с бывшим «отщепенцем». Его превосходительство, относившийся прежде к своему родственнику с холодной, не допускающей фамильярности вежливостью, сегодня как-то особенно ласково, с фамильярностью доброго товарища, пожал ему руку и поздравил его. И дядя Сергей, особенно не любивший племянника и считавший его неосновательным и зловредным человеком, по недоразумению не попавшим в Сибирь за свои возмутительные мнения, приветствовал племянника с непривычной ласковостью и почему-то поцеловал его, словно желая почтить его возрождение. Одним словом, все родственники видимо одобряли поступок Саши, и ни одна пара глаз не взглянула на него с презрением. Все хвалили его невесту. «Она такая милая, такая симпатичная...»

Только подросток Люба, гимназистка пятнадцати лет, гостившая по случаю кори у них в семье у своей двоюродной бабушки,— горячая поклонница «дяди Саши» за его радикальный образ мыслей и за то, что он «умный»,— както недоумевающе смотрела, сидя где-то в углу, своими умными серыми глазенками, и грустная усмешка по временам скользила по ее худенькому, бледному личику. Но, разумеется, никто не обращал на нее внимания...

Олимпиада Васильевна слетала на кухню и, убедившись, что все готово и можно подавать, вернулась в гостиную и проговорила:

— Милости просим... Пожалуйте... Сестра Антонина... Николай Петрович... Раиса Николаевна... Брат Сергей... Вавочка...

Все двинулись в столовую.

Антонина Васильевна, любезно обхватив рукой за талию Раису, увлекла ее за собой и пошла первою. За ними пошли тетя-уксус с супругом.

Дорогой она шепнула мужу, указывая глазами на Антонину Васильевну:

— Ухаживает за миллионеркой... Видно, и у них хотят занять?..

Обнженный статскнй советннк только мрачно вздохнул в ответ.

Ннкс вел под руку Вавочку н, пользуясь отсутствнем контроля своей ревннвой Тонечкн, взглядывал загоравшнмнся глазамн на пышный бюст Вавочкн н говорнл ей, благоразумно поннжая голос, что она сегодня очаровательна, эта несравненная Вавочка, как фамильярно называл его превосходительство, человек очень женолюбнвый н большой ловелас, племяннннцу своей жены. Вавочка делала вид, что недовольна, просила не говорнть ей, «почтн старухе», глупостей н, сознавая свою неотразнмость, еще более рдела н самодовольно улыбалась, отдергнвая, однако, руку, которую нгрнвый тайный советннк слншком сильно прнжнмал к себе. Володя смешил вертлявую Манечку, жену двоюродного брата Жоржа, н просил ее сесть за обедом рядом с ннм. Манечка хнхнкала, кокетннчала н спросила:

— Понравилась невеста?

— Сапог!

— Но ты бы на ней женился?

— Хоть сейчас! — весело отвечал офнцер.

Катенька переваливалась сзади всех. Она чувствовала себя нездоровой н капрнзннчала. Прокурор Бобочка, всего два года женатый, желая угоднть жене, сказал ей на ухо:

— А ведь очень дурна, не правда лн?

Катенька строго взглянула на Бобочку.

— Вам, мужчннам, нужна одна красота... Она очень снмпатнчна...

И вдруг с каким-то внезапным раздраженнем спросила:

— Прнзнавайся... Ты очень завндуешь Саше?

Бобочка презрнтельно усмехнулся.

— Есть чему завндовать?!

А в голове его пробежала мысль:

«Еслн б этн мнллноны да мне!..»

За обильной закуской мужчнны выпнлн по несколько рюмок водкн. Сегодня н Саша Пннегнн разрешил себе выпнть н чокался со всемн. Волненне его прошло; он чувствовал себя хорошо н весело. После трех рюмок водкн он несколько размяк; в его отношениях к родственнннкам проявилась какая-то мягкость, н онн сталн казаться ему уж не такнмн пошлякамн, какнмн счнтал он нх прежде. И это вндимое сочувствне н уваженне, проявнвшнеся внезапно к нему, хотя он н поннмал отлнчно прнчнну нх,— тем не менее прнятно щекоталн нервы н точно оправдывалн его в собственных глазах.

Сталн садnться за стол. Сестра Антонина села около

хозяйки. По другую сторону усадили Рансу. Около нее сел Саша Пинегин. Остальные разместились кто как хотел, и его превосходительство очутился на конце стола, среди молодежи, подле Вавочки. Антонина Васильевна, заметивши соседство мужа с этой «жирной перепелкой», как она презрительно называла за глаза свежую толстушку Вавочку, только недовольно сверкнула глазами, но не сказала ни слова. Но тетя-уксус, зорко наблюдавшая за всем, не удержалась-таки и, словно обиженная, что такой важный родственник и вдруг сидит на конце стола, а не на более почетном месте, сказала Олимпиаде Васильевне:

— А Николая Петровича что ж так далеко усадили, сестрица?

— Что ж это в самом деле я и недосмотрела,— заволновалась Олимпиада Васильевна.— Николай Петрович, куда ж это вы сели? Не угодно ли сюда, поближе?

— Не беспокойтесь, Олимпиада Васильевна... Не все ли равно?.. Не место красит человека, а человек место! — отшутился он.

— Впрочем, и то, с молодыми-то веселей! — ехидно шепнула тетя-уксус и стала с обиженным видом кушать суп.

Антонина Васильевна между тем занимала Рансу, рассказывая ей о прошлогодней своей поездке за границу... «Что за прелесть эта очаровательная Ницца».

— И вообще весь Corniche...[1] С каким удовольствием я опять уехала бы за границу...

— Там хорошо, но под конец надоедает,— заметила Ранса.

— Ранса пять лет прожила за границей. Она там воспитывалась,— вставил Саша Пинегин.

— Но осталась совсем русской,— прибавила с улыбкой Ранса.

— Вы воспитывались за границей, родная? — нарочно громко, чтобы слышали решительно все, переспросила Олимпиада Васильевна и, обращаясь к Катеньке, еще раз повторила:

— Катенька, слышишь, Ранса Николаевна воспитывалась за границей!

И тотчас же взволнованно вперила глаза на двери, в которых появилась Дуня с громадным блюдом. На нем красовалась великолепная, больших размеров форель, превосходно убранная гарниром.

---

[1] Дорога от Ниццы до Генуи *(фр.)*.

Торжествующая улыбка сияла на лице тети-дипломатки и оттого, что около нее сидит будущая невестка-миллионерка и все это видят и чувствуют, и оттого, что она воспитывалась за границей, и оттого, что форель, видимо, произвела впечатление.

В эту минуту Олимпиада Васильевна была бесконечно счастлива, а впереди еще сколько счастья?!

— Ну ж и рыбина, сестра! — восторженно воскликнул полковник.

— Вы прежде попробуйте, а потом хвалите, братец,— скромно заметила Олимпиада Васильевна.

На время наступило затишье. Все ели с видимым удовольствием рыбу и запивали ее белым хорошим вином. И Володя и Петя то и дело наполняли рюмки гостям, не забывая и своих. Многие хвалили и рыбу и подливку, и даже его превосходительство, большой обжора и знаток в еде, высказал одобрение, чем привел в большой восторг радушную хозяйку. После рыбы разговор сделался громче и оживленнее. И его превосходительство, и обиженный брат Сергей, и полковник, не говоря уже о молодежи, все немножко подпили, раскраснелись и были в веселом, добродушном настроении. Никс уже уверял Вавочку, что она красавица и свела его с ума, и не обращал ни малейшего внимания на строгие взоры Тонечки, точно и не ждал вечером доброй порции сцен. Полковник с пафосом говорил брату Сергею, как он любит милых родных, и утешал брата, что он, наверное, к Новому году будет генералом.

— Правда, брат, свое возьмет... Будь покоен!

У многих дам, после рюмки-другой вина, алели щеки и блестели глаза. И Саша Пинегин был в радостно-возбужденном настроении и ласково и нежно разговаривал с Раисой. Женечка и Леночка весело болтали о нарядах, театре и мужчинах. Володя рассказывал глупые анекдоты, и Манечка заливалась, приводя в негодование тетю-уксус, которая, несмотря на несколько рюмок вина, имела все-таки обиженный вид и не без зависти высчитывала, во сколько мог обойтись такой обед и что стоят такие вина. Одна только Катенька капризно молчала, думая о близком ужасе родов, да гимназистка Люба сидела дичком, о чем-то задумавшись, на дальнем конце стола.

Когда после жаркого подали шампанское и розлили по бокалам, разговоры мгновенно смолкли, и в столовой наступила торжественная тишина. Все взоры невольно устремились на Раису и Сашу Пинегина. И оба они несколько

смутились, особенно Раиса, точно в ожидании чего-то мучительного.

Но для чего же и был этот обед?

И Олимпиада Васильевна, торжественная, радостная и взволнованная, поднялась и дрогнувшим голосом произнесла:

— За здоровье невесты и жениха!

Умиленная, со слезами на глазах, Олимпиада Васильевна обняла невесту, осторожно отводя руку с бокалом, чтоб не облить ее платья. Она крепко поцеловала ее, осенила крестом и, отхлебнув шампанского, шепнула:

— Милая... дорогая... Мой Саша так вас любит... Любите и вы моего голубчика!

И она снова притянула к себе Раису и снова трижды поцеловала.

Подошел сын, и повторилась та же трогательная сцена.

Затем все шумно поднялись с мест и поздравляли жениха, невесту и мать. Пили много шампанского н провозглашали тосты. Полковник крикнул: «Горько, горько!» — и Пинегин поцеловал некрасивую, стыдливо зардевшуюся девушку при общих радостных восклицаниях. Под конец обеда его превосходительство произнес маленький спнч, в котором, между прочим, сказал, какой честный, славный и добрый Саша Пинегин. Говорил и полковник, говорил и Жорж, говорил и Володя. Во всех этих речах было много самых горячих пожеланий...

Саша Пинегин, несколько опьяневший, слушал все это, благодарил и чувствовал, что где-то, в глубине его души, снова поднимается презрение и к самому себе, н к этим излияниям. И ему показалось, что его заживо хоронят во всей этой атмосфере лицемерия и пошлости... Он взглянул на кроткие, любовно глядевшие на него глаза некрасивой девушки, и в голове пробежала мысль: «Еще не поздно... Можно отказаться!»

Но он решительно отогнал от себя шальную мысль, налил шампанского н, обратившись к невесте, сказал:

— За наше счастье, Раиса!

И выпил залпом бокал.

— А где же Люба? Отчего ее нет? — спросил он.

Кто-то сказал, что она не совсем здорова и вышла нз-за обеда.

Наконец обед был кончен, и все перешли в гостиную. По просьбе Олимпиады Васильевны, слышавшей от сына, что Раиса хорошая музыкантша, она села за фортепиано и стала играть...

Пинегин незаметно вышел из гостиной, прошел в комнату матери, думая, что Люба там. Но ее там не было, а был полковник. Он был сильно навеселе.

— Ну, голубчик Саша, и умница же ты,— заговорил он слегка заплетающимся голосом,— я всегда говорил, что ты умен, но все-таки не ожидал этого... Не о-жи-дал. Гениально!.. И как это ты, шельмец, обработал такую богачку... Небось заговорил ее... Ловко!.. Ай да молодчина!

И, хитро подмигивая глазом, полковник продолжал:

— А все-таки, милый, послушай моего совета... Не ровен час... Мало ли, друг, что может быть в будущем... Ты ведь красивый... и все такое... одним словом, мужчина...

— Какой же совет вы хотите дать, дядя?

— Переведи-ка на свое имя половину состояния. Она, голубушка, добрая... сейчас видно, на все пойдет... простыня... Я ведь любя, по-родственному советую... Право, переведи... Так-то будет спокойнее... Впрочем, я, быть может, напрасно советую... Ты ведь и сам смекнул, а?

Пинегин выбежал из комнаты, оставив полковника в недоумении. В коридоре его встретила Люба и, стремительно подбежав к нему, проговорила негодующим голосом:

— Дядя Саша, и вам не стыдно?

И, заглушая рыдания, убежала из комнаты.

IX

В одиннадцатом часу жених и невеста уехали от Олимпиады Васильевны после самых ласковых проводов и сердечных пожеланий. Все родственники наперерыв звали их к себе. Тетушка Антонина Васильевна взяла слово, что они приедут к ней обедать во вторник. Дядя Сергей и тетя-уксус выразили надежду, что Саша и Раиса Николаевна навестят и их, и с обычным своим обиженным видом звали в среду вечером на чашку чая в их «скромной обители». А Вавочка объявила, что рассердится, если милая Рая, как уж она по-родственному называла Раису, не придет с женихом к ней на пирог в пятницу.

— Мой голубчик Гога именинник,— пояснила она.— Вы не знаете, Рая, кто такой Гога? Это мой милый муж, который плавает и скучает без своей Вавочки.

В прихожей подвыпивший полковник с особенной нежностью облобызал племянника и шепнул ему на ухо:

— Не забудь, Саша, что я тебе говорил, родной. Так-то оно лучше!

И, обратившись затем к Раисе, восторженно шепнул ей, подмигивая осоловевшими глазками на Пинегина:

— Добруша ваш Саша, милая Раиса Николаевна! Ах, какой добруша! Простыня человек!

Пинегин молча сидел в карете с Раисой в мрачном и подавленном настроении человека, еще не справившегося окончательно с совестью. Несмотря на доводы услужливого ума, она все-таки давала о себе знать.

Все эти любезности родственников, которые, видимо, приветствовали его подлость, как возрождение, этот наивный восторг захмелевшего дяди-полковника перед умом и ловкостью племянника вместе с откровенным советом ограбить Раису,— еще с большей наглядностью оттеняли его позор. А этот резкий, вырвавшийся из глубины возмущенного сердца упрек, это подавленное рыдание оскорбленной души еще стояли в его ушах. Во всей компании родственников только одна пятнадцатилетняя Любочка отнеслась с негодованием к его женитьбе, и, однако, этот единственный протест испортил Пинегину весь вечер и теперь еще вызывает краску стыда на его лице, напоминая снова то, что он хотел бы забыть: тот обман, каким он приобрел сперва доверие и потом любовь невесты.

И он все это проделал в течение трех месяцев с начала их знакомства, когда с мастерством охотника затравливал кроткое, доверчивое создание, играя на струнах ее отзывчивого, благородного сердца и будя в страстной девушке чувственные инстинкты. Все это было. И эти горячие речи об идеалах, о служении ближним... И это возмущение людской подлостью и игра в благородство... И эти чтения вдвоем... Это тонкое, ловкое ухаживанье, разговоры о сродстве душ! Сколько лжи и лицемерия, чтобы влюбить в себя эту некрасивую миллионерку и сделаться ее идолом!

Такие, не особенно приятные, воспоминания опять пронеслись в голове молодого человека и омрачили его лицо, но не поколебали принятого решения. Миллионы манили своей обаятельной силой и обещанием счастья, являясь сами по себе красноречивым оправданием подлости. Из-за них стоит ее сделать. Не он, так другой подберется к этим миллионам. И, наконец, мало ли людей женятся так, как он.

«Во Франции это — обычное явление»,— почему-то вспомнил Пинегин и по какой-то странной ассоциации идей вдруг подумал, что Бэкон был взяточник...

Да наконец, ведь он и привязан к Раисе.

Эта мысль внезапно обрадовала молодого человека. Он старался теперь даже убедить себя, что любит эту «милую, кроткую девушку» и что она вовсе уж не так дурна собой, как ему казалось раньше. И все сегодня находили ее симпатичной и восхищались ее глазами. Действительно, прелестные глаза!.. Да, он будет ее любить и сделает ее счастливой, хотя бы из чувства благодарности и за ее любовь и за ее миллионы, благодаря которым он станет независим...

«А какой, однако, мерзавец этот полковник! Что советует? Перевести половину состояния!» — подумал в ту же минуту Пинегин.

И, незаметно для него самого, мысли его остановились на предложении «мерзавца» и на мгновение овладели им. С чувством отвращения поймал он себя на этих мыслях и взглянул на невесту. Молчать счастливому жениху было неудобно. Надо заговорить.

Раиса сидела, прижавшись в углу кареты, с закрытыми глазами, тоже безмолвная, но безмолвная от полноты счастия, влюбленная и уверенная во взаимности, тронутая ласками родных любимого человека. «Добрый! Верно, он хвалил ее им всем!»

И она мечтала о близком счастье быть женой и другом этого чудного, благородного Саши, делиться с ним мыслями, жить для добра, для ближних...

— О чем ты задумалась, Раиса? — нежно окликнул ее Пинегин, всматриваясь в ее лицо и пожимая ее руку.

Молодая девушка встрепенулась, точно пробужденная от грез.

— Я думала, как я бесконечно счастлива,— промолвила она взволнованным, бесконечно нежным голосом, крепко сжимая руку Пинегина...— И какие твои родные все добрые... И как жизнь хороша!..

При этих словах Пинегина охватило чувство смущения и жалости, той мучительной жалости, какая бывает иногда у палача к своей жертве. Охваченный этим чувством, он привлек к себе молодую девушку и стал целовать ее лицо. Вся трепещущая, прижимаясь к Пинегину, Раиса отвечала горячими, страстными поцелуями.

— Милый!..

И, порывисто охватив его голову, она крепко прижала ее к своей груди.

— Милый... желанный... Если б ты только знал, как

я тебя люблю! — шептала она страстным шепотом, и слезы катились из ее глаз.

Хорошо, что молодая девушка не видала в эту минуту лица Пинегина, а то сердце ее забило бы тревогу,— до того физиономия его мало походила на счастливое лицо жениха. Он, правда, добросовестно осыпал поцелуями невесту, но эти поцелуи не возбуждали в нем страсти, не зажигали огня в крови. Он даже морщился, целуя некрасивую девушку, и, найдя, что поцелуев довольно, скоро выпустил ее из своих объятий.

— Так тебе понравились мои родственники? — спросил он минуту спустя, отодвигаясь от Раисы.

— Понравились... Они, верно, добрые.

— Всякие есть между ними,— неопределенно заметил Пинегин.

— Твоя мать — прелесть, сестры — милые,— восторженно говорила Раиса.

— А братья?

— И братья славные.

— У тебя, кажется, все люди — славные,— смеясь сказал Пинегин.

— А разве твои братья не хорошие? — испуганно спросила молодая девушка.

— Самые обыкновенные экземпляры человеческого рода, да я не про них. Я — вообще. Ты обо всех людях судишь по себе. Золотое у тебя сердце, Раиса! — горячо прибавил Пинегин и подумал: «И совсем ты проста!»

— Какое же тогда оно у тебя? — переспросила Раиса.

— Далеко не такое хорошее,— усмехнулся Пинегин.

— Не клевещи на себя, Саша! — горячо воскликнула девушка.— Разве я не вижу, какой ты мягкий и добрый?.. Разве я не читала твоих произведений? Разве я не понимаю твоей правдивости? А вся твоя прошлая жизнь? Твое страдание за правду?

И про это «страдание за правду», в действительности мало похожее на серьезное страдание, рассказывал девушке Пинегин, представляя злоключения свои в значительно преувеличенном виде, чтобы показаться в глазах Раисы страдальцем. И молодая девушка, совсем мало знавшая людей, конечно всему верила.

Надо сказать правду: Пинегин не испытывал приятных чувств от этих восторженных похвал невесты. В самом деле, не особенно весело слушать дифирамбы человека, которого вы собираетесь зарезать. К тому же теперь, когда эта девушка была совсем в его власти, следовало несколько отрез-

вить ее и от восторгов к нему, и от многих странных идей.

Не для того же женится он, чтобы в самом деле раздать богатство и жить в шалаше с немилой женой. А она как будто на что-то подобное надеялась.

— Ты, Раиса, заблуждаешься насчет меня,— начал серьезно Пинегин.

Вместо ответа молодая девушка весело усмехнулась.

— Право, заблуждаешься, и это меня тревожит.

— Тревожит? — с испугом спросила она.

— Да, ты по своей доброте считаешь меня гораздо лучшим, чем я есть.

— Положим даже, что это так. В чем же тут тревога?

— За твое разочарование. Ты убедишься, что я не такое совершенство, каким создали твое воображение и твоя любовь, и...

— Что? — перебила Раиса.

— И разлюбишь меня.

— Я? Тебя разлюбить! Никогда! — воскликнула горячо Раиса.— И ты не совсем знаешь меня: я из тех натур, которые любят раз в жизни, но уж зато навсегда! — прибавила она с какой-то торжественной серьезностью...— Но к чему ты все это говоришь! Разве я не знаю, какой ты хороший? Разве ты способен когда-нибудь обмануть?

Пришлось замолчать. Для нее, влюбленной, этот красивый, кудрявый Пинегин был лучшим человеком в подлунной...

Разговор перешел на другие предметы. Они говорили о будущей жизни, о планах, о том, как они поедут после свадьбы за границу и устроятся потом в Петербурге. Рассказывая о будущих планах, Пинегин, между прочим, заметил, что «богатство обязывает...».

— И стесняет, не правда ли?

— Если не уметь им пользоваться... Раздать все не трудно, но что в том толку? Всякие миллионы — капля в море и серьезно всем не помогут. Надо, следовательно, помочь хоть немногим, но зато существенно...

Пинегин развивал в этом направлении свои взгляды и говорил на этот раз не только красноречиво, но и искренно, и когда кончил, то спросил:

— Разве ты со мной не согласна, Раиса?

Напрасный вопрос! Она на все была согласна и ответила:

— Ты лучше меня знаешь, как надо поступить. К чему ты спрашиваешь?

Пинегин облегченно вздохнул.

— А твоя мать н сестры были за граиицей? — спросила Ранса.

— Нет.

— Так ты их, Саша, отправь. И вообще... я иадеюсь, ты ие будешь стесняться... Все, что у меня есть, твое. Не правда лн?.. И ты поможешь своим н кому только захочешь... Помиишь, ты говорил, сколько бедиой молодежи... У иас ведь деиег много, слишком даже миого... Не жалей их... Теперь же возьми сколько нужио... Я тебе дам чековую киижку... Прошу тебя...

— Экая ты добрая, Раиса... Спасибо тебе... В самом деле, матери надо отдохнуть...

— Смешиой ты, Саша,— благодаришь. Ведь это обидио. Разве может быть ииаче? И, зиаешь, я все собиралась тебя просить и боялась... Эти денежные дела всегда иеприятиы.

— О чем проснть?

— Чтобы ты поскорей взял иа себя управленне делами. И тетя об этом говорила. Добрая старушка всем заведует н всего боится. А ты — мужчииа. Она говорит, что иадо тебе довереиность. Так уж ты сделай все это и распоряжайся всем как знаешь...

— После, после, еще успеем! — отвечал Пииегнн, иевольио чувствуя смущеиие.

Карета остаиовилась у подъезда. Пннегии вышел проводить невесту.

— Зайдешь? — спросила Раиса.

— Прости, голова болит... Этот обед...

— Ну так выспнсь хорошенько, Саша.

Оин подиялись во второй этаж.

— До завтра? — спросила Раиса, остаиавливаясь у дверей и протягивая Пииегину руку.

— До завтра.

— Любишь меня, дурнушку? — шепнула Раиса.

— А ты сомиеваешься?

— Нет, иет,— радостно проговорила девушка.— Разве ты мог бы обманывать? Господь с тобой!

Пииегин крепко поцеловал невесту н спустился вииз.

Швейцар подобострастно распахнул двери и крикиул:

— Подавай!

Пииегии вскочил в карету и велел отвезти его домой.

— Шишгола... а поди ты теперь! — проговорил старик швейцар, захлопнув дверцы, и иаправнлся в швейцарскую.

X

Благодаря знакомому репортеру одной маленькой газетки слух о женитьбе «г. Пинегина, нашего молодого и даровитого беллетриста, на г-же Коноваловой, владеющей несметными богатствами», попал на столбцы газет, и в скором времени Пинегин стал получать ежедневно массу писем от совершенно незнакомых ему людей с поздравлениями, пожеланиями, просьбами о деньгах и с самыми разнообразными деловыми предложениями поместить выгодно капитал. Чего только не предлагали ему! И эксплуатацию плитной ломки в Шлиссельбургском уезде, и участие в мыловаренном заводе, и устройство пароходства, и дешевую покупку имений. Предлагали сделаться пайщиком в различных предприятиях, приобрести виллу в Италии и внести посильную лепту в женский кармелитский монастырь в Бретани. Каких только красноречивых писем не получал Пинегин в течение этих нескольких недель перед свадьбой!

Родственники и знакомые хорошо знали, что после свадьбы Пинегин останется в Петербурге на самое короткое время, чтобы только принять дела от старухи тетки, и затем уедет с женой за границу, и потому многие из них спешили «воспользоваться случаем» и «урвать» с счастливого человека на первых же порах, пока он еще не опомнился от радости. Окончательно было выяснено, что у невесты три миллиона в благонадежных бумагах на хранении в государственном банке, о чем бухгалтер Жорж навел точные справки в государственном банке через приятеля своего, чиновника, и сообщил родным. Узнали также, что прииски на Олекме идут отлично и дают до ста тысяч чистого ежегодного дохода, и наконец, дом очищает пятнадцать тысяч. Шутка ли! Такое громадное состояние и в полном распоряжении Пинегина. Есть от чего закружиться голове!!

Володя «урвал» первым. Через два дня после помолвки он зашел утром к брату и после нескольких минут незначащего разговора попросил денег, объясняя, что его донимают долги и что он надеется, что брат выручит его из беды.

— Сколько тебе нужно? — спросил Пинегин.

Володя был в некотором затруднении: сколько спросить? Во-первых, он не знал, есть ли у брата теперь деньги и даст ли он сейчас, или только пообещает. В его голове мелькала цифра пятьсот и несколько пугала своей величиной. «Пожалуй, не даст!» — подумал он, жалея теперь, что прежде относился к брату недружелюбно, и ответил тем неуверен-

ным, робкнм и несколько униженным голосом, каким обыкновеино люди просят денег:

— Нужио мие, еслн тебя не затрудит только, рублей триста... Очеиь нужно! — прибавил Володя, глядя иа брата иесколько жалобным и растерянным взглядом.

— Об этих пустяках и говорнть не стонт. Это я могу сейчас же дать.

Пинегин достал из кармана бумажиик н раскрыл его, и Володя тотчас же мыслено пожалел, что «свалял дурака» и спроснл так мало. Не без тайиой зависти увндал он, что бумажиик был туго набит сторублевымн бумажками, только что прнвезенными самнм господином Дюфуром, в знак особого почтения к своему клиенту.

— Вот, возьмн пока пятьсот,— проговорил Пннегин, подавая брату пять радужных бумажек,— а потом я еще дам.

Просиявшнй Володя был решнтельио тронут великодушием брата. Он крепко пожал ему руку и благодарил его.

И эта благодарность, н иесколько умиленное лицо брата приятно щекоталн нервы Пннегина.

— Не за что благодарнть, Володя... Пустяки... Передай вот н Пете н Женечке от меня по сто рублей... После я больше дам, а пока у меня деиег иемного... Занял... Поннмаешь: расходы большне...

— Еще бы... Вполие поимаю...

— А мамаше скажн, что оиа может быть спокойиа: н приданое Женечке будет, и сама она ни в чем ие будет нуждаться... Раиса просила меня об этом... На днях я буду у вас и сам подробно все расскажу мамаше...

Обрадованый Володя спустился впрнпрыжку по лестнице, напевая опереточный мотив. Он, ие торгуясь, сел иа извозчика и первым делом поехал на Большую Морскую к модиому ювелиру н купнл у него бнрюзовое кольцо с малеиькими брильянтамн себе на мизинец. Это было, по его мненню, шнкарно. После того ои заехал в фруктовую лавку, выбрал корзннку лучшнх и дорогих фруктов н велел послать своей кузнне — вертлявой брюнетке, Манечке. Тут же на Большой Морской он встретил товарища н позвал его завтракать к Кюба. Завтрак был тоикий, и выпито было порядочно. Кутилн онн весь день н всю ночь, ужиимали в загородном ресторане, слушали цыгаиок, н Володя не жалел денег. Только к двенадцатн часам следующего дня он явился домой с измятым лнцом, красными глазами и с значительно опустошенным бумажнником.

Олимпиада Васильевна пришла в ужас при виде своего любимца.

— Господи!.. Опять?.. Полюбуйся, на кого ты похож! — воскликнула она.

— Не сердитесь, мамаша,— говорил, улыбаясь, Володя, целуя матери руку.— Не на свои кутил, а на Сашины... Добрый Саша... Вот не ожидал, что он настоящий брат...

И он рассказал, как Саша подарил ему пятьсот рублей, «пока только, мамаша», и как велел передать ей, что она не будет ни в чем нуждаться...

— А вот и вам по «катеньке», тоже *пока*,— говорил со смехом Володя, передавая деньги брату и сестре.— И приданое обещал тебе, Женечка... У него бумажник полный... Говорит, занял... расходы... А как женится, все закутим на Сашины деньги.

Это сообщение привело Олимпиаду Васильевну в отличное расположение духа. Добрый Саша. Он не забыл мать. И она заставила Володю, еще не совсем отрезвившегося, несколько раз повторить Сашины слова.

— Он не говорил, сколько именно даст мне?

— Не говорил, но сказал: пусть мамаша не беспокоится... Она ни в чем не будет нуждаться... Будьте покойны, мамаша... Саша — добрый сын... отличный сын... По всему видно...

XI

Благодаря полковнику весть о подарке и об обещаниях Саши разнеслась по всем кланам, и везде хвалили Сашу. «Он поступает благородно и по-родственному,— говорили родные, надеясь, что никому из своих он не откажет помочь.— Еще бы. Такие миллионы! Кому уж и помочь, как не своим?»

Вскоре после этого известия тетя-уксус говорила после обеда своему мужу:

— Ты сходи к Саше и попроси у него... Ты — родной дядя.

Дядя Сергей мрачно вздохнул.

— Так-таки прямо и проси...

— Ох, откажет,— уныло протянул дядя Сергей.

— Не смеет отказать. Такие деньги сграбастал и — отказать! Не чужой ты ему. Сходи, Сергей Васильич.

— Сходить-то отчего не сходить, только вряд ли...

— Требуй, объясни, что мы — бедные люди. Не бес-

чувственный же он в самом деле!.. Антонина, твоя выжига сестрица, уж, верно, у него просила взаймы без отдачи. Ты-то чего зевать будешь?..

— Не лучше ли попросить брата Николая поговорить с Сашей, а? За глаза как-то деликатней и можно круглее сумму спросить. Что ты на это скажешь, Феоза?

— Что ж, настрой полковника...

— А сколько, ты думаешь, спросить?.. Тысчонки две, три?

Феоза Андреевна презрительно поджала губы и с укором покачала головой.

— Ну пять, что ли?

— Как вы глупы, Сергей Васильич, и как мало думаете о будущем,— вспылила Феоза Андреевна.— По крайней мере десять! Надо быть подлецом, чтобы не дать нам десяти тысяч при его миллионах! — мрачно прибавила тетя-уксус.

Супруги стали мечтать об этих десяти тысячах. Если они их получат, то можно отдать их под вторую закладную дома и иметь двенадцать процентов. Это тысяча двести рублей лишнего дохода к двум тысячам жалованья.

— Тогда можно и дачку получше нанять, и обстановку подновить, а то просто срам, какая у нас обивка в гостиной.

— Д-д-да, хорошо бы,— согласился дядя Сергей и прибавил: — Бывает же людям счастие!..

— Да еще каким... Твой-то племянник, если говорить правду, дрянь-то порядочная. Недаром в Архангельскую губернию туряли... Даром не турнут...

— А ты как думаешь, Феоза, он даст?

— Не смеет не дать! — с каким-то закипающим озлоблением прошипела тетя-уксус.— Женится на уроде с миллионами да не дать честным, порядочным близким людям десяти тысяч?!. Можно, наконец, и припугнуть голубчика, если он окажется подлецом.

Дядя Сергей удивительно посмотрел на жену.

— Не понимаешь?.. Все вам объясни и в рот положи?.. А вот как припугнуть: дать понять, что можно и свадьбу расстроить...

— Это как же?

— А так же... Написать анонимное письмо Раисе этой, что жених-то ее обманывает, на деньгах женится... Разве это не правда?..

— Положим, и правда, только ты, Феоза, того... далеко хватила... И не поверит она анонимным письмам: говорят, влюблена, как кошка... А если Саша догадается, кто сочи-

нял, тогда н копейкн от иего не получнишь. Нет, уж ты чересчур проиицательиа, Феоза... Завралась, матушка!

Подобиый же разговор шел н у Бобочкн с Катенькой. Начал его чистеиькнй, румяный н мнловидиый Бобочка, иаходившийся в весьма меланхолическом расположеннн духа за десять дией перед двадцатым чнслом.

— Верно, Саша н тебя не забудет, Катенька? Уж еслн ои Володе дал пятьсот рублей на ресторaиы, так тебе не грех помочь... Как ты думаешь? Оно было бы недурно иметь кое-что про чериый деиь... Очень бы недурио.

— Предложит, не откажусь, но сама проснть нн за что не стаиу,— решнтельно заявнла Катенька и вся даже покраснела.

— Боже сохранн, проснть, уннжаться,— поспешил, по обыкновеиию, вильнуть Бобочка.— Можио бы, знаешь лн, Катенька, как-нибудь в разговоре, прн случае, намекнуть о иашем положеинн. Что стонт помочь сестре при его богатстве...

— Но ведь богатство не его.

— Не все лн равно жены нлн мужа? Да н он будет полным распоряднтелем, н, конечно, Раиса Нниколаевна не пожалеет для сестры любнмого человека. Было бы очень страиио, если бы ои ннчего тебе не дал. И вдобавок он, кажется, к тебе более всех был всегда расположен?

— А мы-то все как к нему относилнсь?.. И ты сам как его всегда браннл?

— Я не браинл, душа моя, а находнл, что он делал большне глупости, не умея ннгде прнстронться...

— А теперь поумиел, прнстронвшнсь к богатой невесте? — иасмешливо кннула Катенька.

— Ты опять ие поияла меня, мой друг... Я не стану разбирать, почему он женнтся — по расчету илн иет,— я хочу только сказать, что так или нначе, а у иего громадное состояиие — вот н все... И помочь сестре он мог бы... А впрочем, еслн ты находншь в этом что-лнбо иеловкое, я, конечио, с тобой согласен... Делай как знаешь!

Бобочка отлично знал, что слова его пронзведут надлежащее действие и что Катеиьку н без его напомнианнй иесколько беспокоило то обстоятельство, что Жеиечке, Володе н Пете он уже дал деиег н обещал давать вперед, а о ней даже н не вспомнил в разговоре с братом. Оиа счнтала себя оскорблеиною тем более, что она одна из всей семьн всегда заступалась за Сашу, когда его иачниалн браннть. Вероятио, вследствне этого Катенька с сердцем сказала мужу:

— И намекать не буду... И ни малейшего шага не сделаю... И к иим ездить ие стаиу... А то в самом деле подумают, что я их деиег хочу. Ничего я ие хочу. Оставь, пожалуйста, меня в покое! — раздражеиио прибавила Катеиька, готовая плакать от обиды.

Но через два дия горькая обида смеиилась радостью. Утром, когда Бобочка был на службе, заехал Саша и сам заговорил, что поможет ей. Раиса иастаивает, чтобы он сделал что-нибудь для своих, и ои, разумеется, очень рад быть полезиым Кате. Он положит иа ее имя сорок тысяч в баик и, кроме того, будет давать иекоторую сумму ежегодно. Ои всегда любил Катю. Катенька расплакалась, обияла брата, горячо благодарила его и Раису и тут же попросила Сашу быть крестиым отцом будущего ребеика. Брат с удовольствием согласился. Ои чувствовал, что сестра любит его и что миллиоиы его ие играют в глазах ее существенной важности, и это было необыкиовеиио приятио после всего того, что ои видел в эти дии. Они прежде были дружны до выхода ее замуж. Но с мужем оии ие сошлись и ие могли терпеть друг друга, и брат с сестрой виделись редко. Тем ие меиее ои зиал, что сестра, иесмотря иа скверное отиошеиие к иему Бобочки, тепло и участливо отиосилась к «отщепеицу» и всегда защищала его.

Они задушевио болтали, вспомииали прошлое, прежних общих зиакомых. О иастоящем оба избегали говорить. Но под коиец Пииегии ие выдержал и спросил, глядя в упор на сестру:

— А ты, Катя, как отиосишься к моей женитьбе?

Катенька, ие ожидавшая такого вопроса, скоифузилась и молчала.

— Ведь ты, Саша, все-таки привязаи к Раисе,— проговорила наконец она.

— Пожалуй, привязан, как к кроткой, хорошей девушке, но — ты сама зиаешь — ие люблю ее как женщину...

— Тяжело тебе будет, Саша,— с чувством вымолвила сестра.

Пииегии молча кивиул головой.

— И ие разбей ты ее жизии. Раиса тебя боготворит и верит в тебя...

— Постараюсь,— отвечал брат и совсем тихо прибавил: — соблазн был велик, Катя, для подлости... Не устоял... Жить хочется.

Оба примолкли. Да и что было говорить?

XII

За это время у Пинегина перебывало столько посетителей, сколько не бывает, пожалуй, и у министров, и все посетители непременно желали его видеть по важному делу. Молодая, шустрая Анюта, горничная меблированных комнат, в которых жил Пинегин, зарабатывала хорошие деньги. К ней в руки так и сыпались деньги. Ее упрашивали доложить и обещали хорошо поблагодарить, если она скажет, когда Пинегин бывает дома и когда удобнее его застать одного.

Почти все представители многочисленных семей Козыревых и Пинегиных считали долгом посетить теперь человека, который еще недавно считался чуть ли не отверженным. И Никс, и Бобочка, и дяди, и кузены были у него с визитами. Никс предлагал причислить Сашу и маил камер-юнкерством, и несколько раз завтракал с Пинегиным у Кюба, заказывая тонкие блюда. Бобочка, проникнутый чувством благодарности за то, что брат не забыл любимой сестры, старался восстановить с Пинегиным добрые, родственные отношения, и как-то за ужином в ресторане предлагал выпить на брудершафт и, подвыпивший, стал объясняться в любви, объясняя причину прежних «недоразумений». Объявлялись к Пинегину даже самые отдаленные родственники и родственницы, с которыми он впервые знакомился, и поздравляли его с счастливым событием. Все, словно вороны, слетались на добычу с какой-то наглой и наивной бесцеремонностью. Приходили знакомые, которых Пинегин давно не видал, бывшие сослуживцы, и, наконец, являлись совсем незнакомые люди — и не нищие, нет! — а прилично одетые люди. И все эти посетители большею частью намекали о деньгах или прямо просили их под теми или иными благовидными предлогами. И сколько было унижения! И Пинегин, сознававший свою подлость, имел утешение видеть ее и в других... Встречаясь с кем-нибудь на улице, он так и ждал, что после первых приветствий у него попросят денег.

Тетя Антонина приезжала занять денег сама. Никс предоставил ей роль просительницы и не желал путаться в эти родственные дела. Он был слишком джентльмен, чтобы ни с того ни с сего обращаться к Пинегину, и «по-джентльменски» только занял у него пятьсот рублей за завтраком, причем так внезапно и небрежно спросил «этот пустяк», что Пинегин торопливо и с любезной готовностью, точно чем-то польщенный, вынул из бумажника и подал Никсу

деньги, которые тот положил к себе с таким видом, точно сделал одолжение, что взял их.

Ранним утром явилась однажды тетя Антонина к племяннику и, взволнованная, со слезами на глазах, заговорила о своем положении. У них долги и долги, по которым приходится платить сумасшедшие проценты, и потому тех семи тысяч, которые получает Никс, не хватает. Она обращается к великодушию Саши. Она всегда относилась к нему хорошо и любила его... Она надеется, что он не откажет в просьбе и даст десять тысяч... взаймы, на долгий срок... «Не правда ли?.. Ты ведь, Саша, добрый?»

Эти излияния в чувствах возбуждали в Пинегине невольное презрение и в то же время гаденькое чувство злорадства при виде унижения этой тети-аристократки, которая всегда относилась к нему с презрительной небрежностью. И он, разумеется, не отказал ей, а с изысканной любезностью обещал через неделю доставить эту сумму... Напрасно тетя так волновалась... И пусть она не беспокоится... этим долгом...

Тетя Антонина, с мастерством опытной актрисы, проделала трогательную сцену благодарности, заключив «доброго Сашу» в объятия, и скоро уехала, попросив на прощанье никому не говорить об ее просьбе...

— А то ты ведь знаешь, Саша, пойдут сплетни, пересуды... А я их так боюсь... Ну, до свиданья... Поцелуй за меня милую Рансу... Еще раз благодарю тебя...

Вслед за тетей Антониной, по обыкновению бесшумно и незаметно, вошел в комнату Пинегина полковник, заходивший довольно часто в это время к племяннику «на несколько минуток», как он говорил, и предлагавший исполнять всякие Сашины поручения. Он же, случалось, и выпроваживал просителей, терпеливо ожидавших в прихожей, и искренно возмущался, что Саша не приказывает их всех гнать в шею, а напротив, принимает и выслушивает их просьбы. Сам он ничего не просил у племянника и, питая теперь к нему необыкновенное уважение и любовь, самым бескорыстным образом защищал его интересы, советуя не очень-то раздавать деньги. Одному дашь,— все пристанут.

— Нет ли каких поручений, Саша? — весело спросил он, поздоровавшись с племянником.

— Никаких нет, дядя.

— Ну, а вчерашние я все исполнил: к портному твоему заходил — обещал завтра принести три пары... Сапожника торопил, чтобы поскорей. Был и у священника — условил-

ся насчет венчания... И с певчими торговался... Дерут, живодеры.

— Спасибо вам, дядя.

— Рад, Саша, для тебя похлопотать. Стоишь того! — значительно проговорил он.— А я сейчас Антонину у подъезда встретил. Рассказывает, что заезжала звать тебя обедать. Так я и поверил! Что, сколько она у тебя просила?

— Ничего не просила.

Полковник хитро подмигнул глазом: «Дескать, меня не обморочишь!» — и проговорил:

— Секрет так секрет... А только много ты им не давай — все они бездонные бочки: и генерал, и сестра-генеральша, и Леночка... Им что ни дай, все мало... Любят пустить пыль в глаза и аристократов корчить... Дескать, мы — сенаторы и носим двойную фамилию: Кучук-Огановские! Особенно сам он... Воображает, что какой-то там татарин Кучук — очень важное кушанье, а Козыревы и Пинегины — мелюзга! — не без раздражения говорил полковник, весьма щекотливо оберегавший честь фамилии Козыревых...

И, помолчав с минуту, сказал:

— Вот что, Саша. Был я вчера у брата Сергея. Просит он замолвить перед тобою словечко. Сам не решается. «Саша, говорит, нас не очень-то любит...» Положим, что и так, да разве ты обязан всех любить? — вставил полковник...— Ну, оба они, и брат и Феоза, на судьбу роптали. Жалованье, говорят, небольшое, всего две тысячи, сын пока без места... А если, говорят, уволят в отставку, то пенсия маленькая... Только брат врет, не уволят его в отставку,— я знаю... А все-таки, Саша, он дядя родной, брат твоей матери.

— Сколько же дядя Сергей просит?

— Ну, признаться, Феоза заломила: ежели бы, говорит, Саша дал нам десять тысяч, то мы никогда бы больше не беспокоили его, спокойно прожили бы старость и молили бы за него господа бога...

— Ну, тетя-уксус не очень-то любит бога,— засмеялся Пинегин,— и всегда лазаря поет... Верно, дядя кой-что и припас на черный день?..

— Очень может быть. Они — аккуратные люди... А все дал бы что-нибудь, а то тетя-уксус... сам знаешь, какая дама,— усмехнулся полковник...

— Передайте дяде, что я дам ему три тысячи. Черт с ним!

— И за глаза довольно. С какой стати больше давать? — одобрил полковник.— Матери, сестрам, я пони-

маю... И в каком же восторге твоя мать, Саша!.. Вот уж нстинно сын, наградил мать по-царскн!.. Шутка лн: пятьдесят тысяч, да еще за граннцу посылает! Теперь Олнмпнада как сыр в масле катайся... И Катенька в восторге... все тебя благословляют н твою милую Рансу Нниколаевну... А сколько думаешь братьям давать? Много не давай, Саша, все равно в рестораны снесут... Шампанское да лнхачн... И то Володя уж без денег... Пятьсот, что ты дал, уж ухнул... Рублей по пятидесятн в месяц еслн будешь нм давать, то за глаза...

Полковник просндел с четверть часа н, пока племяннннк одевался, рассказал несколько сплетен. Жорж собнрается «обломать ноги» Володе за то, что он уж слншком нахально ухажнвает за Манечкой. «Недавно она с Володей на тройке езднла. Ловко! А Антоннна вчера прнехала к Вавочке н закатила ей сцену!»

— Прн мне дело было. Знатно, брат, поругалнсь! — прнбавил полковник с нескрываемым удовольствнем.

— За что? — полюбопытствовал Пннегнн.

— А все нз-за благоверного. Он ведь, знаешь, охотннк поферлакурнть... Словно петух за дамамн бегает. «Го-го!» да «го-го!». Ну, н разлетелся третьего дня к Вавочке; конфект трн фунта, букет цветов н билет в оперу прнвез... «Не откажнте, говорнт, прннять, обворожнтельная Вавочка!» А сам, знаешь лн, шельма, по-родственному ей ручкн целует н все норовнт повыше пульснка, петух-то наш... Хе-хе-хе! А Антоннна узнала как-то (тут полковннк умолчал, что он же сообщил ей об этом по секрету) н на следующнй день к Вавочке... А я у нее кофе пнл... Ну, сперва шпилькн, знаешь ли, шпнлькн,— Антоннна на это мастернца,— а потом так н бухнула: «Ты, говорнт, кокетка н напрасно святошей представляешься, чужнх мужей завлекаешь!» Вавочка, разумеется, в слезы. А Антоннна забрала ходу н пошла, н пошла... «Напрасно, говорнт, ты воображаешь, что можешь прельстнть н что Ннкс в тебя влюблен. Ты, говорнт, жнрная перепелка н больше ннчего!» Тут уж н Вавочка не выдержала. Слезы вытерла н давай тетку отчнтывать с Ннксом вместе. «Я, говорнт, вашего престарелого супруга не завлекаю н завлекать не желаю... Вовсе н не ннтересен он для меня со своннм большнм жнвотом... У меня мой Гога есть, покраснвее вашего влюбчивого муженька... Я, говорнт, пусть н перепелка, но зато не подкрашенная общнпанная пава, как вы...» И все в этом роде... Та-та-та, та-та-та... Потеха! Так н расплевалнсь! — заключил весело полковннк н простился с племяннннком.

Выйдя в прнхожую, он строго прнказал Анюте всем

говорить, что барина дома нет... Однако вскоре после ухода полковника стали являться посетители, и Аннушка докладывала, и Пинегин принимал, выслушивал разные предложения и по большей части отказывал в просьбах.

Много ходило к нему теперь народа. Только люди того небольшого кружка, где прежде бывал Пинегин, не показывались к нему, и никто из них не просил денег. А с какой радостью он дал бы и с каким нетерпением злорадства он ждал этих просьб! Но эти знакомые словно в воду канули, и при случайных встречах с ними на улице Пинегин невольно конфузился и старался обходить их. Завидя однажды Ольгу Николаевну, ту самую хорошенькую барышню, которая ему нравилась, он торопливо вошел в первый попавшийся магазин, чтобы только не встретиться с нею и не увидать презрительного взгляда ее серых живых глаз. Он уже слышал от одной своей кузины, знакомой Ольги Николаевны, с какой гримасой она выслушала весть об его женитьбе. Даже и бывший его близкий приятель, бедняк литератор Угрюмов, заходивший прежде довольно часто к Пинегину и перехватывавший у него иногда по два, три рубля до получки аванса или гонорара, и тот не показывался.

Пинегин наконец не выдержал и сам пошел к нему.

И это невольное смущение Угрюмова, и его особенная преувеличенная любезность ясно показывали, в чем дело. Но Пинегин, и сам сконфуженный приемом, тем не менее сделал попытку предложить денег, искренно желая помочь этому талантливому литератору, которого уважал и любил.

После нескольких минут неклеившегося разговора Пинегин робко, словно виновный, проговорил:

— Я теперь богат, могу располагать большими деньгами... Вы, вероятно, слышали... я женюсь на богатой девушке...

— Как же, слышал,— ответил Угрюмов и отвел взгляд.

— Возьмите у меня сколько нужно, поезжайте в Крым, на Кавказ, за границу, куда хотите. Послушайте! Вам необходимо полечиться и отдохнуть, чтобы потом, без забот о завтрашнем дне, написать давно задуманную вами книгу. Возьмите, прошу вас,— почти молил Пинегин, с жадным вниманием глядя на бледное, больное лицо молодого литератора.

Угрюмов очень благодарил, но отказался.

— Мне теперь не нужно, совсем не нужно,— говорил он торопливо и смущенно.— Я получил хорошую работу.

Пинегин видел, что Угрюмов говорил неправду и только

щадил его, не объясняя истинной причины отказа, и ушел, хорошо понимая, что отныне между ними все кончено.

— И черт с ним! Пусть умирает, восхищаясь своим донкихотством! — прошептал он со злостью, внезапно охваченный озлоблением против бывшего приятеля и в то же время испытывая чувство позора и унижения.

XIII

В небольшой, ярко освещенной домовой церкви собрались многочисленные родственники и знакомые, приглашенные на свадьбу Пинегина. Олимпиада Васильевна разослала приглашения решительно всем, кого только знала. В этой толпе сияло несколько звезд и лент, среди фраков блистали военные гвардейские мундиры, и Олимпиада Васильевна с чувством удовлетворения озирала гостей, думая про себя, что свадьба очень приличная. Нечего и говорить, что бесчисленные представительницы родственных кланов явились на семейное торжество в полном блеске, соревнуя между собой туалетами. Вавочка, еще не примирившаяся с тетей Антониной, сшила к свадьбе новое роскошное платье, заплатив за него большие деньги, чтобы сохранить за собою репутацию самой элегантной из родственниц и «утереть нос» тете-аристократке. Но и Антонина Васильевна недаром же заняла у племянника деньги. И она и Леночка были в блестящих туалетах, возбудивших завистливый шепот и замечание тети-уксуса: «На что Сашины денежки-то идут!» Тетя Антонина прошла мимо Вавочки, не обменявшись даже поклоном и презрительно сощурив глаза, но обе дамы нет-нет да украдкой оглядывали костюмы друг друга с самым серьезным вниманием, стараясь открыть какой-нибудь недостаток в туалетах. И вдруг румяное, свежее и сияющее лицо Вавочки, затянутой до последней возможности, чтоб не быть похожей на откормленную перепелку, осветилось торжествующей улыбкой, и она шепнула Женечке, но так, что Антонина могла слышать: «Погляди... какие складки у рукавов... а думала поразить!..»

Певчие грянули радостный хор. Разговоры смолкли. Все взоры обратились на двери.

Под руку с его превосходительством Никсом, необыкновенно представительным и моложавым в своем шитом мундире, с синей лентой через плечо и двумя звездами на груди, шла невеста. Ее маленькая, коренастая, неуклюжая фигурка казалась еще некрасивее в подвенечном платье. Сму-

щенная многолюдством и точно чувствовавшая свою некрасивость в этих любопытных, но равнодушных взглядах, устремленных на нее, она шла, опустив голову, стараясь не смотреть на толпу, и облегченно и радостно вздохнула, когда у аналоя рядом с ней стал Пинегин, красивый, свежий и несколько возбужденный. Она внезапно просветлела. Они обменялись рукопожатиями. Пинегин что-то шепнул невесте на ухо, и она радостно улыбнулась.

Началась служба. Раиса была серьезна и сосредоточенна и по временам осеняла себя крестным знамением. Пинегин был видимо взволнован... Среди присутствующих обращала на себя внимание высокая, строгого вида старуха, очень просто одетая, которая горячо молилась коленопреклоненная. Это была тетка Раисы, сестра ее покойной матери, единственное близкое и любящее Раису существо в этой многолюдной толпе. Умная, деловитая, хотя едва знавшая грамоте сибирячка, она не доверяла Пинегину и не верила его любви к Раисе, но, обожая племянницу, молчала, видя, как она любит своего избранника, и понимая, что спорить бесполезно. Она надеялась, что Пинегин, хотя из чувства благодарности, не погубит жизни ее любимицы.

Обряд венчания кончен. Молодые обменялись поцелуем. Начались поздравления.

Из церкви все гости отправились в большую квартиру Раисы, где молодые должны были прожить неделю-другую до отъезда за границу. В этой квартире жил прежде сам Коновалов, отделавший свое помещение с кричащей роскошью. Снова поздравляли молодых. Шампанское лилось рекой. Масса дорогих фруктов, конфект, цветов, бонбоньерок... Родственники только восхищались, завидуя и этой роскоши обстановки, с картинами, бронзой, изящными вещами, и обильному угощению, и называли Сашу счастливцем. Дамы уходили из гостиной и осматривали спальню молодых, недавно отделанную по настоянию Олимпиады Васильевны. Находили, что гнездышко очаровательное.

Наконец в двенадцатом часу все разъехались. Старуха тетка давно уже ушла в свою комнату, и молодые остались одни.

«Господи! Как она некрасива!» — думал Пинегин, глядя на это скуластое, широкое лицо, на эту неуклюжую фигуру... А она смотрела на мужа кротким, любящим взглядом своих прекрасных глаз, счастливая и смущенная...

И Пинегин привлек ее в объятия, говоря о своем счастии, о своей любви...

1893



«Женитьба Пинегина».
Художник Ю. Гершкович

ЕЛКА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

I

Лев Сергеевич Озорнин только что закончил утренний туалет основательной отделкой ногтей, удовлетворенно взглянул на свои красные смугловатые большие руки с длинными пальцами и стал пробегать газету, отхлебывая маленькими глотками чай из стакана и попыхивая папироской.

Когда часы на письменном столе пробили десять, он поднялся с кресла и легкой походкой вышел из своего небольшого, недурно обставленного кабинета, весело напевая какой-то мотив и, по-видимому, находясь в том хорошем расположении духа, в каком бывают люди, которым жизнь улыбается.

Это был высокий, статный, красивый брюнет лет тридцати с коротко остриженными волосами и небольшой остроконечной бородкой, свежий, цветущий и элегантный в своем щегольски сшитом темно-синем вестоне[1] с ослепительно белыми стоячими воротничками, загнутыми у горла, и в мягких ботинках без каблуков.

В гостиной, убранной не без претензий на роскошь, к Озорнину подбежал хорошенький мальчик лет пяти с распущенными по плечам волнистыми волосами и весело воскликнул:

— А елку уж принесли, папа!

[1] пиджаке (*фр.* veston).

— Принесли? — улыбнулся Озорнин и, приподнимая ребенка, поцеловал в его обе пухлые щеки.

— Она в кухне. Няня видела... Мама говорила, что завтра ее зажгут...

— Завтра, Володя. И она будет очень красивая, когда ее уберут,— отвечал Озорнин.

И, опустив мальчика на пол, он обратился к молодой пригожей няне в большом белом, с закинутыми назад лентами, чепце, какие носят парижские бонны, и внушительным, слегка строгим тоном, каким Озорнин говорил обыкновенно с прислугой, спросил, скользнув взглядом по хорошо развитому, крепкому бюсту свежей и румяной няни:

— Барыня встала?

— Встали-с. Сейчас выйдут! — отвечала няня и вся вдруг вспыхнула и потупила свои бойкие и лукавые карие глаза.

Озорнин приблизился к опущенной портьере и, раздвинув ее, постучал в двери.

— Можно! — раздался из-за дверей необыкновенно мягкий, нежный и слегка певучий голос, низкий и грудной.

Лев Сергеевич вошел в уютную, устланную ковром комнату, убранную с тонким вкусом и изящным кокетством женщины, любящей комфорт и хорошо понимающей значение и обаяние уютного женского гнездышка.

Расписанные по белому фону атласа цветами низенькие изящные ширмочки, скрывавшие пышную двуспальную кровать, комод, умывальник и маленький киот с образами, отделяли роскошный кабинет-будуар с мягкой мебелью, обитой шелком нежно-голубого цвета, с массой дорогих безделок на этажерке, письменном столике, на нарядном туалете, с фонариком и несколькими пейзажами на стенах.

В комнате было свежо и пахло какими-то вкусными духами.

— Это ты, Лева?

С этими словами маленькая женщина с роскошными белокурыми, отливавшими золотом волосами, надевавшая у туалета блестящие кольца на тонкие пальцы своих маленьких белых рук, повернула головку и улыбнулась, открывая ряд мелких жемчужных зубов, нежной и в то же время властной улыбкой женщины, сознающей свою обаятельность. Улыбались и эти большие голубые глаза под густыми, искусно подведенными бровями, глаза с тем

светлым, кротким и будто загадочным взглядом, который называется «ангельским» и служит источником многих заблуждений,— улыбалось и это свежее лицо с ослепительной белизной кожи рыжеватой блондинки, отливавшее нежным, розоватым румянцем и дышавшее здоровьем.

— Здравствуй, Нина...

— Здравствуй, Лева...

Она поднялась с табуретки — молодая, стройная, грациозная, хорошо сложенная, с тонкой талией и с роскошными формами груди, вырисовывающимися из-под шерстяной ткани безукоризненно сидевшего платья,— вся свежая, выхоленная, благоухающая,— протягивая свои алые, сочные и пышные губы.

Муж поцеловал сперва маленькую руку, душистую и атласную, и затем поцеловал жену в губы.

— Экая ты хорошенькая, Нина! — проговорил он, оглядывая жену, и прибавил: — Недаром ты всем так нравишься!

— Будто уж и всем? — улыбнулась маленькая женщина, видимо довольная комплиментом, и снова поцеловала мужа долгим поцелуем.

Назвать ее красивой было нельзя,— черты лица Нины были неправильны: вздернутый нос не отличался красотой, лоб был мал, губы слишком крупны,— но и в этом лице, и во всей ее роскошной фигурке было что-то привлекательное, что-то вызывающее и чувственное, несмотря на ее «ангельские» глаза и сдержанно-строгий вид, и она нравилась мужчинам, особенно юнцам и господам «второй» молодости. Ей было двадцать восемь лет, что, впрочем, тщательно скрывалось, тем более что на вид ей можно было дать не более двадцати двух-трех.

Маленькая женщина отлично понимала исключительный характер своей красоты и своего обаяния на мужчин и недаром холила свое тело, возведя заботу о нем в какой-то культ и предусмотрительно заботясь о сохранении своих чар на возможно долгое время. Она решительно отказалась иметь детей, кроме единственного своего первенца, и соблюдала строжайший режим жизни: брала ежедневно ванну, гуляла каждый день пешком, избегала есть мучное и сладкое, чтобы не пополнеть, и не любила засиживаться поздно.

— А ты вчера, Лева, верно, поздно вернулся?

— Поздно, Нина, в третьем часу.

— У Волковых был?

— Да, в карты играл... Вернулся и не хотел тебя будить, чтобы поделиться приятным известием... Ты так сладко спала...

— Каким известием?..

— Я получил вчера наградные деньги.

При слове «деньги» лицо Лины вдруг приняло серьезное, деловое выражение, и она с живостью спросила:

— Сколько ты получил?

— Много, Лина... Я и не ожидал: четыреста рублей.

— Очень рада за тебя, Лева! — радостно промолвила Лина.— Твою службу, значит, ценят.

Озорнин едва заметно улыбнулся глазами и шутливо промолвил:

— Ну, милая, служба тут ни при чем...

— Как ни при чем?.. Ты ведь такой усердный чиновник...

— Положим, работаю, как и другие... Но все-таки... спасибо Ветвицкому... и твоим прелестным глазкам... Ведь из-за них, Лина, мне дали такую награду.

— Ты вздор говоришь! — промолвила, краснея, жена.— При чем тут мои глаза? Ветвицкий просто расположен к нам: и к тебе и ко мне одинаково.

— Ну, ну, не сердись, Линочка... Ведь я шучу...

— Глупые шутки!

— Не буду больше, моя хорошенькая женушка! — с виноватым видом промолвил Левушка, целуя руку жены.— Ведь я знаю, что Ветвицкий... ну, одним словом... я нисколько не ревную тебя к нашему директору.

— Еще бы ревновать к такому уроду! — весело рассмеялась Лина, глядя на своего красивого молодого мужа нежным взглядом.— Пусть ходит к нам изредка... Знакомство с ним для тебя же полезно...

— Да разве я что-нибудь говорю? Конечно, пусть ходит... Было бы совсем глупо его не принимать... Он такой милый, Иван Александрович... Ну, получай деньги, моя хозяюшка. Вот тебе триста рублей, а сто я оставлю себе.

— Оставь себе двести, Лева... Мне довольно двухсот... Я справлюсь.

— Справишься?! Что ж, я очень рад... Спасибо тебе... Ты у меня просто золото... Самый настоящий министр финансов! — говорил Озорнин, пряча в бумажник две сотенные бумажки.— Я только восхищаюсь твоими хозяйственными талантами... право... Как это ты только справляешься на двести пятьдесят рублей в месяц?.. Живем

мы прилично, едим хорошо, бываем в театре... Ты всегда одета прелестно... Долгов у нас нет... Даже мой портной не надоедает мне, как прежде... И все это благодаря тебе...

— Во все вхожу, потому и справляюсь,— скромно отвечала Лина.— Ну, иногда у мамы возьму, мама дает... вот и свожу концы с концами,— прибавила Лина и втайне порадовалась, что ее Левушка совсем наивный человек, хоть и считает себя умным.

В свою очередь и Левушка, отлично знавший, что у тещи, кроме маленькой пенсии, ровно ничего нет, с самым невинным видом прибавил:

— Я так и думал... Твоя мать такая добрая... такая любящая, Лина... Ну, однако, мне пора... Надо покупать подарки... Кстати, Лина, что тебе подарить?.. Я присмотрел уж у Фаберже хорошенькое кольцо... Ты любишь кольца... Я тебе куплю.

— Кольцо?! Не надо, не надо, Лева! Видишь ли: у меня были старые кольца, еще мама их подарила — и я отдала их ювелиру, и сегодня у меня будет хорошенький брильянтовый кабюшон[1] на мизинец... Спасибо за желание, Лева... Спасибо, голубчик...

— Ну так не хочешь ли серьги?

— У меня есть... Не траться... Что-нибудь, какой-нибудь пустяк подари...

— Ну я уж на свой вкус выберу... До свидания... Обедать меня не жди... Я сегодня обещал обедать у Зотова, а потом...

— Но как же, Лева... Сегодня к нам хотел прийти Ветвицкий обедать...

— Ну что ж... Пообедаете вдвоем... Ты извинись за меня, а я не могу... дал честное слово...

И Озорини, поцеловав руку жены, вышел из комнаты.

«Бедный! он ни о чем не догадывается!» — подумала Лина и вышла в столовую пить кофе.

II

«Лева» был одним из тех молодых людей, которые смотрят на жизнь «трезво», как они выражаются, и отлично понимал и причину хозяйственных талантов жены, и

---

[1] Драгоценный камень, отшлифованный соответственно его природной форме (искаж. *фр.* cabochon).

того благополучия, которое совсем неожиданно снизошло на него вскоре после знакомства его патрона, директора департамента Ветвицкого, с его Линочкой... И эта внезапная дружба с ним, и повышение по службе, и новая обстановка квартиры, и появление брильянтов у жены, и эта особенная внимательная заботливость, которою окружала его Линочка в течение последних двух лет, и эти страстные ласки, какими дарила она его, точно в вознаграждение за обман, и эти горячие уверения в любви, в горячей любви вместе с допросами: любит ли Лева ее так же, как и она его,— все это не оставляло в нем сомнения, что она, Лина, с ее «ангельским» взглядом и страстным темпераментом,— близкая подруга его превосходительства Ивана Александровича Ветвицкого, довольно некрасивого господина второй молодости. Не из-за поцелуев же одних рук в самом деле дарит он ей брильянты, дает деньги и протежирует супруга. Не такой он дурак, тем более что, несмотря на свои пятьдесят три года, его превосходительство еще крепок и бодр и смотрит молодцом.

Надо отдать справедливость обоим. Они вели себя с осторожностью. Связь их сохранялась в тайне, и в департаменте об этом не знали. Таким образом, апарансы[1] были соблюдены, и Лина в глазах всех родных и знакомых пользовалась по-прежнему репутацией недоступной женщины, преданной и влюбленной в мужа, и имя его не трепалось с обидной кличкой.

Было бы совсем глупо ревновать к Ветвицкому. Пусть себе пользуется, каналья, пока он сам не оперился... Благодаря этому он сделает карьеру... С такими соблазнительными и осторожными женщинами легко сделать карьеру... Досадно только, что Лина все заботится более о брильянтах и все получает их от маменьки, вместо того чтобы поскорей устроить ему повышение. Вот и теперь... дали к празднику только денежную награду, а между тем в департаменте открывается вакансия начальника отделения... Уж он говорил об этом жене, но она, по-видимому, не довольно настойчиво просила эту «обезьяну»... Он вчера виделся с Ветвицким, и тот ни полслова... А таким случаем не воспользоваться грешно. Когда еще откроется новая вакансия?!

[1] *Здесь:* приличия (от *фр.* apparence — видимость, внешность).

Такие трезвые мысли пробегали в голове Льва Сергеевича, когда он ехал на Невский...

И вдруг голову его осенила блестящая мысль. Он весело улыбнулся, велел остановиться у Милютиных лавок и пошел есть устрицы.

III

Часов в десять вечера Озорнин подъехал к дому и поднялся к дверям своей квартиры. Отперев ее своим ключом, он снял с себя пальто, увидал, что черно-бурый медведь Ветвицкого висит на вешалке, и, весело улыбаясь, прошел через гостиную, остановился у дверей спальни и приложил ухо. Ничего не слышно. Лев Сергеевич не решался войти — это не входило в его расчеты. Тогда он заглянул в замочную дырочку и увидал картину, вызвавшую улыбку на его лице. Прямо против дверей, на маленьком диванчике («надо непременно переставить диванчик!» — подумал Лев Сергеевич) сидел Ветвицкий и рядом Лина... Лампа освещала ее лицо, улыбающееся обычной кроткой ангельской своей улыбкой, в то время как его превосходительство жадно целовал ее руки из-под широких рукавов капота.

И Озорнин тихо отворил двери и вошел.

Его превосходительство, красный как рак и несколько растерянный, уже сидел в низеньком кресле и слегка сопел, не то от испуга, не то от волнения, а Лина, чуть-чуть побледневшая, откинулась в уголок дивана.

— Здравствуйте, Иван Александрович... Очень рад, что вас застал! — проговорил самым любезным и добродушным тоном Озорнин, пожимая слегка вздрагивающую руку его превосходительства.— Спасибо, что не оставили скучать Лину одну... А я, Линочка,— обратился он к жене, целуя ее руку, на мизинце которой сверкал новый кабюшон,— рано уехал от Зотовых... И голова болела, и, главное, карта не шла... И то тридцать рублей проиграл... Вообразите, Иван Александрович, два раза без трех остался на большом шлеме...

— Неужели?! — поспешил удивиться его превосходительство.

— Уж такое несчастье... Видно, Лина меня уж очень любит... Хоть бы одна игра...

— Это, Лев Сергеич, бывает... Уж если не повезет,

то ничего не поделаешь... Однако пора... Одиннадцатый час... И то я заговорил Полину Николаевну... Уж вы простите... Старики — болтливый народ.

— Куда вы, Иван Александрович?.. Еще рано...

— Нет, пора...

И его превосходительство, торопливо простившись, вышел из комнаты, провожаемый Львом Сергеевичем.

— Не забывайте же нас, ваше превосходительство... Мы с женой всегда рады вас видеть! — говорил Озорнин, крепко пожимая руку Ветвицкому...

— И я... поверьте... Я вас так уважаю и люблю, Лев Сергеич! — повторял его превосходительство и улыбался как-то жалко и растерянно.

— А ты что, Лина, такая печальная... Или Ветвицкий тебя усыпил? — говорил Озорнин, возвращаясь в спальню.— Ну, пора спать, моя милая... Пойдем?

И он привлек ее к себе и нежно поцеловал.

Безмолвная и смущенная, она горячо прильнула к губам мужа и прошептала:

— Лева... Лева... Ведь я тебя одного люблю... Одного тебя...

— А то кого же?

— Ты, может быть, думаешь...

— Ничего я не думаю... Полно, Линочка,— перебил Озорнин готовое сорваться признанье.— Отчего и не позволить Ветвицкому поцеловать руку... Пусть целует... и даже дарит за это такие прелестные кольца... Я не в претензии... А ты и мне устрой подарок завтра на елку... Попроси Ветвицкого, чтобы он назначил меня начальником отделения... Он ведь для тебя все сделает... особенно теперь! — подчеркнул Озорнин.

— Я ему скажу! — робко прошептала Линочка.

— Да знаешь ли что?.. Ужасно неудобно стоит у тебя этот диван... Прямо против дверей... Как-то не к месту...

— Я велю переставить.

— То-то переставь, милая... И какая же ты хорошенькая! — проговорил Лев Сергеевич, любуясь женой.— Просто прелесть...

И он стал целовать жену...

Изумленная, та отвечала горячими поцелуями.

На другой день вечером зажжена была хорошенькая елка. Маленький Володя был в восхищении, но едва ли не в большем восхищении Лев Сергеевич, только что полу-

чивший от его превосходительства записку о назначении его начальником отделения.

— Милая... Спасибо тебе! — говорил Лев Сергеевич, целуя хорошенькую ручку Лины и надевая на ее мизинец рядом с брильянтом красивую бирюзу...

Лина, в свою очередь, поблагодарила мужа нежным поцелуем, и оба они чувствовали себя бесконечно счастливыми.

1894

ЖРЕЦЫ

I

Был первый час на исходе славного солнечного морозного декабрьского дня.

В скромно убранной столовой маленького деревянного особнячка, в одном из переулков, прилегающих к Пречистенке, за небольшим столом, умело и опрятно сервированным, друг против друга сидели за завтраком муж и жена: Николай Сергеевич Заречный, тридцатипятилетний красивый брюнет, профессор, лет восемь как подающий большие надежды в ученом мире, и Маргарита Васильевна, изящная блондинка ослепительной белизны, казавшаяся гораздо моложе своих тридцати лет, похожая на англичанку и необыкновенно привлекательная одухотворенным выражением строгой целомудренной красоты своего худощавого, словно выточенного, энергичного лица. Светло-русые волосы были гладко зачесаны назад и собраны в коронку на красиво посаженной, гордо приподнятой голове.

Ткань черного шерстяного лифа обрисовывала стройный стан и тонкую, как у молодой девушки, талию. Воротник белоснежного рюша обрамлял шею. На маленькой тонкой руке одиноко блестело обручальное кольцо.

Профессор весь был поглощен завтраком.

Накануне он вернулся домой поздно и в несколько веселом настроении с какого-то ученого заседания, окончившегося, как водится, ужином в «Эрмитаже» и шумными и горячими разговорами о том, что скверно живется. Встал он в двенадцатом часу и сел завтракать позже обыкновенного. В два часа Николай Сергеевич должен был поспеть в университет и потому, наскоро проглотив рюмку водки, он торопливо и молча принялся за огромный кровяной сочный бифстекс, предварительно облюбовав его глазами, загоревшимися плотоядным огоньком чревоугодника.

Ои ел с жадностью человека, любящего покушать, ио у которого иет времеии свершать культ чревоугодия как бы следовало, ие спеша, и громко чавкал среди тишины, царившей в столовой, по временам смолкая, чтобы выпить из большого бокала пива.

Жеиа почти ничего ие ела.

Серьезиая и, казалось, сосредоточенная на какой-то мысли, оиа леииво отхлебывала из малеиькой чашки кофе и по временам взглядывала на мужа.

И эти взгляды серых вдумчивых глаз, осененных длиными ресиицами, светились не любовью и не лаской, а холодным, виимательным выражением бесстрастного наблюдателя, казалось, не столько взволнованиого, сколько заинтересоваиного любопытным открытием; точно объектом иаблюдеиия молодой жеищины был посторонний человек, а ие этот, близкий ей по праву, плотный, широкоплечий, здоровый красавец брюнет в своем потертом вицмундире, с крупиыми и мягкими чертами несколько полноватого и жизиерадостного лица, отливавшего румянцем, с черной как смоль гривой волнистых волос, закинутых небрежно иазад и оставляющих открытым высокий большой лоб, иесколько полысевший у висков, с кудрявой бородой и пушистыми усами, из-под которых сверкали ослепительно белые зубы.

Заречный был бесспорно хорош, и вся его крупная фигура иевольио обращала иа себя виимание. Недаром же на его талаитливые публичные лекции всегда собиралось миожество дам и девиц, желавших взглянуть на этого чернобрового, румяного красавца профессора, приятный и звучный теиорок которого так ласкал слух.

А между тем лицо его казалось теперь Маргарите Васильевне далеко ие таким смелым и умным, с печатью дара божия на челе, каким два года назад и еще недавно, совсем иедавно... Она точио смотрела на иего другими очами и видела в нем что-то самоуверениое, грубоватое и пошловатое, чего не замечала раньше или, быть может, не хотела замечать.

А теперь ей точно хотелось все распозиать в своем муже, и оиа с каким-то злорадным мужеством смелого человека, наказывающего себя за обмаиутые ожидания, старалась подметить всякую черту, подтверждавшую ее новое откровение.

Как она наказана за свою увереиность, что хорошо узнает людей. Какой туман тогда нашел на ее глаза?

И в голове ее невольно пронеслось все то, что было два года тому назад и в эти два года...

Ей было двадцать семь лет, она повидала свет и людей, когда приехала в Россию сперва на холеру, а потом к тетке в Москву из-за границы, где доканчивала свое образование после высших курсов в Петербурге. Она ехала на родину, чтоб осмотреться, добыть себе кусок хлеба и найти интересных и значительных людей, которых она напрасно искала раньше в Петербурге, и в Париже, и в Женеве среди разных кружков. Ухаживателей было много, но особенно интересных, которые заставили бы молодую девушку отдать свою душу и вместе работать, никого. В Москве благодаря тетке она познакомилась с интеллигентными кружками и не нашла своего героя среди многочисленных поклонников, в числе которых был и Заречный. Никто ей не нравился, никто не заставлял сильнее биться ее сердце, никто не отвечал на ее запросы: что делать? как жить?

Она отыскала себе переводную работу, занялась благотворительною деятельностью, часто встречалась с Заречным и остановила свое благосклонное внимание на молодом, блестящем профессоре, о котором тогда говорила Москва.

Она не любила его, но он ей казался интереснее, умнее и смелее других. Он так горячо уверял, что души их родственны, так искренне звал на совместную трудовую жизнь и борьбу и вдобавок так сильно любил ее, что она после года колебаний согласилась быть его женой, далеко не увлеченная им, не охваченная страстью. Боязнь остаться старой девой и нажить себе неврастению и страстный темперамент сдержанной и целомудренной натуры немало повлияли на ее решение. Она не обманывала себя иллюзиями безбрачного подвижничества и понимала риск замужества без той любви, о которой мечтала. Но Заречный казался ей вполне порядочным человеком, и, давая ему слово, она добросовестно дала и себе слово сделать его счастливым и быть ему верным другом и помощницей.

И она сдержала свое обещание, и если не любила, то уважала мужа. Он был знающим, талантливым профессором, его любили студенты, он занимался каким-то исследованием, часто в беседах говорил горячие речи о долге общественного человека, и в эти два года никакая серьезная размолвка не нарушала их счастия. Он по-прежнему безумно любил свою Риту, она охотно позволяла себя любить. Они, казалось, понимали друг друга и были

одной веры, и Маргарита Васильевна прощала мужу и его лень и его недостатки, казавшиеся ей неважными в сравнении с его достоинствами.

Маргарита Васильевна окончила кофе, отодвинула чашку и снова взглянула на мужа.

«Как он противно ест, совсем как животное!» — мысленно проговорила она и как-то брезгливо поджала свои тонкие губы.

Она переводила взгляд и подвергала беспощадной критике и жадное чавканье мужа, и его довольное лицо, и его вицмундир, и сбившийся набок узкий черный галстух, и красноватые пухлые руки с лопатообразными плоскими пальцами и не совсем опрятными ногтями, и его сочные, чувственные губы.

И вдруг краска прилила к ее лицу и покрыла румянцем нежную белую кожу ее щек.

Она вспомнила, что еще несколько часов тому назад эти самые сочные губы, от которых пахло вином, грубо и властно целовали ее уста. И она не противилась, и сама отдавалась этой ласке.

При этом воспоминании молодую женщину охватило чувство стыда, негодования и злобы против мужа, и она продолжала с еще большею беспощадностью развенчивать его. Он был в ее глазах грубый, чувственный человек, не способный тонко чувствовать. Он не убежденный человек, каким высокомерно себя считает, а такой же фразер, как и многие другие. Для него, в сущности, дорого только свое «я» и собственное благополучие. Он — тщеславный, лживый и самолюбивый эгоист, умеющий прикрываться блеском фразы.

Николай Сергеевич окончил свой завтрак, посмотрел на часы и потом на жену. Взоры их встретились. В его глазах, добродушных и веселых, светилась такая преданная любовь, такая нежность, что Маргарита Васильевна была обезоружена, и взгляд ее невольно смягчился.

А Николай Сергеевич между тем не без горячности воскликнул, удовлетворенно отодвигая от себя пустую тарелку:

— А у нас черт знает что творится, Рита. Вчера мы долго об этом говорили за ужином...

— Вы только и делаете, что говорите да ужинаете! — промолвила она с нескрываемой насмешкой.— В этом, кажется, и проявляется вся ваша смелость.

Заречный удивленно посмотрел на жену. Таких речей он никогда не слыхал от нее.



«Жрецы».
Художник Ю. Хайлов

И, оскорбленый в своем самолюбии, проговорил ие без иронической нотки в голосе:

— А что же ты нам прикажешь делать, Рита?

— Разве вы сами, жрецы науки, не додумались? — так же иронически переспросила молодая жеищииа.

— Я не поннмаю, что ты хочешь сказать.

— Я хочу сказать, что недостойно взрослых людей болтать за ужииами, повторяя одии и те же жалостиые слова.

— Ты, Рита, не думаешь, что говоришь!..— воскликиул ои порывисто.— Разве я сделал что-нибудь такое, за что можно краснеть? Разве я прииимаю какое-иибудь участие в том, что у нас творится?..

— Этого только недоставало, чтоб ты принимал участие!.. Тогда... тогда...

Она иа секунду запиулась.

— Что тогда?..

— Я давио бы оставила тебя.

— Без всякого сожалеиия? — спросил профессор.

— Без малейшего! — проронила молодая жеищииа.

. . . .

Он ушел, взволнованный и огорченный.

Прошла легкой, грациозной походкой и Маргарита Васильевна в свой кабинет, чистенький, со светлыми обоями и камельком, в котором слегка шипели угли.

Небольшой письменный стол в углу, два большие шкапа с книгами, хорошая литография мурильевской мадонны, несколько портретов любимых писателей, иностраииых н русских, цветы на окнах с белоснежиыми занавесками, маленькая оттоманка, два кресла, этажерка с букетиком нскусственных парижских цветов — все это имело уютный внд гнездышка, свитого женской умелой рукой, и в то же время свндетельствовало о серьезных заиятиях хозяйки.

Она прнсела на оттоманку и задумалась, вспоминая только что бывшее объяснеиие. Она не отказывалась от своего мнения о муже, но она почувствовала жалость к нему и сознавала себя виноватой перед ним.

Зачем она вышла за него замуж? Зачем?

И он так безумно любит ее, а оиа теперь едва его выноснт. Не потому ли она так беспощадна к нему, что не любит мужа и иикого еще ие любила?

А может быть, он н нскренне убежден в том, что оставаться среди нечестивых — подвиг, а не трусость? Он так горячо говорил.

— Нет... Это ложь, ложь! — прошептала оиа.

Как же ей поступить? Оставить его, и чем скорее, тем лучше?

Она испугалась пришедшей вслед за тем мысли. Он ведь говорил, что не может жить без нее. И пожалуй, сдержит слово. Имеет ли она право губить чужую жизнь?

И молодую женщину снова охватила жалость к человеку, который так ее любит и в любви которого виновата и она. Будущее казалось ей безнадежным. Никого близкого, с кем можно бы поговорить.

— Одна... одна... Всегда одна! — тоскливо проронила она...

И слезы незаметно катились из ее глаз.

В третьем часу Маргарита Васильевна, по обыкновению, собралась навестить свой участок по делам попечительства и потом заехать к Аглае Петровне Аносовой, богатой интеллигентной купчихе, поговорить об одном деле, которое с недавнего времени занимало ее мысли, и привлечь ее к задуманному предприятию. Она охотно жертвовала на разные полезные дела, и Маргарита Васильевна почти не сомневалась в том, что Аносова, узнавши подробный план, не откажется помочь этому делу.

Настроение, в каком находилась Маргарита Васильевна, побуждало ее ехать сегодня же к Аносовой. Заречная хоть и не была с ней знакома, но несколько раз встречалась с ней и знала ее по репутации. Наверное, она не удивится цели ее посещения. Она женщина умная, понимает людей и не станет вилять, а скажет прямо. Таким образом, можно сегодня же узнать: устроится ли скоро дело, которое Маргарита Васильевна считала серьезным и стоящим, чтоб ему посвятить свои силы.

Переводная и компилятивная работа не удовлетворяла молодую женщину, и вдобавок приходилось переводить иногда глупости, а то, что ей нравилось, редактор часто не одобрял, ссылаясь на времена и на разные циркуляры.

Не удовлетворяла ее и та благотворительная деятельность, которой она усердно отдалась, имея много свободного времени и посещая разные подвалы и трущобы, где знакомилась с нищетой в разных ее проявлениях, сознавая, что не помочь грошовыми подачками несчастным людям.

Ей хотелось какого-нибудь большого, хотя бы и благотворительного дела, уж если женщине заказаны другие пути...

Оиа уже иадевала прииесеииую ей в кабиист каракулевую шапочку, когда до ее ушей долетел звук электрического звонка, и вслед за тем вошла молодая горничиая Катя и доложила:

— Прикажете прииимать? Я сказала, что вы собираетесь уходить, а господии сказал, что ои иа мииутку... Вот и карточка ихияя! — прибавила оиа, подавая карточку.

Маргарита Васильевиа взгляиула иа карточку и чуть ие вскрикиула от изумлеиия:

— Прииимать, прииимать! Просите сюда, ко мие, Катя.

И молодая жеищииа торопливо сияла шапочку и перчатки, взгляиула иа себя в зеркало, оправила волосы и опустилась на оттомаику, ожидая с радостиым чувством иежданного гостя, Василия Васильевича Невзгодииа, самого близкого ее московского приятеля и когда-то предаииого и любящего поклоииика, влюблеииого в иее по уши, делавшего ей два раза предложение и скрывшегося за границу, как только оиа дала слово Заречиому.

Оиа предпочла блестящего профессора этому милому, но беспутиому малому с иеустановившимися взглядами, без определеииой профессии, с злым языком и добрейшим сердцем, который, вдобавок, был иа три года моложе ее и казался ей больше товарищем, чем претендентом.

С тех пор Невзгодин ие подавал о себе иикаких вестей, точно каиул в воду.

Маргарита Васильевиа о ием справлялась и получила известие, что ои в Париже серьезио занимался химией. Затем иедавио до иее дошел слух, будто бы Невзгодии иаписал повесть, которая скоро появится в одиом из толстых журналов.

II

— Здравствуйте, Маргарита Васильевиа! Не пугайтесь, я ие задержу вас... Вы собирались куда-то уходить... Только взгляиу на вас и исчезиу!

Голос Невзгодина звучал весело и радостио, и в этом голосе было что-то располагающее и искреииее.

Ои крепко, по-товарищески, пожал Маргарите Васильевие руку и, улыбаясь, прибавил:

— Я объевропеился и совлек с себя московский халат. Не буду мешать вам... В самом деле, уезжайте... Я как-

нибудь в другой раз заверну. Скажите только, как поживаете? Надеюсь, хорошо?

— Садитесь, Василий Васильич... Я так рада вас видеть, что с большим удовольствием останусь дома,— говорила Маргарита Васильевна, ласково оглядывая Невзгодина.— А в самом деле, вы объевропеились, как говорите... Стали франтом... В вас и не узнать прежнего богему на московский лад.

— Отрицавшего приличный костюм и носившего русские рубашки? — прибавил Невзгодин.— У нас, в Париже, нельзя, как вы знаете, отрицать такое видимое отличие цивилизованного человека от мизерабля...[1] Никуда не пустят... Ну, я и приучился иметь про всякий случай новый редингот и стричь волосы, чтобы не пугать парижских гаменов...[2] Хоть к самой генеральше Дергачевой с визитом. Помните, как она делила людей по костюму на приличных и «мовежанрных»[3], как она выражалась?

Действительно, модный редингот с бархатным воротником и шелковыми отворотами сидел отлично на Невзгодине. Широкий галстук, стоячие воротники белоснежной белизны, модный цилиндр, ботинки с широкими носками — одним словом, все как следует, чтобы иметь вид вполне приличного джентльмена.

И сам он, невысокий, сухощавый и стройный, с тонкими чертами живого, неспокойного лица, бледного и болезненного, с карими, острыми и смеющимися глазами, глядел изящным интеллигентом, в котором чувствуется и ум, и тонкость деликатной натуры, и темперамент. Каштановые волосы стояли «ежиком» на кругловатой голове с большим открытым лбом, рыжеватого оттенка бородка подстрижена, маленькие усики прикрывали тонкие, несколько искривленные губы, придававшие физиономии Невзгодина саркастический вид. В общем что-то мефистофелевское и в то же время располагающее.

— Вас не только к генеральше Дергачевой, а в самый первый салон можно повести, Василий Васильевич. Какая разница с тем невозможным, который был на холере.

Они познакомились во время холеры в Саратовской губернии. Маргарита Васильевна приехала туда из Парижа, а Невзгодин из Москвы.

---

[1] низшего (от *фр.* miserable).
[2] уличных мальчишек (от *фр.* gamin).
[3] невоспитанный, дурного тона (от *фр.* mauvais genre, *буквально:* дурного сорта).

— В костюме разве... А я все такой же, каким был н тогда... Подучнлся только за два года да больше опыта понабрался.

— Еще бы... Ну, рассказывайте о себе. Давио прнехалн?

— Сегодня...

— И иадолго?

— А ие зиаю... Как поживется. Подыщется лн подходящая... работа. Ведь я, как зиаете, из бродяг... Люблю новые впечатлення.

— Что же вы делали в Париже?

— Учился, получил днплом, гулял по бульварам, давал уроки русского языка взрослым фраицузам и французского малеиькнм соотечественнникам. Миого чнтал, ну н...

— И что?

— Случалось, покучивал...

— В веселой компаиии, коиечио?

— Хуже: один... в минуты хандры, зиаете лн, русской хандры, нападающей на человека, желающего поймать луну и сомиевающегося в такой возможностн...

— Говорят, вы н повесть иаписалн?

— И в этом грешеи, Маргарита Васильевна. Написал, н даже целых три. Решнлся послать только одиу... Кроме того, два мемуара по хнмин напечатал во фраицузском журнале.

— Вот вы какой усердиый стали... А как называется ваша повесть?

— «Тоска»...

— «Тоска»?.. Какое страииое изваиие... Тоска по комнибудь?

— Об этаких пустяках ие стоит писать! — усмехиулся Невзгодин.— Я люблю, ты любишь, ои любнт... Варнацин на тему об Адаме и Еве... Скучио!

Маргарнте Васильевне почему-то иеприятеи был этот шутливый тои.

«Как он скоро нзлечился от своей любви. А как тогда говорил!» — пронеслось у нее в голове.

— Так, значит, в вашей повести тоска по чем-иибудь?

— Да... Вот скоро прочтете... Обещалн в яиваре напечатать.

— А раньше... У вас иет разве копии с оригинала?

— Есть. Я иесколько раз перепнсывал рукопись.

— Так прочитайте, пожалуйста. Мне очеиь ннтересно будет прослушать.

— Извольте... Только, надеюсь, вы ие устроите литературного вечера?

— Я буду единственной слушательиицей. Ну, а еще что было за эти два года?

— Я женился.

— Вы? — удивлеиио спросила Маргарита Васильевиа и, казалось, не была довольиа этим известием.

— Родить детей ума кому иедоставало? — засмеялся Невзгодин.— Впрочем, у меня иет их.

— Когда же вы жеиились?

— Год тому назад...

— И жеиа с вами приехала?

— Нет, осталась за границей. Мы через шесть месяцев после свадьбы разошлись с ией!

— И вы так спокойио об этом говорите?

— Недостаточно радуюсь, вы думаете, Маргарита Васильевиа, что впредь ие так-то легко могу повторить эту глупость?..

— Зачем же вы тогда женились?

— Зачем люди, и в особеиности русские, ииогда совершают иеобъясиимые иикакой логикой поступки?.. Мие думается, что я жеиился по той же причиие, по которой покучивал... Хотел переменить положение... посмотреть, что из этого выйдет... Ну, и не вышло иичего, кроме отчаяииой и еще большей скуки жить с человеком, с которым у вас так же мало общего, как с китайцем...

— Вы разве раиьше этого ие видели? Или иастолько влюбились, что были ослеплеиы? Она, верио, француженка? — допрашивала Маргарита Васильевиа с жадиым любопытством человека, положение которого отчасти иапомииает положеиие другого.

— Чистейшая русская и даже москвичка. По правде говоря, я даже ие был настолько влюблеи, чтобы быть в ошалелом состояиии. И не скрывал этого. Да и она, кажется, была в таком же точио положеиии и вышла за меия больше для удобства иметь мужа и не жить одной в меблированных комиатах... Ну, и притом вдова, тридцать лет... Учится медицине, оканчивает курс и скоро приедет сюда. Очень дельиая и по-своему иеглупая женщииа... Наверное, сделает карьеру и будет иметь хорошую практику.

— И хороша?

— Очеиь... Зиаете ли, тип римской матроны, строгой и иесколько величествеиной, гордой своими добродетеля-

ми, с предрассудками, прямолинейностью и некоторой скаредностью дамы купеческой закваски и горячим темпераментом долго вдовевшей здоровой особы. Неспокойная богема по натуре, как я, и такая непреклонная, строгая поклонница умеренности, аккуратности и накопления богатств по сантимам. Что получилось в результате от такого соединения? Месяц-другой скотоподобного счастья, и затем взаимная неприязнь друг к другу... ряд раздраженных колкостей и насмешек — с одной стороны, и строгих, принципиальиых и методичных нотаций — с другой, с прибавкой подчас обвинений ревнивого характера, если я не был в нашей квартирке в одиннадцать часов вечера... А я, признаться, редко приходил к сроку... Ну, и в один прекрасный день за утренним кофе мы откровенно сознались, что оба сделали глупость и только мешаем друг другу готовиться к экзаменам, и порешили разойтись в ближайшее воскресенье, когда жена могла не идти в клинику. Разошлись мы по-хорошему, без сцен и без упреков,— словом, без всяких драматических осложнений... Напротив. Она простерла свою внимательность до того, что сама уложила мое белье и платье, предоставив моему попечению одни только книги и взяв с меня слово принять вину на себя, если она захочет повторить глупость, то есть выйти опять замуж, «но, конечно, за более основательного человека»,— любезным тоном прибавила она. С тех пор мы и не видались. Ну, вот я и кончил свою одиссею, стараясь не особенно злоупотреблять вашим вниманием. Позволите закурить?

— Пожалуйста...

— Ну, а теперь мой черед, Маргарита Васильевна, допросить вас. Позволите?

— Позволю.

— Вам как живется? Я слышал, недурно?..

— И не особенно хорошо! — произнесла молодая женщина.

Невзгодин взглянул на Маргариту Васильевну и заметил что-то сурово-страдальческое в ее лице.

«Видно, раскусила своего благоверного»,— подумал он и, осведомившись из любезности об его здоровье, продолжал:

— Только сытым коровам нынче хорошо живется, Маргарита Васильевна, а людям, да еще таким требовательным, как вы, трудно угодить... Ищете по-прежнему оригинальных людей? Много работаете? — деликатно перешел он на другую тему.

— Бросила искать. Их так мало среди моих знакомых. Кое-что перевожу... Читаю.

— Бываете в обществе?

— Бываю, но редко... Мало интересного... Дома спокойнее, хоть и в одиночестве.

— А Николай Сергеич?

— Он редко по вечерам дома. Заседания, комиссии... Я более одна.

— Значит, набили вам оскомину московские фиксы, Маргарита Васильевна?

— И как еще.

— Видно, они такие же, что и прежде! Чай с печеньем, невозможная толпа приглашенных в маленьких комнатах, какой-нибудь приезжий «гость» в качестве гвоздя, изредка певец или певица для разнообразия, сплетни и самые оптимистические административные слухи и, наконец, объединяющий ужин и за ним обязательно речи, и иногда длинные, черт возьми, речи, и всегда с гражданским подходом... Сперва тост за «гостя», который... и так далее, потом за «честного представителя науки», который... и так далее, за «мастера слова», за «жреца искусства» — одним словом, кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. Иван Петрович великий человек и Петр Иваныч тоже великий человек, и, чтоб никому не было обидно, всем по тосту и по «великому человеку» белым или крымским вином... Знаю я эти фиксы... Узнаю свою милую Москву... Любит она таки поболтать и покушать...

— Эта болтовня с цивической[1] окраской и противна...

— Отчего?.. Мне так она прежде нравилась. По крайней мере, люди приучаются говорить.

Невзгодин стал прощаться.

— И то вместо минутки час просидел, а мне еще надо в одно место.

— Ну, не удерживаю... Приезжайте опять, да поскорей... вечером как-нибудь. Мне еще надо обо многом с вами переговорить... Я тут одно дело затеваю... И вообще, надеюсь, мы, как старые друзья, будем часто видеться.

— Я бы не прочь, да боюсь, Маргарита Васильевна.

— Чего?

— Как бы старое не вернулось. Рецидивы, знаете ли, бывают при лихорадках! — шутливо промолвил Невзгодин.

— И как вам не надоест всегда шутить, Василий Васильич... Зачем вы этот вздор говорите?.. Кокетни-

[1] гражданской, общественной (от *лат.* civilis).

чаете?.. Так вы и без кокетства милый старый приятель, которого я всегда рада видеть... Что было, то не повторится... Так навещайте... С вами как-то приятно говорить.

— За то, что речей не говорю?

— И за это, а главное — за то, что вы не топорщитесь... не играете роли. Такой, как есть.

— Один из беспутнейших россиян, как вы прежде меня называли. Помните?

— Мало ли, что я прежде говорила... Вот вы беспутный, а работали-таки много... в Париже.

— И женился даже. Ну, до свиданья... Когда к вам можно?

— Да хоть завтра вечером.

— Не могу, я на юбилее Косицкого. Хочу всю Москву видеть. Да и юбиляра стоит почтить — премилый человек! А вы разве не собираетесь? Поедемте, Маргарита Васильевна. Я заеду за вами. Идет?

Она согласилась, но просила не заезжать. Она приедет с мужем.

— А за обедом сидеть будем рядом, Василий Васильевич. Займите места.

Невзгодин еще раз пожал руку хозяйке и откланялся.

Дорогой, плетясь на санях, Невзгодин думал о Маргарите Васильевне.

Он находил, что она очень похорошела с тех пор, как вышла замуж, и стала еще обворожительнее, как женщина. Но думал он об этом совсем объективно. Красота Маргариты Васильевны уж не влекла к себе, как прежде, когда он безумствовал от любви. Теперь он может быть с ней таким же приятелем, каким был на холере, оставаясь совсем равнодушным к ее женским чарам. Она славный человек, и с ней нескучно и без ухаживания, что большая редкость. Он непременно будет ее навещать, и часто.

«Да, видно, любовь в самом деле не повторяется!» — думал Невзгодин. А как он ее тогда любил! Целых два года не мог отделаться от этой любви, и вот теперь совсем не жалеет, что она ему отказала. Жаль только бедняжку, она несчастлива, конечно, с Заречным.

И Невзгодин удивлялся тому, что Маргарита Васильевна живет с человеком, которого, очевидно, не любит и не уважает и все-таки остается его женой. Видно, в самом деле, даже и в самых порядочных женщинах животное дает-таки себя знать, и они прощают такому

красавцу, как Заречный, то, что не простили бы самому гениальному человеку, будь он дурным мужем.

Это возмущало Невзгодина, и он обвинял Маргариту Васильевну за то, что она не бросает мужа.

— Это свинство! — проговорил вдруг вслух, охваченный негодованием, Невзгодин.— Свинство! — повторил он.

— Что, барин? — спросил его извозчик.

— Поезжай, ради бога, скорей! — отвечал Невзгодин.

III

— Аглая Петровна дома?

— Дома, пожалуйте.

И молодой, пригожий и приветливый лакей в опрятном синем полуфраке с золочеными пуговицами, открывший широкие двери подъезда небольшого двухэтажного особняка, стоявшего в глубине двора, отделенного от улицы бронзированною решеткой,— пропустил зазябшую на морозе Заречную в большие теплые сени, где в камине ярким пламенем горели, потрескивая, дрова.

Он снял с ее плеч ротонду на длинношерстных черных тибетских барашках и нагнулся снять калоши, но его попросили не беспокоиться.

— У Аглаи Петровны никого нет? — спросила Заречная, останавливаясь перед зеркалом, чтобы оправиться.

— Никого-с. Извольте подняться наверх. Барыня у себя в кабинете. Как прикажете доложить?

Маргарита Васильевна дала свою карточку и поднялась вслед за лакеем по широкой, устланной ковром лестнице. Большие кадки с тропическими растениями стояли на площадке по бокам громадного простеночного зеркала.

Лакей распахнул двери в зал, провел гостью в соседнюю гостиную и скрылся за портьерой.

Заречная присела на маленький диванчик и любопытно оглядывала эту большую, застланную сплошь ковром, комнату с роскошной, обитой зеленым шелком мебелью, с изящными столами, столиками и уютными уголками за трельяжами, и с несколькими картинами, в которых сразу признала художественные произведения большого достоинства. Каждая вещь в гостиной, начиная от лампы и кончая крошечной севрской вазочкой на столике, отличалась изяществом и тонким вкусом. Все ценное, но ничего грубого, крикливого у этой внучки ярославского крестьянина, миллионерши Аглаи Петровны Аносовой,

купеческой вдовы, известной своей щедрой благотворительностью, умом, красотой и строгими нравами.

Самые злые языки не смели бросить малейшую тень на ее репутацию. Никто не мог назвать ни одного любовника в течение пятилетнего вдовства Аносовой. Недаром же ее прозвали «бесчувственной бабой», удивляясь, что она отказывала нескольким женихам из богатейшего купечества и из представителей родовитого дворянства, в числе которых был даже один красавец рюрикович, и, казалось, нисколько не тяготилась своим добровольным вдовством в полном расцвете пышной красоты женщины тридцати трех лет, занятая и удовлетворенная, по-видимому, благотворительностью да своими большими торговыми делами, которые вела сама с умением и деловитостью, вызывавшими невольное удивление.

Тяжелая штофная портьера колыхнулась, и из-за нее вышла, направляясь к гостье неспешной и уверенной, слегка плывущей походкой, слегка прищуривая черные бархатистые глаза, ласковые и приветные, ослепительной красоты, высокая, статная брюнетка, с черными как смоль волосами, гладко зачесанными назад, в скромном шерстяном черном платье, безукоризненно сидевшем на ней, белая, свежая и румяная, с роскошными формами красивого бюста.

Бриллиантовые крупные кабошоны сверкали в ее розоватых ушах; из-под узкого рукава виднелась золотая цепь porte-bonheur'a[1], и на мизинцах красивых, несколько крупноватых, холеных рук было по кольцу. На одном — большая бирюза; на другом — отливавший кровью рубин.

— Очень рада вас видеть у себя, Маргарита Васильевна,— проговорила Аносова своим низковатым приятным голосом, протягивая поднявшейся гостье руку.

Она крепко пожала крошечную руку и, задерживая ее в своей широкой белой руке, протянула, слегка наклоняя голову, свои алые полноватые губы.

Дамы расцеловались.

Перед царственной роскошной фигурой Аглаи Петровны маленькая худощавая фигурка Маргариты Васильевны казалась еще меньше.

— Пойдемте-ка лучше ко мне. Здесь и холодновато и как-то неуютно. Для визитных гостей комната.

— А я к вам именно по делу! — поторопилась сразу

[1] браслета без застежки *(фр.)*.

же сказать Заречная, чтобы не подать повода к недоразумению.

Аглая Петровна слегка улыбнулась, точно хотела сказать, что и не сомневается в цели визита, и сердечно прибавила:

— Какой бы ветер ни занес вас сюда, мне приятно вас видеть, Маргарита Васильевна. В моей клетушке и поговорим. Там никто нам не помешает. Пойдемте!

И Аглая Петровна повела гостью через соседнюю, маленькую голубую гостиную и другую комнату, убранную в восточном вкусе, в свою «клетушку», как она называла кабинет, в котором работала, принимала по делам и более интимных знакомых.

Маргарита Васильевна быстрым взглядом окинула клетушку.

Это была небольшая комната в два широких окна, пропускающих много света.

Черного дерева письменный стол у простенка имел строго деловой вид. Несколько конторских книг, исписанные цифрами ведомости и скромный письменный прибор. Большие счеты с отброшенными костяшками и отставленное кресло на белоснежном пушистом мехе ангорской козы свидетельствовали, что Аглаю Петровну только что оторвали от работы. Лишь чудный букет из роз и ландышей несколько нарушал строгую деловую выдержанность убранства стола.

Зато вся остальная обстановка говорила о том, что хозяйка не только деловая женщина.

Полный книг большой библиотечный шкап, бюсты Шелли, Байрона, Тургенева и Толстого на мраморных колонках, марина Айвазовского, два жанра Маковского, фотографии с автографами разных «известностей» на мольберте и по стенам, уютный уголок с светло-серой мягкой мебелью вокруг маленького японского столика-этажерки, стол посредине с журналами и газетами, висячий фонарик и теплившаяся в углу лампадка пред образом божией матери — таково было убранство этой клетушки.

В ней было тепло и уютно. Тонкий аромат цветов приятно щекотал обоняние.

— Присаживайтесь сюда, Маргарита Васильевна,— указала хозяйка на маленький булевский диванчик и, отодвинув японский столик, на котором лежал желтый томик нового романа Золя, опустилась сама в кресло.— Снимите лучше шапочку, а то голове жарко будет. Прикажете угощать вас чаем? Вы ведь знаете, у нас, по купе-

честву, никаких дел без чая не делается! — прибавила в шутку Аглая Петровна, улыбаясь ласковою, широкою улыбкой и показывая ряд жемчужин-зубов.

Маргарита Васильевна от чая отказалась.

Она сняла шапочку и, встретив восхищенный взгляд Аглаи Петровны, любующейся тонкими чертами изящного, словно бы точеного, личика, смущенно и вместе с тем весело улыбалась.

— Так позвольте о деле? — проговорила она.

— Пожалуйста.

Несколько смущенная своим первым обращением за помощью к малознакомой женщине, Маргарита Васильевна сперва не совсем твердо, торопясь и конфузясь, начала излагать сущность дела, о котором хлопотала. Но скоро это смущение прошло, тем более что Аглая Петровна слушала ее с большим вниманием, серьезно и деловито, слегка склонив голову и по временам ласково улыбаясь глазами, словно бы поощряя гостью не стесняться.

«Как с ней просто и легко!» — подумала Заречная.

И, вполне овладевши собой, она не спеша, толково и несколько горячо развивала свою мысль о необходимости устроить в Москве для бедного люда большой дом, в котором были бы хорошая библиотека, зал для устройства лекций и концертов, столовая и чайная.

— Мне кажется, я уверена, что это было бы хорошее дело. Конечно, такой дом не панацея[1] от нищеты, пьянства и разврата, но все-таки... Пример Москвы вызовет и другие города. Вы сочувствуете этой мысли, Аглая Петровна? — закончила вопросом молодая женщина и снова покраснела.

— Как не сочувствовать! Очень даже сочувствую вашей идее, Маргарита Васильевна, устроить у нас то, что в Европе давно есть. В Лондоне целый народный дворец завели. У меня есть последний отчет, дело идет хорошо. Вот и на моей фабрике рабочие стали меньше ходить по кабакам и меньше бить жен и ребятишек с тех пор, как мы завели там читаленку и открыли чайную. Управляющий говорил мне, что и прогулов меньше. И им и нам, хозяевам, лучше. Мысль ваша хорошая, что и говорить.

— Я была уверена, что найду в вас сочувствие! — воскликнула просиявшая от радости Заречная.

— Ну, это что! — промолвила с тихой усмешкой Аглая Петровна.— Ведь вы же не за одним сочувствием ко мне

[1] Всеисцеляющее средство (*греч.* panakeia).

пожаловали, а за деньгами. Зачем же к нам, к богатым купчихам, и ездят, как не за деньгами! — прибавила она.

Маргарите Васильевне показалось, что грустная нотка прозвучала в этих словах. Ей сделалось неловко, но она все-таки храбро проговорила:

— Вы правы, Аглая Петровна. Я приехала, рассчитывая на вашу помощь.

Эта откровенность видимо понравилась Аносовой, по крайней мере прямо, без подходов.

И она заметила:

— Дело только затеяли вы большое... Оно пахнет сотнями тысяч. И наконец, разрешат ли такой дом?

— Отчего не разрешить? Мне кажется, что в этом препятствия не будет.

— Оптимистка вы, как посмотрю, Маргарита Васильевна!.. Ну, разумеется, попытаться следует.

И, с деловитостью практической женщины, неожиданно прибавила:

— А покупать дом невыгодно. Лучше самим выстроить. И непременно на Хитровом рынке.

— У меня и смета и устав есть! — весело проговорила гостья, вынимая из мешочка несколько листков.

— Вот как... Значит, горячо принялись. Сколько же по смете выходит?

— Много, Аглая Петровна... Двести тысяч.

Но цифра эта нисколько не испугала Аносову.

Она пробежала глазами смету и протянула:

— Не мало ли?

— Архитектор говорит: довольно.

— Уж если затевать дело, так основательно. Архитекторы часто ошибаются. А вы смету и устав позвольте оставить... Я подробно ознакомлюсь... И принять участие в этом деле я не прочь... Одной только мне трудно... На этот год у меня уж почти все деньги, назначенные на благотворительные дела, распределены. Тысяч пятьдесят могу.

Она проговорила эту цифру спокойно, точно дело шло о пяти рублях.

Заречная глядела на Аглаю Петровну восторженными и благодарными глазами. Эта цифра изумила ее. Она словно вся засияла и порывисто воскликнула:

— Вот начало уже и есть!

— Ишь вы засияли вся, Маргарита Васильевна. Видно, очень уж дорога вам ваша мысль?..

— Еще бы!

— И сами вы, конечно, надумали ее... Или муж?
— Сама. Читала, что делают в Европе. Думаю: отчего не попробовать и у нас.
— А супруг одобряет?
— Я с ним подробно не говорила еще об этом! — ответила Маргарита Васильевна и невольно покраснела.
Аглая Петровна как будто еще ласковее взглянула на гостью после этих слов и весело сказала:
— Да и не надо путать мужчин. Бог с ними! Они и без того все захватили. Мы и без них обойдемся. Не правда ли?
— Конечно.
«А я-то думала: счастливая парочка!» — пронеслось в голове Аглаи Петровны, и она, словно подвергая экзамену свою гостью, спросила:
— А вы, Маргарита Васильевна, разве не побоитесь черной работы?..
— То есть какой?..
— А с этим домом!.. Например, заведовать им.
— Я этого только и желаю.
— Вот и отлично. Значит, и хозяйка дела будет хорошая.
— Прежде надо узнать, какая буду, а потом хвалить,— засмеялась Заречная.
— Да я ведь знаю, как вы в своем попечительстве работаете, и слышала, как вы два года тому назад на холере работали... Слышала. И как же мне нахваливал вас один господин!
— Кто это?
— Невзгодин, Василий Васильич. Ведь вы вместе на холере были?
— Да. А вы с ним знакомы?
— Этим летом в Бретани познакомились... Вместе в Сан-Мало на купанье были. Умный и интересный человек, только уж очень он представителей капитала не любит. Так громил меня, что страх. Однако не убедил меня раздать все свои богатства! — улыбнулась Аглая Петровна.— А вы знаете, ведь он женился. Я видела его жену. Студентка в Париже. Приезжала к нему на неделю.
— И уж разошелся с женой.
— Да? Он, кажется, не очень-то годится для семейного очага. Слишком независим и правдив... И она, его жена, мне не понравилась... Очень важничает своей медициной... Так Василий Васильич разошелся? Это верно?

Откуда вы слышали, Маргарита Васильевна? — с живостью спрашивала Аносова.

— Он вчера мне сам говорил.

— Так он приехал? — вырвалось невольное восклицание у Аглаи Петровны.

И при этом неожиданном известии румянец алее заиграл на ее щеках, и радостный огонек блеснул в ее глазах.

Это не укрылось от Маргариты Васильевны.

«Невзгодин ей нравится!» — подумала она и ответила:

— Третьего дня приехал!

— И был у вас? — уже спокойно спросила Аносова.

— Да. Мы ведь старые приятели.

— Как же... Он говорил, каким был горячим вашим поклонником, Маргарита Васильевна.

— То было так давно... Два года тому назад, когда я не была еще замужем...

— А ко мне и не показался, хоть и обещал навестить, как вернется в Москву... Интересный человек... Не ломаный... Не боится говорить, что думает, и... такого не купить миллионами...

— Да... Хороший человек. Я его очень люблю! — спокойно проговорила Заречная.

— Он надолго сюда?

— Сам не знает... Богема.

— Да... Непутевый какой-то... Ну и язычок!..— засмеялась Аглая Петровна.

Наступило молчание.

— Вот мужчина и отвлек нас от дела,— заговорила, смеясь, Аглая Петровна.— Ну их! Так я, говорю, не прочь дать пятьдесят тысяч, а остальные деньги надо собрать. Вы обращались еще к кому-нибудь?

— К вам к первой, Аглая Петровна. Других я никого не знаю, то есть не знакома...

— Это не беда; прямо поезжайте. И вас и мужа вашего знают в Москве.

— Я готова. Научите только, к кому ехать...

Аглая Петровна на минутку задумалась и потом назвала Измайлову и Рябинина.

— Эти, быть может, дадут. И деньги у них должны быть свободные. Особенно у Дарьи Степановны Измайловой. Богата очень и все свои капиталы непроизводительно держит в бумагах и только купоны режет! — не без снисходительного презрения вставила Аносова.— Можно ей сказать, что я даю, тогда она вдвое даст. Завистливы

мы на все... На этом часто попадаются неосновательные люди! — усмехнулась Аносова.— Только к ней вы лучше не ездите сами, а пошлите мужа...

— Отчего?

— Скорее даст, если попросит мужчина, да еще такой красавец, как ваш муж. Любила их много в молодости и теперь, на старости лет, любит на них поглядеть. Распущенный человек, хоть и доброго сердца,— пояснила Аглая Петровна.— В узде не умела себя держать... Ну, да это и нелегкое дело, особенно для таких богачек... Не трудно сломать себе шею, если бог ума не дал и нет правил в жизни,— строго прибавила она.

«Ты-то своей прелестной головы не сломаешь!» — невольно подумала Маргарита Васильевна, любуясь Аносовой.

— А к Рябинину непременно поезжайте сами...

— И этот распущенный? — брезгливо проронила Маргарита Васильевна.

— Любит старик красивых женщин... Но только не бойтесь... Он совсем приличный человек.

Заречная надела шапочку и поднялась.

— Быть может, и не по делу когда заглянете, Маргарита Васильевна? — ласково пригласила Аносова.

— С большим удовольствием! — горячо проговорила гостья.

— Мы, кажется, сойдемся... Но только, конечно, не с визитом, а так... побеседовать... По вечерам я всегда дома и почти всегда одна. А вы когда свободны?

— Тоже по вечерам и тоже почти всегда одна.

Обе грустно улыбнулись.

Аглая Петровна проводила гостью через анфиладу комнат и, еще раз целуя Заречную, сказала:

— Сегодня, конечно, вы будете на юбилее?

— Буду.

— Так до вечера.

Аглая Петровна приветливо кивнула головой и, вернувшись в свою клетушку, присела за письменный стол и подавила пуговку электрического звонка два раза.

На зов явился старик артельщик, худощавый, опрятный, благообразный.

— Сейчас же поезжайте, Кузьма Иваныч, в адресный стол и справьтесь, где остановился дворянин Василий Васильич Невзгодин. Он третьего дня приехал из-за границы, верно, уже прописан. Фамилию, имя и отечество запишите. Да никому об этом не болтать! — толково,

ясио, ласково и в то же время властио отдавала приказание Аглая Петровиа.

— Слушаю-с! — отвечал артельщик и так же бесшумио ушел, как явился.

Аглая Петровиа на мииуту задумалась и, подавив вздох, прииялась за поверку отчета по фабрике.

Костяшки так и прыгали под ее крупиыми белыми пальцами, иарушая тишииу, царившую в клетушке.

IV

Для самолюбия мужчииы в высшей степени больно и оскорбительио, когда в глазах любимой и притом умной жеищииы ои теряет свой прежиий ореол и представляется ей далеко ие в том великолепии, в каком представлялся еще иедавио.

В таком имеино положеиии развенчаииого героя и очутился, совершенно для себя неожидаиио, молодой профессор после разговора с жеиой.

Если, впрочем, Николай Сергеевич по скромиости и не претендовал иа титул героя,— хотя, случалось, и ие прочь был, грешиым делом, погеройствовать иа словах и пожалеть, что отечество не представляет благоприятиой почвы для героических поступков,— то, во всяком случае, считал себя цивически безупречным общественным деятелем, разумеется, в пределах, ие переступавших бесполезного донкихотства.

И, сравиивая себя с большииством своих коллег, Заречный не без некоторого права мог, как Нарцисс, любоваться собствеииою персоиой и ие иаходить серьезиых осиоваиий быть недовольиым собой, подобио многим смертным.

Не иапрасио же в самом деле ои пользовался в Москве такою популярностью!

Его по справедливости считали блестящим профессором. Диссертация Заречиого в свое время была признана цеииым вкладом в науку и составила ему в учеиом мире имя. Затем ои не опочил, по примеру товарищей, иа лаврах, а писал, как все знали, большую киигу, несколько глав которой были иапечатаиы в одиом из журналов и вызвали в свое время лестиые отзывы. В интеллигентиых кружках и среди молодежи на него смотрели как на одного из тех стойких и независимых жрецов иауки, которые, по красиоречивому выражению самого же Нико-

лая Сергеевнча, «высоко держат светоч знання». Нн для кого не было секретом, что Заречный не разделяет взглядов большннства товарнщей н держнтся в стороне от всякнх дрязг н интрнг. Он и сам не скрывал этого н, намекая на трудность своего положення, говорил о зменной мудростн н о долге порядочного человека быть н одному вонном в поле. Студенты, н особенно первокурснчкн, нз более впечатлнтельных, превозносилн Заречного н в его горячнх тнрадах, сопровождавшнх нногда лекцнн, слышалн голос человека твердых прннцнпов, слова которого не расходятся с делом. Его любили как необыкновенно мягкого, доступного н всегда прнветлнвого профессора, прнннмавшего блнзко к сердцу студенческие беды. Публнчные лекцнн Заречного, которые он чнтал с благотворнтельною целью, всегда прнвлекалн массу публнки и вызывалн овацин. Его звалн в разные фнлантропнческне общества и кружкн, счнтая участне Николая Сергеевнча необходнмым для успеха дела. Он прнзнавался первым оратором в Москве, где, как нзвестно, любят и умеют краснво говорнть, н его речи и в собраниях н на торжественных обедах слушались с благоговейным вннманнем. Особенно носилнсь с Заречным дамы. Онн пропагандировалн его славу, преклонялнсь перед ннм, влюблялнсь в него, писалн ему восторженные пнсьма. В Москве ходнлн слухн, будто несколько лет тому назад, когда Ннколай Сергеевнч еще был холостым, одна молодая ннтеллигентная купчиха, с огромным состояннем, покушалась на самоубийство, ввнду полнейшего равнодушня Нниколая Сергеевнча к любви н миллнонам этой хорошенькой пснхопаткн декадентского пошнба, желавшей во что бы то нн стало сделаться женою модного красавца профессора.

Однмм словом, Ннколай Сергеевнч становнлся однмм из тех нзлюбленных московскнх людей, которых обыкновенно называют не по фамилням, как простых смертных, а лншь по именн н отечеству, н не знать которых так же предосуднтельно, как не знать Ивана Велнкого, Иверской, Царь-пушки н трактнра Тестова.

Чувствнтельный к успехам н нзбалованный нми, Ннколай Сергеевнч старался быть на высоте своей репутацнн н, отдавая всего себя на «общественное служенне», как называл он свою разнообразную н действнтельно суетлнвую деятельность, отнимавшую много временн, не задумывался ни о том, насколько она плодотворна н полезна, нн о том, насколько ценна н заслуженна его популярность.

Да и иекогда было.

Николая Сергеевича просто-таки «разрывали», и ои, польщеииый общим вниманием и вдобавок мягкий по натуре, ие отказывался и всюду поспевал, везде играл видную роль. Решительио не было в Москве такого учеиого, благотворительиого или даже увеселительиого общества, в котором ие участвовал бы Заречиый в качестве председателя, члеиа комитета или просто члеиа. И везде ои читал рефераты, делал сообщеиия, возражал и говорил речи: и в учеиых собраниях, и в благотворительиых комитетах, и в обществе грамотности, и в родительском кружке, и в педагогическом, и в артистическом, и даже в обществе велосипедистов.

Деятельиость его, вызывавшая общие восторги, никогда ие подвергалась серьезиой критике, и Николай Сергеевич мог, казалось, с горделивым созиаиием своих общественных заслуг, пребывать иа высоте положения, на которую его вознесли.

И вдруг эти иасмешливо-ядовитые слова, эти холодные взгляды сурового обвииителя.

И кто же этот обвииитель?

Самый дорогой для иего иа свете человек — боготворимая жеиа, сочувствием которой ои особеино дорожил и так долго его добивался, бывши ее поклоиником.

Положеиие было донельзя обидное и мучительиое. Оио осложиялось еще грустиым открытием, что эта женщина, в которую профессор до сих пор влюблен со слепым безумием чувствеииой страсти,— так мало любит его. Оиа так спокойио сказала, что бросила бы его ие задумываясь, при известиых обстоятельствах,— и ои знал, что это не пустая угроза. Если бы оиа любила, то, разумеется, ие была бы так беспощадиа к мужу, будь ои даже дуриым человеком. Любимым людям жеищииы все прощают.

Правда, она ие скрывала, что выходит замуж далеко ие влюблеиная и — как оиа выразилась — «взвесивши все обстоятельства». И оиа их перечислила с мужествеииой прямотой, так что для Заречиого не могло быть сомиеиия в том, что ои для иее лишь умиый, интересный и порядочиый человек, которого она уважает и к которому расположеиа — ие более. Потеряй ои в глазах жены свой ореол, и оиа для иего потеряна.

И ои прииял эти объяснения с восторгом влюблеииого, иесмотря иа их обидиую для мужчины условиость,— прииял, желая обладать любимым существом и иадеясь,

что заслужит и любовь. Он всеми силами добивался ее, был необыкновенно внимателен к жене, стараясь в то же время не надоедать ей своею навязчивостью, и ему казалось, что в эти два года и Рита полюбила его. По крайней мере, она была всегда ровна и ласкова, принимала к сердцу его интересы и не чувствовала себя оскорбленной, отдаваясь горячим ласкам мужа. Они жили согласно. Никаких недоразумений, никаких супружеских сцен. Рита по-прежнему уважала его и, по-видимому, вполне сочувствовала его деятельности.

«Уж не полюбила ли она кого-нибудь?»

Это было первой мыслью, которая пришла в голову профессора, когда он, после разговора с женой, шел в университет, взволнованный и удрученный, весь поглощенный думами о причине неожиданных упреков любимой жены. Подобно многим бесхарактерным людям, внезапно застигнутым бедой, он словно бы боялся взглянуть ей прямо в глаза и непременно хотел найти объяснение не там, где его следовало искать. Он стал перебирать в памяти знакомых мужчин, припоминал, с кем из них Рита чаще видится, и никто из них не мог возбудить подозрения даже в ревнивых глазах влюбленного профессора. И наконец, Рита безупречна в этом отношении: она не ищет авантюр. Она слишком горда, чтоб унизиться до обмана, и, конечно, не побоится сказать, если бы полюбила.

— Не то, не то! — как-то растерянно проговорил вслух профессор, сознавая, что только малодушно хотел сам себя обмануть, приискивая объяснение, между тем как оно так очевидно.

Презрительные слова жены о «праздноболтающих» стояли в его ушах. Он ощущал теперь всем своим существом оскорбительность их значения, догадывался, по поводу чего именно они сказаны Ритой, и знал, чего ждала от него Рита. Но ведь это было бы безумием? Ставить на карту свое положение — ненужное, бессмысленное донкихотство, против которого возмущается здравый смысл.

И всевозможные доводы, начиная с доблести и кончая учеными цитатами, необыкновенно услужливо приходили в голову профессора в виде протеста против обвинения жены в трусости.

Но, несмотря на это, Николай Сергеевич в глубине души чувствовал, да и понимал, что жена до известной степени права и что имеет основания предъявлять к нему требования, перед которыми он бессилен.

«Права!» — мысленно произнес он и припомнил многое.

Не он ли говорил Рите, ради ее прелестных глаз, и раньше, когда был женихом, и потом, когда сделался мужем, не он ли сам говорил и ей, и перед ней, и перед многими те красноречивые, блестящие слова о правде, долге и борьбе, которым он, конечно, и сам верил и сочувствовал, но больше теоретически, как известным понятиям, а не правилам жизни. Взгляды, которые он развивал нередко в приподнятом тоне, особенно в присутствии Риты, не были выстраданы жизнью, не были откликом цельной натуры и сильного темперамента, для которого слово и дело неразлучны, а являлись — как у многих,— так сказать, дипломом на звание порядочного человека, чем-то не органически связанным с практической деятельностью — недаром же жизнь Заречного чуть ли не со студенческих дней не омрачалась никакими осложнениями, столь обычными для учащихся. И эти речи, завоевавшие ему уважение любимой женщины и всего общества, звучавшие так горячо и так сильно, казались и ему самому и другим искренними. Рита первая прослышала в них фальшивую ноту, придавая им более серьезное, обязывающее значение, чем придавал он сам, и может теперь подумать, что он сознательно ей лгал.

Мысль, что Рита считает его лжецом, привела в отчаяние профессора, осветив перед ним ту бездну, в которой он очутился благодаря себе самому.

А разве он лгал? Разве он лжет?

Николай Сергеевич возмутился, что может даже явиться подобный вопрос, и в то же время понимал, что такой вопрос возможен. И как жестоко наказан он за то, что другим даже не ставится в вину. Действительно, он, быть может, и говорил больше, чем следовало человеку в его положении, но он все-таки не лгал...

Бедный профессор, глубоко взволнованный и уязвленный, переживал неприятные минуты. Благодаря обвинениям жены в нем, едва ли не первый раз в жизни, шевельнулась мысль: не вводит ли он в заблуждение и себя и людей, пользуясь безупречной репутацией, и не защищает ли он, в сущности, свое личное благополучие, оправдывая компромиссы и горячо доказывая, что один в поле не воин.

Но чем назойливее лезли сомнения, готовые, казалось, сбросить Заречного с того пьедестала, на котором он так прочно и удобно стоял, тем сильнее оскорблялось самолюбие избалованного успехами человека и тем неодолимее

являлось желанне оставаться на прежией высоте. И опять иа помощь являлнсь аргументы, один убеднтельнее другого, доказывающие, что ои прав, что обвииеиия жеиы иеправильиы, что ои поступает, как следует порядочиому человеку, и даже ие без доблестн.

«Надо делать дело, а ие геройствовать бессмыслеиио!» — подумал ои.

Профессор иесколько приободрился, найдя оправдаиие себе. В ием появилась иадежда убедить Риту в своей правоте и вериуть ее уваженне.

О, если б он ие любил так безумио эту жеищииу!

V

Отдавая быстрые общие поклоиы, Николай Сергеевич торопливо прошел мнмо ряда почтнтельио расступившнхся студеитов, стоявших в проходе, подиялся иа кафедру, прнвычным жестом бросил иа пюпитр листки коиспекта н сел, окидывая взглядом аудиторию.

Большая актовая зала, вмещающая шестьсот человек, была переполнена. Толпилнсь в проходах; сндели иа подоконниках. Слушать Заречиого прнходили с других факультетов.

— В последней лекции я нзложил вам, господа...

С первого же слова воцарилась мертвая тишиииа. Студенты жадио виимали словам любимого профессора. Ои читал действнтельио превосходио: громко, отчетливо, щеголяя лнтературиым нзяществом и сыпля блестящими сравиениямн, остроумнымн характеристнками, меткими цитатами. Речь, виачале иесколько вялая и бесцветиая под влияиием еще ие пережитых иепрнятиых впечатлеиий, скоро полилась с обычной плавиостью, полиой какой-то чарующей музыкальиости гнбкого приятиого голоса, живая, сильиая н выразительиая, иевольно захватывающая слушателей. Несомиеиио, эта масса иапряжеииых, вытяиувшихся вперед молодых лиц с выраженнем чуткого, почти восторженного виимаиия, электризовала профессора, приподиимая и, так сказать, просветляя его настроенне.

Он испытывал счастлнвое чувство той высшей удовлетворенности, которую дает кафедра, и, отдаваясь власти своего талаита, отрешался в эти мииуты от мелочей и дрязг жнзни, забывая себя и свои обиды, ианесенные любимой женщиной, н сам как бы внутреиие хорошел и, увлечеиный, не любовался своею речью. И его красивое лицо ста-



«Жрецы».
Художник Ю. Хайлов

новилось одухотвореннее и словно бы мужественнее. Глаза, устремленные куда-то вдаль, искрились огнем увлечения. Талант творил свое дело преображения.

Заречный почти не заглядывал в конспект. Он знакомил своих слушателей с одной из героических эпох и сам, казалось, жил ею, оживляя ее в ярких картинах с талантом художника и освещая и обобщая факты с диалектическим мастерством блестящего эрудита с широкими общественными взглядами. Сам далеко не смелый и мягкий, он теперь восхищался смелостью в исторических личностях и превозносил с кафедры то, что в жизни считал бессмысленным геройством.

Гром рукоплесканий раздался в зале и не смолкал в течение минуты-другой после того, как Николай Сергеевич, проговоривши сорок минут, окончил лекцию. Лица студентов светились восторгом. Для некоторых из них слова профессора были не одними скоро забывающимися красивыми словами, а глаголами, которые жгли молодые сердца.

Видимо довольный бурным одобрением и в то же время стараясь скрыть свою радость под личиной напускной серьезности, Заречный несколько медленнее, чем можно было бы, собирал листки конспекта и, собравши, когда аплодисменты стали затихать, поднял руку, требуя слова.

Когда рукоплескания смолкли и воцарилась тишина, он проговорил:

— Господа! Лучшая оценка моих лекций — это переполненная аудитория и внимание, с которым вы их слушаете. Другая форма оценки излишня... Она к тому же не разрешается правилами, и я покорнейше прошу вас, господа, не употреблять этой другой формы...

Проговоривши эти слова, которые Николай Сергеевич всегда говорил после взрыва одобрений, он поклонился студентам, спустился с кафедры и вместе с тем как будто спустился с той высоты настроения, на которой только что был, точно актер, возвратившийся от иллюзии сцены за кулисы.

И мысли об обвинениях жены опять взволновали Заречного. Они отравляли хорошее впечатление после лекции, оскорбляя самолюбие и нарушая привычный душевный покой, которым до сих пор пользовался жизнерадостный и довольный собою Николай Сергеевич.

«О, если б Рита видела, как его любят студенты и какие устраивают овации!» — думал он и досадовал, что Рита не может быть на его лекциях.

Он торопливо проходил через расступавшуюся толпу, когда его нагнали два студента-«издателя», записывавшие и издававшие его лекции.

Один из них, довольно пригожий, чистенький и свежий блондин с голубыми глазами и кудрявой бородкой, пользовавшийся расположением Заречного как способный и серьезно занимавшийся студент и изредка бывавший у него как знакомый, обратился к нему с деловым, озабоченным и в то же время восторженно-почтительным видом человека, благоговейно влюбленного в своего профессора:

— Николай Сергеевич! Разрешите побеспокоить вас на одну минутку.

И во всей подавшейся стройной фигуре, и в выражении глаз, и в тоне свежего, молодого голоса чувствовалась некоторая аффектация.

— Охотно разрешаю! — с приветливой шутливостью проговорил Николай Сергеевич, останавливаясь.— Что вам угодно, господин Васильков?

— Когда позволите принести вам лекции на проверку?

— Когда? Да хоть завтра! — рассеянно ответил Заречный.

— Завтра ведь юбилей Андрея Михайловича Косицкого! — почтительно подчеркнул студент имя и отчество юбиляра.

— Ах, да... я и забыл. Я буду, конечно, на юбилее. Кажется, и студенты подносят ему адрес?

— Как же, все курсы. Если угодно, я вам принесу сегодня же текст адреса, Николай Сергеич,— предупредительно промолвил белокурый студент.

— Нет, зачем же... Так завтра нельзя... В таком случае послезавтра...

— В котором часу прикажете?

— Я, кажется, свободен от шести до восьми вечера. В девятом часу заседание. Так послезавтра. Мы вместе просмотрим лекции, и я вас отпущу с миром... До свидания! — сказал Заречный, протягивая студенту руку, и пошел далее к выходу в библиотечную залу, где собирались во время перерыва лекций профессора.

Один низенький черноволосый студент, худой и бледный, с возбужденным, болезненным лицом, все время не отстававший от Заречного и видимо желавший, но не решавшийся к нему подойти, наконец решился приблизиться к профессору, когда тот уже был у дверей, и, полный

смущения, произнес чуть не с мольбою в глухом своем голосе:

— Господин профессор, господин профессор!

Заречный приостановился, останавливая рассеянный взгляд на незнакомом студенте.

— Что вам угодно?

— Мне очень нужно... необходимо поговорить с вами, господин профессор.

— Сделайте одолжение... Только говорите короче... Мне некогда.

— Нет, не здесь... Позвольте прийти к вам на квартиру... Мне хочется о многом спросить вас... И насчет книг и... и вообще. Я понимаю, что слишком нахален, обращаясь к вам с такой просьбой... Время у такого человека, как вы, драгоценно... Но не откажите... Пожертвуйте десятью—пятнадцатью минутами... Ведь вы не откажете? — возбужденно и слегка задыхаясь, видимо смущенный, говорил этот болезненный, невзрачный студент с задумчивыми и большими, точно глядящими внутрь глазами, одетый в очень ветхий сюртук.

— Охотно приму вас... Как ваша фамилия?

— О, благодарю вас, господин профессор,— радостно воскликнул студент.— Я был уверен, что вы не откажете... А моя фамилия Медынцев.

— Вы на первом курсе?

— На втором, господин профессор.

— Так приходите как-нибудь на неделе... В пятницу, например, около пяти часов... С удовольствием побеседую с вами, господин Медынцев... и постараюсь дать вам указания насчет книг и ответить на ваши вопросы, насколько я в них компетентен! — ласково ответил Николай Сергеевич, отводя участливый взгляд со впалых щек, на которых горел лихорадочный румянец.

«Бедняга совсем плох на вид!» — подумал Заречный и, приветливо кивнув головой студенту, скрылся в дверях.

VI

В небольшой комнате перед библиотечной залой было три профессора. Двое из них о чем-то оживленно беседовали, а третий — высокий худощавый старик, с узкой, коротко остриженной, начинавшей седеть головой, гладко выбритый, без бороды и без усов, с умным и несколько саркастическим взглядом небольших острых и холодных глаз,—

он сидел в стороне с высокомерным спокойствием олимпийца, не обращая, по-видимому, ни малейшего внимания на двух своих коллег и на их разговор.

Это был заслуженный профессор Аристарх Яковлевич Найденов, известный ученый и знаток своей специальности, пользовавшийся большим влиянием благодаря своему недюжинному уму, связям в административном петербургском мире и замечательному уменью приспособляться ко всяким веяниям в течение тридцатилетней своей службы и в то же время не пользоваться заслуженной репутацией совсем наглого по беспринципности человека. Напротив, он умел, когда нужно, быть двуликим Янусом, посмеиваясь в душе над каждой из партий, считавшей его по временам своим. Он занимался наукой и в то же время ухитрился как-то устроиться еще при нескольких министерствах, так что получал в общем довольно много денег и, как говорили, имел небольшое состояние. Читал он лекции сухо, как-то нехотя, словно бы не желая спускаться с научных высот до уровня своих слушателей, и студенты посещали его курс больше по обязанности, и на лекциях у него бывало не более двадцати человек. А лет двадцать тому назад Найденов был едва ли не самый популярный профессор в Москве и читал в те времена блистательно...

В последнее время Найденов даже перестал быть и Янусом,— не стоило,— и с нескрываемым цинизмом оплевывал то, чему прежде считал нужным поклоняться, и даже самую науку умел приспособить к собственной карьере. Давно уж он держался вдалеке от своих коллег и жил замкнуто, сохранив отношения с очень немногими профессорами.

Заречный был учеником Найденова и в значительной степени обязан был ему и своими знаниями и своею кафедрой. Несмотря на циничные взгляды и несимпатичное поведение своего бывшего учителя, Николай Сергеевич поддерживал с ним отношения, изредка бывал у него и по старой памяти даже несколько побаивался его ядовитых и подчас злых насмешек, особенно в научных спорах.

— По-прежнему, любезный коллега, срываете аплодисменты, пожиная плоды своей популярности? — самым серьезным тоном проговорил старый профессор, слегка кивая головой и протягивая сухую, тонкую руку подошедшему к нему Заречному.

Тот вспыхнул, но ничего не ответил. Он прежде поздоровался с двумя коллегами и, вернувшись к Найденову, сказал:

— Я не нщу нн аплоднсментов, ни популярностн, Арнстарх Яковлевнч.

— Ну еще бы. Она сама идет к счастлнвцам, подобным вам... Да вы не серднтесь, Нnколай Сергеевнч. Я ведь ннчего не желаю сказать непрнятного своему бывшему ученнку. Право. Я мог бы только радоваться вашнм успехам, еслн б не знал, как непостоянна волна человеческого счастья, дорогой мой.

Лнцо старика по-прежнему было серьезно, когда он говорил свою иронннческую тнраду, только бескровные, тонкне губы его чуть-чуть перекоснлнсь да в серых глазах играла едва заметная лукавая улыбка.

— Я по опыту знаю все это, Ннколай Сергеевнч. И от популярностн в свое время вкуснл, н имел честь быть освнстанным, за что, впрочем, не в претензнн, нбо свнст этот много помог мне в дальнейшей жнзнн. А вы знаете, за что я был освнстан? — понижая голос, спроснл старнк.

Заречный слышал об этой давнишней нсторнн, но нз делнкатностн сказал, что не знает.

— Молодым дуракам, которые теперь наверное уж сделалнсь почтеннымн дуракамн, не понравилось то, что я нм однажды прочел на лекцнн. Им показалось нелиберально, и онн меня быстро разжаловалн нз нзлюбленных в подлецы. У нас ведь так же быстро пронзводят, как н разжаловывают, в чнны. Сегодня нзлюбленный, а завтра подлец, н наоборот.

Найденов прнмолк и, когда нз комнаты вышли два профессора, заговорил, конфнденцнально поннжая голос:

— А все-такн позвольте мне вам дать дружескнй совет, Ннколай Сергенч.

— Какого рода?

— Среднего, собственно говоря... Не претендуйте на плохую остроту,— усмехнулся Найденов...— Не позволяйте аплоднровать себе. Я знаю: вы умный человек. Я понимаю: положенне нзлюбленного обязывает. Но ведь и жалованье остается жалованьем, а дальше ординатура, добавочные н так далее. Не так лн? Так уж вы завтра на юбнлее Коснцкого не очень-то давайте волю вашему блестящему ораторскому таланту. Сообщаю это вам к сведенню.

Слова старого цнника производнли впечатленне ударов бнча, невольно напомнная слова Рнты. Но Заречный решнл выслушать все до конца н сдержнвал свое негодованне.

— Ну, а затем мне, кажется, пора н отбывать повинность! — продолжал Найденов, взглядывая на часы.

Поморщнвшнсь, Найденов леннво поднялся с кресла.

Длинный, худой и прямой, с приподнятой головой, с бесстрастным, казалось, выражением желтоватого, морщинистого, гладко выбритого лица, он в своем вицмундире совсем не походил на профессора, а напоминал скорей какого-нибудь значительного чиновника.

Глядя в упор пронизывающими глазами на Заречного, он самым любезным тоном проговорил, складывая свои тонкие блеклые губы в приветливую улыбку:

— А ведь вы, Николай Сергеич, совсем редко заглядываете к бывшему своему профессору. Это не совсем мило с вашей стороны.

Заречный был удивлен. Никогда раньше Найденов не звал к себе Николая Сергеевича и не упрекал за редкие посещения.

— Я очень занят, Аристарх Яковлевич, да и боюсь вам помешать! — уклончиво отвечал Заречный, несколько смущенный...

Насмешливая улыбка мелькнула в глазах Найденова.

— Я не такой занятой человек, как вы, Николай Сергеич... Меня не разрывают на части, как вас, и, следовательно, ваша боязнь помешать мне несколько преувеличена. Я почти всегда у себя в кабинете, любезный коллега... Копаюсь в архивных бумажках... вот и все мое дело. Так уделите часок вашего драгоценного времени и навестите меня на днях. Кстати, у меня к вам и дельце есть. При свидании объясню... Хоть мы и числимся в противоположных лагерях — вы в либералах, а я в обскурантах,— но это, надеюсь, не послужит препоной заехать ко мне. В Европе этим не смущаются... Не правда ли? — усмехнулся старик.

— Я заеду.

— Пожалуйста. Побеседуем... А вы мне расскажете, как отпразднуют юбилей Андрея Михайловича. Газеты хоть и дадут сведения, но сухие...

— А разве вы не будете завтра на обеде, Аристарх Яковлевич?

— Нет. Я вообще, видите ли, небольшой охотник до театральных зрелищ и, во всяком случае, предпочитаю Малый театр колонной зале «Эрмитажа».

— Но адрес Косицкому вы подписали?

— Кто вам сказал? И адреса не подписал. Разумеется, не по тем глубоким соображениям, по которым, говорят, затруднялся подписать один наш умный коллега. Вы тоже, конечно, слышали, что этот коллега находил неприличным подписать свою знаменитую фамилию не

во главе списка... И так как впереди места не было, то бедняга оказался в большом затруднении... Напрасно ему не посоветовали подписаться сбоку и обвести свою фамилию рамкой... Тогда он совсем бы выделился... Но только я не подписал адреса по другим соображениям.

Заречному, знавшему, как скептически вообще относится Найденов к коллегам, и в особенности к тем, которые стараются по возможности сохранить свое достоинство, хотелось позлить старика, и он спросил:

— Почему же вы не подписали, Аристарх Яковлевич? Разве вы находите, что деятельность Косицкого не заслуживает адреса?

Лицо Найденова перекосилось от злости. Глаза заискрились. И он, медленно растягивая слова, произнес своим тихим, скрипучим голосом:

— А какая такая деятельность Косицкого? Я, признаться, о ней не знаю.

— Профессорская, ученая и вообще общественная, Аристарх Яковлевич.

— Профессорская?! Вызубрил когда-то две-три книжонки и с тех пор по ним читает свой курс. Не очень-то полезны такие профессора университету... а две статейки, напечатанные в журналах, вот все плоды его ученой деятельности... Впрочем, вы, конечно, не согласны со мной? — неожиданно оборвал старик, видимо сдерживая себя.

— Не согласен, Аристарх Яковлевич. Косицкий, конечно, не великий ученый, но...

— Но,— перебил Найденов, смеясь,— в шестьдесят лет все еще подает надежды... И разумеется, один из независимых, честных и безупречных служителей науки... Так, что ли, изображено в адресе?.. Или еще чувствительнее?

— Приблизительно так.

— Ну и на здоровье... А в речах вы его хоть в угодники произведите. Опровергать ходячее мнение не стоит... Да и некогда! И то мои студенты, пожалуй, уже ласкают себя надеждой, что я не буду им сегодня читать.

Старик снова взглянул на часы и уже совсем спокойно промолвил:

— А приветственную телеграмму Косицкому я все-таки пошлю.

— Пошлете? — удивленно спросил Заречный.

— Обязательно.

— За что же?

— А за то, что Андрей Михайлович хоть и прикидывается добродушным простачком, а в сущности умный и осмот-

рительный человек. Тридцать лет прослужить в звании российского профессора, да еще при разных курсах, тридцать лет слыть и знающим, и честным, и безупречным и быть на отличном счету и у начальства, и у коллег, и у студентов, и у общества, это, во всяком случае, свидетельствует об уме... А я прежде всего почитаю ум. Ну, и, кроме того, не хочу ссориться с Андреем Михайловичем. Однако я заболтался с вами. До свидания. Привет вашей супруге... Не забудьте же дружеских советов вашего благоприятеля, любезный коллега, если только хотите со временем праздновать свой юбилей. И помните, что я жду вас! — властным тоном, словно приказывая, прибавил старик.

Он слегка пожал руку Заречного и неспешной, размеренной походкой направился к дверям. Он выше и надменнее поднял голову и принял еще более суровый вид, когда вошел в аудиторию и увидал там всего десятка два слушателей.

А когда-то к нему на лекции сбегались студенты со всех факультетов.

VII

Заречный читал еще одну лекцию, потом ездил по разным делам, частью общественным, частью личным, и в седьмом часу вечера возвращался домой усталый, голодный и в отвратительном настроении.

В другое время он отнесся бы с молчаливым презрением к тому мнению о нем, какое так недвусмысленно слышалось в словах Найденова. Николай Сергеевич знал, что эта «озлобленная каналья» судит людей по себе и считает всех либо беспринципными циниками, как он сам, либо лицемерами, либо дураками. Только последние, по его мнению, могут быть порядочными людьми и верить в идеалы.

Немудрено, что он и на своего бывшего любимого ученика смотрит со скептицизмом старого циника. Но прежде, по крайней мере, он не говорил ему откровенностей прямо в глаза и с таким презрительным высокомерием, как сегодня. Сегодня старый авгур словно бы поощрял молодого.

И Заречный досадовал, что не оборвал старика и вообще был слишком терпим к нему и раньше. Но все-таки нельзя не ценить в нем крупного ученого и нельзя забыть учителя, которому многим обязан. И наконец, резкость не в характере молодого профессора!

Так, по крайней мере, объяснял себе Заречный свою сдержанность перед Найденовым, не думая или стараясь не думать, что, кроме этих причии, были еще и другие: боязиь иавлечь на себя злобу влиятельного в уииверситете профессора, который всегда мог иапакостить, и приобретеииая еще во время студеичества привычка: почтительио выслушивать иасмешки ядовитого профессора в качестве одного из его любимцев.

Но самое оскорбительиое для самолюбия Николая Сергеевича, самое убийственное для иего заключалось в том, что уиизительные комплименты Найдеиова и суровые обвииеиия Риты выражали собою одно и то же.

И любимая жеищина и умиый старик профессор ие верили его искрениости.

Вообще весь разговор с Найденовым производил иа Николая Сергеевича скверное впечатлеиие, иапомииая ему слова Риты и смущая его.

«И что ему от меия иужио? Какое такое дело?» — задавал он себе вопрос, хорошо поиимая, что Найдеиов так иастойчиво его зовет исключительио по делу, а ие для приятиых бесед.

Сперва Заречный было подумал, что ие поедет, ио затем решил ехать. Свидание ведь ии к чему не обязывает — ни в какие дела, кроме специальио-иаучиых, ои с Найдеиовым, разумеется, ие войдет,— а между тем визит этот поможет уясиить ему свое положение.

Его несколько беспокоили эти «дружеские предупреждения» относительио осторожиости. Вероятио, Найдеиов предостерегал не без каких-нибудь осиований — иедаром же он дружеи с властями и первый узиаёт обо всем.

Размышляя об этом, молодой профессор испытывал тревогу хорошо устроившегося, любящего известиый покой человека, иеожидаиио узиавшего, что положеиие его, которое он считал прочным, оказывается далеко ие таким. И одновремеиио с этим чувством тревоги ои подумал, что в самом деле иадо быть осторожным, и кстати припомиил и еваигельское изречеиие о змеиной мудрости. Надо ие давать ни малейшего повода к формальиым придиркам... Непремеиио следует прекратить аплодисменты и сказать студеитам, чтобы оии берегли своего профессора. Ведь глупо же, в самом деле, из-за какого-иибудь пустяка бросить любимое заиятие и лишить студеитов хороших лекций. Нелепо рисковать местом и остаться без куска хлеба. Эта перспектива всегда была больиым местом Николая Сергеевича. И без того его озабочивали запутаииые деиеж-

иые дела и долгн. Сегодня только что пришлось переписать вексель н заиять сто рублей.

Коиечио, на его глазах творится иемало сквериого и глупого, и ои бессилен помешать этому сквериому и глупому...

Это только Рита всюду иаходит поводы и не хочет понять, что в жнзнн нензбежиы иекоторые компромиссы. Лучше делать возможно хорошее, чем инчего ие делать.

Эта мысль увлекла его, и в голове молодого профессора складывался стройиый ряд блестящих положеиий, убедительиых доказательств. И как это все ясио! Какая могла бы выйти чудиая речь и вместе с тем какое иеотразимое оправдаине всей его деятельиости.

И Заречиого внезапно осенила идея: сказать завтра иа юбилее речь на эту тему. Эта речь произведет иа Риту впечатлеиие. Она поймет свою вииу перед иим и, правдивая, подойдет к иему и скажет: «Николай! Я вниновата!»

«Может быть, оиа н теперь сознает, что была иесправедлива ко мие, н ждет моего возвращеиия!» — радостио мечтал Заречиый, потарапливая извозчика.

Но когда он подъехал к малеиькому особиячку и позвоиил, эти радостные мечты мгиовеиио исчезли, и Николай Сергеевич вошел в прихожую далеко ие с тем радостиым видом, с каким входил обыкиовеиио, возвращаясь домой.

— А барыии разве дома иет? — спросил ои у гориччиой, когда, войдя в столовую, увидел одии прибор иа столе.

— Барыия дожндались вас до шести часов, откушали и ушли...

— Давио?

— Только что.

Ои взглянул на часы. Было без пяти семь. Ои действительио сильио запоздал, ио, случалось, Рита терпеливо поджидала его, зная, что не любит обедать одии.

«А теперь не захотела. Ушла!» — тоскливо подумал Заречиый, чувствуя себя обиженным, и проговорил:

— Давайте скорей обедать. Я есть хочу!

Несмотря на печальиое иастроеиие, Николай Сергеевич уписывал обед с жадным аппетитом сильио проголодавшегося человека, ио, покоичив обед, пил пиво, бокал за бокалом, с такнм мрачиым видом, что возбудил к себе искреииее участие в молодой пригожей гориичной. Оиа слышала одиим ухом разговор между супругами и, прииимая стороиу красавца профессора, иаходила, что ои уж слишком обожает жену.

Вставая из-за стола, профессор спросил у Кати:

— Был кто-нибудь?

— Один господин был.

— Кто такой? Оставил карточку?

— Господин Невзгодин. Они у барыни были.

Заречного точно что-то кольнуло. Он знал, что Невзгодин был горячим поклонником Риты и что она расположена к этому шалопаю, как он его называл.

«Зачем он явился сюда из Парижа?»

— Невзгодин? — переспросил Заречный.— Вы не перепутали фамилию, Катя?

— Что вы, барин?.. Такая нетрудная фамилия... Такой маленький, аккуратненький господин... Из-за границы приехали! — докладывала Катя, прибирая со стола.

Ревнивое чувство охватило профессора, и он чуть было не спросил: долго ли сидел у жены Невзгодин. Стыд допроса горничной удержал его. Однако он не уходил из столовой.

И Катя сама поспешила удовлетворить его любопытство и в то же время доставить себе маленькое удовольствие произвести опыт наблюдения и с самым невинным видом болтушки прибавила:

— Барыня собирались было уходить, уж и шапочку надели, когда приехал господин Невзгодин,— но остались... И этот барин просил доложить, что на минутку, а сами целый час просидели.

— Я вас не спрашиваю об этом! — резко проговорил Заречный, чувствуя, что краснеет.

— Простите, барин... Я думала...

— Разбудите меня, пожалуйста, в восемь часов! — перебил, смягчая тон, Заречный и направился в кабинет.

Этот небольшой кабинет, почти весь заставленный полками, набитыми книгами, с большим письменным столом, на котором, среди книг, брошюр и мелко исписанных листков рукописи, красовалось несколько фотографий Маргариты Васильевны, показался теперь Николаю Сергеевичу каким-то гробом — тесным и мрачным...

Он снял вицмундир, надел фланелевую блузу и прилег на оттоманку, надеясь отдохнуть хоть полчаса. В восемь ему непременно надо ехать на заседание общества, в котором он председателем. Не быть там никак нельзя... Он читает реферат, и заседание наверное затянется.

Но заснуть Заречный никак не мог. Ревнивые мысли переплетались с воспоминаниями об обиде, нанесенной

ему утром женой, и наполняли мучительной тоской его душу, возбуждая мозг до галлюцинаций.

Ему представлялось теперь почти несомненным, что Рита для него потеряна. В Невзгодине она найдет не только влюбленного поклонника, но и единомышленника. Этот донкихотствующий зубоскал, конечно, постарается отличиться перед Ритой радикальным скептицизмом. Он и раньше щеголял этим. Ничего не делал и только подсмеивался — это ведь так легко и ни к чему не обязывает.

При мысли о том, что Рита может его бросить, Заречный чувствовал себя глубоко обиженным и несчастным, и какая-то самолюбивая злоба отвергнутого самца охватывала его, когда он представлял себе Риту в объятиях Невзгодина. И ему хотелось унизить этого человека в глазах Риты. Он при первой же встрече это сделает...

Нет... он так не поступит. Он останется джентльменом. Он не будет мешать им... Если она полюбила... если она...

Мысли путались в возбужденной голове профессора. Он точно вдруг очутился в какой-то бездне противоречий и не находил выхода.

Тук-тук-тук!

— Восемь часов, барин!

— Хорошо.

Он торопливо оделся и, выходя, как-то застенчиво проговорил:

— Я, вероятно, поздно вернусь и не хочу беспокоить барыню. Сделайте мне постель в кабинете.

— Слушаю-с.

Заречный действительно вернулся поздно. Когда на другой день он встал в девять часов, чтоб поспеть на лекцию, а оттуда ехать к юбиляру, Маргарита Васильевна еще не выходила из спальни.

— Передайте барыне, что если она хочет быть на юбилее, то пусть приезжает одна. Мне никак нельзя заехать за ней! — сказал Заречный, осматриваясь в трюмо.

В хорошо сшитом фраке и белом галстухе, он глядел совсем красавцем. Несколько осунувшееся, побледневшее лицо и слегка ввалившиеся глаза, вследствие бессонной ночи, придавали ему еще более интересный вид.

VIII

За четверть часа до шести Невзгодин подъехал с Неглинной к небольшому подъезду отдельных кабинетов «Эрмитажа». Озябший на сильном морозе, он торопливо сунул извозчику деньги и вошел в ярко освещенные сени. Приятное ощущение тепла и света охватило его.

Два видных швейцара, остриженные в кружок и, по московской моде, в черных полукафтанах и в высоких сапогах, приветливо поклонились гостю.

— Вы на обед в честь Андрея Михайлыча? — осведомился один из них, помоложе, снимая с Невзгодина его, несколько легкое для русской зимы, парижское пальто с маленьким барашковым воротником.

— Да...

Невзгодин невольно улыбнулся и несколько торжественному выражению лица молодого востроглазого ярославца, и значительному тону, каким отчеканил он имя и отчество юбиляра, с московскою почтительностью не называя его по фамилии.

— А вы знаете, кто такой Андрей Михайлыч?

— Помилуйте-с... Как не знать-с Андрея Михайлыча! — обидчиво заметил молодой швейцар.— Известные ученые и профессоры... Я их не раз видел... Бывают у нас.

«Вот она, популярность!» — подумал Невзгодин и спросил:

— Собралось еще немного?

— Человек ста полтора, пожалуй, уже есть! — отвечал швейцар, помахивая черноволосой головой на вешалки, полные шуб.

— Ого! — удивленно воскликнул Василий Васильевич, хорошо знавший привычку москвичей опаздывать.

— А ждем свыше двухсот персон-с! — не без гордости продолжал швейцар.— Извольте получить нумерок!

Оправившись перед зеркалом, которое отразило небольшую статную фигуру в отлично сидевшем парижском новом фраке, Невзгодин поднялся наверх и остановился на площадке, у столика, где собирали за обед деньги. Заплативши семь рублей и написавши на листе свою фамилию, он хотел было двинуться далее, как его окликнул чей-то высокий, необыкновенно мягкий тенорок...

В этом маленьком толстеньком пожилом господине во фраке и в белом галстухе,— выскочившем с озабоченной физиономией из коридора к столику,— Невзгодин сразу узнал Ивана Петровича Звенигородцева — всегдашнего

устроителя юбилеев и распорядителя иа торжествеииых обедах, известиого застольиого оратора и зиакомого со всей Москвой присяжиого повереииого.

Выражеиие озабочеииости виезапио исчезло с его лица. Румяиеиькое, заплывшее жирком, с жидеиькой бородкой и малеиькими блестящими глазками, полиыми плутовства и вместе с тем добродушия, оио теперь все сияло радостиою улыбкой, словио бы Звеиигородцев увидал перед собою лучшего своего друга. И, иесмотря иа то, что Иваи Петрович был очеиь мало зиаком с Невзгодииым и считал его, как и миогие, пустым зубоскалом, ои, как кореииой москвич, широко раскрыл свои объятья и троекратио облобызал Невзгодииа иеобыкиовеиио крепко и сочио.

— Давио ли, Василий Васильевич, к иам из Парижа? — ласково и певуче спрашивал Звеиигородцев, задерживая руку Невзгодииа в своей пухлой потиой руке.

— Вчера.

Осторожио высвободив руку, Невзгодии отер губы.

— Как раз иа юбилей попали... Увидите, дорогой Василий Васильевич, как у иас хороших людей чествуют... Двести пятьдесят человек записались иа обед... Было бы и вдвое больше, ио мы отказывали... Нельзя же всех пускать, без строгого выбора... Ну и устал же я сегодия. Хлопот, я вам скажу, с этими юбилеями! И иавериое в иазиачеииый час публика ие соберется. Уж скоро шесть, а всего только сто шестьдесят человек. Надо дать зиать, чтобы юбиляра привезли ие раиьше половииы седьмого...

И Звеиигородцев тут же распорядился об этом.

— Разве юбиляра привезут?

— Обязательио, и в четырехместиой карете. Или вы забыли московский юбилейиый чии? А еще москвич!

— Кто же привезет Косицкого?

— Двое. Представитель старого поколеиия профессоров: Лев Александрович Цветиицкий и представитель молодой иауки: Николай Сергеич Заречиый.

— А Маргарита Васильевиа здесь?

— Не видал. Кажется, еще ие приезжала. А вы что же?.. Все еще поклоияетесь гордой аигличаиочке?.. А хорошеет с тех пор, как замужем... Прелесть что за жеищииа. Вот увидите! — оживлеиио и щуря глаза прибавил Звеиигородцев.

— Давио ие поклоияюсь, Иваи Петрович... И я иедавио жеиился...

Звеиигородцев горячо поздравил Невзгодииа и, заметив, что тот собирается отойти, остаиовил его словами:

— На одну минутку, Василий Васильич!

Отведя Невзгодина в сторону, он проговорил, слегка понижая свой тенорок и принимая значительный вид человека, озаренного счастливою мыслью:

— Челом вам бью, Василий Васильевич! Не откажите.

— В чем?

— Вы ведь, я слышал, занимались в Париже науками?

— Занимался.

— Так знаете ли что? Скажите, голубчик, за обедом речь Косицкому в качестве представителя от русских учащихся в Париже. Это будет, я вам скажу, эффектно и очень тронет старика...

Невзгодин рассмеялся.

— Да как же я буду говорить, никем не уполномоченный?

— Так что за беда! Разве на вас будут в претензии за то, что вы почтите хорошего человека? Косицкий ведь не Найденов... Он сохранил традиции и вполне наш... Право, скажите, Василий Васильич, несколько теплых слов... Сделайте это для меня... Я вас запишу... Вы будете говорить пятнадцатым... идет?

— Нет, не идет, Иван Петрович. Не записывайте... я говорить не стану.

— Экий вы какой! Ну в таком случае скажите что-нибудь от своего имени... Вы ведь хорошо говорите.

— Совсем не умею...

— Полно, полно... Я помню, вы раз говорили на каком-то обеде... Сколько остроумия, сколько...

Звенигородцев вдруг оборвал речь и, засиявший, с замаслившимися глазками, бросился, словно ошалелый кот, к поднимавшейся по лестнице молодой хорошенькой даме.

«Все тот же юбочник!» — подумал, улыбаясь, Невзгодин и быстрыми шагами пошел по коридору, мимо отдельных кабинетов, встречая бесшумно снующих половых в их ослепительно белых рубахах и шароварах.

Отворив белые с золотом двери, он вошел в знаменитую колонную залу «Эрмитажа», в которой Москва дает фестивали и упражняется в красноречии.

В большой белой зале, ярко освещенной светом громадной люстры, три длинные стола, расположенные покоем, были уставлены приборами, сверкая белизной столового белья и блеском хрусталя. Длинный ряд бутылок и массивные канделябры дополняли сервировку.

Мужчины, большею частью во фраках и белых галстухах, дамы в светлых нарядных туалетах наполняли про-



«Жрецы».
Художник Ю. Хайлов

странство у колонн и между столами. У всех были праздничные лица. Шел оживленный говор, и до ушей Невзгодина часто доносилось имя юбиляра. Видимо, он сегодня был главным предметом разговоров собравшейся публики.

Невзгодин торопился занять два места рядом, стараясь найти их поближе к среднему столу, где должен был сидеть юбиляр. Ему хотелось рассмотреть поближе разные московские знаменитости и лучше слышать речи. Но мест вблизи почетного стола уже не было — во всех стаканах или рюмках торчали карточки, так что Невзгодин нашел два места рядом в конце одного из боковых столов.

Взглянув на изящное меню с портретом юбиляра, лежавшее у каждого прибора, он направился к выходу, чтобы встретить Маргариту Васильевну.

Это было не так-то легко. Публика все прибывала, и на пути Невзгодину приходилось останавливаться, чтобы удовлетворять более или менее праздное любопытство знакомых, отвечая на одни и те же вопросы и восклицания удивления, что он в Москве, что женат, что занимался химией и написал повесть.

Оказалось, что про него уж все было известно, хотя сам он еще и не был известностью.

Наконец он выбрался к дверям.

Через несколько минут он увидал Маргариту Васильевну. Она вошла одна и была очень изящна и мила в своем черном шерстяном платье, оттенявшем ослепительную белизну ее красивого строгого лица.

Она тихо подвигалась среди толпы, щуря близорукие глаза и слегка наклоняя голову в ответ на поклоны знакомых.

Невзгодин подошел к ней.

— Вы давно здесь? — спросила она, радостно улыбаясь, и по-приятельски пожала руку Невзгодина.

— Приехал к шести, как назначено... по-европейски.

— А я по-азиатски опоздала... И какой же вы нарядный во фраке, Василий Васильевич! — прибавила молодая женщина, оглядывая Невзгодина.

— И какая же вы интересная в своем черном платье, Маргарита Васильевна! — тем же тоном отвечал Невзгодин.

— Будто? — кокетливо уронила Маргарита Васильевна, оживляясь и видом нарядной толпы, и комплиментом Невзгодина.

— Уверяю вас, что говорю без малейшего пристрастия! — подчеркнул он.

— Здесь все в светлых нарядах, а я — монашкой.

— И все-таки вы одеты лучше всех.

— А Аносова?

— Великолепная вдова? Я ее не видал. Она разве будет? Что, в сущности, ей Гекуба и она Гекубе? А впрочем, московские дамы от скуки ездят не только на юбилеи, но даже и на заседания юридического общества... Так Аносова будет?

— Непременно. По крайней мере утром говорила, что будет.

— Вы разве с ней знакомы?

— Сегодня познакомилась. Была у нее по делу. Очень она мне понравилась.

Они на минуту остановились. Заречная поздоровалась и обменялась несколькими словами с какой-то дамой.

— И вы, Василий Васильевич, кажется, знакомы с Аносовой? — продолжала Маргарита Васильевна, когда они двинулись далее.

— Как же, сподобился нынешним летом в Бретани. Так вам великолепная Аглая Петровна даже очень понравилась? Верно, удивила чем-нибудь по благотворительной части?

— Именно... удивила. Обещала пятьдесят тысяч на одно дело, о котором мы с вами еще будем беседовать. А вам разве Аносова не нравится? — спросила Заречная, останавливая пытливый взгляд на Невзгодине.

Он нисколько не смутился от этого взгляда и спокойно ответил:

— Нравится, как хороший экземпляр роскошной женской красоты.

— И только? — с живостью кинула Маргарита Васильевна.

— Ну и неглупая, характерная женщина, изучавшая даже Шелли... А вообще не моего романа.

— Не вашего? — весело промолвила Заречная, внезапно обрадованная эгоистически-радостным чувством женщины, прежний поклонник которой не сотворил себе нового кумира.

Помолчав, она прибавила:

— А вы, Василий Васильич, кажется, могли бы быть героем ее романа?

Невзгодин несколько смутился и не без раздражения спросил:

— Откуда сие, Маргарита Васильевна?

— Плоды моих наблюдений над Аглаей Петровной,

когда мы говорили о вас! — смеясь ответила молодая женщина.

— Так они ошибочны. По крайней мере, я не замечал этого.

— А я заметила! — настаивала Заречная.

— И, признаться, я не особенно был бы польщен благоволением красавицы вдовы, если б у нее и явился такой невероятный каприз...

— Отчего невероятный?.. Разве вы не можете понравиться?

— Только не Аносовой. Поверьте, что она с ее красотой и миллионами давно нашла бы себе героя,— и, конечно, не такого невзрачного, как ваш покорнейший слуга,— если б чувствовала в том потребность...

— Но она вас все-таки заинтересовала. Вы часто с ней виделись в Бретани?

— Еще бы! Эта современная московская купчиха с отличным английским выговором, с ласковым взглядом бархатных глаз, скрывающим холодную жестковатость натуры, крайне любопытна и стоит изучения. В самом деле, в ней как-то уживаются вместе расточительная благотворительница и самая отчаянная сквалыга... Наклонность к умственным отвлечениям и кулачество. Восхищение Шелли и обсчитывание рабочих...

— Будто?

— Наверное. Я знаю. Мой приятель был техником на одной из аносовских фабрик. Он кое-что мне порассказал. Рабочим там очень скверно, а управляющий-англичанин просто-таки скотина.

— И Аносова все это знает?

— Превосходно. Она баба-делец и сама во все входит. Она и Маркса читала, недаром же говорит, что капитализм — необходимая стадия развития... Герой ее — нажива.

— Вы, Василий Васильич, кажется, чересчур сгущаете краски... Разве Аносова при всем этом не женщина?.. Разве она не способна увлечься?

— Не способна. Слишком трезвенна и темперамент спокойный.

— Ну, так вы недостаточно ее изучили. Надо продолжать.

— Что ж, я не прочь... Здесь, в Москве, на своей почве она будет виднее, чем за границей! — засмеялся Невзгодин...— Ну, вот и наши места... Далеконько от юбиляра, но лучших не нашел, Маргарита Васильевна!

— И отлично, что далеко...

— А я недоволен. Пожалуй, и не расслышишь всех речей, а их будет много. Четырнадцать уж обеспечено!

— Четырнадцать? Это ужасно! Несчастный Косицкий!

— Ну и публика не особенно счастливая! Я, впрочем, намерен все речи слушать... Ведь два года не слыхал московского красноречия.

— А я постараюсь не слушать ни одной... Надоели они. И все одни и те же...

— Звенигородцев и меня просил сказать пятнадцатую речь.

— Что ж, скажите... Вас я буду слушать.

— Благодарю, но я речи не скажу.

И, объяснив просьбу Звенигородцева, Невзгодин прибавил:

— И ведь Звенигородцев не находит ничего странного, предлагая говорить речь от имени других... Меня же будет костить за то, что я отказался... Впрочем, нынче мало что считается предосудительным... читали в газетах объяснение одного петербургского профессора, уличенного в фабрикации анонимного письма?.. Какая развязность у этого профессора!.. Какой медный лоб!

— Ну и у здешних есть медные лбы.

— Не смею спорить, но все-таки наши до анонимных писем не доходили...

— А кто нашими соседями будут за обедом? Вы знаете, Василий Васильич?

— Сейчас узнаю.

Невзгодин взглянул на карточки, вложенные в стаканы по бокам занятых им приборов, и проговорил:

— Ваш сосед: молодой беллетрист Туманов... Вы его знаете?

— Знаю...

— Так познакомьте меня с ним. Он талантливые вещи пишет.

— А рядом с вами кто?

— Анна Аполлоновна Вербицкая. Кто такая?

— Не имею понятия...

— Я и того менее... Однако три четверти седьмого... есть хочется, а юбиляра не везут его ассистенты.

— Кто такие?

— Цветницкий и ваш супруг. Николай Сергеич, верно, будет сегодня говорить?

— Конечно! — промолвила Маргарита Васильевна, и тень пробежала по ее лицу.

В эту минуту раздался гром рукоплесканий. Толпа двинулась к дверям.

— Наконец-то будем закусывать! — весело сказал Невзгодин и стал аплодировать, приподнимаясь на цыпочки, чтоб увидать юбиляра.

Но вместо него в глаза Невзгодина бросилась крупная, статная фигура Заречного.

Прислонившись к колонне близ входа и высоко подняв свою красивую голову с гривой волнистых черных волос, он жадным, неспокойным взглядом всматривался в толпу, словно кого-то искал.

«Жену ищет!» — подумал Невзгодин и незаметно взглянул на Маргариту Васильевну.

Прежнего оживления уже не было в ее побледневшем, казалось, лице. Серьезная и почти суровая, она тоже смотрела на красавца мужа, и в ее серых глазах блестел злой огонек, и тонкие губы складывались в презрительную улыбку.

— Что ж вы не аплодируете, Маргарита Васильевна? Косицкий этого стоит. Он прелестный человек!

— Все они прелестные! — с каким-то порывистым озлоблением произнесла молодая женщина.

Встретив удивленный и пытливый взгляд Невзгодина, она внезапно покраснела, точно досадуя на свою несдержанность, и прибавила:

— Я сегодня в злом настроении.

— Косицкий, право, порядочный человек. Я немножко знаю его и помню, как джентльменски он провалил меня на экзамене, хоть и благоволил ко мне!

«Пахнет серьезной драмой и, кажется, последним актом!» — решил про себя Невзгодин и, как истинный беллетрист, почувствовал даже некоторую радость при мысли о возможности близкого наблюдения этой драмы.

И он снова захлопал, увидавши наконец юбиляра.

IX

Улыбаясь растерянной и словно бы виноватой улыбкой, маленький, худенький старичок в мешковатом фраке, с седой бородой клином и с длинным носом, придававшим его добродушному лицу несколько птичий вид, кланялся направо и налево, двигаясь мелкими шажками среди рукоплескавшей толпы, и поминутно останавливался, чтобы пожать руки встречающимся знакомым и благодарить за

поздравления, добавляя слова благодарности взглядом, который будто говорил, что он, Андрей Михайлович Косицкий, не виноват во всем том, что происходит, и просит снисхождения.

Не ожидавший такого многолюдства и сконфуженный аплодисментами и тем, что служит предметом общего внимания, он, видимо, находился в затруднении: в какую сторону залы ему направиться, остановиться ли или идти, и что вообще предпринять. В этот затруднительный момент он невольно вспомнил совет своей супруги, преподанный еще сегодня утром: «Не быть хоть на юбилее рассеянной фефелой и держать себя с достоинством!»

«Ей хорошо давать указания, а попробовала бы она быть в моем положении!» — невольно подумал смущенный и взволнованный юбиляр, снова кланяясь на аплодисменты и обрадованно останавливаясь около знакомого, точно ища у него помощи.

Но Иван Петрович Звенигородцев недаром был превосходным распорядителем на всяких торжествах, и не напрасно же его в шутку звали «обер-церемониймейстером».

Как только смолкли приветственные рукоплескания, его кругленькая, толстенькая фигурка вынырнула из толпы, и он, сияющий и торжественный, словно бы сам был юбиляром, очутился около Косицкого и фамильярно, в качестве друга, подхватив его под руку, повел юбиляра, как послушного бычка на веревочке, в соседнюю комнату к громадному столу, сплошь уставленному всевозможными закусками.

— Ты, Андрей Михайлыч, кажется, померанцевую?

Это была первая обыденная фраза, которую сегодня услыхал старик. С утра к нему на квартиру являлись разные депутации, говорили речи в приподнятом тоне, волновавшие и трогавшие Андрея Михайловича. Он порядком таки устал и до сих пор находился в напряженном состоянии. Вопрос о водке словно бы возвратил его к привычной ему действительности, и он мог попросту ответить с шутливым укором, аппетитно поглядывая на закуски:

— А еще приятель! Я, Иван Петрович, очищенную!

— Прости, голубчик. Я и забыл... Это Лев Александрыч пьет померанцевую!

Звенигородцев налил две рюмки, но, прежде чем чокнуться, не мог, конечно, не выразить своих чувств публично. Распоряжаясь юбиляром, как своей собственностью, он привлек его к себе и так крепко поцеловал трижды в губы,

что шатавшийся передний зуб юбиляра чуть было не выпал, и Андрей Михайлович благодарно поморщился от боли.

Чокнувшись затем с юбиляром и проглотив рюмку водки, Звенигородцев куда-то исчез.

Толпа обступила плотной стеной закусочный стол. Закусывали, по московскому обыкновению, долго и основательно. Только бедняга юбиляр, несмотря на желание попробовать закусок основательно, никак не мог этого сделать и некоторое время стоял с пустой тарелочкой в руке, не имея возможности что-нибудь себе положить. К нему не переставая подходили добрые знакомые с поздравлениями и к нему подводили незнакомых почитателей и почитательниц его ученой деятельности, с которой они, впрочем, были незнакомы, считавших долгом выразить старику свое уважение. Поневоле приходилось отвечать, благодарить и пожимать руки и терять надежду полакомиться свежей икрой, до которой Андрей Михайлович был большой охотник.

Спасибо супруге — она выручила. Эта внушительных размеров, гренадерского роста и решительного вида дама, лет за сорок, сохранившая следы былой красоты и, судя по костюму и слишком оголенной шее, имевшая еще претензию производить впечатление,— не оставила и здесь, на юбилее, мужа без своего властного надзора, какой неослабно имела за ним в течение долголетнего супружества. Несколько удивленная, что с утра так чествуют Андрея Михайловича, которого она высокомерно всю жизнь считала фефелой и с которым дома обращалась, как неограниченная монархиня с своим верноподданным, вполне игнорируя, что он читал полицейское право,— госпожа профессорша возмутилась, увидавши, что Андрей Михайлович «мямлит», как она выражалась, с какою-то барышней и при этом даже умильно улыбается, вместо того чтобы есть хорошую закуску с таким же аппетитом и с таким же достоинством, с какими это делает она. И профессорша, решительно отстранив от стола какого-то господина, наложила полную тарелку свежей икры, достала хлеб и, подойдя к мужу, который перед ней казался карликом, нежно проговорила:

— Вот кушай, а то ты ничего не ешь!

Юбиляр благодарно и в то же время несколько боязливо взглянул на жену, принимая тарелку.

— Да ты лучше отойди в сторону, а то здесь тесно! — продолжала нежным тоном супруга.



«Жрецы».
Художник Ю. Хайлов

Барышня исчезла, и Андрей Михайлович покорно отошел за женой.

— Вот здесь никто не помешает тебе... Присядь к столу... Ты совсем сонный какой-то... И все точно боишься... Совсем не похож на юбиляра! — выговаривала она шепотом.— Чего еще хочешь... Я тебе принесу...

— Спасибо, Варенька... Мне довольно икры... А я, точно, устал... И наконец разве я мог ожидать... Столько сегодня неожиданной чести.

— Ну, ешь... ешь... И какая неожиданность... Ты разве не стоишь почета... Слава богу, тридцать лет профессором... Ешь... ешь... Не говори...

Юбиляр не заставил себя более просить и с удовольствием уплетал икру, оберегаемый супругой, которой почти все знакомые несколько побаивались, как очень решительной дамы.

Заречный еще в зале увидел жену и Невзгодина.

Он вел ее под руку и о чем-то весело ей рассказывал. Рита улыбалась! Заречный видел потом, как Невзгодин услуживал ей, подавая закуски, и теперь они опять вместе стоят в сторонке и снова оживленно разговаривают, не обращая ни на кого внимания.

Ревнивые подозрения с новой силой охватили молодого профессора. Он сделался мрачен, как туча, и украдкой наблюдал за Ритой и Невзгодиным. Откуда такая дружба между ними после того, как он был отвергнут и уехал из Москвы? О чем они говорят? О, как хотел бы Николай Сергеевич узнать, но к ним все-таки не подходил, не желая встречаться с этим пустейшим человеком, который вдруг сделался ему ненавистным. Он понимал неизбежность встречи если не здесь, не сегодня, то на днях, дома — этот «нахал» теперь зачастит к Рите,— но как человек нерешительный хотел встречу отдалить.

После юбиляра Николай Сергеевич, по-видимому, обращал на себя наибольшее внимание публики, и в особенности дам. К нему то и дело подходили, с ним разговаривали, ему восторженно улыбались, на него указывали, называя фамилию и прибавляя: «Известный профессор». Одна дама назвала его «неотразимым красавцем» так громко, что Заречный слышал, и умоляла познакомить ее с ним.

Но сегодня Николай Сергеевич был равнодушнее к проявлениям восторгов поклонения и, обыкновенно мягкий и ласковый в обращении с людьми, был сдержан, неразговорчив и меланхоличен.

Он выпил уже четыре рюмки водки, желая разогнать ревнивые думы, и скупо подавал реплики какой-то поклоннице, пережевывая кусок балыка. Глаза его невольно смотрели в ту сторону, где были Рита и Невзгодин.

«И каким стал франтом этот прежний замухрыга! Видно, более не отрицает приличных костюмов!» — со злостью думал Заречный.

В эту минуту откуда-то выскочил Звенигородцев и, обхватывая талию Николая Сергеевича, весело воскликнул:

— А ведь мы с тобой, Николай Сергеевич, не пили. Выпьем?

Звенигородцев со всеми более или менее известными людьми был на «ты».

— Пожалуй...

Они подошли к столу, чокнулись и выпили.

Пока они закусывали, Звенигородцев успел уже сообщить, торопливо кидая слова своим нежным и певучим голоском, о том, что Невзгодин — вот она, современная молодежь! — оказался просто-таки трусом. Иначе чем же объяснить его отказ сказать речь Косицкому?

— Прежде небось радикальничал. Помнишь? Все у него оказывались лицемерными болтунами, показывающими кукиши в кармане, а теперь и кукиш боится показать! Видно, как женился, так и того... Радикализм в отставку! — говорил Звенигородцев почти шепотком и при этом так добродушно и весело улыбался, точно он искренне радовался, что Невзгодин оказался трусом и вообще негодным человеком.

— Разве Невзгодин женат? — воскликнул Заречный. В голосе его невольно звучала радостная нотка.

— То-то женился. Только что сам мне сообщил. Да он разве у тебя не был?

— Был, но не застал дома.

— Говорят, и химию в Париже изучал. Что-то сомнительно. И повесть написал... мне сейчас говорил Туманов... И принята. Ну, да мало ли дряни нынче принимают! Признаться, я не думаю, чтобы Невзгодин мог написать что-нибудь порядочное... Как по-твоему?

— И мне кажется... Поверхностный человек...

— Брандахлыст, хоть и не лишен иногда остроумия. Да ты разве не видал его?

— Нет, не видал! — солгал Заречный.

— Он только что здесь был с Маргаритой Васильевной.

— А жена его с ним?

— Жена? Жены не видал. Верно, и она здесь! — ре-

шил Звенигородцев, отдававшийся иногда порывам вдохновения...— Однако пора юбиляра и к столу вести. А каков юбилейчик-то? Двести сорок человек обедающих... Ты будешь говорить пятым... не забудь!

С этими словами Иван Петрович исчез, отыскивая глазами юбиляра.

Несколько обрадованный вестью о женитьбе Невзгодина, Заречный направился к жене. Он застал ее одну. Невзгодин в эту минуту разговаривал около с известным профессором химиком.

— Я и не видался с тобой сегодня. Здравствуй, Рита! — с нежностью шепнул Заречный, протягивая жене руки и словно бы внезапно притихший при виде Риты.

— Здравствуй! — безучастно промолвила она.

Он пожал маленькую руку и сказал:

— Я тебе занял место за средним столом... недалеко от юбиляра... Около тебя будет сидеть профессор Марголин... Ты, кажется, его перевариваешь? — прибавил он с грустной улыбкой.

— У меня уже есть место.

— С кем же ты сидишь? Одна?

— Нет. Я буду сидеть рядом с Невзгодиным. Он на днях вернулся из-за границы, вчера был у меня, и я ему обещала.

Это подробное объяснение, которое почему-то сочла нужным дать Маргарита Васильевна, вызвало в ней досаду, и она покраснела.

— В таком случае виноват. С Невзгодиным, конечно, тебе будет веселее! — произнес Заречный взволнованным голосом.

— Разумеется, веселее, чем с твоими профессорами.

— А ты, Рита, все еще в чем-то обвиняешь профессоров и главным образом меня? — чуть слышно спросил он.

Рита молчала.

— О, как ты жестока, Рита,— с мольбою шепнул Заречный...— Обвинять других легко.

— Я и себя не оправдываю! — ответила так же тихо Рита и громко прибавила: — А ты Василья Васильевича не узнаешь?

Услыхав свое имя, Невзгодин подошел.

Бывшие соперники встретились сдержанно. Они раскланялись с преувеличенной вежливостью, молча пожали друг другу руки и несколько секунд глядели один на другого, не находя, казалось, о чем говорить.

Молодая женщина наблюдала обоих.

Она видела в лице мужа скрытую неприязнь и поняла, что источник ее — ревность. В Невзгодине, напротив, она не заметила ни малейшего недоброжелательства к мужу. Одно только равнодушие. И это кольнуло ее женское самолюбие. Она вспомнила, как страстно относился прежде Невзгодин к своему счастливому сопернику.

Наконец Заречный сказал:

— Вас, я слышал, можно поздравить, Василий Васильич?

— С чем?

— Вы женились.

— Как же. Совершил сей долг! — шутливо промолвил Невзгодин.

Тон этот не понравился Заречному.

— И, говорят, избрали карьеру писателя?

— По крайней мере, хочу попробовать.

— И будете жить в Москве?

«А тебе, верно, этого не хочется. Уже возревновал!» — подумал Невзгодин и ответил:

— Не решил еще...

— Надеюсь, мы будем иметь честь вас видеть у нас... Вы где остановились?

Невзгодин сказал.

— На днях я буду у вас, Василий Васильич.

С этими словами Заречный поклонился и отошел, далеко не успокоенный в своих ревнивых чувствах. Такие господа, как Невзгодин, легко смотрят на брак. Недаром же он выразился о своей женитьбе в шуточном тоне. И отчего жена его не с ним?

Тем временем Звенигородцев отыскал юбиляра на угловом диване и проговорил:

— Ну, брат Андрей Михайлыч, пойдем на закланне.

— Пойдем! — покорно ответил юбиляр, поднимаясь.

Звенигородцев на минутку остановил его и спрашивал:

— Кого посадить около тебя? Молоденьких дам желаешь?..

— Зачем же дам, да еще молоденьких? — смущенно возразил старик, озираясь: нет ли вблизи жены.

— Ты находишь это несколько легкомысленным для юбилея?

— Пожалуй, что так...

— И, быть может, Варвара Николаевна этого не одобрит? — лукаво подмигнул глазом Звенигородцев и засмеялся.— Ну в таком случае ты будешь сидеть между своими сверстниками — коллегами... Или хочешь, чтоб око-

ло тебя сндела супруга твоя Варвара Николаевна? — спроснл самым, по-вндимому, серьезным тоном Иван Петровнч, хорошо знавшнй, как побанвается Коснцкнй своей жены.

— Как знаешь... Я ведь сегодня собой не распоряжаюсь... Только удобно лн на юбнлее устранвать семейную обстановку?..

— Конечно, не следует... Ее н так достаточно. Так ты будешь между коллегамн. Этак выйдет солнднее... Ну, ндем!

Звеннгородцев с торжественностью подвел юбиляра к столу и указал ему место на самой середнне. По бокам н напротнв уселнсь профессора, в том чнсле н Заречный, н несколько более блнзкнх знакомых юбнляра. Супругу его Звеннгородцев усаднл невдалеке около одного молчалнвого профессора.

Скоро все расселнсь за столами, и тотчас же замелькалн белые рубахи половых, которые разноснлн тарелки с супом н блюда с пнрожкамн, предлагая «консомэ или крем д'асперж».

В зале наступило затншье.

— Поглядите, Васнлнй Васильич, нет лн здесь Аносовой. Я своимн блнзоруккмн глазамн не увижу! — проговорнла Маргарнта Васильевна, озирая столы.

— Вы думаете, так легко ее заметнть в этой массе публнкн!

— Такую красавнцу? Она невольно бросится в глаза.

— Ну, нзвольте.

Невзгоднн обглядел столы и промолвнл:

— Не вижу велнколепной вдовы.

— Значнт, ее нет. Странно!

— Отчего странно?

— Обещала быть, а она, как кажется, из тех редких женщнн, которые держат слово.

В эту самую мннуту сндевшнй за столом напротив Невзгоднна, скромного внда, в новеньком фраке, молодой рыжеватый блонднн в очках, все время беспокойно поглядывавшнй на дверн, не дотрогиваясь до супа, внезапно поднялся со своего места, около которого был никем не занятый прнбор, н двинулся к выходу.

В дверях показалась Аносова.

— Вот н она! Смотрнте, что за красота! — шепнула Маргарита Васнльевна.

— Что и говорнть: велнколепна... И, кажется, напротнв нас сядет. А кто этот блонднн?

— Это племянник и наследник Аносовой! — сказал кто-то.

— Но долго ему дожидаться наследства! — раздался чей-то голос.

Все глаза устремились на эту высокую, статную, ослепительную красавицу в роскошном, но не бьющем в глаза черном бархатном платье, обшитом белыми кружевами у лебединой шеи, в длинных перчатках почти до локтей, с крупными кабошонами в ушах, которая плывущей неспешной походкой, слегка смущенная и зардевшаяся, шла к столу в сопровождении блондина.

— Вот, тетенька... Других мест не мог достать! — проговорил он с особенною почтительностью.

— Чем худы места... Отличные! — весело промолвила она, опускаясь на стул.

Звенигородцев уже летел со всех ног к Аносовой.

— Аглая Петровна!.. Здравствуйте, божественная, и пожалуйте за стол юбиляра. Для вас берег место, чтобы сидеть подле... И Андрей Михайлович будет очень рад видеть вас поближе.

— Мне и тут хорошо... Благодарю вас, Иван Петрович. Да кстати у меня vas-à-vis[1] добрая знакомая! — прибавила Аносова, увидав против себя Заречную.

Щеки ее как будто зарумянились гуще, и она, ласково улыбаясь своими большими ясными глазами, приветно, как короткой знакомой, несколько раз кивнула Заречной и сдержанно, почти строго, чуть-чуть наклонила голову в ответ на поклон Невзгодина, не глядя на него.

«Ишь... королевой себя в публике держит. Боится «морали»!» — усмехнулся про себя Невзгодин, не без тайного восхищения посматривая на великолепную вдову, которую он видел в первый раз в параде, и вспомнил, как просто она себя держала с ним в Бретани.

— И жарко же здесь! — обратилась она, снимая перчатки, к Заречной и, по-видимому, не обращая ни малейшего внимания на Невзгодина.

Маргарита Васильевна деликатно согласилась, что жарко, хотя и приписала румянец Аносовой другой причине.

Спокойным жестом своей белой холеной руки Аглая Петровна отстранила тарелку с супом.

— Я очень рада, что случай свел меня сидеть против вас, Маргарита Васильевна. По крайней мере, есть с кем перемолвиться словом!..— с заметным оживлением продол-

[1] напротив *(фр.)*.

жала Аносова.— А вы не думайте, что я люблю опаздывать. Я этого не люблю. Но раньше не могла приехать: было серьезное дело. Впрочем, я послала сюда артельщика и просила его дать знать, когда будут садиться за стол, и, как видите, ошиблась на несколько минут! — прибавила она, улыбаясь чарующей улыбкой и открывая ряд чудных зубов.

«Все статьи свои показывает!» — решил Невзгодин и уже настраивал себя недоброжелательно против «великолепной вдовы», которая не удостоивала его ни одним словом, точно летом и не называла его приятелем и не звала непременно побывать у нее в Москве.

— Рыбы прикажете, Маргарита Васильевна?

— Пожалуйста...

Он положил ей на тарелку рыбы и, наливая в рюмку белого вина, прошептал:

— Так даже очень нравится?

Маргарита Васильевна усмехнулась и, точно поддразнивая, утвердительно кивнула головой.

— А вы, Василий Васильич, давно сюда пожаловали? — обратилась наконец Аглая Петровна к Невзгодину после того как покончила с рыбой и запила ее рюмкой белого вина.

— Третьего дня, Аглая Петровна.

Взгляды их встретились. И в глазах у обоих мелькнуло что-то не особенно приветливое.

— Собираетесь и меня удостоить посещением? — кинула с едва заметной усмешкой Аносова.

— Обязательно собираюсь удостоиться этой чести, Аглая Петровна. Только боюсь...

— Какой пугливый! Чего вы боитесь?

— Помешать вам. Вы, говорят, всегда заняты.

— Кто это вам сказал? — вспыхивая, отвечала Аносова.— Верно, сами сочинили ради красного словца. Положим, занята, но у меня есть время и для знакомых... От трех до шести я дома... Маргарита Васильевна подтвердит это.

— Охотно, Аглая Петровна... Но вы мало знаете Василия Васильича... Он любит иногда поднять на зубок... Вдобавок и беллетрист. Его повесть в январе будет напечатана.

— Вы летом этого мне не говорили, Василий Васильич? — промолвила Аглая Петровна.

— Да разве нужно трубить о своих грехах?..

— Значит, и нас грешных когда-нибудь опишете?

— Вас с особенным удовольствием, Аглая Петровна, возвел бы в перл создания.

— Только ему недостает изучения. Он вас недостаточно знает,— вставила Маргарита Васильевна.

— Недоволен он мною... Я это знаю! — засмеялась Аглая Петровна.— А узнать меня — не мудрое дело... С богом, описывайте, Василий Васильич. Обижаться не буду, если вы даже и сгустите краски!

— Вы-то не будете сердиться?.. Еще как! — насмешливо проговорил Невзгодин.

Но Аглая Петровна уже не слушала и о чем-то заговорила с племянником.

— Ваше здоровье, Маргарита Васильевна! — сказал Невзгодин, чокаясь со своей соседкой.— Желаю вам...

— Чего вы мне пожелаете?

— Говорить? — шепнул Невзгодин...

— Говорить...

— Как добрый приятель?..

— Да что вы с предисловиями... Я не боюсь правды...

— Ну так искренне желаю вам... полюбить кого-нибудь и...

— И что?

— А дальше все приложится.

— Вы думаете?

— Думаю, если только вас не захватит какая-нибудь широкая деятельность. Да и где она? И то... одна деятельность вас, женщин, не удовлетворит... А вы ведь все искали людей да рассуждали, а никого по-настоящему не любили... Не правда ли?

— Правда. И за то расплачиваюсь! — чуть слышно проронила молодая женщина.

— Вольно же!

Маргарита Васильевна нетерпеливо пожала плечами и примолкла, отставив рюмку.

— Вы не сердитесь, что я... завел такой разговор. Больше не буду! — виновато промолвил Невзгодин.

— За что сердиться? Я сама завела бы его. Вы не слепы и видите, что я не любила и не люблю мужа, и вдобавок...

— Развенчали его?

Маргарита Васильевна молча кивнула головой.

— И все-таки жили и живете с ним! — с какою-то безжалостностью художника и с искренним негодованием правдивой натуры продолжал Невзгодин, понижая голос.

— За преступлением следует наказание!

— Но не такое варварское и — извините — постыдное... Мужчин вы обвиняете в компромиссах, а сами...

— Довольно... Мы об этом поговорим... Здесь не место...

— Никто не слышит... Здесь шум...

— Во всяком случае, спасибо вам за пожелание...

Маргарита Васильевна отпила из рюмки. Выпил полную рюмку и Невзгодин.

— Постараюсь последовать вашему совету и полюбить какого-нибудь интересного человека... Только вот вопрос: где его искать? — с нервным, злым смехом сказала Маргарита Васильевна.

И, помолчав, прибавила:

— А у вас все та же страсть затронуть самое больное место человека... посыпать соли на свежую рану, чтобы человек не предавался самообману насчет своих добродетелей... Но я на это не сержусь... Напротив, очень благодарна... Ваше здоровье, Василий Васильевич, и литературного успеха.

С этими словами Маргарита Васильевна допила свою рюмку и спросила:

— Когда же вы прочтете мне свою повесть?

— Как-нибудь на днях.

Несколько раз Аглая Петровна взглядывала на Маргариту Васильевну и Невзгодина, прислушиваясь к их разговору и сама разговаривая в то же время с племянником, казалось, с интересом и совершенно спокойная. По крайней мере, ее лицо словно бы застыло в своем бесстрастном великолепии, и глаза светились ясным, холодным блеском. И только густые брови чуть-чуть сдвинулись да пальцы нервно сжимали хлебный катышек, обнаруживая тайное волнение Аносовой.

Некоторые слова, долетавшие среди общего говора до ее тонкого слуха, изощренного в детстве и потом во время несчастного раннего супружества, бывшего делом коммерческой сделки родителей, и возбужденные лица Заречной и Невзгодина — особенно первой — не оставляли в Аносовой почти никакого сомнения в том, что между ними произошло объяснение самого интимного характера («Точно они не нашли для этого более удобного места!» — мысленно подчеркнула Аглая Петровна, бросая взгляд в ту сторону, где сидел Заречный, и замечая, что и он, мрачный и взволнованный, не спускает глаз с жены).

И Аносова втайне сердилась, испытывая обидную досаду деловой женщины, уверенной в своем уме и в знании людей, которую обошла другая — эта, казалось, вполне искренняя, маленькая, худенькая блондиночка, заставившая поверить осторожную и малодоверчивую к людям Аглаю

Петровну ее словам, что она только дружна с Невзгодиным и любит его как доброго старого приятеля.

«Тут не одной дружбой пахнет!» — решила «великолепная вдова», чувствуя, что в сердце ее растет неприязненное чувство к Маргарите Васильевне.

«Ужели это ревность и Невзгодин мне в самом деле нравится!» — подумала Аносова и даже презрительно повела плечом, словно бы сама удивлённая этому странному капризу.

«Что особенного в этом Невзгодине?» — задала она себе вопрос.

Правда, он умен, но ум у него какой-то насмешливый, и взгляды совсем дикие, как у голыша, которому лично ничего не стоит держаться крайних мнений... Он, правда, естествен и прост, но вообще «непутевый» человек. А собою так уж совсем невиден... Так себе... подвижная, нервная мордочка...

Но, несмотря на эту оценку, что-то говорило в ее душе, что ее интересует, и больше, чем кто-либо другой из ее многочисленных поклонников, этот «непутевый человек», с его «мордочкой», едва ли не единственный, который равнодушно относится и к ее красоте, и к ее уму, и к ее миллионам и который с резкой откровенностью говорил ей в глаза то, чего никто не осмеливался, и, по-видимому, нисколько не боялся разорвать с ней знакомство, завязавшееся совершенно неожиданно в Бретани. И она должна была признаться себе, что и тогда, когда они часто видались, встречаясь на пляже, Аглая Петровна была несколько изумлена тому интересу, который впервые возбудил в ней Невзгодин не только как любопытный, нешаблонный человек, но и как интересный мужчина. Недаром же она в Бретани с ним даже слегка кокетничала, стараясь понравиться ему и умом и чарами своей красоты, и видимо искала его общества. Она, всегда точная, отложила даже на неделю свой отъезд с морского берега, на что-то надеясь, чего-то ожидая, и, к изумлению своему, не дождалась ни малейшего намека со стороны Невзгодина на силу ее очарования. Недаром же она, как какая-нибудь глупая девчонка, посылала справляться об его адресе, досадуя, что он не явился к ней тотчас же по приезде, как обещал, и так обрадовалась неожиданной встрече, хотя и не показала вида.

Неужели Невзгодин может нарушить ее горделивый покой, который доселе не нарушал ни один из мужчин?

«Вздор!» — решительно протестовала она против этого.

И Аглая Петровна подняла на Невзгодина строгий,

11 К. Станюкович, т. 2

почти непрнязненный взгляд, словно бы возмущенная, что этот легкомысленный, ненадежный человек мог занимать ее мысли.

А он перехватил этот взгляд, н хоть бы что!

«Пусть себе увлекается чужою женой... Черт с ним!» — решнла Аглая Петровна и обратилась с каким-то вопросом к Туманову, молодому, молчаливо наблюдавшему беллетристу.

Половые между тем разносили третье блюдо.

— Что ж это значит? Еще речей не говорят! — воскликнул уднвленно Невзгодин.

— Успокойтесь... будут! — промолвила Маргарита Васильевна.

— Прежде на обедах речн обыкновенно начинались после супа, а то после рыбы... Вероятно, нам хотят дать поесть, чтобы мы моглн слушать ораторов не на голодный желудок... Это неглупое новшество.

Он прннялся за еду и прислушивался, как его соседка слева, молодая женщина, довольно миловидная, не умолкая, громко н авторитетно говорнла сндевшему рядом с ней господину о задачах настоящей благотворительности. Она изучала ее в Европе. Она посещала там разные благотворнтельные учреждения. Необходнмо н в Москве совершенно реформировать это дело... Но ее не слушают... Она одна... Никто не хочет понять, что это дело очень серьезное н требует самого внимательного отношения... Надо строго разлнчать виды бедностн...

«О несчастный!» — пожалел Невзгоднн господнна, которому чнталн лекцню о благотворнтельности, и, обращаясь к Маргарнте Васильевне, тихо заметил:

— Счастливы вы, что не слышите моей соседки. Она пропагандирует благотворнтельность во всех ее видах... Это в Москве, кажется, нынче в моде? Благотворительность является чуть ли не спортом.

— А вы уже успели заметнть?

— Еще бы! Кого только из дам я не видал в эти дни, все благотворнтельницы. Что это: влняние скуки или мода из Петербурга?

— И то и другое. Впрочем, у некоторых есть и искреннее желанне что-нибудь делать, помочь кому-нибудь. Вы знаете, и я работаю в попечительстве... И не от скуки только! — прибавила Маргарита Васильевна.

— И довольны этой деятельностью? — удивленно спросил Невзгоднн.

— Все что-нибудь, если нет другого.

— А вы и благотворительности не одобряете? — неожиданно кинула Аглая Петровна, обращаясь к Невзгодину.

— Почему же непременно «и». И почему вам кажется, что я ее не одобряю, Аглая Петровна? — с насмешливой улыбкой небрежно спросил Невзгодин.

Этот тон и эта улыбка взорвали Аносову. Но она умела хорошо владеть собою и, скрывая раздражение, промолвила:

— Да потому, что вы ко всему относитесь пессимистически... Это, впрочем, придает известную оригинальность! — иронически прибавила она.

— И не заслуживает вашего милостивого благоволения? Но положите гнев на милость и не секите неповинную голову, Аглая Петровна. Если вас так интересует знать, как я смотрю на благотворительность, то я почтительнейше доложу вам, что я ровно ничего не имею против благотворительных экспериментов. Я только позволяю себе иногда недоумевать...

— Чему? — с заметным нетерпением перебила Аносова.

— Тому, что иногда и неглупые люди хотят себя обманывать, воображая, что в этих делах панацея от всех зол, и возводят в перл создания выеденное яйцо; уверенные, что они... истинные евангельские мытари, а не самые обыкновенные фарисеи.

— А вы разве знаете, что они считают себя мытарями? Или вы имеете дар угадывать чужие мысли?

— То-то знаю, Аглая Петровна... встречал таких и среди мужчин и среди женщин... И кроме того, имею претензию угадывать иногда и чужие мысли! — смеясь прибавил Невзгодин.

— Можно и ошибиться!

— И весьма. Не ошибаются только люди, слишком влюбленные в свои добродетели. А я ведь — грешник и непогрешимым себя не считаю! — улыбнулся Невзгодин.— Когда-нибудь, если позволите, мы возобновим эту тему, а теперь невозможно. Звенигородцев поднялся и призывает нас к вниманию... Сейчас, верно, он начнет говорить.

Раздался звон стакана, по которому стучали ножом. Разговоры сразу замолкли. Прекратила свою лекцию и соседка Невзгодина, бросая на него негодующие взгляды за его сравнение благотворительной деятельности с выеденным яйцом. Половые убирали тарелки, стараясь не шуметь. Стали разливать по бокалам шампанское. В зале воцарилась тишина. Юбиляр торопливо вытер бороду, закапанную соусом, и, несколько размякший после утренних позд-

равлений и после двух стаканов белого вина, в ожидании речей, уже чувствовал себя вполне готовым к умилению, все еще недоумевая, за что его так чествуют?

«Это все Иван Петрович устроил!» — подумал скромный старик и, благодарно взглянув на Звенигородцева, потупил очи в пустую тарелку.

X

Возвысив свой тенорок, Звенигородцев просил милостивых государынь и государей прослушать некоторые из приветственных телеграмм и писем, полученных глубокочтимым юбиляром из разных концов России и из-за границы.

— Их так много, что все читать займет много времени. Их перечтет потом сам Андрей Михайлович и убедится, что не одна Москва ценит и глубоко уважает его научную и общественную деятельность, а вся Россия. Он узнает, что и за границей у него есть горячие почитатели... Я позволю себе прочитать только некоторые.

И когда смолкли рукоплескания, Звенигородцев стал читать телеграммы от университетов, от редакций журналов и газет, от разных обществ и от более или менее известных лиц.

Некоторые из приветствий сопровождались рукоплесканиями. Телеграмма Найденова встречена была гробовым молчанием.

Перечислив затем фамилии лиц, совсем неизвестных, приславших поздравления юбиляру, Звенигородцев торжественно поднес весь этот ворох бумаги юбиляру, положил перед ним на стол и затем удалился на свое место, шепнув Цветницкому, чтобы тот начинал.

Тогда поднялся сосед юбиляра за обедом, старый профессор Цветницкий. Тотчас же встал и юбиляр, и так как они очутились близко друг к другу, то Цветницкий, плотный, коренастый старик, отступил несколько шагов назад.

— Бедняга Косицкий! Неужели он будет выслушивать все речи стоя! — заметил Невзгодин.

— А то как же, не сидеть же ему, когда к нему обращаются! — ответила Маргарита Васильевна.

Оратор между тем откашлялся и начал слегка вздрагивающим, громким, низковатым голосом:

— Глубокоуважаемый и дорогой мой друг и товарищ,

Андрей Михайлович! Мне выпала честь первому приветствовать тебя, и, гордый этой честью, я тем не менее чувствую, что едва ли смогу выразить с достаточною силою те чувства глубокого уважения и, можно сказать, даже благоговения, которые невольно внушаешь ты, высокочтимый Андрей Михайлович, и своими учеными заслугами, и безупречною своею деятельностью как профессор, и, наконец, как безупречный добрый человек и редкий товарищ. Обозревая пройденный тобою путь, путь труда и чести, глазам моим представляется...

И почтенный оратор, продолжая в том же несколько приподнятом тоне, познакомил слушателей с пройденным юбиляром путем, начиная со студенческого возраста до настоящего дня, и так как путь был долог, то и речь профессора была несколько длинновата и при этом изобиловала таким количеством прилагательных в превосходнейших степенях, что сам юбиляр, хотя и умиленный, тем не менее испытывал немалое смущение, когда его называли одним из европейских ученых, редким знатоком науки и смелым борцом за правду... И сам этот Лев Александрович Цветницкий, с которым он еженедельно винтил по маленькой и после за ужином выпивал бутылочку дешевенького беленького вина, никогда не заикаясь о науке, от которой они оба, признаться-таки, давненько отстали,— казался ему другим Львом Александровичем, не настоящим, довольно-таки прижимистым и практическим человеком, сумевшим получить казенную квартиру раньше, чем он,— а каким-то возвышенным и торжественным и необыкновенно добрым.

И когда он наконец кончил, пожелав юбиляру надолго оставаться еще «гордостью московского университета и одним из лучших людей Москвы», то Андрей Михайлович почувствовал некоторое облегчение и, растроганный, поцеловавшись с оратором, проговорил:

— Ну, уж ты того, Лев Александрыч... Хватил, брат...

— Ты заслужил, Андрей Михайлович. Заслужил, брат. Я хоть и плохой оратор, но зато от души! — отвечал Цветницкий.

Под впечатлением ли собственной речи и вообще торжественности обстановки, или, быть может, и нескольких рюмок водки за закуской и хереса после супа, но дело только в том, что положительный и вообще малочувствительный профессор (что особенно хорошо знали студенты во время экзаменов) внезапно почувствовал себя несколько растроганным и ощутил прилив нежности

к «другу», которого в обыкновенное время частенько-таки поносил за глаза.

И, смахивая толстым пальцем с глаз слезу, прибавил:

— Ты, Андрей Михайлыч, скромен, а ты, собственно говоря, замечательный человек!

Публика между тем, в знак благодарности за окончание длинной и скучноватой речи, наградила оратора умеренными аплодисментами.

— Ну, что, понравилась речь? Будете еще слушать? — иронически спрашивала Невзгодина Маргарита Васильевна.

— Плоха. Оратор пересолил даже и для москвича. Косицкий наверное сконфузился, узнавши, что он европейский ученый. Бедный! Ему опять не дают покоя! — заметил Невзгодин.

Действительно, к юбиляру подходили со всех сторон, чтобы чокнуться. И он благодарил, пожимая руки и целуясь с коллегами и более близкими знакомыми. Ему то и дело подливали в бокал шампанского.

— Сколько примет он сегодня поцелуев! — заметила, усмехнувшись, Маргарита Васильевна.

— Целоваться — московский обычай.

— И ругать тех, кого только что целовали, тоже московский обычай. Профессора его свято держатся.

— Уж вы слишком на них нападаете, Маргарита Васильевна... Косицкого к тому же все любят...

— Я ведь знаю эту среду. Насмотрелась.

— И что же?..

— Лицемеры и сплетники не хуже других... Косицкого любят, а послушали бы, что про него говорят его же друзья...

— Смотрите, Маргарита Васильевна! «Матримониальное право»[1] направляется к своему верноподданному.

— Кого это вы так зовете?

— Так в мое время студенты звали жену Андрея Михайлыча. Вы с ней знакомы?

— Нет.

— Ну и бабец... я вам скажу!.. Она хочет, кажется, дать представление: публично расцеловать Андрея Михайлыча. Она ведь дама отважная, я ее знавал!

Но этого не случилось.

Правда, монументальная, вся сияющая и торжественная профессорша с самым решительным видом подошла

[1] супружеское право (от *лат.* matrimonialis).

к юбиляру, но, по-видимому, не имела намерения засвидетельствовать публичным поцелуем свою преданность и любовь.

Она невольно взглянула сверху вниз с некоторым, не лишенным восторженности, изумлением на своего крошечного перед нею Андрея Михайловича, которого считала не только не орлом, а скорее вороной, и который вдруг оказался, по словам Цветницкого, таким знаменитым человеком,— и с чувством проговорила:

— Твое здоровье, Андрей Михайлыч! Как я счастлива за тебя!

Она отхлебнула из бокала и, словно боясь, как бы «знаменитый человек» не возгордился после юбилея и не вышел из ее повиновения, внушительно прибавила, понижая до шепота свой густой низкий голос:

— Бороду оботри... На ней крошки... Да не пей много... Раскиснешь!

— Оботру, Варенька... Я немного, Варенька... И я чувствую себя отлично, Варенька! — покорно ответил Андрей Михайлович и тотчас же стал перебирать бороду своими маленькими костлявыми пальцами.

Убедившись, что слава не испортила юбиляра, она улыбнулась ему такой приятной улыбкой, какую он видел изредка и всегда только при публике, и вернулась на свое место.

Присел наконец и юбиляр. Но, увы,— сидеть ему пришлось недолго.

Вслед за Цветницким говорили речи еще два профессора и — надо отдать справедливость — не особенно злоупотребили вниманием юбиляра и многочисленных слушателей. Вероятно, в качестве профессоров других факультетов (один был математик, другой — химик) они упомянули о научных заслугах Андрея Михайловича в общих чертах, не переходя пределов юбилейного славословия, и не приводили в смущение юбиляра гиперболическими сравнениями.

Стремительно поднявшийся со стула после них Иван Петрович Звенигородцев начал с того, что скромно, потупив свои глазки в тарелку, просил у юбиляра позволения сказать «всего несколько слов», а говорил, однако, по крайней мере с четверть часа, заставив половых, только что вошедших с блюдами жаркого, замереть в неподвижных позах и слушать вместе с публикой, с какою необыкновенною легкостью выбрасывал он периоды за периодами, один другого глаже, закруглен-

нее и красивее, с тою нежною, почти вкрадчивою интонацией своего мягкого тенорка, которая приятно ласкала слух, придавая речи тон задушевности. При этом ни одной затруднительной паузы, ни малейшей запинки, словно бы в горле Звенигородцева помещался исправный органчик, исполнявший только что заведенное попурри.

Его речь именно представляла собою легонькое попурри, которое и юбиляр и присутствующая публика слушали с удовольствием, хотя и затруднились бы передать содержание этой музыки приятных, красивых и подчас хлестких фраз, касавшихся слегка всевозможных тем. Восхваляя юбиляра, как одного из стойких и энергичных хранителей заветов и носителей идеалов, не погасившего в себе духа, оратор затем говорил обо всем понемногу: о заветах Грановского, об идеалах лучших людей, о науке, о правде в жизни и жизни в правде, об обществах грамотности, юридическом и психологическом, в которых юбиляр работает не покладая рук, об интеллигенции и народе, о литературе, искусстве и поэзии и о любви москвичей к своим избранным людям, как глубокочтимый юбиляр. Сравнив затем его деятельность с ярким огоньком маяка, который во мраке ночи служит предостерегательной звездочкой для пловцов, оратор весьма ловко перешел к пожеланию, чтобы у нас было бы побольше таких огоньков, ярко светящихся среди мрака нашей жизни, и эффектно закончил следующей тирадой:

— И тогда, господа, будет кругом светлее, и тогда скорее наступит царство знания и красоты, добра и правды... Так подымем же наши бокалы за одного из лучших и достойнейших представителей этих вечных начал, без которых так несовершенна, так бесплодна жизнь, за дорогого нашего Андрея Михайловича!

И с этими словами Иван Петрович, с поднятым бокалом в руке, побежал целовать юбиляра, и в ту же минуту половые стали разносить жаркое.

Любимому оратору, часто доставлявшему удовольствие своими речами, благодарные москвичи дружно поаплодировали. Многие подходили пожать ему руку за прочувствованную речь, а один из его приятелей назвал его Гамбеттой.

Соседка Невзгодина пришла просто в восторг и громко удивлялась способности Ивана Петровича говорить так просто, задушевно и красноречиво.

— Иван Петрович мастер! Он когда угодно скажет речь! — заметил кто-то благотворительной даме, тоже не лишенной способности говорить без удержа о благотворительности.

— Разбудите Ивана Петровича ночью и попросите речь — он мигом ее произнесет! — подтвердил какой-то господин.

Наступила маленькая передышка. Все занялись жарким. Почтенный юбиляр, пользуясь перерывом, пришел несколько в себя и торопливо жевал остатками своих зубов рябчика.

— А ведь хорошо, Андрей Михайлыч! — шепнул его друг Цветницкий, только что покончивший изрядный кусок индейки и запивший ее шампанским.— Отлично, брат! — прибавил он, дружески потрепав Андрея Михайловича по коленке своею широкою волосатою рукой.

Юбиляр растроганно улыбнулся и положил себе салату.

— И главное, знаешь ли что?

— Что, голубчик?

— А то, что на твоем юбилее нет никакой натянутости. Просто и задушевно. И все хорошие люди собрались... Небось Найденов не осмелился... И многие другие... Знают, что им не место здесь...

— Да... это ты верно: именно задушевно. Уж и я не знаю, за что я удостоился такой чести... Просто не могу понять... И утром... эти адреса... От товарищей, от студентов... За что?

— Не скромничай, Андрей Михайлыч. Значит, есть за что... Ты, во всяком случае, величина... понимаешь — сила, крупная величина! Поверь мне... Я кое-что понимаю... Я не дурак, надеюсь! — вызывающе прибавил несколько заплетающимся языком коренастый профессор, основательно знакомившийся во время речей с винами разных сортов.

— Что ты, что ты, Лев Александрыч!.. Ты ведь у нас... слава богу... известный умница.

— И живи мы, например, с тобою во Франции или в Англии, Андрей Михайлыч, мы бы...

Профессор многозначительно улыбнулся.

— Мы бы... давно были министрами, Андрей Михайлыч... Вот что я тебе скажу, дорогой мой коллега! — самоуверенно досказал профессор и налил себе и юбиляру шампанского, предлагая выпить.

В это время среди шумного говора раздалось чье-то громкое восклицание:

— Николай Сергеич хочет говорить... Николай Сергеич!

— Николай Сергеич будет говорить! — повторило несколько голосов, и мужских и женских.

— Тсс, тсс! — раздалось со всех сторон.

В зале почти мгновенно наступила мертвая тишина.

Все глаза устремились на статную, высокую фигуру Заречного и обратили внимание на то, что Николай Сергеевич, обыкновенно спокойный перед своими речами, сегодня, казалось, был взволнован. Лицо его слегка побледнело и было напряженно-серьезно. Брови нахмурились, и полноватая рука нервно теребила бороду. В блестевших красивых глазах было что-то вызывающее.

Одна только Маргарита Васильевна не глядела на мужа. Она опустила глаза и уже заранее относилась враждебно к тому, что будет говорить муж.

Многие дамы бросали завистливые взгляды на счастливицу, у которой муж такой замечательный человек и такой красавец и притом влюбленный в нее, и находили, что она недостаточно ценит такого мужа.

Взглянула на Маргариту Васильевну и Аносова. Взглянула и, точно окончательно разрешившая свои сомнения, отвела взгляд и, слегка подавшись вперед своим роскошным бюстом, приготовилась слушать, внимательная и серьезная, чувствуя себя вполне одинокой среди этой толпы, где у нее было так много знакомых.

«А Заречный — сила в Москве, и как здесь его почитают!» — невольно думал Невзгодин, замечая общее напряженное внимание и восторженные лица у многих дам и молодых людей.

Прошла небольшая пауза, и Заречный, бросив взгляд на жену, начал свою речь, обращаясь к юбиляру, но говоря ее исключительно для Риты.

XI

Слегка вибрирующим от волнения, но уверенным и звучным голосом, хорошо слышным в дальних концах зала, Заречный сказал, что не станет повторять ни об ученых заслугах юбиляра, ни об его отзывчивости на все хорошее и честное, ни об его скромности и доброте. Об этом говорили другие, и это всем известно.

— Но я считаю долгом обратить особенное внимание всех здесь собравшихся почитателей ваших, Андрей Михайлович,— продолжал оратор, слегка повышая тон и словно бы подчеркивая,— на нечто другое и, по моему мнению, более важное с общественной точки зрения,— это на то скромное, некрикливое и в то же время воистину мужское упорство, с каким вы шли по трудному и нередко даже тернистому пути профессора, не поступаясь своими заветными убеждениями и стараясь, поскольку это было возможно, проводить свои принципы, и, во всяком случае, трусливо не таили их даже и тогда, когда приложение их не всегда могло иметь место. Надо, повторяю, иметь неистощимый запас любви к своему делу и много нравственного мужества, чтобы в течение тридцати лет, несмотря на неблагоприятные подчас условия, являющиеся нередко непрошеными спутниками деятельности порядочных людей, не покидать, как доблестный часовой, своего обязывающего поста и высоко держать светоч знания, охраняя независимость науки по крайней мере в своей аудитории. И — что всего удивительнее — долгие годы трудового служения не иссушили вас, не сделали равнодушным к добру и злу. Вы не растеряли на жизненном пути своих идеалов, не предавали их страха ради иудейска, увеличивая собою ряды маловеров и отступников, и, случалось, переживали трудные времена, когда торжествующими идеалами были не ваши, не падали духом оттого, что таких, как вы, мало, а малодушных — большинство. Таким образом, вы, Андрей Михайлович, всей своей деятельностью даете всем нам поучительный пример настоящего понимания общественного долга и блестящее решение этического вопроса, являющегося для многих мучительным и спорным, а для некоторых теоретиков и мечтателей, знающих жизнь только по книгам и думающих, что она легко укладывается в беспредельности героических, но бесплодных стремлений, к сожалению, и поводом к несправедливым и оскорбительным обвинениям. Вопрос этот стар, как мир: что лучше и плодотворнее — делать ли возможно хорошее, хотя, быть может, и не в полном его объеме, являясь скромным работником небольшого, но честного дела, или же, усомнившись в возможности сделать желательное, бросить любимое дело и горделиво отойти, потешив на время себя призраком геройства, в сущности никому не нужного и бесплодного? Несколько поколений ваших учеников, обязанных вам не

одними только знаниями, и ваш сегодняшний праздник — красноречивый ответ на этот вопрос!

Взрыв бурных рукоплесканий не дал продолжать Заречному. Слова его, видимо, нравились, отвечая настроению и взглядам большинства слушателей. Каждый как будто внутренне удовлетворялся и придавал еще большую значительность и своим маленьким делам, и своим маленьким стремлениям, и всей своей безмятежно-эгоистической жизни.

Невзгодин впервые слушал Заречного.

Далеко не из его поклонников, он с первых же слов молодого профессора почувствовал силу его таланта и с возраставшим вниманием слушал оратора, отдаваясь, как художник, обаянию и самой речи, и гибкого, выразительного и по временам страстного голоса Заречного.

«Pro domo sua!»[1] — подумал он и взглянул на Маргариту Васильевну.

И она, казалось, внимательно слушала мужа.

Когда смолк взрыв рукоплесканий и снова воцарилась тишина, Заречный, казалось, еще с большей страстностью и с большим красноречием продолжал развивать ту же тему. Он снова говорил о бесполезности и вреде бессмысленного геройства, хотя и допускал, что бывают такие случаи, когда должно принести в жертву даже любовь к делу. Он пользовался юбиляром, приписывая ему, уже осовевшему от умиления, ту борьбу в минуты сомнений между желанием бросить все и чувством долга, которой в действительности почтенный Андрей Михайлович никогда не испытывал, не имея ни малейшего желания «бросать все» и быть изведенным супругой; и мудрость змия, и чистоту горлицы, и те соображения о науке и об оставлении молодежи без настоящего руководительства, которые будто бы удерживали юбиляра на его посту в тяжелые минуты уныния; соображения, которых Андрей Михайлович никогда не имел, а просто тянул добросовестно лямку, не делая никому зла по своему добродушию.

Когда Николай Сергеевич кончил, в зале стоял гул от рукоплесканий. Дамы махали платками. Почти все поднялись со своих мест и спешили пожать руку Заречного. Везде раздавались восклицания восторга. Ему устроили овацию.

— Превосходная речь. Я иду пожать руку вашему

[1] В защиту себя и своих дел! (*лат.:* за свой дом.)

талантливому мужу, Маргарита Васильевна! — проговорила несколько возбужденная Аглая Петровна.

И, поднимаясь, спросила:

— А вы не пойдете?

— Нет.

— А ваше сочувствие, я думаю, ему дороже сочувствия всех нас! — полушутя кинула Аносова и тихо двинулась, степенно и величаво отвечая на поклоны знакомых.

— Ну, а вы что скажете о речи мужа, Василий Васильич?

— У вашего мужа ораторский талант. Речь талантлива по форме.

— А содержание?

— Специально отечественное. Оправдание получки жалованья возвышенными соображениями.

— А все в восторге.

В это время невдалеке от них раздался громкий голос высокого старика с большой седой бородой, который, обращаясь к сидевшей с ним рядом молоденькой девушке, произнес:

— Я помню, Ниниша, как в этой же самой зале, говорил Пирогов на своем юбилее. Он не то говорил, что говорят нынче молодые профессора.

Невзгодин и Маргарита Васильевна прислушивались.

— А что он, папочка, говорил?

— Многое, но особенно живо врезались в моей памяти следующие слова Пирогова, обращенные к профессорам: «Поступитесь вашим служебным положением, пожертвуйте тем, что дается зависимостью положения, и вы получите полную свободу мысли и слова!..» теперь дают совсем другие советы! — негодующе прибавил старик.

— Не все в восторге, Маргарита Васильевна. Кто этот старик?

— Разве вы не знаете — это Лунишев. Интересный старик. Бывший профессор, потом доброволец солдат в Крымскую войну, затем гарибальдиец и с тех пор непримиримый земец.

Между тем снова начались речи, но уставший юбиляр слушал их сидя, и публика после Заречного уже не с прежним вниманием слушала ораторов.

Встали из-за стола часов в десять, и Маргарита Васильевна тотчас же уехала. Невзгодин проводил ее до подъезда и обещал заехать к ней на другой же день.

Возвратившись в залу, он встретился лицом к лицу с Аносовой.

При виде Невзгодина Аглая Петровна, казалось, была изумлена, и с ее губ сорвалось:

— А я думала...

— Что вы думали?

— Что вы уехали, как только скрылась Маргарита Васильевна! — насмешливо кинула Аносова.

— Как видите, вы ошиблись. Я только проводил Маргариту Васильевну. Мне еще хочется посмотреть, что здесь делается.

— Опять говорят речи. Замучили Андрея Михайлыча. Ну, прощайте, и я уезжаю.

И, внезапно поднимая на Невзгодина взгляд, полный чарующей ласковости, она крепко пожала его руку и тихо бросила:

— Приезжайте же поскорей ко мне. Я очень буду рада вас видеть и с вами поспорить.

Проговорив эти слова, она вспыхнула и торопливо вышла из залы.

XII

На следующий день во всех московских газетах появились более или менее подробные отчеты о праздновании юбилея Косицкого. Разнося славу почтенного профессора по стогнам[1] Москвы, составители заметок, обладавшие некоторой художественной фантазией и не совсем равнодушные к возвышенному слогу, не обошлись, как водится, в своих описаниях без тех риторических прикрас и гиперболических сравнений, которые так нравятся большинству читателей и особенно читательниц.

А один репортер, очевидно, подающий большие надежды, ухитрился начать свою заметку довольно оригинальным вступлением, не достигшим, впрочем, цели автора: быть приятным юбиляру. По крайней мере, Андрей Михайлович морщился, когда после утреннего чая читал, облаченный в свой старенький халат и сидя у письменного стола, такие строки, неожиданно следовавшие после заголовка: «Юбилей А. М. Косицкого»:

«Взгляни, читатель, на этого худенького, маленького, неказистого старичка с седою клинообразною бородкой,

[1] площадям, улицам *(устар., книжн.)*.

окаймляющей морщнннстое доброе лнцо с длнннымl, красиым н глубокомысленным иосом ученого, с малеиькими и светлымн, как у чнжнка, нли, вернее, как у каиарейкн, глазкамн, иеобыкновеиио умиыми и в то же время кроткнмн, отражающнми чистую, бесхитростную душу русского человека не от мира сего. Но в этом тщедушиом тельце чувствуется сильиый и пытлнвый дух научиого нсследователя. Он улыбается. Ои растроган. Он умилеи. Он сконфужен. Слезы волиення дрожат иа его ресинцах... Это глубокочтнмый юбнляр, вступающнй в пнршествеииый, залитой огиями зал «Эрмитажа» н встречеииый такими бурными рукоплескаииями многочисленных почитателей н почитательииц его учеиой деятельностн, что, казалось, вот-вот обрушатся своды пышного чертога».

Вндимо недовольиый, Андрей Михайловнч тихоиько ворчал:

— И к чему понадобился ему мой иос!.. Какое ему дело до носа! И что это за фамильярный тои! «Взглянн иа этого маленького, худеиького старичка!» «Глаза, как у чижнка!» Дурак! «В тщедушиом тельце...» Болваи! Очень иужио читателям знать, какого я сложення!.. Ужасно глупо н нахальио иыиче стали писать в газетах! — заключил старик.

И, ие дочнтав отчета, он засуиул газету в глубь ящика пнсьменного стола, чтобы Вареиька ее ие видала н ие могла воспользоваться в своих видах какнм-инбудь нз сравиеннй репортера.

К огорченню многнх застольиых ораторов, всех речей газеты не напечаталн,— для этого потребовался бы по крайией мере целый печатный лист мелкого шрифта в отдельном прнложеинн. Целнком былн помещены только: ответная маленькая речь юбиляра и речи Заречиого н Звеннгородцева, как нмевшне большнй успех. Остальиые ораторы — а всех их было, вместе с говорнвшимн после обеда, двадцать два человека — былн названы, н речн некоторых нз инх, преимущественно людей более илн меиее нзвестных, передаиы в сокращеиии.

Нечего н говорить, что большая часть газет отиеслась сочувственно н к юбнляру н к его чествоваиню. Да н иельзя было ниаче. Аидрей Мнхайлович был добродушиый человек, не грешил лнтературой н ие стоял близко нн к какому лнтературиому кружку, следовательно, поводов к непрнязин и ие могло быть. А кроме

того, он не играл ннкакой заметной общественной ролн н, таким образом, не возбуждал нн в ком завнстн. Вероятно, н это было одной из прнчнн, что Андрея Мнхайловича все любилн н юбилей его вызвал общее сочувствие как в печати, так н в обществе.

Исключенне составлялн только две газеты.

Обе они — одна старая, другая из новых — былн хорошо нзвестны свонм «особым» направленнем н тою откровенною отвагой, с какой онн облнчали сограждан вообще н профессоров н лнтераторов в особенностн за недостаточность будто бы патриотнческнх н вообще возвышенных чувств.

Одна нз них, по молодостн еще недостаточно опытная, поместила об юбилее с десяток сухих строчек, словно бы не прндавая ему никакого значения н не ннтересуясь его подробностями. Другая, напротив, воспользовалась случаем показать свою бднтельность н не только поместнла полностью речн нескольких ораторов, подвергнув речь Заречного даже маленькой переработке и отметнв курсивом места, свндетельствующне о вредном образе мыслей ораторов, но н предпослала отчету пнкантную статью без подпнси, под заглавнем «Нашн профессора».

Автор не нмел ннчего протнв празднованн Коснцким юбнлея, хотя, конечно, не в той форме н не прн той обстановке, как это было устроено, но выражал сожаленне, что чествуются профессора, далеко не выдающнеся какнми-нибудь ученымн заслугамн, а между тем юбилей такого знаменнтого ученого, как А. Я. Найденов, прошел без всякого чествованн. «Не потому лн,— спрашнвал автор,— что г. Косицкий по своей бесхарактерностн н простодушню, в нных случаях неуместному и даже вредному, не противодействует н не отшатывается от той, к счастью, небольшой клнкн свнвшнх здесь гнезда профессоров, которые, под лнчнной показной благонамеренностн, скорбят о старом уннверснтетском уставе, желая сделать унверснтет свободной ареной для пропаганды зловредных ученнй, а студентов — демагогамн?» Удивляясь затем «святой нанвностн» г. Коснцкого, не умевшего понять, что его юбнлеем воспользовалнсь «лнберальные проходнмцы» как предлогом для демонстрации, а вовсе не ради его заслуг, действительно более чем скромных,— автор «глубоко скорбел» за юбнляра, которому, «на старостн лет н в чнне тайного советннка, прншлось очутнться за обедом в пестром обществе явных

и тайных недоброжелателей исконных русских начал и выслушивать некоторые речи, возможные разве только в парижских клубах времен революции. Вот до чего доводят человека, хотя и благонамеренного, бесхарактерность и погоня за рукоплесканиями толпы!».

Обработав юбиляра, неизвестный автор перешел к речам и тут уже дал полную волю резвости своего пера. Отметив вскользь места опасные в некоторых речах и назвав речь Звенигородцева нелепою, но не особенно опасною болтовней «либерального горохового шута», он с каким-то особенным озлоблением, в котором слышалось что-то личное, точно сводились какие-то счеты, напал на речь Николая Сергеевича Заречного и, пользуясь ею, извращенно напечатанною в отчете, метал молнии, возмущался, негодовал, злился и высмеивал, умышленно делая натяжки, и с наглой бесцеремонностью давал выражениям Заречного не тот смысл, какой в них заключался.

«И такие речи говорит профессор! И такой человек — идол студентов! Бедный университет! Несчастные студенты!»

Такими эффектными словами заканчивалась статья.

Все удивлялись не тому, что газета говорила обычным своим тоном, а главным образом тому, каким образом произнесенные за обедом речи попали в газету? Никого из сотрудников ее, конечно, не было на обеде... На него допускались лица по выбору и, конечно, не из числа поклонников газеты... И тем не менее было очевидно, что текст речей сообщен кем-нибудь из участников...

Никто и не догадывался, что вдохновителем этой статьи был Найденов, а автором — один из присутствовавших на обеде, доцент Перелесов, молодой человек, тихий, скромный и обязательный, по-видимому искренний сторонник того профессорского кружка, к которому принадлежал Заречный, и, казалось, большой почитатель Николая Сергеевича, с которым находился в самых лучших отношениях.

Он лет пять как был доцентом и читал необязательный курс по одной из отраслей той же науки, которая была специальностью Заречного и Найденова.

Способный, трудолюбивый и усидчивый, знавший предмет, быть может, не хуже Заречного, хотя и не обладавший его талантливостью, он втайне ему завидовал, питая к нему неприязнь только потому, что тот зани-

12 К. Станюкович, т. 2

мал кафедру, которой так жаждал сам Перелесов и не получал в других университетах. Зависть и неприязнь росли по мере того, как падали надежды получить желанное место, и по мере того, как увеличивалась популярность Николая Сергеевича. Один из тех больших самолюбцев, считающих себя непризнанными гениями, которые умеют скрывать от людей свои горделивые вожделения под видом скромности и непритязательности самого обыкновенного и ни на что не претендующего человека и которые слишком трусливы, чтоб действовать открыто, Перелесов воспользовался первым же представившимся ему случаем сыграть роль Иуды, в надежде свернуть шею Заречному.

Охваченный этой мыслью, он не понимал, что был лишь игрушкой в руках Найденова.

Несмотря на свое пренебрежительное, по-видимому, отношение к юбилею Косицкого и к его заслугам, старый профессор все-таки злобствовал, что Косицкого будут чествовать, а его, Найденова, несмотря на его ученые заслуги, публично не чествовали; юбилей его в прошлом году имел исключительно официальный характер. И в когда-то популярном профессоре, далеко не равнодушном прежде к овациям, невольно поднималась глухая зависть к тому человеку, который будет награжден ими хотя бы и не по заслугам. От этого еще обиднее! Найденов необыкновенно интересовался подробностями юбилейного праздника — недаром же он звал Заречного рассказать о них.

Но когда еще Заречный приедет?..

И Найденов, встретивший Перелесова утром, в день юбилея, обрадованно подошел к доценту и просил его приехать прямо с обеда к нему рассказать, что было на юбилейном торжестве Андрея Михайловича.

— Этим вы мне доставите большое удовольствие! — промолвил старик.

Перелесов тотчас же охотно согласился.

— И какие речи будут говорить — сообщите.

— С удовольствием.

— У вас, сколько помнится, память была изумительная, когда вы были студентом. Сохранилась она?

— Вполне.

— Значит, я вполне удовлетворю свое стариковское любопытство. Большое вам спасибо.

И, протягивая доценту руку, Найденов почему-то прибавил:

— А чтоб не было лишних сплетен, пусть лучше ваш визит ко мне остается между нами.

— Я вообще не разговорчив, Аристарх Яковлевич! — скромно проговорил Перелесов.

— И умно поступаете. Речь — серебро, а молчание — золото. Так, смотрите, не засиживайтесь в «Эрмитаже».

Надо отдать справедливость доценту. Он добросовестно исполнил поручение.

Явившись после обеда к Найденову, он с полнотою и беспристрастием идеального репортера передал все подробности юбилея. Он рассказал о горячей встрече юбиляра, о долго не смолкавших рукоплесканиях и об его смущении. Он перечислил ряд приветственных телеграмм и писем, которые читались, упомянув, что всех писем и телеграмм было больше ста, и, действительно, обладавший изумительной памятью, почти дословно пересказал содержание речей тех ораторов, которые больше всего интересовали Найденова. И при передаче речей и произведенного ими на присутствующих впечатления он был правдив и так же беспристрастен. Только передавая речь Заречного и рассказывая о фуроре, который она произвела, голос Перелесова звучал глуше, и в глазах его, больших, серых и несколько раскосых, было что-то злое и завистливое.

Найденов слушал внимательно и, казалось, бесстрастно, взглядывая на эту худощавую небольшую фигурку рыжеватого блондина лет тридцати, с бледноватым неказистым лицом, и одобрительно покачивая по временам головой,— но каждое его слово, свидетельствующее о блеске и грандиозности чествования Косицкого, возбуждало в старике зависть и злобу, которые он напрасно хотел заглушить цинизмом своих взглядов. И он злился и на Косицкого и на всех этих профессоров, устроивших юбилей и превозносивших в своих речах юбиляра. Нужды нет, что Косицкий не имеет никаких ученых заслуг, его чествовали как профессора, не продавшего ни науки, ни своих убеждений ради карьеры и благ земных. Как своеобразно ни смотрел Найденов на честность, он все-таки не мог не согласиться, что Косицкий, во всяком случае, честный человек.

И в этом чествовании, и в этих речах Найденов как бы видел отраженными ненависть и презрение к себе.

Когда доцент окончил свой доклад, Найденов поблагодарил своего гостя и проговорил с иронической улыбкой:

— Так речь Николая Сергеича произвела фурор!..

— Огромный...

— Как бы только он не дошалился до чего-нибудь со своими речами! — значительно промолвил Найденов.— Он, верно, думает, что незаменим... Положим, он человек бесспорно талантливый, но и вы ведь не хуже его знаете предмет и не менее талантливы.

Перелесов весь насторожился. Какая-то смутная надежда мелькнула в его голове, и он, весь вспыхнув, низким поклоном выразил благодарность за лестное о нем мнение.

Кинув как бы мимоходом о Заречном, Найденов продолжал:

— И вообще весь этот юбилей — срамота... Чествуют человека, не имеющего никаких научных заслуг. Говорят глупейшие речи, в которых называют Косицкого европейским ученым и превозносят его цивические добродетели... И все это раздуют завтра в газетах... И ни у кого не найдется мужества разоблачить всю эту шумиху, недостойную серьезных деятелей науки... и показать неприличие всех этих речей... А следовало бы. Тогда, быть может, и Заречному придется убедиться, что играть в популярность безнаказанно нельзя... Как вы об этом думаете? — неожиданно прибавил Найденов, пристально и значительно взглядывая на своего гостя.

Доцент с первых же слов понял, чего от него хотят, и уже видел себя профессором.

И он тихо, с обычным своим скромным видом проговорил:

— Вполне с вами согласен, Аристарх Яковлевич.

— Рад найти в вас единомышленника. Надеюсь, что вы не откажетесь и оказать истинную услугу делу науки, написать статью?

— Не откажусь! — еще тише ответил Перелесов, отводя глаза в сторону.

— Так напишите сегодня же, под свежим впечатлением, и отчет об юбилее, разумеется, приведите и образчики речей, и статью и отвезите все...

— В «Старейшие известия», конечно?

— Разумеется. Я дам вам записку к редактору, чтоб он завтра же поместил статью и чтобы сохранил в глубочайшей тайне имя автора... Не правда ли? К чему возбуждать против себя ненависть коллег, тем более, что такая статья непременно произведет сенсацию и обратит на себя внимание и в Петербурге...

Вслед за тем Найденов почтн продиктовал содержанне статьи, объяснив в кратких словах, иа что главнейшнм образом иадо обратнть вниманиe и как следует отнестнсь к Коснцкому. Что же касается до речей ораторов, то высмеять их и подчеркиуть все пикантные места он предоставлял усмотрению автора.

— Вы ведь поиимаете, что имеино нужио и чего боятся у иас! — с улыбкой прибавил Найдеиов.

Загоревшийся огоиьком взгляд молодого доцента говорил лучше всяких слов, что ои надеется сделать дело как следует.

Когда он вышел, вполне готовый иа предательство, Найдеиов презрительио усмехнулся и прошептал:

— Даже и тридцати сребреииков вперед ие потребовал!.. И вряд ли их получит!

XIII

Никто из лиц, «обработаииых» «Старейшими известнями», еще ие зиал о статье. Косицкнй не догадался послать за газетой, которую иикогда ие читал, а остальные все спали сегодня до поздиего утра, опровергая этим самым иеточиость стереотипых заключительных слов газетиых отчетов, гласнвшнх, что после обеда «дружеская и оживленная беседа многнх прнсутствовавших затяиулась до полуиочи».

Юбиляр, правда, был увезен своей супругой в однниадцать часов, несмотря на вндимое его желанне посндеть в малеиьком кружке свонх коллег за бенедиктниом. К тому же, после окоичания всех речей н после двух бутылок зельтерской воды, Андрей Михайловнч чувствовал себя иастолько бодрым, что далеко ие прочь был поболтать с приятелями, ие чувствуя себя больше юбиляром, н выпить одиу-другую рюмочку любимого нм ликера.

Но супруга его, иесмотря на просьбы коллег мужа оставить Аидрея Михайловнча хоть еще иа полчасика н несмотря на обещания прнвезти его домой в иазиачеиное время, иепреклоиио н решнтельио объявила, бросая значительный взгляд на мужа, что бедный Андрей Михайлович утомлеи, что его надо пожалеть, что лнкер ему положительио вреден («да н дорого стоит!» — подумала оиа, сообразнв, что теперь Андрею Михайловичу, пожалуй, придется платнть за коисомацию[1] — юбн-

[1] угощение (*фр.* consomation).

лей-то кончился), и сослалась на самого Андрея Михайловича, бросая на него второй и уже более красноречивый взгляд.

И Андрей Михайлович, которого только что прославляли за мужество, довольно-таки малодушно подтвердил слова супруги и, простившись с коллегами, покорно поплелся за ней, унося в душе радостно-умиленное чувство скромного человека, почтенного свыше всяких ожиданий, и сознавая в то же время, что в глазах Вареньки он даже и не был юбиляром и по-прежнему находится в непосредственном ее распоряжении.

Многие, разбившись по кружкам, оставались еще сидеть в большой зале за чаем или за бутылками вина. Пел один тенор из театра. Декламировала артистка. Часам к двум только стали расходиться, но одна компания осталась. Она ужинала и после ужина засиделась до утра.

В этой компании было человек семь профессоров и в числе их Заречный, Звенигородцев, писатель Туманов, один публицист и один доктор.

После ужина продолжали говорить и пить, и все не хотели уходить, словно бы ожидая, что еще что-то должно случиться, хотя все давно чувствовали скуку. Уже несколько раз многие признавались друг другу в любви и целовались. Уже Звенигородцев, в отсутствие половых, произнес один из своих занимательных спичей, приберегаемых для интимных компаний. Заречный, много пивший и захмелевший, не раз, с раздражением чем-то обиженного человека, поднимал разговор о «мудрости змия», необходимой для всякого серьезного деятеля, пускался в философские отвлечения и, не оканчивая их, спрашивал чуть ли не у каждого из присутствовавших: понравилась ли его речь? И хотя все находили ее блестящей, но это, по-видимому, его не успокаивало, и он, закрасневшийся от вина, заплетающимся языком жаловался, что его не все понимают. Когда ближайшие его соседи, с преувеличенным азартом подвыпивших людей, выразили, что только подлецы могут не понимать такого хорошего и умного человека, как Николай Сергеевич, и при этом напомнили, какую ему сегодня сделали овацию, Заречный и этим, по-видимому, не удовлетворился и обиженно налил себе вина.

Молодой писатель Туманов ни разу не открыл рта и молча тянул вино стакан за стаканом, делаясь бледнее и бледнее. Казалось, он с одинаковым равнодушным

вниманием слушал все разговоры, точно ему решительно все равно, о чем говорят: о душе, о мудрости змия, об университетских дрязгах, об литературе. По крайней мере, на его симпатичном, с мягкими чертами лице не отражалось никакого впечатления. Оно оставалось бесстрастным. И только по временам на нем появлялось выражение какой-то безотрадной скуки, словно бы говорящее, что на свете решительно все и одинаково скучно.

Таким же молчаливым был и сосед Туманова, молодой профессор Дмитрий Иванович Сбруев, года два тому назад переведенный из Киева, где он имел какие-то неприятности с ректором. Он тоже пил молча и много, но слушал разговоры внимательно и напряженно. На его широком мясистом лице, с окладистою темно-русою бородой, нередко появлялась грустно-ироническая и в то же время милая улыбка, которая не могла никого оскорбить. Он не раз порывался что-то сказать, но ничего не говорил и застенчиво улыбался, как-то безнадежно махая рукой, и вслед за тем отхлебывал из стакана.

Все уже сильно захмелели и, когда Звенигородцев догадался потребовать счет, обрадовались.

Только Туманов удивленно проговорил:

— Уже?

— Да ведь час-то который, роднуша! — воскликнул Звенигородцев.

— А который?

— Шесть. Пора и по домам... Небось наюбилеились... Запиши-ка ты это слово. Тебе как писателю оно пригодится!

После расчета все вышли в сени и, надевши шубы, распростились друг с другом поцелуями.

— А мы с вами, Дмитрий Иванович, нам ведь по дороге! — обратился Заречный к Сбруеву.

— С вами, Николай Сергеич.

Чуть-чуть брезжило. Несколько извозчиков с заиндевевшими бородами шарахнулись к подъезду. Заречный и Сбруев сели в сани и поехали.

Мороз был сильный. Заречный уткнулся носом в воротник шубы и скоро задремал. Сбруев, напротив, подставлял лицо морозу, не чувствуя на первых порах его силы, и прежняя улыбка не сходила с его лица.

Некоторое время он молчал, занятый, по-видимому, какой-то мыслью, беспокоившей его не совсем трезвую голову.

Накоиец Сбруев повериул голову к спутнику и, потирая щеки и нос, проговорил:

— Николай Сергеич?

— Что? — соиио откликиулся Заречиый.

— Зиаете, что я скажу и что я давио, еще там, в «Эрмитаже», хотел сказать, ио по своей подлой застеичивости ие решался... Но теперь решился... и зиаю, что вы поймете и ие обидитесь... Верио, и вы то же чувствуете, что и я... Обязательио...

Заречиый, казалось, ие слыхал.

— Слышите, Николай Сергеич...

— Ну? Приехали, что ли?

— И ие думали...

— Так в чем дело, а?

— А в том дело, Николай Сергеич, что все мы, собствеиио говоря, свииьи!..

— Какие свииьи? — переспросил Заречиый, слегка выдвигая лицо из воротиика.

— Самые иастоящие...

— Это кто?

— Мы... профессора.

— То есть, что вы хотите этим сказать, Дмитрий Иваиыч?

— А то, что сказал, Николай Сергеич... Коиечио, ваша речь превосходная, Николай Сергеич... Талаит... Я поиимаю: лучше делать возможиое, чем иичего ие делать. Теория компромисса... Тоже учеиие. Но где граиицы? А мы так уж все граиицы, кажется, переехали... Ну, я и говорю себе, что я свииья, ио остаюсь, потому что... Вы зиаете, Николай Сергеич... Матушка и три сестры у меия иа руках... Но это ие мешает мие созиавать, что я такое... Да что это вы так вытаращили иа меия глаза? Поиимаю. Удивлеиы, что безгласиый Сбруев и вдруг заговорил. Я пьяи, милый человек, потому и позволяю себе эту роскошь. Теперь я самому Найдеиову скажу, что ои подлец, а завтра ие скажу. Не осмелюсь. Теория компромисса и собствеииое свииство... Три тысячи... мать, сестры. Ни иа что ие способеи, кроме иаучиого корпеиья... А вы... талаит, Николай Сергеич. Блеск ослепительиый!

Несмотря иа то что и Заречиый был пьяи, ои действительио глядел иа Сбруева с большим изумлением, поражеииый тем, что Дмитрий Иваиович, всегда молчаливый, застеичивый и даже робкий, ие выражавший иикогда своих миеиий и ие высказывавшийся, казавшийся узким специалистом, заиятым лишь одиой иаукой, в которой был зиатоком, и ии

с кем не сближавшийся, но пользовавшийся общим уважением, как несомненно порядочный человек,— что этот молчальник Дмитрий Иванович вдруг заговорил, и притом с такою неожиданной решительностью.

В опьяненном мозгу Заречного на мгновение блеснуло сознание, что Сбруев прав. Он хотел было немедленно обнять Дмитрия Ивановича и крикнуть на всю улицу, что и он, Николай Сергеевич, такой талантливый и безукоризненный человек, тоже свинья и морочит людей своими речами. Но в то же мгновение в голове его явилось воспоминание о Рите, неразрывно связанное с Невзгодиным и Найденовым и с впечатлением какой-то большой обиды, и ему вдруг представилось, что Дмитрий Иванович имеет намерение его оскорбить и унизить, что он именно его, Николая Сергеевича, назвал свиньей и знает, что Рита его не любит. Знает и радуется чужому несчастью.

И с быстротою перемены впечатлений, свойственной захмелевшим людям, Николай Сергеевич стал мрачен и дрогнувшим от обиды, пьяным голосом воскликнул:

— Et tu, Brutus?..[1] И вы, Дмитрий Иванович, заодно с ними?.. Не ожидал этого от вас, именно от вас... За что? Разве я свинья? Разве я, Дмитрий Иваныч, не высоко держу в руках светоч знания!.. Разве я хожу на совет нечестивых... И вы не хотите понять меня, как эта непреклонная женщина, и оскорбить, нанести рану вместе с врагами... Вы, значит, мой враг?..

— Что вы, голубчик, Николай Сергеич!.. Разве я хотел оскорбить! Разве я враг вам? Клянусь, не думал... Я знаю, что вы талант... вы, одним словом, выдающийся общественный деятель.

— Талант?! А вы хотите его унизить! — не слушал Заречный, чувствуя себя несправедливо обиженным и жалея себя.— Вы думаете, как и эта гордая женщина, что я лицемер? Вы хотите, чтоб я был героем? Но если я не герой и не могу быть героем... Должен я выходить в отставку? Не должен и не могу. Не могу и не выйду. Не выйду и не сделаюсь таким, как Найденов... А Невзгодина я убью! Вы понимаете ли, Дмитрий Иваныч, убью! — мрачно прибавил Заречный.

Но Дмитрий Иваныч ничего не понимал и порывисто восклицал:

— Какие враги? Какая женщина? Кого убить? Милый

[1] И ты, Брут?.. *(лат.)*

Николай Сергенч, успокойтесь. Кто смеет сравиивать вас с Найденовым? Что вы говорите, Николай Сергеич!

— Я помню, что говорю... Я пьяи, ио помию. А говорю, что ие ждал, что вы обидите человека, который и без того обнжен... Все меия поздравляли... Овации... А эти люди...

— Я — обидеть? По какому праву и такого человека?! Вы меня не поняли, Николай Сергеич!

— Отличио понял, откуда все это идет... Слушайте, Дмитрий Иваныч! Любили лн вы когда-нибудь жеищииу?

— Зачем вам зиать?

— Необходимо.

Сбруев молчал.

— Вы что ж не отвечаете? Я ие стою ответа? Вы опять хотите оскорбить меия?

— Нниколай Сергеич... Как вам ие стыдио так думать?

— Так ответьте: любили ли вы женщииу безумио, ревииво?

— Ну, положим, любил! — робко пролепетал Дмитрий Иваиович.

— А она вас любила?

— То-то, иет! — уныло протяиул Дмитрнй Иванович, улыбаясь своей грустио-иронической улыбкой.

— Но замуж за вас пошла бы?

— Пожалуй, пошла бы...

— А вы на ией не женились?

— Разумеется...

— И даже «разумеется»?..— усмехиулся пьяной улыбкой Заречиый.— А почему же ие жеинлись?

— Вот тоже вопрос!.. До такого свииства я еще не дошел! — ответил Сбруев и, в свою очередь, засмеялся.

— А я, Дмитрнй Иваныч, дошел и женнлся... Оттого я и пьян... оттого я и иесчастный человек!

— Из-за жеищины?! Не верю... Вы такой общественный человек и из-за жеищниы?! Не поверю!

Извозчик в это время повериул в один из переулков, пересекающих Пречистеику, н, обращаясь к Заречиому, спросил:

— К какому дому везтн, ваше здоровье?

Этот вопрос прервал разговор пьяиых профессоров.

Заречиый и Сбруев виимательио взглядывали в полутьму переулка, где нзредка мнгали фонари.

— Дмитрнй Иваиыч!.. Где мой дом? Где дом, который был когда-то желаиимым, а теперь...



«Жрецы».
Художник Ю. Хайлов

Он внезапно оборвал речь н показал рукой на маленький особнячок.

— Сюда! — крикнул Сбруев...

Он помог Нколаю Сергеевичу вылезтн нз саней и подвел его к крыльцу.

— Звоннть?

— Тнше только... Рнта спит... Она не должна знать, что я так... пьян.

Пока пришла Катя отворить подъезд, оба профессора уже целовались, уверяя друг друга в искреннем уважении.

Это прнмиренне, вероятно, и заставило Сбруева крикнуть, когда он сел в сани, чтоб ехать домой:

— А все-такн мы свиньи! До свидання, Николай Сергенч!

Но Заречный, кажется, не слыхал этих слов н, войдя, пошатываясь, в переднюю, забыл решнтельно обо всем, что пронзошло н с кем он прнехал. Он теперь сознавал только одно: что он очень пьян, н думал, как бы показать горннчной, что он совсем не пьян.

И он старался ступать твердо и прямо, нарочно замедляя шаги. Чуть было не ударнвшнсь о вешалку, он с самым серьезным видом посмотрел на пол, словно бы ища предмета, о который он споткнулся. Хотя шубу с него всегда сннмала Катя, теперь он просил ее не беспоконться: он сннмет сам. Но процедура эта пронсходила так долго, что горннчная помогла ему. Прн ее же помощи попал он наконец в кабннет н, охваченный теплом и чувствуя, что кружнтся голова, не без труда проговорил, напрасно силясь не заплетать языком:

— Спаснбо, Катя... Больше ничего... Я сам все, что надо... н свечку... Отлнчный был юбилей... Ддда... Отлнчный... Меня не буднть...

Катя между тем зажгла свечку, помогла Нколаю Сергеевнчу стащнть с себя фрак н хотела было снять с Заречного ботники, но он сердито замахал рукой, и она вышла, пожалев Нколая Сергеевича, который, по ее мнению, должен был напиться не иначе как «через жену».

«Прежде с ним этого не бывало!» — подумала она.

XIV

Проснувшнсь, Нколай Сергеевич устыднлся.

Он лежал на постелн нераздетый н в ботннках. У него болела голова, н вообще ему чувствовалось нехорошо. Он старался и решнтельно не мог припомнить, в каком виде

и когда он вернулся домой, но легко сообразил, что вид, по всей вероятности, был непривлекательный.

«Неужели Рита видела?» — с ужасом подумал Заречный.

Он хорошо знал, с какою брезгливостью относится она к пьяным.

Такого срама с ним давно не было. Правда, случалось — и то редко,— что он возвращался домой навеселе, и Рита всегда спала в такое время... Но чтобы напиться... какой срам!

Он ведь профессор, его все знают. Его могли видеть пьяным на улице...

— Безобразие! — проговорил Николай Сергеевич и тут же дал себе слово, что впредь этого не будет...

Он взглянул на часы. Господи! Шестой час!

Заречный торопливо вскочил с постели и стал мыться. Сегодня он особенно тщательно занимался своим туалетом, чтобы жене не бросились в глаза следы ночного кутежа. Но зеркало все-таки отражало помятое, опухшее лицо, красноватые глаза и вздутые веки.

А в голову между тем шли мрачные мысли. Речь, на которую он так надеялся, не убедила Риту. Она по-прежнему не понимает его и вчера даже ни разу не подошла к нему... Все время была с Невзгодиным... За обедом говорила с ним, и только с ним...

Он сознавал мучительность неопределенности, которая нарушила его благополучие и его покой. Он вдруг точно стал в положение обвиняемого и потерял все права мужа. Вот уже третью ночь спит на диване в кабинете... Неужели впереди та же неопределенность или еще хуже — разрыв? Он понимал, что необходимо решительно объясниться, и в то же время трусил этого объяснения. По крайней мере, он не начнет...

Когда Катя вошла в кабинет, чтоб узнать, можно ли подавать обедать, Николай Сергеевич, желая выведать, когда он вернулся домой, спросил:

— Отчего вы раньше не разбудили меня?

— Вы не приказывали. Да и барыня не велели вас будить. Вы изволили поздно вернуться.

— Поздно? В котором же часу я, по-вашему, вернулся?

— В седьмом часу утра...

«Слава богу, Рита не видала!» — подумал Николай Сергеевич и, после секунды-другой колебания, смущенно проговорил, понижая голос:

— Надеюсь, Катя, вы никому не болтали и не станете болтать о том, что я вернулся, кажется, не в своем виде.

— Что вы, барин! За кого вы меня считаете? Да и вы совсем в настоящем виде были. Чуть-чуть разве...

— А за ваше беспокойство... вчера вы из-за меня не ложились спать... я... поблагодарю вас, как получу жалованье.

Катя, прежде охотно принимавшая подачки, обиделась. Никакого беспокойства ей не было. Она всегда готова постараться для барина.

— И никаких денег мне не нужно! — порывисто и взволнованно прибавила она.

Вслед за тем, снова принимая официально-почтительный вид, доложила:

— Господин Звенигородцев два раза заезжали. Хотели в восемь часов быть. По нужному, говорили, делу. Прикажете принять?

— Примите.

— А обед прикажете подавать?

— Подавайте. Да после обеда кабинет, пожалуйста, уберите.

Заречный вошел в столовую несколько сконфуженный и точно виноватый.

Но, к его удивлению, в глазах Риты не было ни упрека, ни насмешки. Напротив, взгляд этих серых глаз был мягок и как-то вдумчиво-грустен.

У Заречного отлегло от сердца. И, мгновенно окрыленный надеждой, что Рита не сердится на него, что Рита не считает его виноватым, он особенно горячо и продолжительно поцеловал маленькую холодную руку жены и виновато произнес:

— Я безобразно поздно вернулся. Вчера после обеда засиделись. Не сердись, Рита. Даю тебе честное слово, что это в последний раз.

— Это твое дело. Но только вредно засиживаться! — почти ласково промолвила она.

— И вредно, и пошло, и скучно. Только бесцельная трата времени, которого и без того мало.

Они сели за стол. Рита передала мужу тарелку супа и сказала:

— Звенигородцев тебя хотел видеть... Какое-то спешное дело.

— Мне Катя говорила. Не знаешь, что ему нужно?

— Я его не видала. Он не входил.

Несколько минут прошло в молчании.

Заречный лениво хлебал суп и часто взглядывал на Риту влюбленными глазами, полными выражения умиленной нежности. Вся притихшая, точно безмолвно сознающаяся в своей вине, она была необыкновенно мила. Такою Николай Сергеевич никогда ее не видал и словно бы молился на нее, благодарно притихая от восторга и счастья.

И Рита, встречая эти взгляды, казалось, становилась под их влиянием кротче, задумчивее и грустнее.

Катя, видимо заинтересованная наблюдениями, то и дело шмыгала у стола, бросала пытливые взгляды на господ. Она обратила внимание, что Николай Сергеевич, обыкновенно отличавшийся хорошим аппетитом, почти не дотронулся до супа, и вчуже досадовала, что он совсем как бы потерянный от любви, и негодовала на барыню. Несмотря на ее «смиренный вид», как мысленно определила Катя настроение Маргариты Васильевны, она чувствовала скорее, чем понимала, что барину грозит что-то нехорошее, и только дивилась, что он пялит в восторге глаза на эту бесчувственную женщину.

— А тебе, Рита, не скучно было вчера?

Бросив с умышленной небрежностью этот вопрос, Заречный со страхом еще не разрешенной тайной ревности ждал ответа.

— И не особенно весело! — отвечала Рита.

На душе Николая Сергеевича стало еще светлей. Лицо его сияло.

«Невзгодин ни при чем. Рита не увлечена им!» — подумал он.

Рита заметила эту радость, и по губам ее скользнула улыбка не то сожаления, не то грусти.

— Не весело? Но Василий Васильевич такой веселый и интересный собеседник.

— Это правда, но у меня у самой было невеселое настроение.

«Вот-вот сию минуту Рита скажет, что это настроение было оттого, что она почувствовала несправедливость своих обвинений»,— думал профессор, желавший так этого и думавший только о себе в эту минуту.

Но жена молчала.

— А теперь... сегодня... Твое настроение лучше, Рита?..— спрашивал Заречный и точно просил утвердительного ответа.

— Определеннее! — чуть слышно н в то же время зиачительно промолвила Рита.

— И только!

— К сожалеиию, только.

В словах жены Ннколай Сергеевич уловил иечто загадочное н страшное. Не этих слов ожидал ои! И тревога вспуганного чувства охватила его, и радость счастья внезапно омрачнлась, когда он увидал, как вдруг отлила кровь от щек Рнты и какое страдальческое выражеиие, точно от скрываемой болн, промелькнуло в ее глазах, в ее печальиой улыбке, в чертах ее лица.

— Рита, что с тобой? Не больна ли ты? — испугаиио и беспокойно спрашнвал Ннколай Сергеевич.

«Господн! Он нничего не поннмает!» — подумала Рита.

И, троиутая этой беспредельной любовью мужа, которая все прощала и, ослеплеииая, иа все иадеялась, попирая мужское самолюбне, оиа проговорила, стараясь улыбиуться:

— Да ты не тревожься. Я здорова.

Оиа выговорнла эти слова, н ей стало совестно. Оиа предлагает ему не тревожиться, а между тем...

— Я спала плохо... Все думала о иашнх отношеииях...

— И до чего же додумалась, Рнта? — спросил упавшнм голосом профессор, меняясь в лице.

Катя только что подала кофе н слышала последние слова. Она нарочно не уходила н стала убирать со стола, чтоб узиать продолженне разговора. Но с ее приходом иаступило молчанне.

— Убернте кабннет! — обратился к ией Николай Сергеевич, желая ее выпроводить.

— Уже убран, барнн!

И Катя с особенною тщательностью, никогда прежде ие выказываемою, стала сметать на поднос крошки со стола.

Маргарита Васильевна взгляиула на Катю и перехватила ее взгляд, полный неиависти н осуждення. Катя смутилась. Удивленная, Маргарита Васильевиа не подавала вида, что заметила и взгляд н смущеиие горннчиой, н с обычной мягкостью проговорила:

— Вы потом уберете со стола, а теперь можете идтн, Катя.

— Вас не разберешь, барыня. Сегодня так прнказываете, завтра нначе! — резко, очевндно с умышленною грубостью, проговорнла Катя.

Маргарита Васильевна пристально посмотрела на Катю, еще более удивленная. Никогда Катя не грубила ей, отличаясь всегда приветливостью во все два года, в течение которых жила у Заречных. И только тогда поняла, что это значит, когда, в ответ на резкое замечание Николая Сергеевича на грубость барыне, Катя вся вспыхнула, но покорно, не отвечая на слова, вышла из столовой.

«Положительно все женщины влюбляются в мужа, кроме меня!» — подумала Маргарита Васильевна и невольно усмехнулась, хоть ей было не до смеха.

— Так до чего ты додумалась, Рита? — снова спросил Николай Сергеевич, все еще надеясь на что-то при виде улыбки жены.

— Об этом нам надо поговорить. У тебя есть свободные четверть часа? Ты никого не ждешь?

— Никого.

— А Звенигородцев?

— Он будет в восемь. Но его можно и не принять. Сказать, что дома нет.

— Так пойдем ко мне. Или лучше к тебе в кабинет! — внезапно перерешила Маргарита Васильевна, почему-то краснея.— Там никто не помешает нам. Ты кончил кофе?

— Я не хочу.

Рита поднялась. Поднялся и Заречный и, по обыкновению, подошел к ней, чтобы поцеловать ее руку.

Ему показалось, что рука Риты вздрогнула, когда он прикоснулся к ней губами. Когда он стал ее целовать с порывистою нежностью, словно бы вымаливая заранее прощение, Рита тихонько отдернула руку. И тут он вдруг заметил, что на ней нет обручального кольца.

Маргарита Васильевна медленно шла впереди, опустив голову.

А Николай Сергеевич, вместо того чтобы по праву мужа идти рядом с прелестной, любимой женщиной, обхватив ее тонкую, гибкую талию и целуя на ходу ее щеку, как прежде делал он, когда Рита, случалось, благосклонно позволяла ему эти проявления нежности после обеда,— теперь шел сзади с растерянным видом обвиняемого, ожидающего рокового приговора.

Войдя в кабинет, Рита искала глазами, куда бы сесть, еле держась на ногах от сильного нервного возбуждения и бессонной ночи, во время которой она подводила итоги своих отношений к мужу. Но как легко было тогда думать об объяснении с мужем, так тяжело было ей теперь, когда она решилась объясниться.

— Садись, Рита, на диван. Тебе будет удобнее! — заботливо обронил Заречный.

— Нет, я лучше сюда.

И она опустилась на кресло у письменного стола. Целая коллекция ее фотографий, стоявших на столе, бросилась ей в глаза, словно бы напоминая ей вновь, как она виновата перед человеком, которого беспощадно обвиняла в том, в чем грешна была и сама. Спасибо Невзгодину. Вчера он открыл ей глаза, а затем она еще безжалостнее отнеслась к себе и с ужасом увидала, какова и она, грозный судья мужа.

Прошла минута молчания, казавшаяся Заречному бесконечной.

Полный тоски и предчувствия чего-то страшного, он не имел мужества терпеливо ждать приговора, встречаясь едва ли не первый раз в жизни с серьезным испытанием, каким для него являлась потеря любимой женщины.

Забившись в темный угол дивана, он, словно зачарованный, не спускал глаз с жены, голова и бюст которой, освещенные светом лампы, выделялись среди полумрака кабинета.

И как особенно хороша казалась профессору в эту минуту, когда решалась — он это понимал — его судьба, как прелестна была в его глазах эта маленькая обворожительная женщина с ее грустным лицом ослепительной белизны. Как вся она была изящна и привлекательна!

И эта самая женщина, которую он любит с такою чувственною страстью и которую еще недавно так горячо, так безумно ласкал, считая ее по праву своей желанной женой и любовницей, теперь будто для него совсем чужая. Он не смеет даже припасть к ее ногам и молить, чтобы она не произнесла обвинительного приговора.

«Неужели все кончено? Отчего она не говорит? За что длить мучения? Или, быть может, не все еще потеряно. Она не захочет разбить чужой жизни... Она...»

— Рита!.. Что же ты? Говори, ради бога! — вдруг раздался среди тишины молящий голос Николая Сергеевича.

И вот Рита перевела дух и начала тихо, мягко, почти нежно и вместе с тем решительно, как мог бы говорить сердобольный доктор с трусливым больным, которому предстоит сделать тяжелую операцию.

Бедный профессор с первых же слов Риты почувствовал, что дело его проиграно, и низко опустил голову.

XV

Рита говорила:

— Во всем виновата я, одна я. Я не должна была выходить замуж за тебя. Мне не следовало соглашаться на твои просьбы и слушать твои уверения, что любовь придет... Я не виню тебя за то, что ты, зная мои чувства, всетаки женился. Ты был влюблен, в тебе говорила чувственная страсть, наконец в тебе говорило мужское самолюбие... Ты не способен был тогда рассуждать, не мог предвидеть последствий такого брака и, влюбленный, не знал хорошо меня. Но я? Я ведь могла понимать, что делаю. Во мне не было не только страсти, но даже и увлечения. Я ведь была не юная девушка, не понимающая, что она делает, мне было двадцать восемь лет — я видала людей, я кое-что читала и обо многом думала. Правда, я не скрыла от тебя, что выхожу замуж потому, что не хочу остаться старой девой, не скрыла и того, что не люблю тебя и питаю лишь расположение, как к порядочному человеку. Но разве откровенное признание дурного поступка искупает самый поступок?.. И я пошла на постыдный компромисс, весь ужас которого я сознала только теперь, когда... когда ты мне кажешься не таким, каким я тебя представляла... Я отдавалась человеку, которого не любила, отдавалась только потому, что и во мне животное...

Рита на минуту примолкла.

— И я имела дерзость,— продолжала она,— обвинять тебя в том, в чем грешна едва ли не больше тебя... Каюсь, я не имела права...

— Только потому, что не имела права? — воскликнул Заречный.

— Да.

— А если бы считала себя вправе?

— Ты знаешь... Я не могу и теперь кривить душой... Я, быть может, и ошибаюсь, но ты не тот, каким мне казался... Но к чему об этом говорить?

— Не тот?! Но еще недавно ты иначе относилась ко мне.

— Да. Но разве я виновата, что мой взгляд изменился.

— Сбруева, например, ты не обвиняешь. А ведь он тоже не выходит в отставку.

— Он никого не вводит в заблуждение. Он не говорит о мужестве, которого нет... Он не любуется собой... Он не играет роли...

— Но н я не лезу в герои... Вчера моя речь... Тебе она не понравнлась?..

— Ты играешь своим талантом. Раиьше ты ие то говорил.

И Заречный чувствовал, что Рита права. Ои раиьше ие то говорил!

— О Рита, Рита! Если бы ты хоть немного любила, ты была бы сннсходнтельиее.

— Быть может!.. Но разве я виновата?

— И ты разочаровалась во мне не потому, что я не тот, какнм представлялся, а потому, что ты увлечена кем-нибудь... И я знаю кем: Невзгоднным! — в отчаянии воскликиул Заречиый, вскакивая с днваиа.

— Даю тебе слово,— ты зиаешь, я ие лгу! — что я никем не увлечеиа. И Невзгодин давио избавился от прежнего своего увлечення. Ты думаешь, что только увлечеиие кем-ннбудь другнм заставляет жеищин разочароваться в мужьях? Ты мало меня знаешь... Но в этом я не вниовата... Я ие скрывала от тебя своих взглядов... Но к чему нам считаться? Позволь мне досказать...

— Что ж... досказывай... Не жалей меня... Я даже и этого ие стою! — промолвил жалобным тоном Заречный.

«А меня разве он жалеет?.. Он только жалеет себя! О безграннчный, иаивный эгоизм!» — невольио подумала Рнта н продолжала:

— После всего, что я сказала, ты, конечно, поймешь, что прежиие наши отношеиия иевозможны... Мы должиы разойтнсь...

— Разойтнсь?.. Ты хочешь оставнть меия? — в ужасе проговорил Заречный.

— Это необходимо.

— Рнта... Рнточка!.. Не делай этого! Умоляю тебя... Не разбивай моей жнзнн!

И, почтн рыдая, он вдруг бросился перед ией на коленн н, схватив ее руку, осыпал ее поцелуямн.

Он был жалок в эту мниуту, этот блестящий профессор.

«И это мужчииа!» — подумала Рита, брезгливо отдергнвая руку от этих оскорбнтельных поцелуев.

Злое чувство охватнло ее, и она строго проговорила:

— Встань. Не заставляй меия думать о тебе как о трусе, ие способиом выслушать правды! Положим, я внновата, но разве весь смысл твоей жизни в одной мне? А наука, а студенты, а общественный долг? — о которых ты так миого говоришь?..— ядовито прибавнла она.

Николай Сергеевич поднялся н отошел к дивану.

— Я жалок, но я люблю тебя! — глухо выговорнл он.

— Все «я» и «я»... Но и я так жить не могу...

— По крайней мере не сейчас... Повремени... Подумай... Дай мне прийти в себя...

— Ты этого непременно требуешь?

— Я прошу...

— Изволь... я останусь некоторое время, но только помни: я больше тебе не жена!

С этими словами она вышла из кабинета.

Заречный долго еще сидел на диване, растерянный, в подавленном состоянии. Приход Звеннгородцева несколько отвлек его.

— Смотри... Читай, что подлецы написали про нас! — заговорил он, после того как расцеловался с Заречным, подавая номер «Старейших известий»...— Я был у тебя два раза... был у Косицкого, у Цветницкого... У всех был... Надо отвечать... Обязательно... Ведь эта статья... форменный донос... И кто только мог сообщнть сведения?..

Когда Заречный прочитал, в чем его обвиняют, он порядком таки струсил. Через несколько минут он уехал с Звенигородцевым к одному из профессоров, у которого должны были собраться все, задетые в статье, и решил на следующий же день сделать обещанный внзит Найденову.

XVI

Несмотря на очевидную нелепость статьи «Старейшнх известий», она, как и предвидел Найденов, произвела большую сенсацию в интеллигентных московских кружках и особенно среди жрецов наукн.

К вечеру уже были распроданы все отдельные номера газеты, обыкновенно мало расходнвшейся в рознНчной продаже. Всякому хотелось прочесть, как «отделали» профессоров. В этот день везде говорили о статье и тщетно допытывались узнать, кто автор, заннтересованные его именем едва ли не столько же, сколько н его произведеннем. Кто-то пустил слух, что автор Найденов, но никто не поверил, считая эту «старую шельму» слишком умным человеком, чтобы написать такой грубый пасквиль.

Люди, не разделявшие мнений воннствующей газеты, разумеется, возмущались статьей, но это не мешало, однако, весьма многим втайне радоваться скандалу, всколых-

нувшему, словно брошенный камень, сонное болото и давшему повод к пересудам, сплетням, циническим излияниям по секрету и к самым пикантным предположениям об эпилоге всей этой истории.

А эпилога почему-то все ожидали, хотя и знали, что никакой «истории», в сущности, не было.

Но более всего, и не без некоторой наивности, москвичи изумлялись наглости, с какою составитель отчета, очевидно присутствовавший на юбилейном обеде, извратил смысл речей некоторых застольных ораторов и в особенности — речи Николая Сергеевича, которая так всех восхитила. Многие ее слышали, многие ее читали в других газетах, и извращение, видимо умышленное, при помощи вставок и замены одних слов другими, так и бросалось в глаза.

Эта, по общему мнению, блестящая и талантливая речь, возводящая в культ служение, по мере возможности, маленьким делам и порицавшая бессмысленность и бесплодность всякого геройства, даже и такого, как выход в отставку,— эта красноречивая защита компромисса и восхваление его, как гражданского мужества, в передаче автора являлась чуть ли не вызовом к протесту.

Это было уж чересчур наглое вранье и возмутило даже благодушных москвичей.

Нечего и говорить, что бессовестные и несправедливые нападки на Николая Сергеевича, который к тому же был излюбленным человеком и гордостью москвичей, по крайней мере не меньшей, чем М. Н. Ермолова, филипповские калачи и поросенок под хреном у Тестова,— еще более подняли престиж блестящего профессора в глазах многочисленных его почитателей и почитательниц.

Оклеветанный, он решительно явился героем.

И на другой же день после появления ругательной статьи Заречный получил десятка два писем, выражавших негодование на безыменного пасквилянта и горячее сочувствие произнесенной Николаем Сергеевичем речи и вообще всей его безупречной деятельности.

В числе этих посланий было и дружеское, очень милое письмецо Аглаи Петровны.

Красивая миллионерша предлагала ему свои услуги. В Петербурге у нее есть один знакомый влиятельный человечек, которому она напишет, если бы вследствие «подлой заметки» Николаю Сергеевичу грозили какие-нибудь неприятности.

Как ни нелепы были нападки на Заречного, но они за-

ставили Николая Сергеевича струсить и, признаться, малодушно струсить. Встревожились статьей и некоторые профессора, говорившие речи и даже не говорившие речей, но бывшие на юбилейном обеде. Один только Звенигородцев, в качестве человека свободной профессии, обнаружил геройство и требовал коллективного протеста против статьи, назвавшей его гороховым шутом.

Захватив с собою Заречного, Звенигородцев привез его в квартиру одного из профессоров, где по инициативе Ивана Петровича должно было состояться совещание. Собрались, однако, далеко не все. Юбиляра решительно не пустила супруга, уже успевшая в течение дня донять Андрея Михайловича упреками, как только прочитала статью «Старейших известий».

Нужно было ему праздновать этот дурацкий юбилей. Теперь, того и гляди, выгонят его. Автор заметки совершенно прав, назвавши Андрея Михайловича человеком «святой наивности», то есть иными словами дураком... Дурак старый он и есть!

Андрей Михайлович терпеливо отмалчивался, но когдаВаренька потребовала, чтобы он на другой день непременно поехал к попечителю объясниться, то «старый дурак» так решительно ответил, что ни к кому объясняться не поедет и на старости лет унижаться не станет, что Варенька вытаращила от удивления глаза.

— И я плюю на статью! — прибавил с презрительной гримасой старый профессор.

Из числа всех позванных Звенигородцевым на совещание собралось только человек десять профессоров. Они, разумеется, тщательно скрывали друг от друга свою тревогу и вместе с Заречным говорили, что следует отнестись с презрением к инсинуациям какого-то мерзавца, но далеко не у всех было одно только презрение, как у старого скромного профессора Косицкого.

У многих был тот, исключительно свойственный русским, преувеличенный страх за свое положение, который заставляет нередко и умственно смелых людей видеть опасность даже и там, где ее нет, и чувствовать себя без вины виноватыми. Все понимали, что лживость статьи вне сомнений и что она не может возбудить недоразумений, тем более что празднование юбилея было официально разрешено, и все-таки трусили.

И лишь только появилась статья, как уж некоторые из жрецов науки, считавшие себя хранителями заветов Грановского, малодушно каялись, что были на юбилейном обе-

де, а двое, более струсившие профессора, не явившиеся в собраиие, уже успели утром показаться иачальству, чтоб узиать, как оио отиеслось к газетиой заметке, и кстати пожаловаться, что в ней их назвали «либеральиыми проходимцами».

Собравшиеся иа совещаиие первым делом заиялись расследоваиием: кто мог быть автором заметки. Очевидио, это кто-иибудь из врагов Николая Сергеевича, которому более всего досталось. Но Заречиый решительио не мог назвать иикого, виушавшего подозреиие. И даже сам Иван Петрович Звеиигородцев, хвалившийся, что все знает, на этот раз должеи был созиаться в безуспешиости своих разведок, иачатых еще утром. Но ои обещал все-таки во что бы то ии стало узиать имя автора, чтоб его остерегались порядочные люди.

Несмотря на предложение Звеиигородцева иаписать коллективиый протест против статьи и привлечь к подписи возможно большее количество лиц, решено было оставить статью без ответа, как ие достойиую даже и опроверЖеиия. На этом иастаивали все, и Иваи Петрович так же быстро взял иазад свое миение, как и предложил его. Но указать передержки, сделаииые в речах Заречиого и других профессоров, обязательио следовало, по едииогласиому миеиию всех присутствовавших.

Заречиый тут же иаписал короткое письмо в редакцию «Ежедиевного вестиика», ограиичившись в нем только иаглядиым сопоставлеиием извращеииых мест речей с действительно произиесениыми, и ие прибавил к этому ни строчки, что придавало письму импоиирующую фактическую краткость и как бы оттеияло полное презреиие к автору отчета, которого ие удостоивали даже ии единым словом, личио к нему обращеииым.

Все вполие одобрили редакцию письма.

— Разумеется, мы все его подпишем! — произиес неожидаиио со своею обычиою застеичивою улыбкой Сбруев, во все время не проронивший ни звука и, казалось, занятый лишь чаем.

В тоие его голоса было что-то вызывающее, точно ои ие был увереи в общем согласии и своим вызывающим уверенным тоиом надеялся подбодрить более малодушиых коллег.

Все удивленно взглянули иа Сбруева, который вдруг заговорил, да еще так решительио и притом не разбавляя чая коньяком.

Прошла долгая мииута тягостиого неловкого молча-

ния. Многие опустили долу глаза. Видимо, предложение Сбруева не понравилось, но ни у кого не хватало мужества прямо об этом сказать.

— Надеюсь, из-за этого мы ничем не рискуем! — прибавил Сбруев с добродушно-ироническо й усмешкой.

— Тут не в риске дело, Дмитрий Иваныч,— наконец заговорил тот самый старый профессор Цветницкий, который на юбилее уверял своего друга Андрея Михайловича, что оба, наверно, были бы министрами, если б жили не в России, а в Англии.— Тут не в риске дело, дорогой коллега! — повторил плотный коренастый старик, понижая свой зычный голос.— Мы все, разумеется, не остановились бы и перед риском, если б того требовала наша честь.

«И врет же старая бестия!» — пронеслось в голове Сбруева.

— А в данном случае и риска никакого нет, и я, разумеется, охотно подписался бы под письмом, хотя моя речь и не удостоилась издевательства и извращения. Но не придадут ли все наши подписи письму несвойственный ему и нас недостойный характер протеста? И деликатно ли это будет относительно наших отсутствующих товарищей? Подпиши все мы письмо, они могут обидеться, что их не включили, а собирать теперь подписи всех коллег, бывших на обеде, поздно... Как вы полагаете, господа?

Коллеги, втайне обрадованные, что Цветницкий так ловко ответил на предложение Сбруева и дал им возможность под благовидным предлогом увильнуть от подписи, согласились с мнением Цветницкого. И сам Заречный, трусивший после статьи всяких намеков на протесты, находил, что подписаться под письмом должны только те, чьи речи извращены.

Сбруев только пожал плечами и потянулся за коньяком.

Совещание, как водится, окончилось ужином. Но разошлись рано. Все, по-видимому, были не в особенно веселом настроении.

На следующий день в «Ежедневном вестнике», впереди письма Заречного и двух его коллег, было напечатано и письмо профессора Косицкого. В теплых, искренних строках он горячо благодарил всех почтивших его вниманием в день юбилея и особенно коллег, «сочувствие и уважение которых он считает высшей для себя честью и лучшей наградой за свою скромную тридцатилетнюю деятельность».

Варенька так и ахнула, когда прочла заключительные

строки письма, явившиеся словно бы ответом на обвинение Андрея Михайловича в дружбе с «либеральными проходимцами». Он точно нарочно публично подтверждал эту дружбу, бросая вызов газете, пользующейся фавором у некоторых влиятельных лиц.

«О двух он головах, что ли!» — подумала Варенька и, взбешенная, явилась в кабинет и задала мужу настоящий «бенефис», как называл Андрей Михайлович особенно бурные сцены, учащавшиеся по мере того, как профессор старел, а профессорша, несмотря на свои сорок пять лет, еще молодилась и, похожая на гренадера в юбке, здоровая и монументальная, хотела осень своей жизни превратить в весну.

Чувствуя себя до некоторой степени виноватым перед Варенькой и побаиваясь-таки ее, старый профессор с обычной покорностью выслушал град ругательств, упреков и застращиваний, что такого дурака, как он, непременно выгонят из университета. Лишь время от времени он подавал реплики, чтобы молчанием не довести жену до истерики, которая особенно пугала его, так как сопровождалась самыми оскорбительными для Андрея Михайловича прозвищами, вроде «старой тряпки», «старой бабы» и «дохлого мужчины».

Получив добрую порцию сцен, Андрей Михайлович в одиннадцать часов пошел в университет и, несмотря на «бенефис», чувствовал себя после напечатания своего письма как-то особенно легко и спокойно.

И это чувство удовлетворенной совести и сознания исполненного долга сказалось еще сильнее, когда студенты встретили старика профессора почтительными рукоплесканиями, а после лекции в профессорской комнате к нему порывисто подошел Сбруев и, с какой-то особенной почтительностью пожимая руку, застенчиво и взволнованно проговорил:

— Какой достойный ответ на подлую статью в вашем письме, Андрей Михайлович.

XVII

В это утро после юбилея Аристарх Яковлевич Найденов, по своему обыкновению, с шести часов уже сидел за громадным письменным столом и при свете лампы усердно просматривал «архивные бумажки», собирая материалы для нового своего исследования.

В сером байковом халате, с очками на носу и с душистой сигарой в зубах, Найденов далеко не имел того сурово-надменного вида, какой у него всегда бывал на людях и особенно в университете. Здесь, в этом большом, несколько мрачном кабинете, главное убранство которого составляли большие шкафы, полные книг, и редкие старинные литографии на стенах, сидел ученый, весь отдавшийся любимому им труду и настолько погруженный в работу, что и не слыхал, как в девять часов в кабинет вошел, тихо ступая по ковру, старый слуга и, положивши на край стола пачку газет, так же бесшумно вышел.

Прошло несколько минут еще, когда Найденов, окончив чтение какого-то документа и бережно отложив его в сторону, обратил наконец внимание на газеты. Он обыкновенно редко читал «Старейшие известия», хотя и получал их, но сегодня вынул первую эту газету из пачки и тихо усмехнулся, словно бы заранее предвкушая удовольствие.

Но усмешка тотчас же исчезла с бритого лица старого профессора, как только он пробежал начало статьи, вдохновителем которой был сам. И по мере того как он читал, глаза его делались злее и скулы быстрее двигались. Видимо взбешенный, он нервно ерзал плечами и наконец, отбросив в сторону газету, злобно прошептал:

— Идиот! Скотина!

Увы! Умный старик видел, что сделал большой промах, поручив Перелесову написать статью. Он считал его умнее и никак не предполагал, что тот, в своем усердии новообращенного предателя и, вдобавок, окрыленный надеждой спихнуть Заречного, превзойдет всякую меру подлости и окажется болваном, не понявшим, что именно ему внушили.

Найденов был слишком умным человеком, чтобы удовлетвориться такой статьей. Она, по его мнению, несмотря на хлесткость, была груба по бесстыдству и оттого теряла всякую пикантность. Эта преувеличенность обвинений, основанных, вдобавок, на искаженной речи Заречного, это упоминание парижских революционных клубов, словом, вся истаскавшаяся от частого употребления шумиха грозных слов только подрывала, по мнению Найденова, веру в правдоподобие обвинений и, разумеется, не могла произвести надлежащего впечатления даже и в тех сферах, для которых пишутся подобные статьи.

Он отлично знал, как их надо писать, чтоб обратить внимание кого следует,— он и сам их писывал прежде под разными псевдонимами,— и потому, раздраженный и злой,

видел, что статья Перелесова — совершенно неумелая и бесцельная гадость, в которой зависть и злоба автора на Заречного так и бросались в глаза.

Но более всего бесило Найденова, что в статье упоминалось о нем. Его имя противопоставлялось имени Косицкого. Благодаря этому могло явиться подозрение, что глупейшую статью написал он.

Конечно, ему мало дела было до того, что подумают о нем в обществе, но он, давно уже мечтавший о более видном положении, конечно, не хотел ссориться с университетскими властями. Ведь они разрешили праздновать юбилей Косицкого.

Старик злился на Перелесова и на себя. Нечего сказать, нашел болвана! Он решил сегодня же побывать, где нужно, чтоб объяснить, что он ни при чем в этой глупой выходке.

В двенадцатом часу, как только что он оделся, чтобы выехать из дому, старый слуга доложил, что господин Перелесов желает его видеть.

— Прикажете отказать? — спрашивал слуга.

— Нет, примите. Зовите его сюда, зовите! — с живостью говорил Найденов, словно бы обрадованный, что увидит Перелесова.

Тот вошел несколько смущенный. Найденов едва протянул ему руку, и доцент смутился еще более от такого неожиданного холодного приема.

Прошла секунда-другая молчания.

Наконец молодой доцент проговорил:

— Я пришел узнать, Аристарх Яковлевич, довольны ли вы исполненным мною поручением?

— Каким поручением? Я никакого поручения вам не давал, господин Перелесов, помните это хорошенько! — сухо проговорил старый профессор, едва владея собой, чтоб не разразиться гневом.— Правда, я вам дал совет и, признаюсь, раскаиваюсь в этом. Вы совершенно не поняли моих указаний и написали черт знает что! И к чему вы приплутали мою фамилию... Кто вас об этом просил?..

— Я полагал, Аристарх Яковлевич...

— И зачем вы передали неточно речь Заречного? — продолжал Найденов, не слушая того, что говорит Перелесов.— Вы думаете, что вам так и поверят?.. Во всех газетах речь напечатана, и Заречный, разумеется, не оставит ваших переделок без опровержения, и как тогда вы будете себя чувствовать, господин Перелесов?

Он уж и теперь себя чувствовал скверно, но надеялся, что Найденов будет доволен.

А старый профессор продолжал, взглядывая в упор на доцента злыми, презрительно сощуренными глазами:

— Признаюсь, я полагал, что вы не только усердны, но и сообразительны, по крайней мере настолько, чтобы понять меру обвинений и меру... гипербол и не впутывать моего имени. Но оказывается, что чувства ваши к Николаю Сергеичу совсем ослепили вас... Только этим и можно объяснить себе неумеренный тон вашего произведения... Вы переусердствовали, господин Перелесов... Чересчур переусердствовали!..

Молодой человек побледнел как полотно. Серые, раскосые его глаза сверкнули злым огоньком. Он видел хорошо, что подлость, сделанная им, не только не будет вознаграждена, но что еще над ним же издевается тот самый человек, который был его демоном-искусителем.

Не попроси его Найденов, не намекни о профессуре, разве написал бы он статью?

И молодой доцент, униженный и оплеванный, ненавидел теперь от всей души старого профессора, но, зная его силу и влияние, молча слушал оскорбления.

Однако лицо его нервно подергивалось, и как ни уверен был Найденов в безнаказанности своих дерзостей, тем не менее это бледное лицо, эти вздрагивающие губы, эти возбужденные глаза испугали и его. Он видел, что зашел слишком далеко. Того и гляди нарвешься на дерзость!

И, внезапно спуская тон, Найденов проговорил:

— А вы, молодой человек, не приходите в отчаяние, что первый блин вышел комом, и не будьте в претензии, что я откровенно высказал свое мнение. Ведь вы сами оказали мне честь желанием узнать: доволен ли я вашей статьей?.. Хоть я ею и недоволен, но, во всяком случае, должен признать, что у вас были добрые намерения...

— Которые вы же внушили! — подавленным голосом произнес Перелесов...

— Тем приятнее для меня, если только я действительно внушил их...— с иронической усмешкой промолвил Найденов.— По крайней мере, одним серьезным деятелем в науке, имеющим правильные взгляды, у нас больше... Ну, до свидания... Надеюсь, секрет вашего авторства будет сохранен... Я еще раз скажу об этом редактору...

Когда Перелесов ушел, Найденов сказал камердинеру:

— Этого господина больше никогда не принимать. Говорите, что меня дома нет. Поняли?

— Слушаю, ваше превосходительство.

— А если без меня приедет профессор Заречный, скажите ему, что я к двум часам буду дома и жду его.

Старик, хорошо знавший бывшего своего ученика, не сомневался, что тот струсит и этой нелепой статьи и потому, наверно, поспешит приехать к нему с обещанным визитом.

«За популярностью гоняется, а труслив, как всякий русский гражданин!» — подумал Найденов, насмешливо скашивая свои тонкие безусые губы.

Молодой доцент шел домой, полный отчаяния, презрения к самому себе и ненависти к Найденову, который его навел на подлость и сам же за это оскорблял и издевался.

Это чувство злобы было тем острее и мучительнее, что оно было бессильно и не могло разрешиться местью.

Обманутый в своих надеждах, осмеянный и оплеванный самим же искусителем, он, несмотря на громадное, вечно точившее его самолюбие, все выслушал и не мог даже и думать об отплате, не рискуя своим положением и даже всей своей будущностью. Ведь Найденов — сила и авторитет в университете и к тому же с большими связями в министерстве. Он уничтожит доцента при малейшей его дерзости. Он зол и злопамятен и, чего доброго, сам же выдаст его авторство и отречется от роли вдохновителя.

При мысли о том, что авторство его может открыться, ужас охватил Перелесова. Он принадлежал к тем людям, которые не прочь совершить гадость, но только под величайшим секретом. У него еще не было цинизма откровенности, и он еще боялся презрения порядочных людей.

Казалось, Перелесов только в эти минуты понял весь позор своего поступка. Вчера, увлеченный радужными мечтами, он не раздумывал, что делает, когда писал свою статью. Но сегодня он сознал, и именно потому, что цель, ради которой была совершена подлость, не была достигнута. Напротив, его же обругали, хотя и с ядовитостью признали его добрые намерения... быть мерзавцем... Он ведь очень хорошо понял смысл последних слов Найденова, более мягких по форме, но едва ли не убийственнее его ругательств.

Нельзя даже было усыпить голоса совести утешением победы или по крайней мере надеждами на скорое осуществление его мечты, и статья являлась теперь перед

ним в виде бесцельной гнусности, которая может обнаружиться. А он боялся именно этого. Недаром же он так дорожил мнением коллег и был так услужлив. Не напрасно же он считался приверженцем меньшинства и искренне разделял взгляды более стыдливых профессоров. Не втуне же он старался расположить к себе студентов?

И вдруг все эти люди узнают, что он оклеветал профессоров и написал на них донос...

Особенно его смущал Заречный. Как ни велика была к нему зависть Перелесова, но он не мог забыть услуг, оказанных ему Заречным, не мог не вспомнить, как доверчиво и тепло относился профессор к своему бывшему ученику...

Страх и злоба обуяли неофита[1] предательства. Страх быть уличенным и злоба на себя. Он, считающий себя непризнанным гением, умница, преисполненный гордыни, бросился, ослепленный страстью, на грубую приманку, брошенную этим «старым дьяволом»!

Он был в болезненно-нервном настроении подавленности и страха. Ему казалось, что все уже узнали, что статью писал он. И, почти галлюцинируя, он искал подозрительных взглядов в глазах проходивших и особенно студентов.

Как нарочно, на Арбате он встретил Сбруева.

Он поклонился ему с обычной любезностью и с тайной тревогой взглянул на профессора.

Тот остановился, по обыкновению крепко пожал ему руку и несколько осипшим после юбилея голосом кинул:

— Читали?

Перелесов сразу догадался, о чем речь, но спросил:

— Что?

— Да пасквиль в «Старейших известиях»?

И автор его, с видом совершеннейшей искренности и даже с гримасой отвращения на лице, ответил:

— Читал. Невозможная мерзость!

— Надо разузнать, кто автор. Верно, из бывших на обеде...

— Наверное... Но как разузнать?

— Звенигородцев узнает... Он дока по части разведывания.

Они разошлись, и Перелесов даже усмехнулся, обрадованный, что так хорошо умеет владеть собой.

Но слова Сбруева направили все его помыслы на скрытие следов своего авторства, и он, вместо того чтобы про-

---

[1] новичка (от *греч.* neophitos. букв.: недавно насажденный).

должать путь домой, ианял извозчика и поехал иа другой конец города, в типографию газеты. Почти крадучись, вошел он в подъезд и добыл свою рукопись от фактора типографии, который вчера иочью видел его в редакции. Письма Найдеиова к редактору ие существовало. Он сам вчера видел, как редактор разорвал письмо и бросил его в корзинку.

И молодой доцеит ехал теперь домой, обрадоваииый, что рукопись у иего в кармаие.

Войдя в свою малеиькую иеуютиую комиату, которую иаиимал от жильцов, ои бросил рукопись в печку и, когда листки обратились в пепел, несколько успокоился.

Никто ие узиает о том, что ои сделал, и иет уличающих документов. Найденову нет иикакого расчета выдавать автора, а редактор не откроет тайны, о сохраиеиии которой просил Найдеиов. И накоиец, если б Найдеиов и выдал, ои стаиет отрицать. Где доказательства?

Все, казалось, теперь устроеио.

И молодой человек, под влияиием сильиого иервиого возбуждення, иесколько раз перекрестился с видом человека, избавнвшегося от опасиостн, н дал себе слово больше ие делать подобиых подлостей, хотя вслед за этим и усомиился в исполиеиии обещаиия, особеино если бы представился хороший случай иаверияка получить профессуру.

XVIII

Когда на другой деиь, часов около семн, Николай Сергеевич Заречиый входил в хорошо зиакомый ему еще со времеи студеичества обширный кабииет Найдеиова, тот слегка приподиялся с кресла и, пожимая руку Заречиого, проговорил полушутлнвым тоиом:

— Ну, что, договорились, любезиый коллега?

— То есть как договорился?.. Я ии до чего ие договаривался, Арнстарх Яковлевич... Это какой-то мерзавец за меия говорил... Вы разве не читалн сегодня моего опровержеиня? — горячо возражал Заречный.

— Чнтал, конечно... Очеиь хорошо составлеио... Да вы прнсядьте-ка лучше, Нниколай Сергеич, и ие волнуйтесь... Стонт лн волноваться из-за глупой статьи...

— Да я и не волиуюсь,— вызывающе произнес Заречиый, усаживаясь в кресло около стола.

— То-то, н ие следует... А все-таки у вас внд как будто иесколько возбуждениый!



«Жрецы».
Художник Ю. Хайлов

И, внимательно приглядываясь к Николаю Сергеевичу и замечая в выражении его лица что-то неспокойное и болезненное, он прибавил все тем же шутливым тоном:

— Или жена пожурила?

Заречный густо покраснел.

— Ни то ни другое, Аристарх Яковлевич. Мне просто нездоровится эти дни, вот и все! — отвечал Николай Сергеевич.

— Вольно ж вам в «Эрмитаже» сидеть до утра.

— Вы и это знаете? — усмехнулся Заречный.

— И это знаю, коллега. Москва ведь сплетница и рада посудачить, особенно о таких своих любимцах, как вы... Ну, да это ваше дело, хоть и неосмотрительно портить здоровье,— а я все-таки повторю, что договорились вы до того, Николай Сергеич...

Найденов нарочно сделал паузу и взглянул на Заречного. Старику точно доставляло удовольствие играть с ним как кошка с мышью.

— Да что вы не курите... Не хотите ли сигару?

Но Заречный, зная скупость старого профессора, отказался от сигары.

— Чем же угощать редкого гостя... Рюмку вина, чаю?

— Я ничего не хочу... Я только что обедал...

— Ну, как знаете... настаивать не стану... Мы и так побеседуем... Я очень рад, что вы не забыли моего приглашения и пожаловали, уделив старику частицу своего драгоценного времени. Я только удивляюсь, как вас на все хватает...

Заречный нетерпеливо слушал эти умышленно праздные речи и, стараясь скрыть свое беспокойство, равнодушным тоном спросил:

— До чего же я договорился, Аристарх Яковлевич, интересно знать?

— Ах да... Я и забыл, о чем начал и что вас должно несколько интересовать... Договорились вы до того, что мне не далее, как вчера, пришлось вас защищать...

— Очень вам благодарен... Перед кем это?

— Ну, разумеется, перед нашим начальством.

— За какие же тяжкие вины меня обвиняют?

— Не догадываетесь разве?

— Право, нет... Кажется, не совершал ничего предосудительного! — проговорил Заречный с напускною небрежностью, подавляя чувство тревоги, невольно охватившее его.

— За вашу вчерашнюю речь!

— За речь? Да разве она требовала защиты, моя речь, если только ее прочесть не в перевранной редакции?

— Есть много, друг Горацио, тайн...

— Очень даже много, Аристарх Яковлевич, но это уж чересчур.

— Не спорю. Но дело в том, любезный коллега, что вы сами подаете повод обращать на себя внимание большее, чем следовало бы в ваших собственных интересах! — подчеркнул старый профессор.— Положим, что статья, благодаря которой кто-нибудь и в самом деле подумал или счел удобным подумать, что вы опасный человек, положим, говорю я, статья эта действительно глупа... Кстати, вы не знаете, кто автор этой глупости?

— Решительно не знаю.

— И никого не подозреваете?

— Никого.

— Но если бы она была написана поумнее и потоньше?

— Но что же в моей речи можно найти?.. Вы читали ее, Аристарх Яковлевич? — спрашивал, видимо тревожась, молодой профессор.

— Читал и поздравляю вас... Речь талантливая и, главное, знаете, что мне в ней понравилось? — с самым серьезным видом проговорил Найденов.

— Что?

— Оригинальная постановка вопроса об истинном героизме... Хоть ваш взгляд на героизм и разнится от прежних ваших взглядов, но нельзя не согласиться, что новая точка зрения весьма остроумна, отожествляя мирное отправление профессорских обязанностей, при каких бы то ни было веяниях, с гражданским мужеством. Получай жалованье, сиди смирно — и герой. И богу свечка и черту кочерга. Ну, а мы, ретрограды, которые делаем то же самое, но откровенно говорим, что делаем это из-за сохранения собственной шкуры,— конечно, подлецы. Это преостроумно, Николай Сергеич, и очень ловко. Можно, оставаясь такими же чиновниками, исполняющими веления начальства, как и мы грешные, быть в то же время страдальцами за правду в глазах публики... Таким титлом героя, не покидавшего свое место в течение тридцати лет, вы и наградили почтенного Андрея Михайловича, незримо возложили венок на себя и попутно наградили геройским званием всех слушателей, которые тоже ведь геройствуют, мужественно не расставаясь с своим жалованьем. Вполне понимаю, что вы удостоились оваций. Ваша речь их вполне стоила.

Заречный едва усидел в кресле, слушая эти саркастические похвалы.

Возмущенный тем, что Найденов придал такое значение его речи, он порывался было остановить его — и не останавливал. Бесполезно! Ведь и Рита поняла его точно так же. И Сбруев тогда, в пьяном виде, недаром называл и себя и его свиньями. И наконец, разве, в самом деле, защищая во что бы то ни стало компромисс, не говорил ли он в своей застольной речи отчасти и то, что в преднамеренно окарикатуренном виде передавал теперь озлобленный старик?

И Заречный до конца выслушал и потом ответил:

— Мне остается благодарить за ваши своеобразные комплименты, Аристарх Яковлевич, хотя и не вполне мною заслуженные.

— Не скромничайте, Николай Сергеевич.

— Вы слишком субъективно поняли мою речь, но тем еще удивительнее, что она могла подать повод к нареканиям.

— Другие, значит, поняли ее объективнее. Но, во всяком случае, если бы вы в ней ограничились только изложением своей остроумной теории в применении к деятельности юбиляра, то никто бы и не мог придраться. Но ваши намеки о каких-то маловерах и отступниках? Ваши экскурсии в область либеральных фраз? Это вы ни во что не ставите, дорогой мой коллега? — насмешливо спрашивал Найденов, видимо тешась над своим гостем.— Положим, вам для репутации излюбленного человека это нужно, но надо знать меру и помнить время и пространство... Ведь есть люди, которые могли принять на свой счет кличку отступника и, пожалуй, имели глупость обидеться.

«Уж не ты ли обиделся?» — подумал Заречный и поспешил проговорить:

— Я вообще говорил.

— Ну, разумеется, вообще. Не могли же вы так-таки прямо назвать отступником хотя бы вашего покорнейшего слугу, если бы и считали его таковым, что, впрочем, меня нисколько бы и не обидело! — высокомерно вставил старик.

Не на шутку встревоженный Заречный опять промолчал.

— И кроме того, ведь с известной точки зрения могли найти неприличным, что правительственный чиновник, как студент первого курса, показывает либеральные кукиши из кармана. Вот все эти экивоки и были причиной того, что на вас обращено не особенно благосклонное внимание! — подчеркнул Найденов, преувеличивший нарочно эту «неблагосклонность» и словно бы обрадованный угнетающим

впечатлением, которое производили его пугающие слова на трусливую натуру Заречного.

«Ты еще больший трус, чем я предполагал!» — подумал старик профессор.

И с ободряющей улыбкой прибавил:

— Но вы не пугайтесь, Николай Сергеич. Я, с своей стороны, сделал все возможное, чтобы защитить бывшего своего ученика... Как видите, и отступники могут быть незлопамятны!..— усмехнулся Найденов.— И я счел долгом разъяснить, что ваша речь, в сущности, нисколько не опасна.

Заречный начал было благодарить, но Найденов остановил его.

— Не благодарите. Я ведь вас защищал не из личных чувств. А знаете ли почему?

— Почему?

— Потому что считаю вас знающим и даровитым профессором, а университет нуждается в талантливых силах! — проговорил Найденов.— Из вас мог бы и порядочный ученый выйти, если б вы не разбрасывались, не участвовали во всех этих глупых комитетах, гоняясь за популярностью... Признаюсь, я возлагал на вас большие надежды! — прибавил старик, недаром пользующийся репутацией крупной ученой силы и до сих пор серьезно работающий...

И Заречный не мог в душе не согласиться, что упрекн его бывшего профессора справедливы. Он до сих пор все еще «подает надежды» и не может довести до конца своей книги. А вот Найденов безустанно работает, и работы его значительны.

— Я думаю засесть за свою книгу! — проговорил он, готовый теперь предаться научным работам.

«В самом деле, давно пора и, главное, спокойнее!» — мелькнуло в его голове.

— И хорошо сделаете... Ну, а вся эта история, поднятая статьей, на этот раз окончится, по всей вероятности, одним объяснением. Более серьезных последствий, надеюсь, не будет!

— Да ведь и не за что! — воскликнул Заречный.

И радостная нотка невольно звучала в голосе обрадованного молодого профессора. И он снова подумал, что надо серьезно заняться наукой, ограничив размеры общественной деятельности... Быть может, в работе он найдет утешение в несчастье, если Рита не одумается и оставит его...

— Но только даю вам дружеский совет, Николай Сергеич, помнить, что осторожность — большая добродетель. Вы ведь и сами проповедуете «мудрость змия», так и при-

меняйте ее на практике с большею строгостью, чем теперь. Не давайте воли своему ораторскому красноречию.

И он тотчас вспомнил, как лет десять тому назад, когда он был на последнем курсе, по интригам, как тогда говорили, самого же Найденова, должен был уйти один дельный и способный профессор.

— Очень, знаете ли, просто. Был талантливый профессор Заречный, и нет более в университете талантливого профессора Заречного! — усмехнулся Найденов.

— Совсем просто! — улыбнулся и Заречный.

— И вы думаете, что многие из ваших многочисленных поклонников и поклонниц серьезно опечалятся отсутствием в университете талантливого профессора Заречного?

И так как профессор Заречный вовсе не думал теперь о возможности своего исчезновения, приведенной стариком в виде ехидной иллюстрации, то и не отвечал на вопрос Найденова.

— Покричат несколько дней и забудут, утешившись тем, что выберут себе нового идола для поклонения и произведут его в чин излюбленного человека. Популярность у нас, Николай Сергеич, не особенно и заманчива, и я, признаюсь, удивляюсь, как вы, такой умный человек, так увлекаетесь ею и ради нее рискуете своим положением, забавляясь игрой в оппозицию и в либерализм... Неужели вы в самом деле думаете, что это не одна детская забава...

Заречный было поднялся, чтобы откланяться, но Найденов остановил его.

— Куда вы торопитесь, Николай Сергеич? Подождите несколько минут. У меня есть к вам небольшое дельце. Помните, я вам говорил?

— Как же, помню.

— Вот о нем я и хочу с вами поговорить и привлечь к нему в качестве талантливого помощника... Не лишнее прибавить, что дело это может принести нам обоим хорошее вознаграждение... Ведь вы, я полагаю, не прочь от хорошего заработка... Ваше министерство финансов, верно, не в блестящем состоянии? — шутливо и, казалось, не без участия спрашивал Найденов.

— Признаться, не в блестящем.

— Вот видите. Ученая профессия не очень-то балует нас в материальном отношении. Вот и я еле-еле свожу концы с концами! — пожаловался Найденов.

Заречный про себя усмехнулся, слушая эти жалобы скупого старика, который имел и деньги и получал из разных мест жалованье, которого далеко не проживал.

— А дельце, которое я задумал, весьма недурное и выгодное.

Молодой профессор подозрительно насторожился.

— Не догадываетесь? — спросил Найденов.

— Решительно не догадываюсь.

— Я вам предлагаю быть моим сотрудником по составлению учебника. Одному мне этим заняться некогда, но я возьму на себя общую редакцию и охотно поставлю свое имя рядом с вашим.

«Ловко! Мне, значит, вся работа!» — подумал Заречный.

— Что же вы не благодарите вашего старого учителя, Николай Сергеич! — воскликнул Найденов.— Заметьте, я к вам обратился, а ни к кому другому... С вами хочу поделиться и ни с кем больше! — шутя прибавил он.

— Очень вам благодарен, Аристарх Яковлевич, но...— Заречный замялся.

— Какие тут могут быть «но». Не понимаю!

— Мне, видите ли, Аристарх Яковлевич, в настоящее время трудно взять на себя какую-нибудь работу. Я должен окончить свою книгу. И без того она затянулась, а мне бы...

— Что ваша книга? — нетерпеливо перебил Найденов.— Она потерпит, ваша книга... И что она вам даст... Гроши и листочек лавров... А учебник принесет хорошие деньги. А лавры от вас не уйдут... Когда человек обеспечен, и книги лучше пишутся... Очень просил бы вас не откладывать нашего дела. Оно меня очень интересует. Вы, коли захотите, работать можете быстро. Приналягте, и к будущему году мы могли бы пустить наш учебник.

— Вы обратились бы к Перелесову, Аристарх Яковлевич. Он свободен и, кроме того, нуждается. Мне кажется, он отлично справился бы с работой.

— Что мне Перелесов. Он бездарен. Мне нужны вы, Николай Сергеич! — резко промолвил старик.

И, тотчас же смягчая тон, прибавил:

— Вы меня просто удивляете. Такое предложение, и я вас еще должен упрашивать... Что сие значит?

— Но, право же, мне некогда.

Старик пристально взглянул на Заречного.

— Да вы не виляйте, коллега, а говорите прямо... Видно, испугались, что потеряете репутацию либерального профессора, и боитесь, если учебник обругают? Вам еще не надоело сидеть между двух стульев? Так бы и сказали, а то «некогда»! И знаете ли что? Вам легко остаться в ореоле излюбленного человека и героя... Можно и не объявлять

вашего имени на учебнике... Я один буду значиться автором, а с вами мы сделаем условие о половинных барышах. Таким образом, и волки будут сыты и овцы целы, уж если вы так боитесь замочить ножки!.. При такой комбинации, надеюсь, у вас время найдется, любезный коллега! — с циничною улыбкой прибавил Найденов.

Темный свет лампы под зеленым абажуром мешал Найденову увидать, как побледнел Николай Сергеевич, стараясь сдержать свое негодование.

— К сожалению, и при этой комбинации у меня не найдется времени, Аристарх Яковлевич!..— ответил Заречный.

— Не найдется? — переспросил Найденов.

— Нет, Аристарх Яковлевич. Простите, что не могу быть вам полезен.

Наступило молчание.

Старый профессор несколько мгновений пристально глядел на Николая Сергеевича.

— Боитесь, что узнают и что тогда вы прослывете отступником и ретроградом вроде меня? — со злостью кинул он, отводя взгляд.

— Боюсь поступить против убеждения, Аристарх Яковлевич.

— В таком случае прошу извинить, что обратился к вам! — холодно и высокомерно произнес Найденов.

И после паузы, едва сдерживая гнев, прибавил со своей обычной саркастической усмешкой:

— Я полагал, что вы последовательнее и не побоитесь логических последствий компромисса, о котором так блестяще говорили на юбилейном обеде... Оказывается, что вы и с компромиссом хотите кокетничать... Вы уже собираетесь?.. До свидания, коллега!

И, привставая с кресла, едва протянул руку и значительно проговорил:

— Желаю вам не раскаяться, что поступили как мальчишка!

Заречный молча вышел от него, понимая, что теперь Найденов его враг.

И он еще больше трусил за свое положение.

XIX

Когда Николай Сергеевич, приехавши домой, позвонил, Катя стрелой бросилась к подъезду, заглянув все-таки на себя в зеркало в прихожей, и торопливо отворила дверь.



«Жрецы».
Художник Ю. Хайлов

В прихожей, снимая шубу, она с некоторой аффектацией почтительности исправной горничной поспешила доложить барину, что в кабинете его дожидается студент.

— Кто такой?

— Господин Медынцев. Сказали, что вы назначили им сегодня прийти. Такой бледный, худой...

— А барыня дома?

— Нет-с, уехали.

Заречному невольно бросилось в глаза, что Катя как-то особенно щегольски сегодня одета и вообще имеет кокетливый вид в своем свежем платье и в белом переднике, свежая и румяная, с пригожим, задорным лицом, с чистыми, опрятными руками.

И он спросил, оглядывая ее быстрым равнодушным взглядом:

— А вы со двора, что ли, собрались?

— Никак нет-с... А вы почему подумали, барин? — с напускной наивностью спросила она, бросая на него вызывающий взгляд своих черных лукавых глаз.

— Так...— отвечал профессор и в то же время заметил то, чего прежде не замечал, что эта расторопная, услужливая Катя очень недурна собой.

— А барыня дома?

— Никак нет-с... Уехали. Господин Невзгодин за ними приезжал... Прикажете подать вам чай сейчас или после, как гость уйдет?

— Потом...

Николай Сергеевич шел в кабинет усталый, с развинченными нервами. Дожидавшийся студент далеко не был желанным гостем.

Не до разговоров было Заречному в эту минуту, да еще с незнакомым человеком.

Ему хотелось побыть одному и обдумать свое положение. Беды, свалившиеся на него в последние дни, угнетали его и казались ему ужасными. Особенно решение Риты. Он все еще не мог прийти в себя, все еще не хотел верить, что она оставит его. Отвлеченный эти дни беспокойством по поводу статьи, он на время забывал о семейном разладе, но, как только попадал домой, мысли о нем лезли в голову и мучительно терзали его сердце. Он вспоминал о последнем разговоре Риты и жалел себя. Эти два дня они не видались. Рита не выходила из своей комнаты и во время обеда уходила. И вдобавок ко всему это предложение Найденова, отказ от которого грозил серьезными неприятностями. Заречный хорошо знал бывшего своего учителя.

Он знал, что он не простит ему отказа от сотрудничества.

Заречный уже в гостиной решил, что попросит студента зайти в другой раз, в более удобное время, а сам сделает попытку — напишет письмо Рите, в котором... Он сам не знал в эту минуту, что напишет ей, но ему казалось, что он должен это сделать...

Но у Николая Сергеевича не хватило решимости отправить неприятного гостя, когда он вошел в кабинет и увидал этого низенького бледного студента с большими черными глазами, лихорадочно блестевшими из глубоких впадин. Здесь, в полусвете кабинета, освещенного лампой под большим зеленым абажуром, этот вскочивший и, казалось, совсем растерявшийся молодой человек казался еще бледнее, болезненнее и жалче, чем в университетской аудитории, в своем ветхом сюртуке и худых сапогах. Словно бы смерть уже веяла над этой маленькой фигуркой с вдавленной грудью.

Охваченный жалостью, Заречный невольно вспомнил худенькое, почти летнее пальтецо студента, висевшее на вешалке. И в нем он пришел в трескучий, двадцатиградусный мороз. И заставлять его приходить еще раз. Это было бы жестоко!

И, протягивая студенту руку, Николай Сергеевич извинился, что заставил его ждать, и, усадив его в кресло, предложил ему чаю.

Студент испуганно и вместе с тем решительно отказался. Он не хочет. Он только что пил чай. И он вообще не любит чая.

И, видимо чем-то взволнованный, порывисто проговорил:

— Я не задержу вас, господин профессор... Я сейчас же должен уйти... Собственно говоря... Извините, господин профессор... Я буду с вами говорить откровенно... Да как же иначе и говорить?

— Пожалуйста, говорите, у меня время есть. Вы ведь хотели, господин Медынцев, посоветоваться насчет книг.

— Да. И насчет книг, и вообще поговорить... уяснить некоторые вопросы, которые меня мучат, насчет практической деятельности, разрешить сомнения... Но я теперь не за тем пришел... Вы простите, пожалуйста, я должен по совести говорить... Я, видите ли, пришел только потому, что обещал, но я не хотел идти... Перерешил...

Он торопился говорить, задыхался и наконец закашлялся, беспомощно прижимая свои тонкие, точно восковые пальцы к груди.

Этот глухой кашель с клокотанием в груди продолжался с добрую минуту. Заречный подал своему гостю стакан воды и участливо проговорил:

— Да вы не волнуйтесь, господин Медынцев. Не торопитесь, ради бога... Вы меня нисколько не задерживаете... У меня время есть.

— Это сейчас пройдет... Вот и прошло... Собственно говоря, этот кашель... У меня чахотка! — вдруг проговорил Медынцев и как-то застенчиво улыбнулся, словно бы извиняясь, что у него чахотка и он не может не кашлять.

Он выпил стакан воды, минутку передохнул и снова торопливо и возбужденно заговорил, глядя на Заречного почти в упор.

Эти большие чудные глаза глядели на профессора строго, пытливо и в то же время страдальчески. В их взгляде теперь уж не светилось той благоговейной восторженности, какая была, когда Медынцев говорил с Николаем Сергеевичем в университете.

И от этого строгого проникновенного взгляда несчастного больного студента Заречный невольно испытывал какую-то душевную смятенность, точно в чем-то виноватый.

— И вот вследствие того, что перерешил, я и не хотел идти к вам, господин профессор.

— Что вам за охота называть меня господином профессором здесь, у меня дома. Называйте меня по имени. А как ваше имя и отчество?

— Борис Захарович...

— Но почему же вы перерешили, Борис Захарыч? — спросил, почему-то понижая голос, Заречный, и чувствуя, что невольно краснеет под этим серьезным глубоким взглядом юноши.

На мгновение краска залила мертвенно-бледное лицо Медынцева. Выражение глубокого страдания светилось в его глазах. Смущенный донельзя, он, казалось, переживал минуту душевной борьбы.

— Почему перерешил, хотите вы знать? — переспросил он наконец.

— Да. Говорите. Не стесняйтесь, прошу вас.

— Я не стесняюсь. Я и пришел, чтобы объясниться. Но мне самому тяжело, больно, обидно!

Он помолчал, словно бы собираясь с силами, и голосом, дрожащим от волнения и полным тоски, со слезами на глазах продолжал с порывистою страстностью:

— Я так беспредельно уважал и любил вас, Николай Сергеич, что готов был положить за вас душу... Я говорю, верьте мне. Ваши лекции были для меня откровением и, так сказать, намечали мне будущий жизненный путь. Они будили мысль, заставляли работать и верить в идеалы. Я молился на вас. Я видел в вас профессора, для которого наука нераздельна с силой убеждения. Вы служили мне примером. Вы поддерживали во мне бодрость и веру в торжество правды...

Медынцев перевел дух и продолжал:

— И вдруг... вдруг эта ваша речь... Этот призыв к молчалиству. Это восхваление компромисса во что бы то ни стало... На лекциях ведь вы не то говорили... О господи! Зачем вы сказали эту речь? За что вы заставили не верить вам и — простите — не уважать вас... Неужели же ваша речь была искренняя? Тогда кому же верить? Профессору или оратору? — почти крикнул, задыхаясь, Медынцев, и слезы хлынули из его глаз.

И, странное дело, Заречный не гневался за эту страстную речь, дышавшую искренностью и тоской восторженного честного юноши, разочаровавшегося в учителе, которого боготворил. Страшно самолюбивый, Николай Сергеевич даже не испытывал боли оскорбленного самолюбия и не пытался отнестись к филиппике Медынцева с высокомерным презрением непонятого человека.

. . . .

Видимо потрясенный этими словами юноши, профессор молчал.

И это молчание и грустный вид Заречного смутили студента. И он порывисто проговорил, утирая слезы:

— О, простите меня, Николай Сергеич... Я позволил себе... Но если б вы знали...

— Я не сержусь,— мягко, почти нежно остановил его Заречный...— Я понимаю вас...

Когда студент ушел, Заречный долго еще сидел неподвижно за письменным столом.

Он невольно припоминал эти страстные упреки молодой души, и с ним произошло что-то особенное.

Он не сердился и не обиделся, а в приливе охватившей его тоски, в каждом слове этого бедняги, стоявшего одной ногой в гробу, чувствовал горькую правду и свою вину перед ним.

«И перед ним ли одним?» — пронеслось в голове у профессора.

XX

Часов около одиннадцати Маргарита Васильевна вернулась домой. С ней был Невзгодин.

В ярко освещенной прихожей Катя подозрительно оглядывала обоих. Лицо Маргариты Васильевны казалось ей возбужденным.

— Пожалуйста, Катя, самовар поскорей.

— Сейчас будет готов.

— А вы что же так рано из гостей? — ласково спросила Маргарита Васильевна, обратив внимание на щеголеватое праздничное платье горничной.

— Я не ходила со двора, барыня.

— Что так? Раздумали?

— Раздумала.

— Идемте, Василий Васильевич, ко мне!

И с этими словами Маргарита Васильевна прошла через гостиную в свой маленький кабинет.

Катя побежала вперед, чтоб зажечь лампу.

— Так очень проскучали на нашем собрании, Василий Васильич? — спрашивала Заречная, опустившись на диван и оправляя свои сбившиеся под шапочкой золотистые волосы.

— Порядочно-таки.

Невзгодин закурил папироску и, усаживаясь в маленькое кресло, продолжал:

— Благотворительные дамы вашего попечительства напомнили мне соседку за обедом на юбилее Косицкого... Так же болтливы и с таким же самодовольным апломбом говорят о пустяках.

— И я на вас произвела такое же впечатление?..

— Вы хоть были лаконичны, Маргарита Васильевна!

Катя, намеренно долго поправлявшая абажур, слушала во все уши.

В ее лукавых темных глазах, острых, как у мышонка, сверкнула усмешка, и они снова недоверчиво скользнули по Маргарите Васильевне.

«Все-то ты врешь!» — говорили, казалось, глаза горничной.

Она вышла из комнаты, плотно затворив двери, шмыгнула в прихожую и оттуда бегом побежала к подъезду.

Отворив двери, она спросила извозчика, стоявшего у панели:

— Ты сейчас привез барыню с барином?

— Я самый.

— Откуда ты их привез?
— Со Стоженки.
— С улицы посадил?
— Нет, касатка, из дома взял. Оттуда много барынь выходило. А ты чего расспрашиваешь? На чаек, что ли, господа выслали? — спросил, смеясь, извозчик.
Катя быстро скрылась в двери.
Она возвратилась на кухню и стала разогревать самовар, не совсем довольная, что ее подозрения о барыне и Невзгодине не подтвердились. Она была уверена, что ссора, и, по-видимому, серьезная, между мужем и женой вышла из-за Невзгодина. Они, наверно, влюблены друг в друга, хоть и отводят людям глаза, и оттого бедный Николай Сергеич сослан в кабинет.
«Нашла, дура, на кого променять!» — подумала Катя, горевшая желанием открыть глаза Николаю Сергеевичу, чтобы он по крайней мере не мучился напрасно.
И сегодня, когда после обеда приехал Невзгодин и ушел вместе с Маргаритой Васильевной, Катя почти не сомневалась, что они отправились на тайное свидание. Оказывается, они действительно были в попечительстве. Катя не раз там бывала.
Впрочем, обманутые подозрения не поколебали ее уверенности в том, что Маргарита Васильевна влюблена в Невзгодина. Ей очень хотелось, чтобы это было так и чтобы муж об этом узнал. Тогда перестанет она важничать и строить из себя недотрогу. Не лучше, мол, других!
Пока Катя, занятая этими соображениями, почерпнутыми из ее наблюдений в течение десятилетнего пребывания в должности горничной, накрывала в столовой на стол, Маргарита Васильевна, внезапно прервав речь о своих благотворительных планах, в которые она начала было посвящать Невзгодина, значительно проговорила:
— А у меня новость, Василий Васильевич.
— Новость! Какая?
— Я расхожусь с мужем!
Как бы он обрадовался, если б Маргарита Васильевна сообщила эту новость год тому назад. А теперь у него хотя и было дружеское участие к человеку, жизнь которого неудачно сложилась, но, главным образом, в нем был возбужден писательский интерес. Он это хорошо сознавал, взглядывая без малейшего волнения на красивое лицо когда-то любимой женщины. И к тому же он несколько скептически отнесся к этой новости. Не расходилась же она раньше, отдаваясь нелюбимому супругу. Отчего же теперь расхо-

дится? И ради кого? Кажется, барынька никого не любит?

Глаза Невзгодина чуть-чуть улыбались, когда он проговорил:

— От души поздравляю вас, Маргарита Васильевна, с добрым намерением!

— Это не намерение, а решение! — воскликнула молодая женщина.— Слышите ли, решение! А вы, я вижу, не верите! — раздраженно прибавила Маргарита Васильевна, самолюбие которой было сильно задето и недостаточно, по ее мнению, горячим отношением Невзгодина к сообщенному факту, и его недоверчивостью к ее решению.

«Он вправе не верить!» — подумала она в следующее мгновение. И краска стыда и досады залила ее щеки. Ей вдруг сделалось обидно, что она заговорила об этом с Невзгодиным. Он далеко не такой ее друг, как ей прежде казалось.

И она почти сухо кинула:

— Впрочем, верьте или не верьте, это ваше дело!

— Да вы не сердитесь, Маргарита Васильевна.

— Я не сержусь...

— Полноте... Сердитесь... А еще умный человек!

— При чем тут ум?

— Вы недовольны моими словами... Вам непременно хотелось бы слышать в них полную веру в то, что вы сказали?.. Но подумайте, виноват ли я, что этой веры нет. Или вы хотите, чтобы я лгал?..

— Я этого не хочу.

— Так сердитесь, коли хотите, а я лишь тогда поверю вашему решению, когда вы разойдетесь...

Эти слова взорвали молодую женщину. Она поняла причины недоверия Невзгодина и, возмущенная до глубины души, сказала:

— Я не расхожусь сейчас, сегодня, только потому, что муж умолял подождать несколько времени. Не могла же отказать ему в этом я, виноватая перед ним. Он может, конечно, думать, что я из жалости к нему перерешу и останусь его женой, но вы как смеете не верить мне, раз я вам говорю, что оставляю мужа... Или вы такого скверного мнения о женщинах, что не допускаете, чтобы женщина могла понять всю мерзость своего замужества... Или вы думаете, что меня пугает перспектива одиночества и трудовой жизни?

Невзгодин терпеливо выслушал эту горячую тираду и ничего не ответил.

— Что ж вы молчите? Или и теперь не верите?..

— Словам я вашим верю, но...

— Но что? — нетерпеливо перебила Маргарита Васильевна.

— Позвольте мне пока остаться Фомой неверным... Ведь Николай Сергеич вас очень любит.

— Но я его не люблю! И я это ему сказала вчера.

— А если он не совладает со своей страстью...

— Этого быть не может...

— Однако?

— Я помочь не могу...

— Но пожалеть можете и пожалеете, конечно?

— Положим... Что ж дальше... К чему вы это ведете?

— А если пожалеете, то, пожалуй, и не оставите его, если не полюбите кого-нибудь другого.

— И буду опять его женой, хотите вы сказать? — негодующе спросила Маргарита Васильевна.

Невзгодин благоразумно промолчал и через минуту мягко заметил:

— Жизнь не так проста, как кажется, Маргарита Васильевна, и человек не всегда поступает так, как ему хочется... И вы простите, если я рассердил вас... Увы! На мне какой-то рок ссориться даже с друзьями... Но поверьте, я искренне буду рад, если вы обретете счастье хотя бы в вашей личной жизни.

Он проговорил это с подкупающей искренностью. Маргарита Васильевна несколько смягчилась.

— Так вы не очень сердитесь, Маргарита Васильевна?

— Да вам не все ли это равно?

— Не совсем.

— Ну, так я скажу, что сержусь. Вы меня обидели! — взволнованно проговорила Маргарита Васильевна.

— Если и обидел, то невольно... Простите.

— Прощу, когда вы убедитесь, что я умею исполнять свои решения.

— Но все-таки пока не смотрите на меня, как на врага... И в доказательство протяните руку.

Маргарита Васильевна протянула Невзгодину руку. Он почтительно ее поцеловал.

Несколько минут длилось молчание.

Невзгодин чувствовал, что Маргарита Васильевна все еще сердится, и наблюдал, как передергивались ее тонкие губы и в глазах сверкал огонек.

И в уме его проносилась картина будущего примирения супругов. Он раскается ей в своем фразерстве, объяснит,

почему он не герой, напугает ее своей загубленной жизнью без нее и припадет к ее ногам, выбрав удобный психологический момент. И она пожалеет, быть может, такого красавца мужа и отдастся ему из жалости, как отдавалась раньше из уважения к его добродетелям. По крайней мере, так будет утешать себя, не имея доблести сознаться, что в ней такое же чувственное животное, как и в других...

А все-таки ему было жалко Маргариту Васильевну. И он припомнил, какие требования предъявляла она к жизни, когда была девушкой, как высокомерно относилась она к тем женщинам, которые живут лишь одними интересами мужа и семьи, как хотелось ей завоевать независимость и выйти замуж не иначе, как полюбивши какого-нибудь героя и быть его товарищем... И вместо этого — замужество по рассудку, из-за страха остаться старой девой. Даже храбрости не было отдаться своему темпераменту, не рискуя своей свободой... И теперь неудовлетворенное честолюбие несомненно неглупой женщины, не знающей, куда приложить ей силы. Разочарование в героизме мужа, разбитая личная жизнь и постоянное резонерство, которое мешает ей отдаваться непосредственно жизни и жить впечатлениями страстного своего темперамента, который она старается обуздать.

Невзгодину казалось, что он понимал Маргариту Васильевну и что она такая, какою он себе теперь представлял. Как далеко было это представление от прежнего, когда Невзгодин, влюбленный, считал Маргариту Васильевну чуть ли не героиней, способной удивить человечество.

И ему вдруг стало жалко прежних своих грез, точно с ними улетела и его молодость. Ведь и его личная жизнь не особенно удачная. И он не любит ни одной женщины... да и вообще одинок. Счастье его, что в нем писательская жилка. Как бы скверно ему жилось на свете без этой чудной творческой работы, которая по временам так захватывает его... И теперь, после нескольких дней пребывания в Москве, он чувствовал позыв к работе... Крайне сочувственное письмо, полученное им сегодня вместе с корректурами от редактора журнала, в котором печаталась повесть Невзгодина, подбодрило его, и он решил исправить и другую свою вещь и послать ее тому же редактору.

— Вы в Москве думаете оставаться, Маргарита Васильевна? — спросил наконец Невзгодин.

— В Москве. Сперва поселюсь в меблированных комнатах, а потом, при возможности, найму квартиру... Уехать мне нельзя. Тут у меня занятие... Поближе к редакциям

быть лучше, а то того и гляди потеряешь работу... И наконец, это новое дело... Не оставлю я его.

— И вы надеетесь, что ваша мысль осуществится?

— Разумеется, надеюсь. Аносова уже обещала пятьдесят тысяч.

— Обещала, но не дала?

— Что за противный скептицизм! Она не отступится от своего слова.

— Ну, положим, и не отступится. А еще на каких богачей надеетесь?

— На Рябинина! Слышали про этого миллионера?

— Еще бы! Знаменитый фабрикант и безобразник. Имеет гарем на фабрике и в то же время собирается, говорят, издавать газету в защиту бедных фабрикантов, которых все обижают.

— Еще надеюсь на Измайлову.

— На эту бывшую Мессалину и дисконтершу[1] на покое? Чего ради они дадут вам денег на устройство дома для рабочих? И кто вас надоумил к ним обратиться?

— Аглая Петровна.

— Она, этот министр торговли в юбке? В таком случае надо попытать счастья.

— К Рябинину я поеду сама. А к Измайловой надо послать мужчину.

— И это советовала великолепная вдова?

— Да. И советовала, чтобы к ней обратился с просьбой Николай Сергеич.

— Отличный психолог Аглая Петровна! Превосходно распределяет роли! — усмехнулся Невзгодин.

— Мужа я просить не хочу,— продолжала Маргарита Васильевна.— А вот если бы вы, Василий Васильич, не отказались помочь делу и поехать к Измайловой, то я была бы вам очень благодарна.

— Я? С моей тщедушной фигурой? — воскликнул, смеясь, Невзгодин.— Да вы, видно, хотите провалить дело, посылая меня, Маргарита Васильевна! Измайлова со мной и говорить-то не захочет.

— Полно смеяться. Я вас серьезно прошу.

— Да я не отказываюсь. Отчего и не посмотреть на Мессалину, обратившуюся в мумию.

— Так поезжайте. А я вам достану от Аглаи Петров-

[1] **Дисконтерша** — занимающаяся учетом векселей (от *англ.* discounter).

ны рекомендательное пнсьмо. Кстатн, вы и писатель... А Измайлова их уважает...

— Извольте, я поеду, но, если даже н обещания не прнвезу, внна не моя.

В эту миnуту двери бесшумно отворились, и на пороге появилась Катя с докладом, что самовар готов.

— Вот чудиый вестннк! Я ужасно чаю хочу! — проговорил Невзгодии, поднимаясь вслед за хозяйкой, чтоб идти в столовую.

И снова Катя была обманута в ожнданнях.

Ее быстрый взгляд, давно нзощрившийся все видеть во время внезапных появлений в комиату, когда в ией сндят вдвоем хозяйка н гость, не уловил ннкакнх признаков любовной атмосферы, н лнца н положення обоих собеседииков не внушилн ннкакнх подозреннй даже и Кате, знавшей по опыту, как горячо целуют в какую-нибудь короткую секунду самые почтенные мужья в корндоре, почти на глазах у жен.

Но она все-таки ие теряла надежды узиать «всю правду».

Маргарита Васильевна стала разлнвать чай, продолжая разговарнвать с Невзгодиным. Они теперь говорили о статье в «Старейшнх нзвестиях» и хвалили письмо Косицкого н сдержанный ответ оклеветаниых. Несмотря иа то что Катя нарочно подала два стакана, Маргарита Васильевна даже и не подумала спроснть: дома лн муж н ие хочет ли чаю?

Это отношенне к мужу решительно возмутило горничную.

«Онн пьют себе чай и закусывают, а бедный Нниколай Сергеич сиднт себе одии-однешенек, точно оплеваиный!» — подумала Катя, стоявшая в коридоре и жадно прнслушнвавшаяся к тому, что говорят в столовой.

И она прошла к кабннету и прнотворила дверн.

Ннколай Сергеевич по-прежиему сидел за письменным столом, откинувшнсь в кресле.

Тогда Катя, оправнв волосы, вошла в комиату н тнхо прнблнзилась к профессору. Прн внде его подавленного, грустного, слегка осунувшегося лица ей сделалось бесконечно жалко Николая Сергеевнча.

— Что вам, Катя? — спроснл Заречный.

— Чаю не угодно лн, барии? Только что самовар барыие подала! — говорила Катя как-то особеиио почтнтельно-нежно, взглядывая робко н в то же время значнтельно на Заречного.

— А барыия вернулась?

— Недавно вернулись вместе с господином Невзгодиным... Они в столовой...

Заречный поморщился, точно от боли.

«Опять этот Невзгодин!» — подумал он.

— Так прикажете чаю, Николай Сергеич? Может, и кушать хотите... Я вам сюда подам, если вам не угодно выйти... В одну минуту все сделаю.

— Я ничего не хочу.

Заречный поднял глаза на заалевшее хорошенькое и свежее лицо горничной и вдруг перехватил такой восторженный и пламенный взгляд, что тотчас отвел глаза в сторону, несколько удивленный и сконфуженный, и проговорил неожиданно для самого себя мягко:

— Спасибо, Катя. Вы... вы услужливая девушка.

— Что вы, барин? За что благодарите? Да разве вы не видите, что для вас я что угодно готова сделать. Только прикажите! — прибавила она почти шепотом.

— Ну, так сделайте мне поскорее постель! — полушутя приказал Заречный, делая вид, что не замечает горячего тона Кати.

— Опять здесь прикажете? — с едва уловимой насмешкой в голосе спросила она.

— Здесь! — ответил, не поднимая глаз, Заречный, чувствуя, что этот вопрос заставил его покраснеть и сильнее почувствовать стыд своего положения вдовца при жене.

И, словно бы желая скрыть это обидное положение, прибавил:

— Я устал и лягу пораньше... И кроме того, мне необходимо раньше завтра встать! — говорил Николай Сергеевич, внутренне стыдясь, что он должен врать перед горничной.— Вы можете разбудить меня в шесть часов? — неожиданно спросил он строгим голосом.

— Когда угодно, барин.

— Так разбудите, пожалуйста.

— Будьте покойны, разбужу. Покойной ночи, барин. И дай вам бог приятных снов.

Она не уходила, точно ожидая чего-то.

— Можете идти, Катя. Больше мне ничего не нужно! — сказал Заречный.

Катя подавила вздох и медленно вышла.

Николай Сергеевич, однако, не ложился. Он поднялся с кресла и, приоткрыв двери, прислушивался к разговору в столовой. Оттуда временами долетали фразы незначащего разговора, и это несколько успокоивало Заречного. Скоро он услыхал, что Невзгодин прощается... Он взглянул на ча-

сы... половина первого... «Значит, не особенно долго сидел... Верно, Рита рассказала ему, что бросает меня!»

И Заречный чувствовал себя несчастным, одиноким и немножко виноватым перед Ритой.

«Нет, одно спасение в работе, в науке!» — думал он, когда лег в постель и сладко потянулся, расправляя усталые члены.

И Рита, и Найденов с его унизительным разговором, и этот юноша-идеалист, и подлая статья, и книга, которую надо кончить, и Невзгодин, и Сбруев занимали его мысли и ставили перед ним вопросы, о которых он прежде не думал, когда считал себя счастливым и словно бы не замечал в себе той двойственности, о которой с такою страстностью напомнил ему Медынцев. Довольно фраз... Он за них достаточно наказан...

И вся суетливая деятельность его вне университета казалась теперь ему ненужной, бесцельной и опасной. Из-за пустяков можно лишиться положения. «Был Заречный, и нет Заречного!» — припомнил он насмешливые слова Найденова и проникся их вескостью, откровенно признаваясь самому себе, что он трус, скрывающий от людей эту трусость речами о компромиссе.

Наконец все как-то перепуталось в его мозгу, потеряло ясность, и он заснул с мыслью о том, что надо заниматься одной наукой, которая представилась ему вдруг в лучезарном образе Риты.

Заречный проснулся от света, падавшего ему в глаза, и от того, что чья-то мягкая, теплая и вздрагивающая рука осторожно дергала его за плечо.

Проснувшись, он увидел наклонившуюся над ним Катю в капоте, плотно облегавшем красивые формы ее крепкого стана. Она смотрела на него с нежной вызывающей улыбкой. Оголенная белая рука держала свечку, свет которой освещал заалевшееся пригожее лицо с лукавыми черными глазами...

— Вставайте, барин... Шесть часов... Вы велели разбудить вас! — говорила она ласковым шепотом, запахивая ворот капота, из-под которого виднелась чистая сорочка.

Заречный закрыл глаза, будто собираясь заснуть.

— Вставайте же, милый барин! — настойчиво повторила девушка, еще ниже наклоняясь над Заречным и обдавая его лицо горячим дыханием.

Вместо ответа он протянул руку и грубо и властно обхватил ее талию и привлек к себе.

— О милый барин! — шептала Катя, осыпая профессора страстными поцелуями.

В десять часов, когда Николай Сергеевич, напившись чаю, уходил в университет, Катя с еще большею почтительностью подала ему шубу и держала себя так, словно бы ничего между ними и не было.

Молодой профессор старался не глядеть на Катю. Он был сконфужен, сознавая себя виноватым и словно бы осквернившим свою любовь к Рите, и в то же время чувствовал себя в это утро как бы спокойнее, уравновешеннее и не таким несчастным.

Конечно, он оправдывал себя и во всем винил Катю, вздумавшую будить его, вместо того чтобы стучаться в дверь, и решил, что больше этой вспышки зверя не повторится в нем. Однако в тот же вечер, когда Катя готовила ему постель, он как-то особенно внимательно смотрел на ее розоватый затылок и, когда она пожелала ему покойной ночи, снова приказал разбудить себя в шесть часов.

Катя метнула глазами, вся вспыхивая от радости, и почтительно-официальным тоном ответила:

— Слушаю, барин!

XXI

С того вечера как Аглая Петровна приглашала Невзгодина к себе и, милостиво подарив его своей неотразимо-чарующей улыбкой, подчеркнула желание видеть Василия Васильевича как можно скорей,— прошло более двух недель, а Невзгодин и не думал ехать к «великолепной вдове».

Она ждала Невзгодина с нетерпением, дивившим ее. Одетая с большей кокетливостью, чем обыкновенно одевалась дома, Аглая Петровна, как институтка, подбегала к окнам и смотрела на двор. После нескольких дней напрасного ожидания желание красавицы вдовы видеть Невзгодина еще более усилилось. Обыкновенно спокойная, не знавшая никаких волнений, кроме коммерческих, Аглая Петровна сделалась нервной, возбужденной и раздражительной, негодуя, что Невзгодин не едет после такого любезного приглашения, каким она его удостоила.

И — что было всего удивительнее — даже за деловыми занятиями в своей уютной клетушке Аглая Петровна по временам испытывала непривычную доселе скуку и, всегда точная и аккуратная, бывала рассеянна.

В деловом разговоре порой ие слышалось прежией ясиой краткости. Ее крупиая холеиая рука откидывала иеверио костяшки. Цифры путались в ее уме. Вместо иих в голове роилиськ совсем другие мысли.

Оиа гневалась иа эти «шалости иервов» и капризы властиого своего характера. Не влюбилась же оиа в самом деле в Невзгодииа! И тем ие меиее жеиское самолюбие ее было жестоко оскорблеио его презрительиым иевиимаиием, и в ией, богачихе, дочери и виучке крутых самодуров, привыкшей к тому, чтобы желаиия и капризы ее исполиялись, зарождалось к Невзгодиiу какое-то сложиое чувство иеиависти и в то же время иеодолимого желаиия видеть его.

Ои должеи во что бы то ии стало быть у иее!

Этот каприз решительио овладел Аглаей Петровиой. Деспотическая ее иатура ие поддавалась иикаким доводам ума. Оиа понимала всю иелепость своего самодурства и плакала от злости, что Невзгодии ие едет.

Написать ему?

Ни за что на свете. Одиа мысль об этом вызывала в Аглае Петровие иегодоваиие.

Чтоб этот легкомыслеииый, иепутевый человек смел подумать, что оиа им иитересуется, оиа, которая с горделивым равиодушием отиосится к своим миогочислеииым поклоииикам и тайиым вздыхателям, которые ие чета Невзгодиiу. Да поведи оиа бровью, и у ее иог были бы известиые профессора, литераторы, художиики, чииовиые люди, купцы-миллиоиеры. И вдруг этот «мартышка» без рода и племеии, этот иищий фаитазер без положеиия, осмелится вообразить, что в иего влюблеиы — скажите пожалуйста!

Прошла иеделя.

Аглая Петровиа была в театре у итальяицев, была иа беиефисе в Малом театре, иадеясь встретить Невзгодииа, и накоиец поехала отдать визит Заречиой, рассчитывая от иее узиать что-иибудь о Невзгодиие. Верио, ои с ией часто видится.

Но нигде оиа его ие видела, Маргарита Васильевиа могла только сообщить, что Василий Васильич точио в воду каиул и глаз к ией ие кажет с тех пор, как был более иедели тому иазад. И вообще из разговора с Заречиой Аглая Петровиа заключила, что между Маргаритой Васильевиой и Невзгодииым пробежала кошка. По крайией мере, Заречиая, как показалось Аглае Петровие, довольио сдержаиио говорила о своем приятеле.

— А ои мие иужеи,— заметила Аглая Петровиа,— потому я и спрашиваю о ием. Хочу просить его читать иа

благотворнтельном концерте,— внезапно сочннила она.— Кстатн, вы слышалн его повесть. Хороша она?

— Он ие читал еще мне. И мие он нужен, еслн только вы дадите ему рекомендательное пнсьмо к Измайловой...

— Вы его хотите послать вместо мужа?

— Да.

— Что же, Нниколай Сергеич не хочет ехать?

— Ои занят очеиь...

— Так пошлите Невзгоднна ко мне. Я дам ему письмо.

— Я адреса его не знаю...

— Можио справнться в адресном столе. Кстати напншнте ему и о коицерте...

— А Невзгодии у вас разве еще не был? — в свою очередь, спросила Маргарита Васильевна.

— То-то ие удостоивает! — смеясь отвечала Аносова.

— Он, кажется, собнрался...

Аглая Петровна распрощалась, целуя Маргарнту Васильевну с прежией искренностью. По-видимому, Аносова возвратила ей свое расположенне, заключнв, что подозрения, охватнвшие ее на юбилейиом обеде, иеверны.

«Между ннми, кажется, инчего иет!» — подумала Аглая Петровиа. Эта мысль была ей прнятна, и Аносова, уходя, снова подтвердила Маргарнте Васильевне, что даст пятьдесят тысяч, и советовала поскорей послать Невзгодииа к Измайловой, а самой Маргарите Васнльевне ехать к Рябиииину.

— Я иа диях была у иего. Его иет в Москве.

— Ну так попытайтесь у Измайловой... Пнсьмо к ией я сегодия же иапишу... Напишите н вы Невзгодину... Пусть явнтся за иим... Ну, до свидаиня, родная!

Прошло еще три дия, а Невзгодни не являлся.

Аглая Петровиа злнлась, чувствуя бессилие свое удовлетворить свой каприз.

«Быть может, он уехал!» — мелькнуло у нее в голове, н она почувствовала, что отъезд Невзгоднна не вернул бы ей прежнего спокойствия.

Что это с ией делается наконец! Какое безумне нашло иа иее? — спрашнвала она себя, снdя раниим утром за письмеииым столом в своей клетушке за объемистой запиской о постройке новой фабрнкн, поданной одним из ее управляющих.

И она два раза надавила пуговку электрнческого звонка.

На пороге явнлся, по обыкновению бесшумно, старый Кузьма Иванович и, отвеснв ннзкнй поклон, замер в почтнтельной позе.

Уверенная в том, что Кузьма Иванович предан ей как собака и умеет быть немым как рыба, Аглая Петровна дала старику поручение «осторожно узнать», в Москве ли господин Невзгодин и если в Москве, то навести справки, как он проводит время и где бывает.

— Понял, Кузьма Иваныч?

— Понял, матушка Аглая Петровна. Наведу справки как следует, без огласки.

На другое же утро Кузьма Иванович докладывал в клетушке своим тихим, слегка скрипучим голосом, таким же бесстрастным, как и его худощавое, безбородое лицо:

— Господин Василий Васильич Невзгодин находятся в Москве. Они никуда не отлучались из своей комнаты в течение свыше двух недель и денно и нощно занимаются по письменной части. Пишут все и довольно много исписали бумаги. И кушают пищу у себя, пребывая в одиночестве, и никто у них не был, и никого не велели они принимать.

— Спасибо, Кузьма Иваныч!..— проговорила Аглая Петровна.

И когда Кузьма Иванович ушел, она облегченно вздохнула и, подняв глаза, светившиеся теперь радостным блеском, на лампадку, истово осенила себя три раза крестом.

XXII

На Невзгодина нашел рабочий писательский стих.

Он заперся в своей маленькой неуютной комнате в верхнем этаже меблированного дома под громким названием «Севилья» и, казалось, забыл всех своих знакомых.

Возбужденный, с приподнятыми нервами и с повышенной впечатлительностью, он писал с утра до поздней ночи, отрываясь от письменного стола лишь для того, чтобы снова думать о работе, захватившей молодого писателя всего.

Невзгодин побледнел и осунулся. Его впавшие, лихорадочно блестевшие глаза придавали сосредоточенно-напряженному выражению лица вид несколько помешанного. Он работал запоем уже вторую неделю, но почти не чувствовал физической усталости, не замечал, что дышит ужасным воздухом, пропитанным едким табачным дымом, и, не выпуская изо рта папироски, исписывал своим твердым размашистым почерком листы за листами, отдаваясь во власть творчества с его радостями и муками.

И как много было этих мук!

По временам Невзгодин приходил просто в отчаяние

от бессилия передать в ярком образе или выразить в вещем слове то, что так ясно носилось в его голове и что так сильно чувствовалось.

А между тем слова, ложившиеся на бумагу, казались бледными, безжизненными, совсем не теми, которые могли удовлетворить художественное чутье сколько-нибудь требовательного писателя. Он это чувствовал.

— Не то, не то! — шептал Невзгодин, мучительно неудовлетворенный.

Он рвал начатые листы и нервно ходил в маленькой комнате, точно зверь по клетке, ходил минуты и часы, не замечая их, пока сцена или выражение, которых он искал, не озаряли его мозга как-то внезапно и совсем не так, как он думал.

Тогда, счастливый, с просветленным лицом, Невзгодин снова садился к столу и писал радостно, быстро и уверенно, не столько сознавая, сколько чувствуя всем своим существом правдивость и жизненность того, что, казалось, так неожиданно и так легко явилось в его голове.

И сколько переделывал, переписывал, зачеркивал и сокращал Невзгодин, искавший жизни и правды, изящества формы и точности выражений. Как часто надежда в нем сменялась сомнением, сомнение — надеждой, что он не лишен дарования, что может писать и напишет вещь куда лучше, чем «Тоска».

Но так или иначе, а он не может не писать.

Несмотря на все муки творчества, несмотря на авторскую неудовлетворенность, он испытывает великое наслаждение в этой работе, в этой жизни жизнью лиц, созданных обобщением непосредственных наблюдений. Во время работы ему дороги и близки эти лица, все равно — хороши ли они или дурны, умны или глупы, лишь бы они были жизненны и иллюстрировали жизнь такою, какою она ему представляется, со всеми ее ужасами пошлости, лицемерия и лжи, которые он чувствует, испытывая неодолимую потребность передать все это на бумаге.

Так нередко думал Невзгодин и теперь и в Париже, когда начал свое писательство и после долгих колебаний послал одно из своих произведений в журнал, наиболее ему симпатичный по направлению.

Извещение из конторы журнала — сухое и лаконическое — о том, что его повесть принята и будет напечатана в январской книжке, обрадовало Невзгодина, но далеко не разрешило его сомнений насчет писательского таланта. Он никому не читал своих вещей, и когда его жена

в Париже как-то узнала, что он пишет повесть, то высокомерно посоветовала ему лучше «бросить эти глупости» и прилежней заниматься химией. Но он не бросал и в одной из своих повестей, незадолго до «расхода» с женой, нарисовал типичную фигуру трезвенной, буржуазной студентки, прототипом которой послужила ему супруга.

Когда Невзгодин увидал в корректурных листах свою «Тоску», он в первые минуты испытал невыразимое чувство радостной удовлетворенности автора, впервые увидавшего свое произведение напечатанным. Он не прочел, а скорее проглотил свою повесть, и ему казалось, что редактор писал не просто одобряющие комплименты начинающему писателю, находя ее свежей, интересной и талантливой в своем письме, полученном одновременно с корректурой. И Невзгодину нравилась в печати его «Тоска» после первого чтения, хотя и далеко не так, как в то время, когда он ее писал, переживая сам настроение, приписанное герою повести. Тогда это настроение и тоскливый пессимизм, скрывающий под собою жажду идеала, во имя которого стоило бы бороться, казались ему значительнее, оригинальнее и свежее, и он думал, что затрогивает что-то новое, чего раньше не говорилось, что его «Тоска» откроет многим истинные причины недовольства жизнью.

Но когда в тот же вечер Невзгодин принялся читать свою повесть для правки, внимательно, строку за строкой, вчитываясь в каждое слово, то впечатление получилось другое. Автор решительно был смущен и недоволен. Образы казались ему теперь недостаточно выпуклыми, характеры — неопределенными, общий тон приподнятым, идея повести далеко не новой, а форма небрежной и требующей отделки.

Две-три сцены во всей повести еще ничего себе; в них чувствовалась жизнь, но в общем... Господи! Как это все несовершенно и неинтересно, как не похоже на то, чего он ожидал и что в повести было ему так дорого, так близко.

А вдобавок ко всему редактор обвел несколько мест красным карандашом и в письме пишет, что они невозможны в цензурном отношении; их надо исключить совсем.

У Невзгодина явилось желание переделать всю повесть. Но необходимо было вернуть корректуры через день, и автор мог только исправить слог, сократить длинноты; он послал свое детище, почти что чувствуя к нему ненависть.

Сравннвая свою «Тоску» с темн произведеииямн, которые печатаются в журналах, Невзгоднн находил ее не хуже другнх, но когда он вспомннал мастеров слова, как Лев Толстой, ничтожиость его «Тоски» казалась ему очевндной, н в этн минуты ои сожалел, что оиа будет напечатаиа.

«И как же ее разругают!»

«Но не всем же быть Толстымн илн Шекспнрамн. Тогда ннкому и пнсать нельзя. И наконец, редактор не первый встречный, а известный писатель. Не станет же он хвалнть окончательно плохую вещь? Быть может, я слишком требовательный к себе автор н ие могу отнестись к своей работе беспристрастио?»

Так утешал себя Невзгодин.

И неудачиая в глазах его работа вызвала в ием желаиие напнсать что-ннбудь лучшее. Что-то в нем говорило, что он может это сделать — надо только упорио работать иад своими вещами, отделывать нх, добиваться правды и жнзии...

Невзгодина потянуло к пнсанню. Он стал пересматрнвать свон рукопнсн, и одна нз иих показалась ему стоящей переработкн. Тема ннтересная.

Невзгодин прннялся было переделывать напнсаниый рассказ, но вместо того стал пнсать заиово. И новый совсем не походил иа прежний.

Наконец рассказ был окончен вчерне, н Невзгодни стал перепнсывать рукопнсь. И снова нсправлял н переделывал.

В это время, как-то утром, корндорный подал Невзгоднну пнсьмо.

Оно было от Маргарнты Васнльевны. Она передавала прнглашенне Аиосовой участвовать в лнтературном чтеннн н проснла поскорей съездить к Аглае Петровне за рекомендательным пнсьмом к Измайловой н побывать у богатой купчнхн. В прнпнске Маргарнта Васильевна пеняла, что Невзгоднн совсем ее забыл.

Невзгоднн был раздражен, что его отрывают от работы, и довольно сухо ответил, что он, конечно, иа лнтературном вечере участвовать ие будет н удивляется, с чего это «велнколепная вдова» зовет чнтать начннающего пнсателя. Что же касается до внзнта к Измайловой, то ои поедет к ней через неделю. Раньше невозможно.

В конце третьей неделн затворнпчества Невзгоднна рассказ окончательно перепнсан два раза четким красивым почерком на четвертушках парнжской сииней бумагн

и почти без помарок. Автор перечитывает рукопись. Ему кажется, что вышло иедурио.

Радостиый и веселый, словио бы ои виезапно отделался от какой-то болезни или освободился от гиетущего обязательства, ои бережно прячет рукопнсь и от чар фаитазии возвращается в мир действительности. Он забывает всех своих героев, с которыми жил в течеиие трех иедель, словио до иих ему нет уж более дела, и только теперь чувствует, как он разбит и утомлеи после долгой, иепрерывной работы. Спииа болит, иервы болезиеиио напряжены. И ои доволеи, как ребенок, что работа коичеиа, и жаждет отдыха, развлечеиия. Ему сиова хочется зиать, что делается на свете, и видеть людей.

Только теперь Невзгодии обратил вннмаиие на обстановку, в которой он работал, не замечая ее... В его комиате грязь была невозможиая. Повсюду пыль. Воздух спертый, пропитаииый табаком. Письмениый стол завалеи окурками... На полу сор и листы разорваииой бумаги. Кровать не убраиа.

«Скорее вои, на воздух!» — решил Невзгодии, удивляясь, как ои мог ие замечать всего этого свииства.

Ои иадавил пуговку звонка. Прошло добрых пять миiут, пока явился корндориый Петр, молодой человек мелаихолического вида, в засаленном сюртуке.

— Ну, Петр, окончил работу! — весело воскликнул Невзгодии.— Теперь можете прнбрать. Видите, какая везде гадость.

— То-то грязиовато. Да ведь вы сами приказывали ие мешать. Я н ие мешал. И, осмелюсь спросить, миого вы получите за эти ваши сочинення?

— За то, что теперь иаписал?

— Так точио-с.

— Да думаю, рублей триста дадут.

— Это за писаиье-то? — недоверчиво протяиул Петр.

— Да.

— Так я бы, Василий Васильич, иа вашем месте все сидел бы да пнсал. Деньжищ-то за год сколько!

— Попали бы в сумасшедшнй дом, Петр! — засмеялся Невзгодин.— Я вот три иедели работал, и то спина болит. Почистите-ка мие ботиики да прииесите воды.

Петр вышел и скоро вернулся с водой и иалил ее в умывальиик.

— Когда я уйду, вы уж, пожалуйста, хорошеиько уберите комиату, Петр! — говорил Невзгодии, умываясь.

— Формеиио уберу, как следует к праздиику.



«Жрецы».
Художник Ю. Хайлов

— К какому?

— А вы, видно, барин, за работой и забыли, что сегодня сочельник!

— И впрямь забыл...

— А кушать сегодня дома будете?.. Уже пятый час, а вы не обедали.

— Сегодня я вашей дряни не буду есть. Сегодня я кутну, Петр, и пообедаю где-нибудь в порядочном трактире по случаю окончания работы... А что же ботинки?

Петр взял ботинки из-под кровати, обтер пыль и проговорил:

— Чищены, Василий Васильич... Блестят... Так вы говорите — триста рублей?

— Другие и больше получают...

— За такую легкую работу? Сиди да пиши!

— Попробуйте-ка... А у меня был кто-нибудь за это время?

— Только вчера одна дама спрашивала. Не допустил, как вы приказывали. Сказал: сочиняют, мол.

— Спасибо, что не пустили, только вперед говорите просто, что занят... А карточки дама не оставила?

— Нет-с. Если опять придут, принимать?

— Примите.

Невзгодин кончил мыться и, утирая лицо, кинул вопрос:

— А дама старая или молодая?

— Средственная, но только очень видная. И фасонисто одетая.

— Худощавая? Блондинка? — спрашивал Невзгодин, предполагая, что заходила Маргарита Васильевна.

— Нет-с. В полной комплекции, как следует, и брунетистая... С пинснетом...

— Странно. Кто бы мог быть?

Петр, любивший-таки поболтать, стоял у притолоки и посматривал, как Невзгодин одевается.

Он недоверчиво усмехнулся словам Невзгодина и промолвил:

— Очень даже бельфамистая дама, Василий Васильевич.

И, помолчав, прибавил уверенно:

— Они беспременно вскорости придут.

— Почему вы думаете?

На длинноносом, прыщеватом лице долговязого коридорного мелькнула тонкая улыбка, и он значительно ответил:

— Хоть я и необразованного звания человек, а кое-что, слава богу, могу понимать, Василий Васильич. Барыня очень настоятельно желала вас видеть и выспрашивала, когда вы можете принять и, вообще, по какой причине не принимаете и здоровы ли. Обстоятельно выспросила.

— Что же вы сказали?

— Сказал: никуда, мол, не выходит и все сочиняет, а когда примут, неизвестно. Как, мол, окончат сочинять.

— А она?

— Усмехнулась. Ежели без вас придут, как обнадежить, Василий Васильич?

— Скажите, что завтра утром до двенадцати я дома.

— Слушаю-с. А из пятьдесят второго номера актерка сбежала! — доложил Петр, почему-то сообщавший Невзгодину обо всех событиях в «Севилье».

— Как сбежала?

— Очень просто.

— В чем же это ваше «очень просто»?

— За два месяца не заплатила и... тю-тю. Довольно даже ловко... и с чемоданами. А хозяин озлился — беда! Ищи-ка, сделай одолжение! — говорил Петр, по-видимому, сочувствовавший «актерке», помогая Василию Васильевичу надеть пальто.

XXIII

С видом счастливого школьника, вырвавшегося на свободу, вышел Невзгодин из своей грязной комнаты.

Ему было как-то весело и легко после усидчивой работы. Впереди предстояла близкая получка гонорара, а пятьдесят рублей, бывшие у него в кармане, и незаложенные золотые часы вполне поддерживали бодрое настроение духа такого богемы по натуре, каким был Невзгодин. Он глядел на будущее без страха и боязни и не особенно думал о каких-нибудь постоянных занятиях, надеясь, что писательство, если пойдет удачно, его прокормит... Много ли ему надо?

Он беззаботно насвистывал какой-то мотив, предвкушая удовольствие побыть на людях, как вдруг из-за поворота коридора показалась высокая полная женская фигура и шла прямо на него.

— Та самая, что были вчера! — не без торжества шепнул Петр, следовавший сзади.

Невзгодин остановился, перестал свистать и вгляды-

вался в приблнжавшуюся барыню, которая так очаровала Петра.

В полутьме корндора он не мог разглядеть ее лнца, но в ее высокой полноватой фнгуре н особенно в походке, слегка переваливающейся, было что-то близко знакомое.

— Вы меня не узналн, Невзгоднн? — пронзнесла дама, прнблнзнвшнсь к нему н протягнвая с товарнщескою бесцеремонностью руку в черной лайке...— Окончили сочинять, как выражается ваш Лепорелло? Надеюсь, пожертвуете мне несколько мннут. Я к вам по делу н очень рада вас вндеть! — мягко прнбавила она.

С первых же звуков этого твердого, уверенного н несколько резковатого голоса, в котором едва слышна была веселая, покровнтельственно-нроннческая нотка, Невзгоднн узнал свою жену.

Он не нспытывал нн малейшего непрнязненного чувства прн внде этой, когда-то очень блнзкой ему женщнны, с которой так легкомысленно сошелся, пленнвшись под влняннем хандры н одночества на чужбнне ее рассуднтельностню, практнчностню, упорным трудолюбнем в занятнях наукой н — главное — здоровой, свежей красотой, вызывающей своей кажущейся невозмутнмостью. Он, в свою очередь, тоже рад был увидать жену, с которой, благодаря ее такту н уму, разошелся так хорошо и так основательно, без сцен, без взанмных упреков, после короткого супружества, показавшего, как чужды онн друг другу по характеру, взглядам, уму, прнвычкам.

Невзгоднн раздражался, бывало, н едко подсмеивался, когда она доннмала его поученнямн об умеренностн и аккуратностн, но ннкогда не обвннял ее серьезно н не чувствовал ненавнстн, поннмая упрямое упорство ее сильного характера, с каким она хотела подчнннть себе мужа, рассчнтывая сделать нз него такого же трезвенного, уравновешенного человека, какнм была сама. Он скучал с ней, но не мог ее не уважать за последовательность. Он знал, что н она счнтала замужество ошнбкой, мешающей ее занятиям, н был благодарен ей за правднвость, с какою она в этом прнзналась, нн на мннуту не представляясь жертвой.

Очутнвшись теперь лнцом к лнцу с женой, Невзгоднн оставался в прежнем веселом настроеннн. Только к этому настроенню прнбавилось что-то нроннческн-добродушное н вместе с тем любопытное, точно он ждал, что жена, как бывало в Парнже, сделает ему какой-нибудь выговор с соответственным научным объясненнем.

Невзгодин крепко пожал руку жены и с изысканною любезностью джентльмена ответил:

— К вашим услугам, Марья Ивановна... И сколько угодно минут... Я только что кончил сочинять и совершенно свободен. И я, право, рад вас видеть, но только не в этой темноте. Не угодно ли ко мне в комнату... Только извините... Вы найдете в ней беспорядок, и она еще не убрана.

— Так поздно и не убрана? Вы тот же богема?

— Тот же... Работал...

— Разве работа мешает порядку? — слегка усмехнулась Марья Ивановна.

Невзгодин отворил двери. Оба, и муж и жена, с любопытством взглянули друг на друга прежде, чем войти в комнату.

Такая же, как и была, свежая, здоровая и румяная, с теми же правильными, несколько резкими чертами красивого лица римской матроны из русских купчих, побывавшей парижской студенткой. То же самодовольно-уверенное выражение в карих глазах под соболиными бровями, глядевших через pince-nez на прямом крупном носе, что придавало лицу еще более серьезный и в то же время несколько вызывающий вид. И одета она была с обычной умышленной скромностью, не лишенной своеобразного кокетства: черная шерстяная юбка, черная хорошо сидевшая жакетка, опушенная черным мехом, черное боа, черные перчатки и черная шапочка на голове.

«Еще более раздобрела, несмотря на усердное занятие наукой!» — подумал Невзгодин, заметив пополневший бюст, и не без любопытства и не без некоторого смущения ждал, что будет, когда аккуратная до педантизма его чистеха жена войдет в комнату, в которой действительно была невозможная грязь.

И действительно, только что Марья Ивановна вошла в комнату, как на ее лице выразился ужас, и она воскликнула:

— Да ведь это нечто невероятное... Тут целые недели не убирали...

— Вроде этого, Марья Ивановна! — виновато промолвил Невзгодин.

— И вы могли жить в таком свинстве?

— Как видите... Даже не замечал... Увлекся работой... Да вы присядьте, Марья Ивановна... Вот сюда...

Невзгодин бросился снимать со стула бумаги.

Марья Ивановна подобрала юбку и осторожно

присела, продолжая с брезгливым видом озирать комнату.

Невзгодин хотел снимать пальто, но жена его остановила:

— Не снимайте, Невзгодин... Я сейчас ухожу и вас не хочу держать в этой клоаке.

Он присел в пальто.

— Посмотрите на себя, как вы осунулись и побледнели, Невзгодин,— продолжала Марья Ивановна.— Живя так, вы схватите чахотку... Ведь это безобразие... Видно, что некому за вами присмотреть... И долго вы сочиняли?..

— Три недели.

— И никуда не выходили? Работали по-русски — запоем?

— Запоем.

— Безобразие! Вам жизнь, что ли, надоела?

— Пока нет еще.

— Так не делайте таких опытов над собой и не живите по-азиатски. У вас от одного табачного дыма можно задохнуться. А какой развод микробов! Как вам не стыдно, Невзгодин? Кажется, образованный человек и...

Марья Ивановна вдруг остановилась и засмеялась.

— Да что ж это я? Пришла к вам по делу, а вместо этого читаю вам нотации...

— Читайте, не стесняйтесь, Марья Ивановна. Я стою их! — весело проговорил Невзгодин.

— Все равно, бесполезно... Вас не переделаешь... Но, без шуток, так жить ведь нельзя... Вид у вас совсем скверный...

— Я думаю перебраться отсюда.

— Обязательно. И знаете ли что, Невзгодин?

— Что, Марья Ивановна?

— Вам нужна нянька, которая смотрела бы за вами... Ну, конечно, нянька-женщина. Если я поселюсь в Москве и найму квартиру, милости прошу ко мне жильцом. Я охотно буду смотреть за вами... Право, говорю серьезно.

— А я так же серьезно благодарю вас и готов быть вашим жильцом, Марья Ивановна, если только долго усижу в Москве...

— Ну, а мое дело в двух словах. Я пришла просить вас...

— Развода? — подсказал Невзгодин.

— Он мне пока еще не нужен. Быть может, нужен вам?

В словах ее звучала любопытная нотка.

— И мне, слава богу, не требуется...

— Больше глупости не повторите?

— Постараюсь.

— Мне нужен вид на жительство. Я, конечно, могла написать вам об этом, но мне хотелось повидать вас... У нас ведь нет друг к другу... ненависти... Не так ли? И мы, я думаю, можем продолжать знакомство...

— Еще бы... На какой срок вам нужен вид?

— На год, на два, как знаете. Пока меня прописали по заграничному паспорту, но полиция требует вид от вас.

Невзгодин обещал достать его после праздников.

— Куда прикажете доставить?

— В меблированные комнаты Семенова, на Девичьем поле, в Тихом переулке... Я там остановилась. Близко к клиникам. Я приехала сюда держать экзамены. Пока я лишь французская докторесса.

— Давно вы приехали?

— Три дня тому назад.

— И уже начали заниматься?

— С завтрашнего дня начну. Если хотите зайти, помните, что я могу вас принять только утром, по воскресеньям. Остальное время я буду заниматься и ходить в клиники... Ну, а вы... химию бросили?

— Нет.

— Говорят, ваша повесть скоро появится.

— В январе.

— Любопытно будет прочесть. Непременно прочту после экзаменов... А еще говорят...

Марья Ивановна насмешливо усмехнулась.

— Что еще говорят?..

— Будто вы снова увлечены Заречной...

— Вранье, Марья Ивановна...

— И я не поверила... Вы не способны увлекаться серьезно... Ну, однако, идемте...

Марья Ивановна встала, но, прежде, чем выйти из комнаты, отворила форточку.

— Вы все та же, Марья Ивановна? — усмехнулся Невзгодин.

— Какая?

— Любите порядок и живете по строгому расписанию.

— Еще бы. Да и поздно меняться. И вы такой же...

— Какой?

— Неосновательный...

Они вместе вышли на подъезд.

XXIV

Погода была отличная. Только что выпал сиег и блестел под солицем. Мороз был иесильный.

Невзгодин с иаслаждеиием вдыхал свежий воздух, словио бы опьянениый им.

— Вы куда, Марья Иваиовиа? Не прикажете ли подвезти вас?

— После сидеиья да ехать? Вы с ума сошли, Невзгодин! Вам необходимо прогуляться. Мие иадо к шести часам быть на Арбате, у тети. А вам в какую сторону?

— К Тестову обедать...

— Богаты, что ли?

— Положим, ие богат, но после обедов в «Севилье» хочется побаловать себя...

— И транжирить деньги? Все тот же. Нам по дороге... Пойдемте пешком.

И она было иаправилась. Невзгодин ее остановил:

— Марья Иваиовиа! Прокатимся лучше в саиках. Дорога отличная и...

— И что еще?

— Признаться, я дьявольски хочу есть.

— Отсюда иедалеко. Вам полезио пройтись. Идемте! — властно почти приказала Марья Иваиовиа.

— Идемте! — покорно произнес Невзгодин.

Скоро они вышли на Кузиецкий мост. Там было много народу, и особенно кидалась в глаза предпраздничная суета. У всех почти были покупки в руках.

На тротуаре было тесиовато. Невзгодин предложил жеие руку.

Они пошли теперь скорее, рука об руку, оба веселые и оживлениые, посматривая иа пешеходов, на богатые купеческие закладки, на витрииы магазинов и меняясь отрывочными фразами.

Невзгодин иевольио вспомнил, как вскоре после супружества они так же гуляли по воскресеньям по парижским бульварам или где-нибудь за городом, но тогда их прогулки обыкновенно кончались спорами и взаимными колкостями.

А теперь оии так мирио беседуют, что со стороны можно подумать, что гуляют влюбленные. Вот что зиачит быть мужем и жеиой только по иазваиию!

Невзгодин улыбнулся.

— Вы чего смеетесь?

— Вспомнил, Марья Ивановна, как мы гуляли с вами в Париже.

— Для вас это очень неприятные воспоминания? Признайтесь?

— Как видите, во мне не осталось злого чувства... А вы как обо мне вспоминали, Марья Ивановна? Лихом? Или никак не вспоминали?

— Напротив, часто и всегда как о порядочном человеке, которому только не следует никогда жениться... Вот и обменялись признаниями! — засмеялась Марья Ивановна.

У пассажа Попова экипажи ехали шагом. В маленьких санках, запряженных тысячным рысаком, сидела Аносова. Она увидела Невзгодина с женой и смотрела на них во все глаза, изумленная и взбешенная, точно ей нанесена была какая-то обида.

Невзгодин взглянул на нее. Она отвела глаза в сторону.

— Глядите, Марья Ивановна, на московскую красавицу Аносову. Вон она на своем рысаке. Трудно сказать, что лучше: великолепная вдова или рысак.

— Она стала еще красивее, чем была в Бретани, когда я ее видела.

— Прелесть... Эта белая шапочка так идет к ней.

— Вы с ней продолжаете знакомство?

— Раз встретился. У нее еще не был. Собираюсь с визитом. Кстати и дело есть.

Они подходили к театру.

— До свидания, Невзгодин,— проговорила Марья Ивановна, высвобождая руку.— Нам дальше не по пути.

Невзгодину вдруг пришла мысль пригласить жену обедать. Все не так скучно, чем одному, и вдобавок он расспросит о парижских знакомых. К тому же он знал, что Марья Ивановна любила хорошо покушать, но была слишком скупа, чтоб позволить себе такую роскошь.

Невзгодин спросил:

— Вы к тетке обедать, Марья Ивановна?

— Да, к шести часам... Надеюсь, не опоздала? Без двадцати шесть! — облегченно проговорила она, взглянув на часы.— Прощайте, Невзгодин.

Но он пошел рядом с ней.

— Нет, позвольте... У меня к вам просьба!

— Какая?

— Сделайте мне честь, примите мое приглашение пообедать вместе у Тестова?

Марья Ивановна изумленно взглянула на Невзгодина.

— С чего вам вдруг пришла в голову такая дикая фантазия? — строго спросила она, пытливо взглядывая на Невзгодина.

Но вид у него был самый добродушный.

— Что ж тут дикого? Мне просто хочется пообедать вместе, порасспросить о парижских знакомых и выпить бокал шампанского не за ваше здоровье,— вы и так цветете! — а в благодарность...

— За то, что мы так скоро разошлись? — перебила молодая женщина.

— И не сделались врагами...

— Вы по-прежнему сумасшедший и мотыга!.. Но ведь вам будет скучно со мной... Пожалуй, мы к концу обеда побранимся...

— Едва ли... Ведь после обеда мы разойдемся в разные стороны.

— Или вы, как писатель, хотите изучить меня? Так ведь довольно, кажется, изучили?..

— Это уж мое дело.

— И наконец я обещала тете...

— Пошлем посыльного.

Марья Ивановна все еще колебалась.

Хорошо изучивший ее Невзгодин сказал:

— Или вы боитесь, что скажут ваши тети и дяди, если узнают, что вы обедали в сочельник с мужем, которого бросили и которого ваши родные считают, конечно, за самого беспутного человека в подлунной?

— Я никого и ничего не боюсь... Идемте обедать! — решительно проговорила Марья Ивановна.

Они повернули и пошли под руку через площадь.

— Вот спасибо, что не отказали, Марья Ивановна.

— Но только я обедаю с вами с условием...

— Заранее принимаю какие угодно.

— Мы будем обедать скромно... Вы не будете бросать даром деньги.

«Все та же скупость. Даже чужие деньги жалеет!» — подумал Невзгодин и ответил:

— Будьте покойны.

— И я вам не позволю много пить...

— Буду послушен, как овечка, Марья Ивановна.

Через несколько минут Невзгодин с женою сидели в общей зале ресторана, за небольшим столом, у окна, друг против друга, на маленьких бархатных диванчиках, как бывало в Париже, обедая по воскресеньям, в короткие медовые месяцы их супружества, в дешевых ресторанах.

Без меховой жакетки, простоволосая, с тяжелой темио-каштаиовой косой, собранной иа темеии, без завитушек спереди, гладко зачесаиииая иазад, Марья Иваиовна выглядела моложавее и меиее полиой в своем чериом, обшитом у ворота белым кружевом, платье, тоикая ткаиь которого плотио облегала ее роскошиый бюст. И ее румяиое лнцо, с легким пушком иа полноватой, слегка прнподиятой губе, под которой сверкали крупиые зубы, и с родиикой иа резко очерчеииом подбородке, и вся ее крепкая, плотиая, хорошо сложениая фигура дышали могучим здоровьем и физической крепостью женщииы, заботящейся о том сохранеиии силы, красоты и свежести тела, которое французы метко называют: «soigner la bête»[1]. Недаром же Марья Ивановна научилась в Париже ежедневио обливаться холодиой водой, делать гимиастику, ездить на велосипеде и вообще культивнровать в себе здоровое животиое по всем правилам гигиены и физического воспитаиия.

Оиа строго и иесколько изумлеиио посматривала сквозь стекла своего pince-nez в золотой оправе то иа улыбающегося, веселого Невзгодииа, предвкушавшего удовольствие дериуть несколько рюмок водки и вкусио закусить, то на половых, которые то н дело иосили и ставили иа стол перед иими тарелки, тарелочки, сковородки и банки со всевозможиыми закусками. И хотя у Марьи Иваиовиы текли слюнки при виде свежей икры, белорыбнцы, семгн, осетровой тешки, грибов, запекаиок и всяких других русских сиедей, которых она, кореииая москвичка, воспитаииая у богатой тетки, так долго ие видела в Париже, тем ие меиее ее возмущала эта «иепроизводнтельная трата деиег», как оиа называла всякое мотовство.

— Невзгодии! — проговорила оиа иакоиец тихо н значительио.

Эта маиера иазывать мужа по фамилии, манера, давно усвоеииая Марьей Иваиовиой и прежде раздражавшая Невзгодииа, как иапускная претеизия иа студеическую бесцеремоииость, н этот внушительиый тои цеизора добрых иравов не только не сердили теперь Невзгодниа, а иапротив, возбуждали в ием еще большую веселость.

И ои, будто не догадываясь, в чем дело, с самым иевииным вндом спросил, как, бывало, спрашивал прежде, иазывая и тогда жеиу Марьей Ивановиой, ио только спросил без прежией ироиической ноткн в голосе, а добродушио:

[1] следить за собой *(фр.)*. Букв.: заботиться о животном.

— Что прикажете, строжайшая Марья Ивановна?

— А наши условия? Зачем вы велели подать все это! — тихо сказала Марья Ивановна, указывая взглядом на закуски.

— Зачем? А для того, чтобы вы непременно отведали этих прелестей русской жизни! — смеясь отвечал Невзгодин.— Не будьте же строги и успокойтесь за мой карман... Все это не дорого стоит... Да если бы и дорого?.. Разве вы не доставите мне удовольствия угостить вас? С чего вам угодно начать? Позвольте положить вам свежей икры. Вы прежде ее обожали, Марья Ивановна. А перед закуской крошечную рюмочку зубровки...

Невзгодин угощал с такой подкупающей любезностью, что Марья Ивановна перестала протестовать и даже милостиво разрешила Невзгодину налить ей зубровки. Чокнувшись с мужем, она выпила крохотную рюмку водки по-мужски, залпом и не поморщившись, и принялась закусывать.

Внутренне очень довольная этим неожиданным обедом с «беспутным человеком», но все еще несколько натянутая — чопорная и преувеличенно-серьезная,— словно бы боящаяся, что половые и два-три господина, бывшие в зале, примут ее за непорядочную женщину,— Марья Ивановна ела необыкновенно вкусно, не спеша, видимо наслаждаясь едой, но стараясь, впрочем, не обнаружить своей, редкой вообще у женщин, страстишки к чревоугодию, которую она, благодаря скупости и правилам режима, всегда обуздывала, не давая ей воли.

«Но изредка можно себе позволить!»

И в спокойных глазах Марьи Ивановны загорался даже плотоядный огонек, когда она облюбовывала что-нибудь, особенно ей нравящееся, и с умышленной медлительностью, чтобы не выказать неприличной жадности, накладывала на тарелочку.

А Невзгодин не особенно заботился о корректности и, страшно проголодавшийся, набросился на закуски и, несмотря на строго-укоряющие взгляды жены, выпил очень быстро несколько рюмок водки. Он любил иногда выпить и, как он выражался, «посмотреть, что из этого выйдет».

После нескольких рюмок он нисколько не захмелел, а почувствовал себя бодрее и словно бы восприимчивее, испытывая то несколько возбужденное и приятное состояние, когда человека вдруг охватывает прилив откровенности и ему хочется сказать что-то особенное, хорошее

и значительное, но для этого необходимо только выпить еще одну-другую рюмку, и тогда будет все отлично.

И Невзгодин потянулся к одной из многих бутылок водки, стоявших на столе.

Быстрым, уверенным движением Марья Ивановна схватила своей розоватой мягкой рукой с коротко остриженными ногтями маленькую, почти женскую руку Невзгодина, державшую горлышко пузатого графинчика, и решительно проговорила:

— Довольно, Невзгодин!

— Я хотел только еще одну рюмочку, Марья Ивановна! — виновато промолвил Невзгодин.

— Что за распущенность! Вы и так много пили.

— Всего четыре рюмки.

— Неправда, шесть.

— Вы считали? — весело и добродушно спросил Невзгодин.

— Считала...

Марья Ивановна не отнимала руки. Невзгодин чувствовал ее силу и теплоту.

— И больше не позволите?

— Не позволю. Ведь вам так вредно пить... И без того вы ведете совсем ненормальную жизнь, и если будете еще пить...

— Я не пью... Изредка только. А если вообще делать только то, что не вредно, то можно умереть с тоски... Не правда ли, Марья Ивановна?

— Неправда. И я вас прошу, не пейте больше! — настойчиво повторила молодая докторша.

— Это ваш каприз?

— Я не капризна.

— Боязнь, что я буду пьян?.. Можете быть уверены, что я при дамах не напиваюсь.

— Не то.

— Так что же?

— Просто... просто искреннее желание остановить ближнего от безумия.

Она проговорила эти слова мягко, почти нежно, и, слегка краснея, торопливо отдернула руку.

— Спасибо за ваше участие. Искренне тронут и больше не буду. Поцеловать бы в знак благодарности вашу руку, но здесь нельзя.

И Невзгодин приказал половому убрать все бутылки с водкой.

— Довольны моим послушанием, Марья Ивановна?

— Если б я была уверена, что вы можете быть всегда таким, как сегодня, то...

Она усмехнулась, не докончив фразы.

— То что же?

— Я, пожалуй, пожалела бы, что мы разошлись.

— А так как вы не уверены, то и не жалеете! — весело воскликнул Невзгодин.

За обедом Марья Ивановна отдавала честь подаваемым блюдам и запивала еду, по парижской привычке, красным вином. Она снова прочла маленькую нотацию Невзгодину, предупреждая его, как врач, что он быстро сгорит, как свечка, если радикально не изменит образа жизни.

— Я вам серьезно это говорю, Невзгодин. Нельзя распускать себя.

И она предписывала ему подробности строгого режима: раннее вставание, холодные души, моцион, шесть часов занятий умственным трудом... И, главное, поменьше эксцессов... вы понимаете? Она затруднилась только предписать одно из условий режима: спокойный брак, вследствие решительной непригодности Невзгодина к тихой семейной жизни, но все-таки дала несколько предостережений относительно вредного влияния на организм сильных любовных увлечений...

— Впрочем, по счастью, на них вы не способны! — заключила Марья Ивановна свою лекцию.

Невзгодин слушал, потягивая тепловатый кло-де-вужо, и был несколько тронут такой заботливостью Марьи Ивановны. Все, что она говорила,— и так авторитетно,— было, несомненно, умно, справедливо, но давно ему известно и... скучно... И Невзгодин невольно припомнил ту пору супружества, когда, спасаясь от научных нравоучений жены, сбегал от нее на целые дни.

Обрадовавшись, что лекция окончена, Невзгодин охотно обещал исправиться и стал расспрашивать о парижских знакомых, о том, как Марья Ивановна думает устроиться...

Марья Ивановна сообщила о парижских знакомых и потом стала рассказывать о своих планах и надеждах.

По окончании экзаменов весною она уедет на месяц-другой в Крым отдохнуть и к осени вернется в Москву и займется практикой. Она изберет специальностью женские болезни и надеется, что практика у нее будет благодаря родству и знакомству среди богатого купечества. Она тогда устроит себе уютную квартиру, сделает хорошую обстановку и будет вполне довольна своей судьбой.

— Я ведь ие гоияюсь за чем-то особеииым, как вы, Невзгодии. Мой идеал — разумиое, покойиое, буржуазиое счастие. И я завоюю его! — уверенно прибавила Марья Ивановиа.

— Но для полиоты режима благополучия вы забыли одио...

— Что?

— Мужа... ио, разумеется, не такого, каким оказался ваш покориый слуга.

— Пока еще ие собираюсь искать его...

— Но после экзамеиов, когда устроитесь?

— С удовольствием выйду замуж, если иайду осиовательиого, спокойиого человека, с которым можио жить без ссор, без волиеиий, которые так портят жизнь, мешая заиятиям и раздражая иервы. Только трудио иайти такого подходящего человека, который иа супружество смотрел бы так же трезво, как я.

Невзгодии хорошо зиал, как смотрит иа супружество Марья Иваиовна. Ои зиал, что ей иужеи «осиовательиый человек», главиым образом, «для режима», чтобы Марья Иваиовиа была всегда в уравиовешеииом состоянии. Недаром же оиа как-то высказывала, что для счастья здоровой, нормальиой жеищиины гораздо пригодиее здоровый и даже глупый муж, чем хотя бы гениальиый, ио иервиый и беспокойиый.

И ои заметил:

— Но зачем же в таком случае связывать себя иепремеиио браком, Марья Иваиовна?

— Я тоже предпочла бы не выходить замуж и ие жить со своим избраииником вместе.

— Так в чем же дело?

— А в том, что это повредило бы моей репутации и практике.

«Все та же добросовестио-откровеииая жеищиия!» — подумал Невзгодии.

Когда половой разлил холодиое шампанское по бокалам, Марья Иваиовиа, к удивлеиию Невзгодиия, ие сделала иикакого замечаиия иасчет «иепроизводительиого расхода», вероятио, потому, что очеиь любила это виио.

— За ваше благополучие, Марья Ивановна! От души вам желаю найти осиовательиого мужа и благодарю вас за то, что своим присутствием вы доказали, что не помииаете меня лихом! — проговорил Невзгодии, подиимая бокал.

— А вам, Невзгодии, желаю побольше благоразумия...

Помните, что здоровье легко растерять, так не губите его!.. А насчет лиха я уж говорила... За вами его нет!

Они чокнулись. Марья Ивановна выпила сразу целый бокал. Невзгодин налил ей другой. Она не протестовала.

Слегка заалевшая, с блестевшими глазами от выпитого вина, она сделалась проще, оживленнее и интереснее, не напуская на себя чопорности и серьезности и не стараясь говорить только умные вещи. Ее докторская степенность умалилась, и в ней заговорила женщина.

Она теперь даже не прочь была пококетничать с «беспутным человеком», испытывая чувство обиды и досады за то, что он, по-видимому, совершенно равнодушен к ней, как к женщине, а ведь прежде она только и нравилась ему, как любовница. Потому только он и женился на ней. Она это отлично понимала. Недаром же они днем постоянно ссорились, ни в чем не сходясь друг с другом, и безмолвно мирились только вечером в горячих поцелуях. И как он тогда был нежен!

«Теперь, наоборот, он не спорит, не лезет со своими мнениями, но зато и основательно позабыл об ее ласках,— неблагодарное животное».

Такие мысли совсем неожиданно пришли в слегка возбужденную голову Марьи Ивановны, и она не могла не признаться самой себе, что была бы довольна, если б снова понравилась Невзгодину.

К чему же она разыскала его и приходила к нему? Не для того только, разумеется, чтобы поговорить о виде. Об этом можно было бы и написать. Неужели он не догадывается, а еще умный человек.

«Легкомысленный»,— заключила про себя Марья Ивановна и тихо вздохнула.

А «легкомысленный человек» решительно «не догадывался» ни о чем, хотя и не считал себя дураком.

Но еще с тех пор, как бутылка красного вина стала пуста, он вдруг нашел, что Марья Ивановна гораздо интереснее теперь, чем показалась ему давеча в полутемной комнате. «Такое же красивое животное, как и была!» — думал он, посматривая, по-видимому, добродушно-веселым взглядом на жену. И в его не совсем свежую голову тоже совсем неожиданно врывались воспоминания из той поры супружества, которое он называл «скотоподобным счастьем» и которое теперь казалось ему потерянным раем. В голове немножко шумело, в виски стучало, он незаметно скашивал глаза на лиф, на шею, на руки и...

— Не разрешите ли, Марья Ивановна, еще бутылку шампанского? — спросил он с невинным видом человека, нисколько не виновного в греховных мыслях.

— Нет, не надо... не надо, Невзгодин. И то у меня чуть-чуть кружится голова. Вы заразили меня своим безумием! — тихо смеясь, промолвила Марья Ивановна.

— А это безумие разве так вредно?

— Конечно, вредно! — значительно кинула докторша.

И, помолчав, сказала:

— Потребуйте счет, Невзгодин. Пора нам и расстаться.

— Что вы? — испуганно воскликнул Невзгодин.— Неужели вы в самом деле хотите уходить? Не уходите... Посидите... прошу вас! — почти умоляюще шептал Невзгодин.

— Зачем?

И Марья Ивановна посмотрела на Невзгодина ласково-удивленным взглядом. Глядел на нее и Невзгодин жадными, внезапно поглупевшими глазами. Взгляды их встретились, улыбающиеся, томные, и не отрывались друг от друга. И оба внезапно примолкли.

Невзгодин накинул салфетку на протянутую на столе руку жены и крепко сжимал ее горячие мягкие пальцы, припоминая в то же время ту сцену из «Войны и мира», когда Курагин в ложе смотрит на оголенные плечи Элен и оба, без слов, понимают друг друга.

Прошла секунда-другая. Оба отвели глаза и вздохнули.

И словно бы осененный внезапной мыслью, Невзгодин вдруг шепнул:

— Знаете ли что, Марья Ивановна!.. Поедемте кататься на тройке... Вечер дивный!

— Будем безумствовать до конца. Едем! — ответила тихо Марья Ивановна.

— Но вы без шубы... Вам не будет холодно?

— Ничего, я холода не боюсь. Если прозябну, заедемте к вам... А то заезжать в кабаки дорого. Можно?

— Еще бы!..

— Кстати, я посмотрю, хорошо ли у вас прибрана комната.

Невзгодин нетерпеливо потребовал счет и на радостях дал половым три рубля.

Через пять минут Невзгодин с женой ехали за город. В Петровском парке Невзгодин все повторял, что Марья Ивановна обворожительна. Они целовались на морозе и скоро вернулись в «Севилью». Поднимаясь по лестнице, Марья Ивановна предусмотрительно опустила вуаль. Но

никто их не видал. И швейцар и коридорный сладко спали.

Около полуночи Невзгодин привез на извозчике жену домой, в Тихий переулок.

У подъезда Марья Ивановна протянула Невзгодину руку.

— Не проводить ли вас наверх? — любезно предложил он.

— Лишнее! — отрезала жена.— Вас может увидать прислуга.

Невзгодин засмеялся.

— Чему вы? — строго спросила Марья Ивановна.

— Забавное положение: жена боится, что ее увидят с мужем.

— Ничего нет забавного. Я не желаю рисковать репутацией.

— Репутацией жены, разошедшейся с мужем?

— Именно. Ну, прощайте. Не забудьте поскорей прислать вид на жительство и лучше бы постоянный, а то вы еще уедете куда-нибудь — ищи вас. Если пожелаете видеть меня, я не буду заниматься с десяти до двенадцати утром по воскресеньям! — нетерпеливо говорила Марья Ивановна деловитым, почти сухим тоном.

И, наскоро пожавши руку Невзгодина, она скрылась в дверях подъезда.

Невзгодин усмехнулся — далеко не добродушно — и этому тону, и этой форме прощанья женщины, только что бывшей пламенной жрицей любви.

«Прогрессирует в своем стремлении быть настоящей женщиной конца века»,— подумал Невзгодин и уселся в сани.

Он ехал домой усталый, в подавленном состоянии хандры и апатии, ощущая только теперь эти последствия долгого сиденья за работой. Он был словно бы весь разбит. В груди ныло, в голове сверлило. Он чувствовал полное физическое и нравственное утомление. На душе было уныло и безнадежно.

«Она права. Надо переменить образ жизни, иначе станешь неврастеником!» — рассуждал Невзгодин, испытывая какой-то мнительный страх перед призраком болезни.

Вспоминая о неожиданной встрече с женой, он не раз мысленно повторял, что они оба порядочные таки скоты, и снова удивлялся, как он мог жениться на Марье Ивановне и прожить с ней шесть месяцев.

Несмотря, однако, на мрачное настроение, в голове

Невзгодина смутно мелькал остов нового рассказа, герой которого муж — тайный любовник антипатичной жены. И в этих неясных зачатках будущего произведения автор был беспощаден и к себе и к жене.

Усталый и сонный, поднялся Невзгодин в свой номер, быстро разделся и, бросившись в постель, почувствовал неизъяснимое наслаждение отдыха и через минуту заснул как убитый.

XXV

Невзгодин проснулся поздно — в одиннадцать часов.

Солнечные лучи весело заглядывали в окно с неопущенной шторой, заливая светом маленькую комнату, имевшую несколько упорядоченный вид благодаря вчерашнему посещению Марьи Ивановны. После долгого, крепкого сна Невзгодин снова чувствовал себя здоровым, бодрым и жизнерадостным.

Одно только обстоятельство несколько омрачало его настроение — это то, что сегодня праздник и все кассы ссуд заперты.

А между тем эти учреждения весьма интересовали начинающего писателя, так как в его бумажнике должно было остаться очень мало денег из тех пятидесяти рублей, которые были у него вчера утром и, казалось, вполне обеспечивали Невзгодина до получения гонорара за «Тоску».

Но вчерашние обильные закуски, обед с красным вином и шампанским, тройка, возвышенные «на чай» и фрукты, часть которых еще и теперь красуется на столе, как живое доказательство легкомыслия Невзгодина и его чрезмерного представления об аппетите жены,— все это, прикинутое в уме, не оставляло ни малейшего сомнения в том, что в бумажнике много-много, если есть пять-шесть рублей, и что, таким образом, финансовый кризис застал Невзгодина врасплох именно в такой день, когда поздравления с праздником неминуемы и дома и вне его, а ссудные кассы бездействуют.

А Невзгодин еще собирался сегодня побывать у Заречной, у «великолепной вдовы» и еще кое у кого из знакомых, а извозчики тоже дерут праздничные цены.

Лежа в постели и куря папироску за папироской, Невзгодин раздумывал об устройстве финансовой операции с часами, помимо кредитных учреждений, как увидал

в зеркало, что в двери его иомера осторожио высуиулась сперва рыжая голова, а затем показалась и вся долговязая, неуклюжая фигура коридориого Петра.

Петр был в черном праздиичиом сюртуке, в голубом галстуке, сильно напомажеи, выбрит и слегка выпивши.

Ои уже давио обошел жильцов всех своих иомеров,— которых ои, впрочем, ие особеиио баловал своими услугами, объясияя, что ему ие разорваться, и потому, вероятно, предпочитал ие приходить вовсе иа звоики,— и иесколько раз подходил к иомеру Невзгодиив и отходил, иесколько обижеииый тем, что Невзгодин «дрыхиет, как зарезаииый», и, таким образом, нельзя подвести итоги собраииой контрибуции. Нетерпеиие Петра объясиялось еще и тем, что иа Невзгодиив ои сильио иадеялся. Недаром же ои может так, зря, и такие деньжищи зарабатывать. Сиди да пиши. Очеиь даже легко!

— Доброго утра, барии. С праздииком Рождества Христова честь имею поздравить, Василий Васильич! — торжествеиио проговорил Петр, прииимая соответствующий торжествеииый вид.

Ои поставил иа диво вычищенные ботиики у кровати, сложил платье иа стул и, иесколько спуская с себя торжествеииости, продолжал:

— Долго изволили почивать сегодия, Василий Васильич... Я уж было подумал: ие случилось ли чего с вами, что вы так долго ие звоиите, и зашел... По иашему каторжиому зваиию во все приходится виикать, Василий Васильич, чтобы ие быть из-за жильца в ответе... Тоже вот в прошлом году, иа маслеиице, одии жилец — в сто сорок пятом жил — долго ие вставал... Вхожу — иомерок их тоже ие заперт был — и что же вы думаете? жилец мертвый... То есть такая паскудиая должиость, что и ие обсказать, Василий Васильич... Вы вот сочиияете и большие деиьги за сочииеиия берете. Сочинили бы, как коридориым в иумерах жить... Одии иа десять иумеров, а жаловаиье от хозяина... одио только назваиие, что жаловаиье.

Появлеиие Петра вызвало иа лице Невзгодиив веселую улыбку, разрешив сомнеиия о фииаисовой комбииации, и, когда Петр окоичил свои мелаихолические излияиия, Невзгодии попросил его подать со стола бумажиик.

Петр бережио, словио бы иес большую драгоцеииость, подал его и деликатио отступил иа иесколько шагов.

Открывши бумажиик, Невзгодии не без сожалеиия убедился, что его предположеиия оправдались: там было ровно пять рублей.

— Вот вам, Петр! — проговорил он, отдавая корридорному трехрублевую бумажку с беззаботным видом человека, в бумажнике которого есть-таки еще порядочное количество денежных знаков.

— Чувствительно благодарен, Василий Васильич... Извольте вставать, а я тем временем самовар и газеты подам.

— Постойте, Петр. Не можете ли вы...

Невзгодин на секунду запнулся.

— Что прикажете, Василий Васильич?

— Заложить сейчас же часы!

Хотя Петр в качестве корридорного и привык к самым неожиданным требованиям жильцов, тем не менее в первую минуту был несколько озадачен.

В самом деле, господин может легко заработать большие деньжищи, дал, не поморщившись, три рубля, на столе стоят фрукты, и вдруг: «Не можете ли заложить часы?»

— Это насчет каких часов вы изволите упоминать, Василий Васильич? — спросил наконец осторожно Петр.

— А насчет этих самых! — пояснил с веселым видом Невзгодин, указывая на золотые, купленные в Париже, часы, лежавшие на столике у кровати...— Они стоят около ста рублей. Мне нужно пятьдесят и немедленно!

Петр несколько мгновений пристально смотрел на часы.

— Есть у меня, Василий Васильич, один знакомый человек, который дает деньги под заклад, но только теперь, по случаю праздника, не найти его дома... Вот если бы вчера...

— Вчера мне не нужно было...

«Бельфамистая, видно, порастрясла»,— подумал Петр.

— Это конечно-с. Если бы вчера явилась потребность, то и в ломбарте бы взяли. Очень просто. Разве у нашего швейцара спытать? У него должны быть деньги, у собаки! — не без завистливой нотки в голосе говорил Петр, соображая, не может ли и он сам тут поживиться.— Его должность не то, что моя... Его должность доходная. Каждый идет мимо, смотришь, и даст гривенник. Только, Василий Васильич, он, подлец, пожалуй, большой процент попросит. Упользуется, шельма, по случаю, что как праздник, так негде достать.

— Пусть берет. Мне не надолго. Недели на две... А там я получу деньги...

— Сколько прикажете давать проценту? Если спро-

сит, скажет пять рублей... Не много ли будет, Василий Васильич?

— Давайте хоть десять, только достаньте денег.

Петр взял часы и вышел.

Невзгодин быстро вскочил с постели и занялся своим туалетом.

Парижский редингот был бережно разложен на кровати, а пока Невзгодин, тщательно вымытый, с расчесанной короткой бородкой, с густыми каштановыми волосами, стоявшими «ежиком», надел рабочую блузу и, присевши к столу, стал было читать какую-то книгу, поминутно оборачиваясь к двери.

Наконец дверь открылась, вошел Петр с значительным видом и, подавая Невзгодину толстую пачку мелких и порядочно-таки засаленных бумажек, проговорил:

— Насилу уломал дурака, Василий Васильич. Уж, можно сказать, постарался для вас.

— Спасибо, Петр.

— Но только, Василий Васильич, как его ни усовещивал, а меньше как восемь рублей за три недели проценту не согласен, собака! Народ нынче, сами понимаете какой, Василий Васильич! — говорил Петр и ругал народ словно бы из потребности выгородить себя из этого дела, на котором он, однако, заработал два рубля, выговорив их от собаки-швейцара.

Невзгодин обрадованно сосчитал деньги, дал Петру за хлопоты рубль и, спрятавши сорок девять рублей, значительно поднявших температуру его веселости, в бумажник, остановил Петра, начавшего было снова разговор о положении коридорных, покорнейшей просьбой подать самовар, принести газеты и потом сказать, когда будет двенадцать часов.

— В один секунд, Василий Васильич!

Минут через пятнадцать, составлявших по счету Петра одну секунду, самовар был подан, газеты принесены, а сам Петр уже начинал заплетать языком.

Лениво отхлебывая чай и попыхивая дымком папиросы, Невзгодин просматривал газеты, наполненные сегодня почти одними так называемыми рождественскими рассказами.

Невзгодин сперва пробежал телеграммы. Узнавши из них, между прочим, весьма важное известие о том, что у австрийской императрицы ischias — болезнь седалищного нерва, как значилось, в выноске,— и что она поэтому в Неаполь не поедет,— Невзгодин, в качестве писателя,

которому, быть может, самому придется писать рождественские рассказы, прочитал два такие рассказа, подписанные известными литературными фамилиями, украшающими обложки почти всех журналов обеих столиц.

Помимо подзаголовка: «Святочный рассказ», специально рождественское в них заключалось в том, что действие происходило накануне Рождества и что был несчастный, бездомный малютка и добрый господин почтенного возраста, пригласивший на елку несчастного малютку, найденного на улице. «А вьюга так и завывала. А мороз все крепчал и крепчал».

И Невзгодин дал себе слово не только не писать, но и не читать никогда больше рождественских рассказов, в которых несчастные малютки обязательно бывают счастливыми, едят виноград и яблоки в теплой зале доброго господина в то время, как «вьюга так и завывала, а мороз все крепчал и крепчал».

И, словно бы в доказательство того, как бессовестно лгут авторы святочных рассказов на погоду в вечер сочельника, Невзгодин вспомнил прелестный вчерашний вечер, вспомнил и, признаться, слегка пожалел, что не «завывала вьюга». Тогда Марья Ивановна не согласилась бы ехать на тройке, и он, быть может, знал бы, который теперь час.

Невзгодин заглянул в хронику, и вдруг выражение изумления застыло на его лице, когда он читал в «Ежедневном вестнике» следующее короткое известие:

«В ночь с 24 на 25 декабря приват-доцент московского университета Л. Н. Перелесов, проживавший Арбатской части, 2 участка, в доме купца первой гильдии Семенова, в квартире титулярного советника Овцына, выстрелом из револьвера нанес себе смертельную рану в висок. Смерть, вероятно, была мгновенная. Хозяева, немедленно после выстрела прибежавшие в комнату своего квартиранта, нашли его на полу уже без признаков жизни. Никакой записки, объясняющей причины самоубийства, не оказалось».

Невзгодин знал Перелесова. Лет пять тому назад он познакомился с ним в одном доме, где Перелесов давал уроки, и одно время довольно часто с ним встречался.

Перелесов не особенно нравился Невзгодину. Несомненно много трудившийся и много знавший, он производил впечатление человека малоталантливого, скрытного и непомерных претензий, скрываемых под видом приветливости и даже искательности в сношениях с людьми.

Невзгодин считал его неискренним и беспринципным человеком. Затем, по возвращении из Парижа, Невзгодин встретился с Перелесовым на юбилее Косицкого, и ему показалось, что Перелесов, несмотря на видимое добродушие, озлобленный человек. Это чувствовалось в его жалобах на то, что ему не дают кафедры, и вообще на свое положение. Однако вместе с тем он тогда говорил Невзгодину, что надеется, что все это скоро кончится и он наконец выйдет на дорогу. Но вообще Перелесов далеко не производил впечатления человека, способного на самоубийство.

Все это припомнилось теперь Невзгодину. Он стал прочитывать заметки о самоубийстве Перелесова в других газетах. В одной были, между прочим, следующие таинственные строчки: «Мы слышали, будто самоубийство Л. Н. Перелесова имеет связь с неприличной статьей, появившейся вслед за юбилеем А. М. Косицкого». В другой сообщалось, что к Перелесову рано утром в день самоубийства заходил какой-то молодой человек, плохо одетый, и что после его короткого визита Перелесов, бледный и «не похожий на себя», по выражению кухарки, куда-то поспешно ушел и вскоре вернулся уже успокоенный. Около полудня он вошел на кухню и, давши ей два письма, просил немедленно снести на почту и отправить заказными. Письма были городские, но кому адресованы, кухарка не знает. Затем она в этот день видела покойного, когда подавала в его комнату обед и вечером самовар. Ничего особенного она в покойном не заметила, только удивилась, что за обедом он почти ничего не ел.

Заметка репортера оканчивалась выражением пожелания, чтобы «был пролит свет на это загадочное самоубийство молодого, полного сил и здоровья, талантливого ученого».

«Во всем этом, действительно, кроется какая-то драма!» — подумал Невзгодин и скоро вышел из дому.

XXVI

Первый визит его был к Маргарите Васильевне.

Щегольски одетая, разряженная и вся словно сиявшая весельем, отворила двери Катя и, казалось, была изумлена при виде гостя.

Невзгодин это заметил.

— Здравствуйте, Катя. Не ждали, видно, меня?.. Что,

Маргарита Васильевна принимает? — говорил он, входя в двери.

— Здравствуйте, Василий Васильич... Я действительно думала, что вас нет в Москве... Так долго у нас не были... А наших никого нет дома. Барин уехал с визитами, а барыня в Петербурге... Я думала: вы знаете! — прибавила с лукавой улыбкой горничная

— Ничего не знаю. Давно уехала?

— Третьего дня с курьерским.

— И надолго? Не знаете?

— Послезавтра обещали быть.

— Ну, передайте карточки и позвольте вас поздравить с праздником! — сказал Невзгодин, отдавая две карточки и рублевую бумажку.

Катя поблагодарила и, отворяя двери, спросила:

— Когда же будете у нас, Василий Васильевич?.. Послезавтра?.. Я так и скажу барыне.

— Ничего не говорите. Я наверное не могу сказать, когда буду.

— Что так? Отчего вы перестали ходить к нам, Василий Васильич? — с напускною наивностью спрашивала Катя, по-видимому совершенно сбитая с толку в своих предположениях.

Невзгодин пристально взглянул на эту бойкую московскую «субретку» и, смеясь, ответил:

— Я вовсе не перестал ходить, как видите.

— Но вас так давно не было, барин.

— А не было меня давно оттого, что я был занят,— уж если вам так хочется это знать, Катя, и вы не боитесь скоро состариться. Знаете поговорку? — насмешливо прибавил он, отворяя двери подъезда.

Катя лукаво усмехнулась и, выйдя за двери, оставалась с минуту на морозе, но зато слышала, как Невзгодин приказал извозчику ехать на Новую Басманную в дом Аносовой.

— Знаешь?

— Еще бы не знать. Всякий знает дом Аносихи! — ответил извозчик, трогая лошадь.

Проезжая по Мясницкой, Невзгодин взглянул на почтамтские часы. Было без десяти минут два.

«Не рано для визита!» — подумал он.

Вот наконец и красивый «аносовский» особняк, построенный отцом Аносовой для своей любимицы «Глуши».

— Въезжай во двор!

Извозчик стегнул лошадку и бойко подкатил к подъезду. Невдалеке стояла карета с русским «англичанином» на козлах и несколько собственных саней с породистыми лошадьми. Были и извозчики.

«Верно, купечество поздравляет!» — решил Невзгодин, входя в растворившиеся двери.

— Пожалуйте, принимают. Честь имею с праздником поздравить! — приветливо говорил молодой лакей в новом ливрейном полуфраке и в штиблетах до колен.

Невзгодин сунул лакею рублевую бумажку, оправился перед зеркалом и поднялся во второй этаж.

На площадке его встретил другой ливрейный лакей, постарше, видимо выдержанный и благообразный. Почтительно поклонившись, он отворил двери в залу и проговорил с изысканной любезностью:

— Пожалуйте в большую гостиную.

«Точно идешь к какой-нибудь маркизе Ларошфуко!» — усмехнулся про себя Невзгодин и вошел в большую, отделанную мрамором, белую, в два света, залу.

«А вот и маркиз...»

Действительно, из-за портьеры, в глубине залы, вышел, семеня тонкими ножками в белых штанах, маленький, сухонький, сморщенный старичок в красном, расшитом золотом, мундире, в красной ленте, звездах и орденах, с треуголкой, украшенной белым плюмажем, в руке.

А на пороге гостиной, словно бы в красной рамке из портьер, вся в белом шелку, ослепительно красивая, Аглая Петровна говорила своим низким, слегка певучим голосом в шутливо-кокетливом тоне:

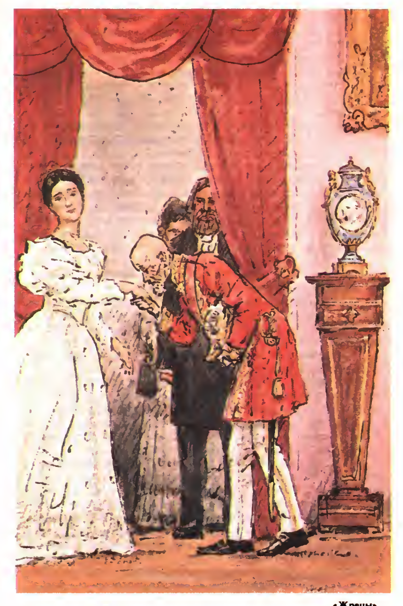
— Еще раз спасибо, милый князь, что вспомнили вдову-сироту.

В эту минуту Аносова увидала Невзгодина, и кровь прилила к ее щекам от радостного волнения и от стыда за только что сказанную фразу. В присутствии Невзгодина она вдруг почувствовала ее пошловатость и дурной тон.

Князь между тем вернулся, припал к руке Аглаи Петровны и наконец произнес сладким тоненьким тенорком:

— Разве можно забыть такую божественную красавицу! Я всегда ухожу от вас, потерявши здесь бедное свое старое сердце, и грущу, что не могу, подобно Фаусту, вернуть своей молодости... До свидания, очаровательная Аглая Петровна.

И сиятельный «Фауст» в почтительном поклоне низко склонил свою голую, как колено, голову и, повернувшись, засеменил бодрей, стараясь держаться прямо.



«Жрецы».
Художник Ю. Хайлов

Аносова уже успела справиться с собою. Равнодушно взглянув на Невзгодина, она сделала несколько шагов к нему навстречу. Он поклонился.

— Наконец удостоили...

Аглая Петровна произнесла эти два слова умышленно небрежным, слегка насмешливым тоном, словно бы желая подчеркнуть, что посещение Невзгодина ей безразлично...

А между тем в эти мгновения она испытывала какое-то особенно хорошее, давно ей неведомое чувство, совсем не похожее на мучительную страсть.

Ее сердце точно охватило теплом, и все кругом стало светлей. Ей казалось, что она сделалась мягче, отзывчивее, просветленнее и вдруг словно бы обрела давно потерянную веру в людей — вот в этом худощавом, невидном молодом человеке, с нервным, болезненным лицом и смеющимися глазами, которому нет никакого дела до ее миллионов, и он стоит перед ней независимый и свободный.

Аглая Петровна уже не питала досады на Невзгодина. Напротив! Ей так хотелось, так неудержимо хотелось, чтобы он стал ее другом, братом, чтобы понял, что она не такая уж бессердечная «представительница капитала», какой он ее считает, и чтобы относился к ней хорошо и не сторонился бы ее, как теперь, а приходил бы запросто поговорить, почитать вдвоем...

И, захваченная этим настроением, Аглая Петровна уже не боролась с ним, а свободно отдалась ему.

Она крепко, сердечно, не скрывая радостного чувства, пожала Невзгодину руку и вдруг заговорила порывисто, торопливо и взволнованно, понижая почти до шепота голос и глядя доверчиво и мягко своими большими бархатными глазами в острые, улыбающиеся глаза Невзгодина.

— Как я рада вас видеть, если б вы знали! Ведь я ждала, ждала вас, Василий Васильич, и, признаюсь, сердилась на вас за то, что вы пренебрегли моим зовом, помните, на юбилее Косицкого? Верьте, я не лгу и не кокетничаю с вами. Мне так хотелось по-приятельски поговорить с вами, поспорить, послушать умного, хорошего человека, для которого я не мешок с деньгами, не богатая купчиха Аносова, а просто человек. Ведь я совсем одинока со своими миллионами! — с грустной ноткой в голосе прибавила она.— А вы не ехали и, как нарочно, пришли с визитом сегодня, когда гости и нельзя поговорить, как — помните? — мы говорили на морском берегу в Бретани... Стыдно вам, Василий Васильич!

И этот горячий, дружеский тон после первого момента почти равнодушной встречи, и это искание духовного общения, и эти, казалось, искренние похвалы, все это сперва изумило, а потом тронуло и даже несколько «оболванило» Невзгодина, лишив его в эти минуты обычной в нем способности анализа и бесстрастного наблюдения.

Едва вдруг показалось, что он был, пожалуй, не совсем прав в своих поспешных заключениях об этой «великолепной вдове», когда называл ее сквалыгой, восторгающейся Шелли и обсчитывающей рабочих. И, незаметно поддаваясь обычному даже и у неглупых мужчин искушению — верить и извинять многое женщинам (особенно когда они недурны собой), которые находят их необыкновенно умными и интересными,— он уже считал себя несколько виноватым, что так поспешно осуждал Аглаю Петровну прежде, чем внимательнее пригляделся к ней. Конечно, она типичная современная «капиталистка», но в ней, быть может, по временам и говорит возмущенная совесть и она действительно одинока со своими миллионами.

Так думал Невзгодин, слушая Аглаю Петровну.

И, значительно смягченный и ее особенным вниманием и ее чарующей красотой, почти извиняясь, ответил:

— Я все время был занят... Увлекся работой... Писал.

— Знаю...

— Как?

— Узнавала. И похудели же вы, бедный. Ну, идем в гостиную. Только не уходите скоро. Гости разойдутся, и мы поболтаем... Не правда ли?

— С удовольствием.

Она позвала лакея и велела больше никого не принимать.

Аглая Петровна вошла в гостиную вместе с Невзгодиным, оживленная и веселая, и громко произнесла, обращаясь к гостям:

— Василий Васильич Невзгодин!

Тот сделал общий поклон и, увидав профессора Косицкого и еще двух знакомых, обменялся с ними рукопожатиями и хотел было присесть, как хозяйка его подозвала и подвела к единственной даме, бывшей тут среди мужчин во фраках и белых галстуках,— к пожилой, изящно одетой, дородной брюнетке лет за сорок, сохранившей еще следы замечательной красоты на своем умном, энергичном смуглом лице с большими красивыми, томными глазами.

— Рекомендую тебе, Даша, это тот самый невозможный спорщик, о котором я тебе говорила... Мы познакомились с Васильем Васильевичем в Бретани... Моя кузина, Дарья Михайловна Чулкова.

Невзгодин в первый раз увидал эту известную в Москве богачку и щедрую благотворительницу, которую знал по фамилии и по ее репутации умной и скромной женщины, умевшей толково и умно тратить часть своих средств на разные добрые дела и при этом без шума и без треска, не ради того, чтобы о ней говорили и об ее пожертвованиях печатали в газетах.

Невзгодин слышал, что несколько школ было обязано ей своим существованием и много молодых людей благодаря ей получали образование. Слышал он и о помощи, которую оказывала Чулкова и многим «пострадавшим», и их семьям. И сам Невзгодин благодаря Чулковой не был исключен из университета в числе других бедняков за невзнос платы.

Он все это припомнил, когда Чулкова, указав на свободное кресло около себя, заговорила с ним, расспрашивая о жизни русских студентов и студенток в Париже.

Разговор в гостиной шел лениво. Общество было разношерстное. Несколько представителей купеческой аристократии, два профессора, юный поэт из декадентов, баритон из Петербурга и высокий бравый полковник из остзейских немцев, объяснявший хозяйке, что он коренной москвич.

О самоубийстве Перелесова не говорили ни слова. Это удивило Невзгодина,— он знал, как Москва любит посудачить и особенно по такому поводу. И как только Чулкова уехала, пригласив Невзгодина когда-нибудь запросто приехать прямо к обеду, он подсел к Косицкому и спросил:

— Вы не знаете ли, Андрей Михайлович, отчего застрелился Перелесов?

Косицкий боязливо взглянул на Аглаю Петровну, сидевшую близко.

— Помилосердствуйте, Василий Васильич... Разве вы не знаете? — воскликнула она.

— То-то не знаю... Читал только в газетах...

— А у меня с утра только и разговоров, что об этой ужасной истории... Я слышала ее бесчисленное число раз.

— Но все-таки разрешите и мне узнать, а Андрею Михайловичу — рассказать.

— Разрешаю, но только пересяду подальше от вас,

господа! — проговорила Аносова, вставая, и присела около полковника.

— Это очень грустная и поучительная история! — сказал в виде предисловия старый профессор.— Прежде этого не бывало! — прибавил он.

И Косицкий рассказал, что сегодня утром Заречный получил письмо, написанное Перелесовым в день самоубийства. В этом письме несчастный сообщал, что автором пасквильной статьи был он, и так как, несмотря на принятые им меры скрыть следы своего авторства, оно открылось, то он решил не жить, чтоб не видать заслуженного презрения порядочных людей...

— По крайней мере искупил свою вину... По нынешним временам это редкость! — заметил взволнованный рассказом Невзгодин.— А как же открылось его авторство?

— И это он объяснил в своем длинном и обстоятельном предсмертном письме. Дело в том, что вчера утром приходил один молодой человек, его родственник, и рассказал, что фактор типографии газеты, в которой помещен пасквиль, называет его автором и что слухи эти уже ходят... Да. Письмо производит потрясающее впечатление... Перелесов просит Заречного простить ему хотя за то, что подлость не достигла цели, а цель была — занять его место. Но мертвые срама не имут, а живые...

Косицкий сердито покачал головой и продолжал:

— Не он додумался до этой гадости. Его подбили. Несчастный, проклиная, назвал того, кто посоветовал ему высмеять и мой юбилей, и меня, и коллег, обещая профессуру, а потом, недовольный статьей, сам же издевался. Перелесов и этому человеку написал письмо.

— Кто же он?

— Найденов! — тихо проговорил Косицкий.— Такой умный, талантливый ученый и...

Старик не докончил и стал собираться.

Скоро все гости ушли.

— Ну, пойдемте, я вам покажу свою клетушку, Василий Васильич! — сказала Аглая Петровна.— Уж если вы будете меня описывать, то непременно в ней... Там я провожу большую часть своего времени.

Когда Невзгодин вошел в клетушку, он был удивлен и вкусом Аглаи Петровны, и особенно подбором книг.

Он просидел у Аносовой около часу и более слушал, чем говорил. Сегодня она показалась ему не такою, как в Бретани, и Невзгодину не хотелось верить, что эта

женщина, говорившая, казалось, так искренне о неудовлетворенности жизни, понимавшая так тонко художественные творения, цитировавшая на память Байрона и Шелли, в то же время могла быть... кулаком.

Но как бы то ни было, а Невзгодин был крайне заинтересован Аглаей Петровной.

«Ведь она такой любопытный тип для изучения!» — думал он, любуясь чарующей красотой этого типа.

И Невзгодин ушел, обещая побывать на днях.

XXVII

Самоубийство Перелесова и, главное, причины, вызвавшие его, произвели сильное и подавляющее впечатление.

Многие из знавших его не хотели верить, чтобы молодой человек, пользующийся репутацией вполне порядочного человека, проповедовавший с кафедры идеи правды и добра, считавшийся одним из даровитых и честных жрецов науки, мог написать такую клевету на товарищей. Возмущенное чувство протестовало против этого. Такая неожиданная подлость казалась невероятной даже скептикам, видевшим немало предательств, не удивлявших никого по нынешним временам. Но и в отступничестве соблюдается некоторая приличная постепенность, а в данном случае как-то сразу порядочный, казалось, человек вдруг оказался негодяем.

Сомнений в этом быть не могло.

Хотя все газеты — и не только московские, но и петербургские,— словно бы сговорившись между собой, не давали никаких сведений о причинах самоубийства, а газета, напечатавшая о письмах, писанных Перелесовым перед смертью, даже поспешила опровергнуть это известие и на основании «новых достоверных известий» сообщила, что Перелесов застрелился в припадке умопомешательства,— тем не менее слухи о письме покойного к профессору Заречному быстро распространились в интеллигентных кружках. Кроме того, благодаря нескромности фактора типографии еще накануне самоубийства многие знали, что автором пасквиля был Перелесов.

Эта трагическая расплата за тяжкий грех словно бы встряхнула сонных людей и заставила призадуматься даже тех, которые ни над чем не задумываются, осветив перед ними весь ужас жизни с ее какими-то ненормальными условиями, благодаря которым даже среди самых интелли-

гентных людей, среди жрецов науки, возможны те недостойные средства, какие были употреблены Перелесовым и, разумеется, с надеждою на успех.

Что же, значит, возможно среди менее интеллигентных людей? — невольно являлся вопрос, и чем-то жутким, чем-то безотрадным веяло от этой утерянности принципов и нравственного чувства.

Перелесова жалели, и многие решили быть на его похоронах. Останься он жить, порядочные люди, разумеется, отвернулись бы от него с презрением, но мертвый, добровольно заплативший жизнью за грех, хоть и великий, он несколько примирил с собою.

Но зато «демон-искуситель», этот старый циник, натравивший Перелесова соблазнительными намеками о профессуре на подлость, возбуждал общее негодование; особенно среди профессоров и молодежи. Позабыв всякую осторожность, возмущенный до глубины души, Заречный показал нескольким из своих коллег не только письмо, им полученное от несчастного доцента, но и копию с письма его к Найденову, которую Перелесов приложил к письму к Заречному с предусмотрительностью человека, полного ненависти к врагу, которому он желал отомстить за преждевременную смерть.

Слухи об этом письме в тот же день разнеслись по городу, и как же ругали Найденова, каких только бед не накликали возмущенные москвичи на этого замечательного ученого...

Он спокойно сидел в кабинете за чтением какого-то любопытного исследования, когда поздно вечером в сочельник слуга подал ему письмо Перелесова.

Найденов подозрительно взглянул на незнакомый почерк, не спеша и с обычной аккуратностью взрезал конверт, вынул письмо, взглянул сперва на подпись и, недовольно скашивая губы, принялся читать следующие строки, написанные твердым, размашистым и неровным почерком.

«Глубокопрезираемый Аристарх Яковлевич!

Я переусердствовал и не оправдал ваших ожиданий в качестве тонкого и умелого пасквилянта, и вы, конечно, назовете меня дураком еще раз, узнавши, что я ухожу из жизни, так как не обладаю той доблестью, какою обладаете вы: спокойно жить, думая, что все подлецы, но не имеют только храбрости быть откровенными. Я именно из подлецов мысли и, быть может, остался бы таким, пока не получил бы кафедры, но вы с прони-

цательностью, достойною лучшего применения, поняли мою озлобленную, порочную душу и, поманив меня профессурой, заставили быть орудием в ваших руках, чтобы потом поглумиться над недостаточною понятливостью ученика. Вы, таким образом, сыграли блестяще роль подстрекателя, и, разумеется, не ваша вина, что моя статья не достигла желаемой вами цели. Увлеченный надеждами, я переусердствовал. Расставаясь, благодаря вам главным образом, с жизнью, я не могу отказать себе в маленьком удовольствии сказать вам, что вы поступили со мною нечестно. Желаю вам почувствовать угрызения совести, если только это возможно для вас. Быть может, мое самоубийство спасет других, таких же слабых, как я. Довольно и одного такого человека, позорящего ученое сословие. К чему же еще плодить их? Вы, презренный старик, спокойно доживете свой век, а ведь совращенные вами могут не иметь вашего мужества, и тогда кто-нибудь из них пустит себе пулю в лоб, как через несколько часов сделаю это я. Столько ума и столько нечестности в одном человеке! И из-за него я должен умереть, когда так хотелось бы жить!

Впрочем, я не надеюсь, что вас чем-нибудь проймешь. Вы слишком свободны от каких бы то ни было предрассудков и, следовательно, неуязвимы. Одна только надежда: если дети ваши, которых вы так любите, честны, то искренне желаю, чтобы они прозрели, каков у них отец».

Не раз во время чтения этих строк старый профессор перекашивал свои тонкие губы, двигал скулами и ерзал плечами, полный злобы к Перелесову, каждое слово которого хлестало его, как бичом, своею грубою откровенностью. Он ведь понимал, что Перелесов прав, называя его убийцей. Но разве он, воспользовавшись дураком, мог рассчитывать, что тот окажется такой слабой тварью?

И, дочитывая заключительные строки письма, Найденов невольно побледнел и на минуту словно бы закаменел, неподвижный, с расширенными зрачками своих холодных, отливавших сталью, глаз.

— Туда дураку и дорога! — наконец прошептал он чуть слышно.

Проговорив со злобы эти слова, Найденов поднялся с кресла, подошел к камину и бросил на горевшие угли письмо Перелесова. Пристальным и злым взглядом смотрел он, как вспыхнул листок и как затем, обращенный в черный пепел, светился искорками и наконец истлел.

И словно бы почувствовав облегчение, старый профес-

сор удовлетворенно вздохнул и заходил по своему обширному кабинету.

Видимо недовольный, он думал о «глупой истории», как мысленно назвал он самоубийство Перелесова. Его озабочивало — как бы не припутали к ней его имени.

Разумеется, он никакого письма не получал, и никто о нем никогда не узнает. Если этот дурак действительно застрелился, надо быть на одной из панихид и затем на похоронах... Во всяком случае, неприятная история. Вот что значит иметь дело с глупыми людьми. Сделает пакость в надежде на вознаграждение и винит других...

Так думал старый профессор, не догадывавшийся, что имя его уже крепко припутано к этой «глупой истории» и что Перелесов, расставаясь с жизнью, постарался отомстить виновнику своей смерти.

— К тебе можно, папа? — раздался на пороге свежий молодой голос.

— Можно, можно, Лизочка.

И голос Найденова зазвучал нежностью, а злые глаза его тотчас же приняли выражение нежной любви при виде высокой стройной девушки лет двадцати.

Она заглянула отцу в глаза, сама чем-то встревоженная, и спросила:

— Ты встревожен, папа?

— Я?.. Нет... С чего мне тревожиться, моя родная! — торопливо ответил старик и с какою-то особенной порывистою нежностью поцеловал дочь.

— Так ты, значит, не знаешь печальной новости?

— Какой?

— Перелесов сейчас застрелился...

Старый профессор, давно уже ничем и ни перед кем не смущавшийся, смущенно проговорил:

— Застрелился? Откуда ты об этом узнала, Лиза?

— Я сейчас гуляла и встретила Ольгу Цветницкую...

— И что же? — нетерпеливо перебил Найденов.

— К ним на минутку заезжал Заречный, чтобы сообщить, что Перелесов застрелился. И знаешь почему, папа? Это ужасно! — взволнованно прибавила молодая девушка.

— Почему же?

— Он был автором этой мерзкой статьи,— помнишь, папа? — в которой были оклеветаны Заречный, Косицкий и другие профессора. И не мог пережить позора...

— Но откуда все это известно? — едва скрывая тревогу, спрашивал Найденов.

— Он сам признался во всем в письме к Заречному

и просил прощения... Несчастный! Кто мог думать, что он был способен на такую подлость... Но он искупил ее своею смертью... Говорят, что он еще написал письмо...

— Кому? — упавшим голосом спросил старый профессор.

— Ольга не знает... Кому-то из профессоров.

Найденова охватила мучительная тревога, и он невольно вспомнил заключительные строки только что уничтоженного письма. Вспомнил, и что-то невыносимо-жуткое, тоскливое прилило к его сердцу при мысли, что может открыться его прикосновенность к самоубийству Перелесова, и тогда он потеряет любовь сына и дочери.

А он их любил, и кажется, одних их во всем свете!..

Дома, в глазах жены и детей, он был в ореоле знаменитого ученого и безукоризненного человека. Никто из них не знал и не мог бы допустить мысли, что на душе старого профессора слишком много грехов, и таких, за которые можно сгореть со стыда. Перед своими он словно бы боялся обнажать душу и обнаруживать свой беспринципный цинизм, понимая, как это подействовало бы на молодые сердца, полные энтузиазма и веры в людей. Он большую часть своего времени проводил в кабинете, но, встречаясь с женой и детьми, бывал с ними необыкновенно ласков и нежен и при них никогда не высказывал своих безотрадно-скептических взглядов неразборчивого на средства честолюбца и карьериста, словно бы оберегая любимые существа от своего тлетворного влияния, и дети гордились своим отцом и горячо любили его, объясняя его нелюдимство и не особенно близкие отношения с профессорами его страстью к ученым занятиям. Они, быть может, и замечали, что многие относятся к отцу недоброжелательно и даже прямо враждебно, но это — казалось им — происходило оттого, что не понимали горделивой и сдержанной с посторонними натуры отца. Кроме того, боялись его насмешливого подчас языка и завидовали его подавляющему превосходству и уму и всеми признанной репутации замечательного ученого, труды которого переводятся на иностранные языки.

Благодаря умному добровольному невмешательству Найденова в воспитание своих детей и благодаря влиянию необыкновенно кроткой матери, обожавшей мужа с каким-то слепым, чуть ли не рабским благоговением любящей и нежной натуры,— дети выросли совсем не похожие по внутреннему складу на отца. Особенно его любимица Лиза, добрая девушка и беззаветная энтузиастка, горевшая же-

лением приложить свои силы на помощь обездоленным и несчастным.

Она была деятельным членом попечительства и вместе с Маргаритой Васильевной действительно ретиво занималась делом благотворительности. Она посещала ежедневно свой участок, не стесняясь подвалами и задворками, сердечно относилась к беднякам и с горячностью представительствовала за них перед комитетом и раздавала им почти все свои карманные деньги, вместо того чтобы на них купить себе пару новых перчаток и флакон духов. Кроме того, Лиза была учительницей в школе попечительства и относилась к принятым на себя обязанностям с отцовской добросовестностью и аккуратностью к работе. Не похожая на большинство шаблонных барышень, мечтающих о нарядах, выездах, балах, театрах и поимке хорошего жениха, она распоряжалась своим досугом на пользу ближнего и, бодрая, здоровая и румяная, не нервничала от неудовлетворенности жизнью, делая свои маленькие дела скромно, толково и неустанно.

И отец, давно уж забывший альтруистические чувства и преследовавший в жизни один лишь свои интересы, не высмеивал ни ее благотворительного пыла, ни ее посещений по вечерам публичных лекций, ни ее увлечения школой и возни с грязными детьми трущоб, ни ее молодого задора и категоричности мнений, ни ее негодующих протестов против того, что добрая девушка считала несправедливым, нечестным и злым.

Напротив! Этот черствый себялюбец, высокомерный и жесткий по отношению ко всем людям, исключая своих кровных, с снисходительным вниманием и, казалось, даже сочувственно слушал пылкие речи своей любимицы, доверчивой и экспансивной, и своим мягким ласковым взглядом как будто поощрял дочь верить в то, во что сам давно не верил, и проявлять бескорыстную деятельную любовь, которая ему лично казалась забавой.

И обычная саркастическая улыбка не кривила его тонких безусых губ. Ему казалось святотатством осквернить чистую душу своим скептицизмом старого циника и обнажить перед ней свое полное равнодушие к тому, что она считала красотой жизни.

«Пусть жизнь сама разрушит ее иллюзии. Пусть знакомство с людьми покажет ей человека таким, как он есть... А я не стану разрушать этой чистой веры!» — нередко думал старик, слушая свою любимицу.

И старик пользовался ее безграничной любовью. Из

страха потерять эту любовь он тщательно скрывал перед нею самого себя и искусно показывал только то, что могло поддержать в ее глазах его престиж. Уж давно он потерял и уважение и любовь друзей. Давно он сам не уважал себя. Что же у него останется в жизни, если он потеряет любовь детей, хотя бы он и пользовался ею обманом.

И эта «глупая история», это самоубийство Перелесова, о котором так горячо говорила дочь, показалась ему страшной трагедией. Лучше было бы, если б ее не было.

— Ты, я вижу, очень изумлен и взволнован, папочка! — проговорила Лиза и быстро поцеловала костлявую и сухую отцовскую руку.

Старик нежно потрепал дочь по щеке и ответил:

— Да... Совсем неожиданно.

— Такой молодой и совершил такой ужасный поступок... Ты ведь знал Перелесова? Он, кажется, еще недавно у тебя был вечером, в день юбилея Косицкого!..

— Был.

— Как ты объясняешь себе эту лживую статью... это предательство товарищей, папа? — допрашивала Лиза, не понимая, что она является палачом любимого отца.

— Человек — очень сложный инструмент, Лиза. Очень сложный, милая! — как-то раздумчиво проговорил Найденов, отводя взгляд.

— Но все-таки, папа. Что могло заставить его решиться на это?

— У людей бывают разные страсти, Лиза. И побороть их не всегда легко.

— Но все-таки он был не совсем дурной человек... Этот трагический конец примиряет с ним. Не правда ли?

— Да,— тихо проговорил отец.

— И знаешь, папочка, Ольга говорила, будто кто-то обещал Перелесову, что он будет профессором вместо Заречного, если напишет статью. Его кто-то вовлек.

— Это вздор! — почти крикнул Найденов.

И, спохватившись, прибавил тихо:

— Кто мог обещать ему? Вернее всего, Перелесов сам додумался до этой статьи... Он давно мечтал о профессуре... Теперь мало ли каких сплетен не будут распускать по поводу самоубийства Перелесова... Пожалуй, еще и мое имя приплетут...

— Твое? Что ты? Бог с тобой, папочка! — испуганно промолвила Лиза.

— Люди злы... Пожалуй, узнают, что Перелесов заходил ко мне после юбилея...

— Так что же?..

— И выведут какие-нибудь нелепые заключения... От сплетен не убережешься... Ну, да я к ним равнодушен... Мне решительно все равно, как обо мне люди думают, лишь бы дома меня знали и любили. А больше мне ничего не надо... И я знаю, что вы меня любите и не поверите никаким сплетням про вашего отца... Не правда ли, Лиза? — необыкновенно нежным и умоляющим голосом проговорил старый профессор, уже понявший из слов дочери, что имя его припутано к самоубийству Перелесова.

Этот «кто-то», обещавший профессуру, смущал его.

— И ты еще спрашиваешь, родной? Да разве про тебя смеют говорить что-нибудь дурное?.. И разве мы можем поверить, что ты способен сделать что-нибудь дурное?.. О папочка!.. Ты просто расстроен этим несчастным происшествием, и тебе в голову лезут невозможные мысли. Лучше поцелуй свою дочку и пойдем в столовую. Сейчас подадут чай.

И Лиза порывисто обняла нагнувшегося к ней отца, крепко поцеловала его и, глядя на него своими восторженными блестящими глазами, воскликнула:

— О дорогой мой папочка! Как я горжусь тобой!

Что-то теплое, счастливое прилило к сердцу отца; он благодарно и умиленно гладил русую головку дочери своею вздрагивающею холодною рукой и в то же время думал о письме Перелесова к Заречному. Что, если в этом письме он рассказывает все, как было?

И мучительный трепет страха охватил ничего не боявшегося старого профессора при мысли, что дети могут узнать и убедиться, что напрасно они гордятся своим отцом.

Он чувствовал, что едва стоит на ногах.

— Папочка, да что с тобой? Ты побледнел. Твоя рука дрожит?..— тревожно спрашивала Лиза.

— Ничего, ничего, родная...

И он присел на оттоманку.

— Тебя так взволновало это ужасное известие?..

— На свете много ужасных известий, Лиза... Я, верно, утомился сегодня... Много работал. И я не пойду в столовую пить чай... Принеси мне сюда, голубушка...

Когда Лиза ушла, Найденов как-то жалко и беспомощно прошептал:

— Неужели начинается расплата?..

XXVIII

На второй день праздника — утренняя панихида назначена была в десять часов.

В небольшой зале, рядом с опечатанной комнатой, в которой застрелился Перелесов, стоял гроб, обитый золотым глазетом. Толстый дьячок монотонно и гнусаво читал Псалтырь, взглядывая по временам равнодушным взглядом из-под густых бровей на маленькую, бедно одетую старушку в траурном платье, обшитом плерезами, которая стояла у гроба и тихо, совсем тихо, точно запуганный ребенок, плакала, не отрывая своих выцветших, красных от слез глаз от обрамленного цветами лица покойника, спокойного и серьезного, словно думающего какую-то важную думу.

Старушка мать, вдова маленького провинциального чиновника, жившая в уездном городе Смоленской губернии на средства, которые давал ей сын, уделяя их из своего скудного заработка, приехала вчера вечером, вызванная телеграммой Сбруева. Сбруев жил недалеко от Перелесова, на Арбате, и к нему первому прибежал квартирный хозяин, чтобы сообщить о самоубийстве своего квартиранта.

Сбруев был потрясен, когда поздно вечером узнал от Заречного о причинах самоубийства Перелесова. Он искренне его пожалел и простил грех, искупленный смертью. По просьбе Заречного он взял на себя хлопоты по устройству похорон, и так как после смерти Перелесова у него найдено было всего лишь три рубля, то Сбруев решил похоронить Перелесова на свой счет, если бы коллеги отказались от складчины, и в ту же ночь занял для этой цели двести рублей.

Но на другой же день Заречный объехал нескольких профессоров и собрал триста рублей и отдал их Сбруеву.

Старушка почти не спала ночь. Несмотря на просьбы Сбруева идти к нему переночевать, она просила, как милости, позволить ей остаться при сыне. Она не устала, а если устанет, подремлет в кресле.

И, ничего до этих пор не говорившая о сыне, она, глотая рыдания, вдруг сказала:

— О, если б вы только знали, какой он был добрый и нежный ко мне... О, если б вы это знали! Он сам нуждался... отказывал себе во всем,— я только теперь это узнала,— а мне, голубчик, каждый месяц посылал пять-

десят рублей... И писал, что живет отлично, что ни в чем не нуждается... Он всегда такой был... деликатный... А я, дура, верила, что он посылает от излишков. И он еще в последнем письме писал, что скоро выпишет меня в Москву и мы будем вместе жить, когда его сделают профессором... Вот и выписал... И объясните мне, ради бога, Дмитрий Иваныч, отчего Леня лишил себя жизни?.. В письме ко мне, оставленном на его столе, он просит прощения, что оставляет меня одну, и только говорит, что жить ему больше нельзя. Кто обидел его? Кому он мешал, мой голубчик?..

Сбруев грустно молчал.

— Такой хороший, умный, молодой... Ему бы жить, а он... мертвый... Кто же погубил его? Какие злодеи? И неужели они не будут наказаны? Да где ж тогда правда на земле, Дмитрий Иванович?

Она вдруг смолкла, точно сама испугавшись этого порыва отчаяния, и снова заплакала.

А Сбруев все молчал и не замечал, что глаза его влажны от слез.

Около полуночи он ушел домой, а мать снова подолгу стояла у гроба и, застывшая в скорби, глядела в лицо сына, точно ожидая, не откроет ли оно причину ее сиротства.

Ночью старушка забывалась на несколько минут в тяжелом сне, сидя на кресле. И теперь она опять смотрит на мертвого сына и опять тихо плачет.

На часах пробило девять ударов.

Вошла квартирная хозяйка, молодая рыжеватая дама, и, словно бы стыдясь занимать горюющую мать житейскими делами, как-то томно проговорила:

— Извините... Я, конечно, понимаю ваше горе, но все-таки... не выпьете ли чашку чая?..

Старушка с удовольствием приняла предложение и вышла из комнаты.

В конце десятого часа приехал Сбруев и вслед за ним Невзгодин.

Они познакомились на юбилее Косицкого и понравились друг другу.

— Как вы думаете, Дмитрий Иванович, много соберется на панихиду? — спросил Невзгодин.

— Я думаю. Вчера вечером на первой панихиде было порядочно народа...

— И это правда, что я слышал вчера о Найденове?.. Косицкий рассказывал...

— Правда. Не ожидали, что такой мерзавец?..— грустно протянул Сбруев.

— Это я давно знал, положим... Но я не думал, что он так неосторожен...

— На всякого мудреца довольно простоты, Василий Васильич...

— И неужели он после всего... остается в Москве?..

— Не думаю! — как-то значительно промолвил Сбруев.— Вот мать покойного, оставшаяся сиротой и без куска хлеба после смерти Перелесова, спрашивала: где же правда на земле?

— И что вы ей ответили?

— Ничего! — мрачно произнес Сбруев.

— Ответить, хотя бы для утешения старухи, где по нынешним временам гостит эта самая правда, очень затруднительно.

— Особенно нам! — решительно подчеркнул Дмитрий Иваныч.

— Кому «нам»?

— Вообще жрецам науки, выражаясь возвышенным тоном.

— Почему же им особенно, Дмитрий Иваныч? — удивленно спросил Невзгодин.

— А потому, что у нас две правды! — уныло протянул Сбруев.

— У людей других профессий, пожалуй, этих правд еще больше.

Обыкновенно молчаливый и застенчивый, Дмитрий Иванович под влиянием самоубийства Перелесова находился в возбужденно-мрачном настроении, и ему хотелось поговорить по душе с каким-нибудь хорошим свежим человеком, и притом не из своей профессорской среды, которая ему не особенно нравилась.

А Невзгодин именно был таким свежим человеком, возбуждавшим симпатию в Сбруеве. Невзгодин был вольная птица и не знал гнета зависимости и двойственности положения. Кроме того, Сбруеву казалось, что Невзгодин не способен на компромиссы.

И Дмитрий Иванович заговорил вполголоса, волнуясь и спеша:

— Быть может, и больше, но знаете ли, в чем их преимущество?

— В чем?

— В том, что чиновник, например, не обязан говорить хорошие слова, свершая, положим, не совсем хорошие

поступки. Сиди себе и пиши, худо или хорошо, это его дело. А мы обязаны.

— Как так?

— А так. С кафедры мы проповедуем одну правду — если и не всю, то хоть частичку ее,— а в жизни поступаем по другой правде, назначенной для домашнего употребления и для двадцатого числа...

Он застенчиво улыбнулся своею грустною улыбкой и продолжал:

— Вот Перелесов не вынес резкого противоречия этих двух правд, обнаруженного перед всеми, и пустил себе пулю в лоб... Ну, а мы и не замечаем этих противоречий и, если не делаем сами крупных пакостей и только, как Пилат, умываем руки при виде их или делаем маленькие подлости, то уж считаем себя порядочными людьми и надеемся дожить до заслуженного профессора и отпраздновать свой юбилей вместо того, чтобы уйти, пока еще не утрачено человеческое подобие, если не из жизни, как ушел Перелесов, то хоть из жрецов... Отчего, в самом деле, мы, русские интеллигенты, такие тряпки, Василий Васильич! — взволнованно воскликнул Сбруев, точно из души его вырвался страдальческий вопль.

— Много на это причин, Дмитрий Иваныч...

— Однако, звонят... Сейчас явится публика. Как жаль, что нельзя поговорить на эту тему основательнее и выяснить, почему более стыдливые — тряпки, а бесстыжие уж чересчур наглы... Не позавтракаем ли вместе завтра, после похорон? Сегодня боюсь... Вечером надо опять здесь быть, и неловко прийти не в своем виде. Я люблю, запершись, иной раз выпить,— прибавил Сбруев.

— С большим удовольствием.

— Поедем в «Прагу». Там не особенно дорого... А то молчишь-молчишь... Ну и вдруг захочется поговорить со свежим человеком, да еще таким счастливцем.

— Почему счастливцем?

— А как же. Ведь нигде не служите?

— Нигде.

— В профессора не собираетесь?

— Нет.

— И, слышал, избрали писательскую карьеру?

— Хочу попробовать.

— И не бросайте ее, ежели есть талант. По крайней мере сам себе господин. Ни от кого не зависите...

— Кроме редактора и цензора... Особенно если попадутся чересчур дальновидные! — усмехнулся Невзгодин.

— Но все-таки... в вашей воле...

— Не писать? Разумеется.

— Нет... Отчего ие писать?.. Но ие лакействовать. И это счастие.

— Не особенное, Дмитрий Иванович.

— По сравнению с другими профессиями — особеииое.

Стали появляться разные лица. Явилось иесколько профессоров; в числе их были и оклеветаниые в статье покойиого: Косицкий и Заречный. Маленькая зала быстро иаполиилась иителлигеитиой публикой, среди которой были учителя, студеиты и миого молодых жеищин.

Всех входящих в залу тотчас же охватывало какое-то особениое иастроение взволиованиости, страха и виноватости при виде спокойио-важиого лица покойиого. Трагическая его смерть иапомииала, казалось, о чем-то важиом и серьезном, что всеми обыкиовенно забывается, и придавала этому лицу выражение ие то упрека, не то предостережеиия.

И иекоторым из присутствующих оно, казалось, говорило:

«Я сделал иечестиое дело, в котором и вы отчасти вииоваты, и... видите».

Несмотря на горделивое созиаиие всех присутствовавших, что иикто из них ие сделает такого иечестного дела и, следовательио, ие застрелится, миогим стаиовилось жутко, когда подходили к покойиику и заглядывали в его лицо. Разговаривали шепотом, словио боялись разбудить мертвеца. Почти у всех жеищин были заплакаииые глаза... Старушка мать где-то затерялась в толпе, и иа иее иикто ие обращал виимаиия.

Кто-то прииес в корзиие массу живых цветов, и в толпе проиесся шепот, что цветы прислала Аносова.

Несколько профессоров собрались в кучку и тихо поносили Найдеиова. Особеиио отличались трусливые коллеги старого профессора, которые потихоньку заискивали у иего. Но здесь, у гроба, иевольно хотелось щегольиуть цивизмом, выражая иегодоваиие против человека, которого и раньше все боялись и ие любили, но все-таки терпели.

— Я ему руки ие подам. Честиое слово! — вдруг сказал Цветиицкий, ие зиая, как это у иего сорвалось с языка, так как сам ои был убеждеи, что никогда ие решится сделать этого, пока Найдеиов в фаворе.

И вероятио, заметив, что ему ие поверили, Цветиицкий проговорил:

— Так-таки не подам!

Заречный между тем сообщил, что вчера, в пять часов вечера, перед самым обедом, к нему заезжал Найденов и ие застал его дома.

— Я приказал не прииимать его, если ои еще раз приедет! — прибавил молодой профессор.

Слушатели удивлялись иаглости Найденова. Сам иатравил Перелесова иаписать пасквиль и имеет дерзость ехать к Николаю Сергеевичу. Верио, ои ие зиает, что Николай Сергеевич получил письмо от жертвы.

— А может быть, узиал и хотел уговорить вас скрыть его.

— Черт его зиает. Теперь я поиял, что это за человек! — иегодующе заметил Заречиый, вспомииая, как Найдеиов глумился иад иим по поводу его речи и как рассказывал, что защищал его, а между тем сам же подговорил иаписать против иего статью.

«И каким я был трусом тогда!» — подумал Николай Сергеевич и почувствовал еще большую радость, что Найденов так осиовательио попался в своих подлых иитригах.

Подошел еще одии профессор и сообщил, что слышал из вериых источииков, будто по поводу самоубийства Перелесова будет иазиачеио следствие.

На всех лицах мелькиули торжествующие улыбки.

— Тогда ои иаверное вылетит! — заметил Заречный.

— И давио пора,— проговорил Цветиицкий.

И все снова прииялись браиить Найдеиова.

Одии только Косицкий слушал все это молча и грустно смотрел, как укладывают в гроб цветы.

Маргарита Васильевиа вошла с мужем и стала у дверей в соседией комиате — столовой квартирных хозяев. Невзгодии подошел к Заречиой и, взглядывая на ее бледное, истомлеииое лицо, задумчивое и скорбное, спросил:

— Что с вами? Зачем вы сюда пришли совсем больиая?

— Со миой иичего особеииого. Просто устала... не спала иочь в дороге. Я только что из Петербурга. А вы где пропадали?

— Работал. А поручеиие ваше завтра же исполию.

— Спасибо.

Оиа помолчала и вдруг промолвила чуть слышио:

— А как это просто.

— Что такое?

— Да вот это.

И Маргарита Васильевиа едва заметиым движеиием головы указала иа гроб.

Невзгодин удивленно взглянул на молодую женщину.

— Вы хотите сказать, что просто расстаться с жизнью?

— Ну да.

— Уж не манит ли и вас эта простота?

— По временам являются такие мысли.

— Что это?.. Заразительность частых самоубийств?

— Нет... Собственные размышления последнего времени.

— И причины такого желания?..

— Жить скучно! — прошептала молодая женщина, и на лице ее появилась такая скорбная улыбка, что Невзгодину сделалось жутко.

— Как это, подумаешь, ужасно!..

— А вы думаете, нет?

— Но ваши планы деятельности и другие?

— Оставить мужа?

— Да.

— Ведь вы сами же говорили, что одна деятельность не может удовлетворить женщину. А в другой мой план не верили! — прибавила Маргарита Васильевна, и слабый румянец вспыхнул на бледных щеках.

— Положим, говорил... Но из этого не следует, что нужно...

— Мало ли что не следует! — перебила Маргарита Васильевна.

— Вам полечиться надо.

— Может быть.

— И что это ныне за безволие какое-то у людей!

Невзгодин сопоставил только что бывший у него разговор со Сбруевым с тем, что говорила Маргарита Васильевна. И того мучает двойственность положения, и в его речах чувствуется смутное желание выхода из него, хотя бы путем смерти... И эта вот тоже. Нечего сказать, тряпичное поколение в более стыдливых его представителях.

Да и сам он разве не переживал в Париже такого настроения?

Была полоса, когда и у него бродили мысли покончить с собой из-за проклятых вопросов, мучивших своей неприложимостью в жизни, и из-за отвергнутой любви к этой самой Маргарите Васильевне, без которой жизнь ему казалась несчастной... И ко всему этому одиночество и хроническое голодание.

Но все это продолжалось у него недолго и беспо-

воротно прошло. Работа, горделивое желание борьбы, примеры мужества крупных личностей и сознание долга перед жизнью спасли его, направив мысли от своих маленьких личных печалей на более серьезные и общественные печали. Теперь он удивляется своему малодушию, и его удивляет малодушие людей, которые без борьбы, без всякой попытки найти выход в каком-нибудь общественном деле отдаются во власть нервных, личных настроений.

Ему было жаль Маргариту Васильевну. Кто ее знает? Может быть, и в самом деле она приведет в исполнение свое желание оттого, что скучно жить. А ей скучно жить главным образом потому, что она никого не любит и жаждет любви.

Надо поговорить с ней, успокоить ее, убедить куда-нибудь уехать на время.

— Сегодня вы будете дома, Маргарита Васильевна?

— Целый день.

— Можно зайти к вам? Не помешаю?

— Заходите... Я всегда рада вас видеть.

— И уж больше не сердитесь на Фому неверного?

— Нет... Тем более что он...

— Был прав в своих сомнениях? — подсказал Невзгодин.

— Не совсем, но до известной степени! — грустно промолвила Маргарита Васильевна.— Ведь это так просто и так ужасно! — прибавила она, указывая взглядом на гроб, и вся содрогнулась.

«Бедняга! Боится, что и муж застрелится! Какая же он скотина, если пугает «этим»!» — подумал Невзгодин.

В столовую вошел старенький священник из ближнего прихода. Он тотчас же принял соответствующий предстоящей требе серьезно-задумчивый вид, поклонился и торопливо начал облачаться в траурную ризу при помощи дьячка. Вслед за ним вошли певчие, и в комнате запахло водкой. Некоторые из певчих были пьяны по случаю праздника и едва стояли на ногах.

Старенький священник подозрительно покосился на певчих и что-то шепнул дьячку.

— Не в первый раз, батюшка! — успокоительно проговорил дьячок.

В эту минуту в зале мгновенно наступила мертвая тишина. Все сразу смолкли, не окончив речей и повернув головы к раскрытым из залы в прихожую дверям.

Почти на всех лицах застыло выражение необычайного

изумления и негодования. Даже по лицу добряка Андрея Михайловича Косицкого пробежала гримаса, точно от какой-то физической боли, и старик густо покраснел, точно сделал что-нибудь нехорошее, и ему стало стыдно.

Невзгодин переступил порог, взглянул и не верил своим глазам.

Высоко подняв свою седую, коротко остриженную голову и ни на кого не смотря своими серыми, пронизывающими глазами, светившимися из-под очков резким, холодным, словно сталь, блеском, сквозь толпу пробирался вперед, к гробу, Найденов с обычным своим спокойным и надменным видом.

Словно бы не замечая или не желая замечать того потрясающего впечатления, какое произвело его прибытие, он прошел вперед и остановился около кучки профессоров, ничем не выказывая своего волнения и еще выше поднимая голову. Только движение скул, замеченное Невзгодиным, могло обличить, что старый профессор отлично понимает, в какое убийственно-неприятное положение он поставил себя, явившись на панихиду.

И Невзгодин, как художник, любовался дьявольским самообладанием и дерзкою наглостью Найденова, ожидая, что будет дальше и как его встретят профессора.

Цветницкий, стоявший ближе к Найденову, первый поклонился, и Найденов, небрежно протянув ему руку, повел взглядом на остальных коллег. Еще два стыдливых нерешительных поклона, и ответный общий кивок Найденова.

Заречный отвел глаза в сторону, будто не замечая бывшего своего профессора. Косицкий встретил взгляд и поклон Найденова, не ответил на него и только снова покраснел. Не поклонились Найденову еще двое.

Это оскорбление нанесено было у всех на глазах. С известным ученым, тайным советником не хотели кланяться!..

Как только Найденов вошел в залу, он сразу же понял, что Перелесов хорошо отомстил своему врагу. Эти изумленные, негодующие взгляды, эти презрительные улыбки почти в упор ясно говорили, что он возбуждает ненависть и что его все считают виновником самоубийства этого «болвана». Но возвращаться было уже поздно, и наконец не ему занимать наглости.

И Найденов нарочно прошел вперед, к коллегам, уверенный, что никто из них не посмеет оскорбить его.

Он знал их хорошо. Но, значит, Заречный показал



«Жрецы».
Художник Ю. Хайлов

всем письмо, и его, влиятельного профессора, считали настолько скомпрометированным этим самоубийством, что уже решились обнаруживать свои циничесние чувства в оскорблении. Прежде ненавидели, но не смели. Теперь смеют.

«Начинается расплата!» — снова пришла в голову Найденова мысль, не дававшая ему покоя после разговора с дочерью.

И, внутренне почти равнодушный к нескрываемой ненависти всех этих людей и к нанесенному коллегам оскорблению («Они поплатятся за это!» — подумал старый профессор), он с ужасом и тоскою подумал, что дети могут узнать про все, что только что произошло.

Побледневший, с презрительно скошенными тонкими безусыми губами, он все-таки не терял самообладания. Неподвижная, словно статуя, его высокая, сухощавая, выпрямившаяся фигура стояла перед гробом, и глаза его, горевшие злым огоньком, как у затравленного волка, вызывающе смотрели сверху прямо в лицо покойника.

Священник хотел было начинать службу, но в это время из толпы вышел бледный как полотно Сбруев. Он подошел к батюшке и просил немного повременить.

Все, ожидая чего-то необычайного, замерли. Найденов плотнее сжал совсем побелевшие губы, и глаза его, казалось, пронизывали покойника.

Но в них блеснуло на мгновение что-то жалкое и беспомощное, когда Сбруев от священника подошел к нему и, не здороваясь и не поклонившись, взволнованно проговорил:

— Господин Найденов. Я вынужден сказать, что вам не место здесь, у гроба покойника, который...

От волнения Сбруев больше ничего не мог сказать.

Найденов не проронил ни слова. Медленно, словно бы нарочно замедляя шаги, направился он через толпу, наполнявшую комнату, к дверям.

Перед ним брезгливо расступались, точно перед зачумленным, его провожали злорадными взглядами, вслед ему посыпались проклятия, а он будто не видал и не слыхал ничего и шел, не склоняя под бременем позора своей седой, высоко поднятой головы, по-прежнему высокомерный, словно бы презирающий всех, и великолепный в своем бесстыдстве.

— Этакая наглость! — раздавались голоса.

Но, когда старый профессор вышел из квартиры и очутился на улице, самообладание его оставило.

Ои едва стоял иа иогах и трясущимися губами беззвучио шептал какие-то угрозы и пугливо и растеряиио озирался, словио боясь людей или не зная, куда ему идти. Накоиец упавшим, точио чужим голосом ои позвал извозчика.

Когда ои сел в саии, то как-то весь съежился, опустил голову и казался жалким и беспомощным, совсем не похожим иа прежиего иадмеииого старика.

Ои приехал домой и, когда слуга отворил ему двери, спросил:

— Барышия дома?

— Нет-с... Оие ушли с Михайлом Аристархычем тотчас после вас.

Казалось, что известие успокоило иесколько старика. Нетвердыми шагами дрожащих ног прошел он в кабииет и опустился в кресло.

Через иесколько мииут пришла его жена, бледиолицая пожилая жеищииа с кроткими глазами, и, увидав мужа, испугаиио спросила:

— Аристарх Яковлевич... Что с тобой? Ты болеи...

— Ничего... Так... слабость... А где дети?

— Ты разве их не видал?

— Где?

— На паиихиде. Оии пошли туда...

— Оии были там? — спросил Найдеиов глухим голосом.

— Да. Лиза иепремеиио хотела идти на панихиду... Да отчего это тебя так удивляет?

Старый профессор подиял иа жену взгляд, полиый ужаса и тоски, и из груди его вырвался стон.

XXIX

Вскоре после панихиды Невзгодин сидел в кабииете Маргариты Васильевны.

Она говорила:

— Вы поиимаете чужие иастроеиия, Василий Васильич, ио все-таки вы не зиаете жеиской души. Вот вы давеча советовали лечиться...

— Советовал и теперь настаиваю. Вы изиервиичались в последиее время... Прежде вы были куда энергичиее...

— Прежде?.. Прежде я надеялась, я ждала чего-то... А теперь?.. Разве вылечишь больиую, неудовлетворенную душу бромом и обтираииями холодной водой? По совести вам говорю, как доброму приятелю: скучно жить.

Проговорив эти слова, Маргарита Васильевна взглянула грустным, усталым взглядом на Невзгодина.

— Это настроение пройдет...

— Когда?.. Когда пройдут годы и я сделаюсь старухой.

И, помолчавши, прибавила с тоской:

— А жить так хочется! Ведь я не жила совсем, вы правду как-то говорили... Я никогда и никого не любила... Я не знала, что значит забыть себя для другого, жить с ним неразрывно и душою и телом и с радостью отдать за любимого человека жизнь... А именно такого счастия я и искала, о такой любви и мечтала, а между тем... этого не было и никогда не будет!

— Отчего не будет? Разве вы не можете полюбить?

— Быть может, могу, но не посмею... Страшно строить свое счастье на несчастье другого...

— Во-первых, не всегда несчастье другого так сильно, а во-вторых, когда любят, то все смеют...

— А вы, Василий Васильевич, когда-нибудь так любили?

— Разве вы не знаете?

— Как я могу знать?

— Да ведь я вас так любил, Маргарита Васильевна!

— Разве? — удивленно и в то же время обрадованно воскликнула Маргарита Васильевна.

— И, знаете ли, дело прошлое, и потому сознаюсь вам, что в ту пору, когда вы отвергли мою руку, как руку легкомысленного и беспутного человека, я в Париже был в таком настроении, что мог наложить на себя руки.

— Вы?

— Я самый.

— И из-за меня?

— Не совсем из-за вас... Причиной отправиться к праотцам была не одна несчастная любовь, но и разные сомнения в том, следует ли жить на свете, не имея возможности переделать его радикально... Ну и, кроме того, одиночество... голодание.

— И долго было такое настроение?

— С месяц, пожалуй, бродили мысли о покупке револьвера... По счастью, денег не было.

— Как же вы избавились от этих мыслей?

— Один француз, безрукий старик — руку ему откорнали при усмирении Коммуны,— голодавший в соседней мансарде, высмеял меня самым настоящим образом и сказал, что уж если мне так хочется умереть, то лучше поехать в Южную Америку и поступить в ряды инсурген-

тов... По крайней мере одним солдатом больше будет против правительства. Старик чувствовал ненависть ко всякому правительству... Но так как мне не на что было ехать в Южную Америку, то я занялся работой, достал уроки... читал... думал... и скоро устыдился своего намерения, сообразил, что я не один на свете, отвергнутый любимой женщиной, и не один со своими требованиями перекроить подлунную... Да и чтобы перекроить, надо жить, а не умирать... И, как видите, я не раскаиваюсь, что живу на свете и строчу повести и рассказы, хотя и я, как и вы, не знаю той любви, о которой вы мечтали...

— И которой не желали вы?

— Кто вам это сказал? Ведь и у меня губа не дура! Очень бы хотел полюбить женщину, которая была бы хороша, как Клеопатра Египетская, умна, как Маргарита Пармская, если только она в самом деле была так умна, как пишут историки, и притом не делала бы сцен ревности, не хлопала бы глазами, когда говорят про общественные дела, и была бы и любовницей, и отзывчивым другом, и хорошим товарищем... Я даже готов был бы сбавить кое-что из своих требований... Но пока такой любви нет, я нахожу, что можно и без нее жить... Разве жизнь, в самом деле, в одной только любви?

— Для вас, мужчин, пожалуй. А для женщины, такой, какая она теперь, только в любви. Я только недавно это поняла. Поняла и почувствовала тоску жизни! — грустно прибавила Маргарита Васильевна.

Она помолчала и продолжала:

— И знаете ли, Василий Васильич?.. Я много-много думала за это время о своем положении и не знаю, на что решиться...

— То есть — разойтись с мужем или нет?

— Да.

— Что же вас останавливает?

— Тогда решение у меня было твердое — оставить его.

— А теперь?

— Мне страшно... Если он, как Перелесов...

— Этого не будет.

— А если?

— Ну так что ж! Человек, женившийся на женщине, которая его не любит... Ведь он знал, что вы его не любите?

— Знал.

— Такой человек, если и застрелится, не может воз-

буждать раскаяиия... И иадо быть великим эгоистом, чтобы стращать этим...

Невзгодии скоро ушел.

Маргарита Васильевиа, оставшись одиа, сиова задумалась.

XXX

Как только по Москве разиесся слух о том, что произошло перед панихидой, и, разумеется, слух, изукрашеииый самыми фантастическими узорами,— жрецы иауки засуетились, словио муравьи в потревожеииом муравейиике.

Одии возмущались поступком Сбруева, другие злорадствовали, немногие сочувствовали, ио всякий думал о себе,— как бы не случилось чего-иибудь неприятиого по этому случаю. Как бы ие подумали, что ои одобряет дерзкую выходку своего коллеги против Найдеиова.

Хотя все хорошо зиали, что старый профессор сыграл очеиь иекрасивую роль в деле, которое привело к самоубийству Перелесова, тем ие менее иекоторые из господ профессоров тотчас же решили — ехать к Найдеиову, чтобы засвидетельствовать ему свое сочувствие и выразить негодоваиие по поводу выходки Сбруева, рассчитывая, что Найдеиов, во всяком случае, сумеет выпутаться из этой истории и остаться формально вие всякого подозреиия. Следовательио, ехать к иему необходимо, а не то ои потом припомиит и сделает такую пакость, что и не ожидаешь.

И иа другой же день после паиихиды к иему поехали ие только профессора, считавшие Найдеиова своим, ио даже и иекоторые из считавших его «чужим». В числе таких был и профессор Цветиицкий, хваставший перед паиихидой, что ие подаст руки Найдеиову, и первый протяиувший руку.

Одиако ни одии из посетителей ие был приият.

Старый слуга всем говорил, что барии не совсем здоров и ие прииимает, и визитерам пришлось оставлять только свои карточки.

Действительно, Найденов со вчерашиего дня чувствовал себя иехорошо, хотя и скрывал это от жеиы и детей. Ои испытывал иепривычиую слабость, утомлеииость и времеиами головокружеиие. Ему все было холодио. Ои осунулся и как-то сразу одряхлел. И только его глаза, по-прежиему умиые, пронизывающие, порой зажигались лихорадочиым блеском.

Карточки, которые подавал ему слуга, по-видимому, не доставили ни малейшего удовольствия старому профессору.

Напротив! Прочитывая фамилии коллег и разных других лиц официального мира, считавших долгом заявить о своем сочувствии, Найденов с брезгливой усмешкой, кривившей его тонкие губы, бросал их на письменный стол.

Сам никому не веривший, он не верил и другим и, хорошо понимая мотивы этого сочувствия, знал, что через неделю-другую, когда уже он не будет влиятельным в университете лицом, ни одна душа не подъедет к крыльцу его дома, и все будут его поносить.

После долгой безотрадной думы решение уже им принято. Он подаст в отставку, уедет из Москвы и посвятит остаток жизни одной науке.

Как ученого его вспомнят!

Все остальное, из-за чего он, умный и самолюбивый человек, лгал и не останавливался ни перед чем во всю свою жизнь, теперь потеряло в глазах его всю прежнюю цену: и прелесть власти, и успех ловко веденной интриги, и накопление богатства, и видное положение, которого он домогался всякими правдами и неправдами и которое уже ему было обещано в ближайшем будущем.

Все это казалось ему теперь ненужным, бесцельным, неумным, и вся его жизнь вне науки представлялась ему сплошной ложью, приведшей его именно к тому, чего он так боялся.

И не потому он решил уйти, что один «глупец» застрелился, а другой осмелился публично оскорбить его. И не потому, что в обществе считают его виновником самоубийства...

Он понимает действительную цену русского общественного мнения и давно равнодушен к нему, хорошо зная, что не в нем опора для людей, ищущих успеха в жизни. И он не чувствует себя виноватым в самоубийстве Перелесова. Вольно же было ему переусердствовать и написать глупую подлость вместо умной. Вольно ж ему было с радостью влезать в шкуру предателя и потом жаловаться, что его соблазнили! Не особенно сердил старого профессора и Сбруев. Он был бы уволен за свою дерзость — и делу конец. Пусть надевает лавры жертвы за свои цинические добродетели и сопьется.

Не это все заставляет старого профессора все ниже и ниже опускать свою голову и думать горькую думу о

полнейшем одиночестве, на которое он отныне обречен. Не это.

Хотя между ним и детьми не было никакого объяснения, но уже вчера в страдальчески-скорбном взгляде Лизы и в мрачной застенчивостн сына он прочел свой приговор.

Они все виделн, все слышалн, и даже больше, чем моглн выдержать их нервы, и, словно бы виноватые, чувствуя на себе позор их отца более, чем он сам, крадучнсь, вышлн нз толпы, бледные н приниженные, полные ужаса н недоумення...

Но, прн всем желании сомневаться, сомнения были невозможны. Кто-то, очевидно не знавший детей Найденова, еще до появлення его на паннхиде, читал рядом с ними спнсанное письмо Перелесова к нх отцу. Онн слышалн его и не зналн, куда деваться, чувствуя, как горят их щеки краской стыда.

А кругом имя отца произносилось вместе с проклятиямн.

И наконец эта зловещая тишина при его появленни... потом слова Сбруева н удаление отца, сопровождаемое общей нескрываемой ненавнстью.

Брат н сестра возвратились домой потрясенные, полные ужаса и скорбн.

Перед тем что позвонить, они, до снх пор не проронившне ни единого слова, вдруг броснлись друг другу в объятня н заплакалн, как маленькие детн, несчастные н беспомощные.

— Мамочка не должна ничего знать... Слышишь, Миша? — прошептала наконец Лиза, глотая рыдания...

— Боже сохранн! — ответил юноша.

И, утирая слезы, порывисто прибавил:

— Господи! За что? За что? Разве можно жить после того, как отец...

Он называл теперь отца не папой, как раньше.

Не докончив фразы, он закрыл рукамн лицо.

— Что ты, Мнша... голубчик... Какне мыслн! — вздрагивая всем телом, прошептала Лиза, в голове у которой тоже мелькали мысли о том, что жнть невозможно.

— Какая ж это жнзнь!.. Это не жнзнь, а позор... Кто мог бы подумать!

— Надо быть мужественным, Миша... Надо своею жизнью искупить грехи отца... вот что надо...

— Такого греха ннчем не искупишь...

— И у нас мама... Не забывай этого, Миша... И дай

слово, что ты будешь помнить это! — значительно прнбавила сестра...— Дай!..

— Ничего я не могу поиять... Ничего... Тяжко, Лиза...

Оии крепко пожалн друг другу руки и вытиралн слезы.

Через минуту брат позвонил.

Оии прошли, не показываясь матерн, каждый в свои комиаты переживать свое ужасиое горе — разочароваиие в отце, которого обожали. Лиза несколько раз входила к брату и, крепко сжимая его руку, повторяла:

— Надо быть мужествеиным, Миша... И помии, что у нас чудиая мамочка...

И сиова плакала вместе с братом.

Наконец нх позвалн обедать.

— Крепись, Миша, родной мой... Не выдавай своего горя... Пусть мама ие замечает.

— А ты! Ты бледна как смерть, Лиза.

— Скажем, что расстроены... При отце не говори, что были иа панихиде. Пусть ои не зиает, что мы все зиаем... О, лучше бы, как прежде, иичего ие зиать.

— Я слышал иногда, но ие вернл... А теперь...

Оии старались казаться спокойными, когда вошли в столовую. Отца еще ие было.

Когда ои вошел, бледиый, изможденный, состарившийся и словио бы принижеииый, и сел иа свое место, ие глядя ии на жену, ии иа детей, брат и сестра почувствовали, что отец — виновннк смерти Перелесова.

И оии затихли иа своих местах, как затихают вдруг в замирающем страхе виезапио нспугаиные дети, не смея проронить звука н ие решаясь, в свою очередь, подиять глаз иа отца.

Найдеиов поиял, что дети все знают, и с какою-то суровой сосредоточеиностью хлебал суп, скрывая муки отца, которого презирают любимые дети.

Обед прошел в тягостиом молчании.

Едва только он кончнлся, Найденов встал нз-за стола и ушел к себе тосковать о потере едииствеииых существ в мнре, которых он действнтельио любил.

Когда он ушел, мать проговорнла, обращаясь к детям:

— Какие вы, однако, нервиые. Как сильно на вас подействовала паннхнда!

— Да, мамочка. Призиаться, обоих иас расстроила.

— Вы больше не ходите туда.

— Мы не пойдем! — взволноваино отвечала Лиза.

— Довольно одной! — мрачно протянул сыи.

— Но особеино расстроила эта паиихида бедиого па-

пу,— продолжала Найденова.— Он вернулся оттуда потрясенный... И, кажется, очень был недоволен, что вы ходили туда.

— Он разве знает? — в страхе спросила Лиза.

— Я ему сказала... Боюсь, как бы наш родной не захворал. Заметили, какой он мрачный был за обедом...

И, минуту спустя, она спросила:

— Много народу было?

— Да, много.

— Пожалели, значит, несчастного.

— Мать у Перелесова... О, какая она несчастная!.. Говорят, без всяких средств осталась... Сын ей помогал... А теперь? Мамочка! Я продала свой браслет с бриллиантами...

— И отдашь деньги матери?

— Конечно... Передам Сбруеву.

— Твое дело... И я прибавлю денег. А узнали, кто этот подлый профессор, который подговорил Перелесова написать ту гадкую статью... Помнишь?

Лиза похолодела. И, употребляя все усилия, чтоб скрыть от матери охватившее ее волнение, она с решительностью ответила:

— Все это вздор, мамочка.

— Что вздор?

— А то, что какой-то профессор подговаривал. Это не профессор, а кто-то другой, мамочка.

— Да, другой,— подтвердил и сын.

— Кто же?

— Не знаю... Называли фамилию, да я забыла.

— Как же говорили, что профессор, и будто обещал хлопотать о профессуре, а Заречного вон, а Перелесова на его место?

— Мало ли что говорят, мамочка.

— В Москве ведь сплетен не обережешься. На кого угодно наплетут... Никто не убережется! — угрюмо заметил Миша.

— Ну и слава богу, что не профессор. А то ведь это было бы ужасно и для него и для его семьи... Боже сохрани, когда детям приходится краснеть за родителей...

Когда подали самовар, Лиза, по обыкновению, разлила всем чай. Она всегда носила стакан отцу в кабинет, но сегодня ей было жутко идти туда, и она медлила.

— Что ж ты, Лизочка, не несешь папе чай? Ведь он любит горячий... Неси ему скорей да разговори его хандру. Ты умеешь, и он любит, когда ты болтаешь с ним...

— Иду, иду, мамочка.

Когда молодая девушка вошла в кабинет и увидела отца, точно закаменевшего в своем кресле, с выражением беспредельной мрачной тоски в мертвенно-бледном, суровом и неподвижном лице, ее охватила жалость, и в то же время ей представилось спокойно-важное лицо покойника Перелесова с темным пятном на виске. Ей хотелось броситься на шею к отцу, пожалеть, приласкать, но какое-то брезгливое чувство парализовало первое движение ее сердца, и что-то внушавшее страх казалось в чертах прежде любимого лица. Оно словно бы стало чужим...

И Лиза осторожно и тихо поставила стакан на стол.

— Спасибо! — чуть слышно прошептал старик и робко взглянул на дочь взглядом, полным любви и страдания.

Взгляды их встретились. Старый профессор тотчас же отвел глаза. Лиза побледнела и торопливо вышла из комнаты. С порога до ушей Найденова донеслось заглушенное рыдание дочери.

Плохо спал в эту ночь старый профессор! К утру уж у него созрело решение «бросить все» и самому уехать на некоторое время за границу.

«Без меня им легче будет!» — подумал старик.

После обеда он позвал жену в кабинет и, когда та села в кресло против него, с тревогой глядя на изможденное лицо мужа, казавшееся в полусвете лампы совсем мертвенным,— он сказал:

— Чувствую, что утомился, Елена.

— Тебе надо посоветоваться с докторами, Аристарх Яковлевич... Тебя это самоубийство Перелесова совсем расстроило.

— Какое самоубийство? Какое мне дело, что Перелесов застрелился!..— резко возразил Найденов.— Сегодня его, кстати, уж и похоронили... Верно, речи надгробные были и все как следует... Заречный, конечно, отличился... Ты ничего не слыхала?

— Нет.

— А дети разве на похоронах не были?

— Они и так расстроены вчерашней панихидой.

— Очень?

— Разве ты не заметил?

— И Миша тоже?..

— Еще бы...

— Ну, у Миши это скоро пройдет. У него счастливый характер, а Лиза...

Он не окончил начатой фразы и продолжал:

— И знаешь лн, что я надумал, Елена? Я думаю, ты одобрншь мон намерення...

Жена, которой муж никогда не сообщал ннкакнх своих планов н объявлял только о свонх решеннях, которые она нсполняла с безропотной покорностью кроткого существа, боготворнвшего мужа, удивленно подняла на него свон глаза н спросила:

— Ты знаешь, я всегда охотно нсполняю твон намерення. Что ты хочешь предпрннять?

— Я хочу отдохнуть н потому решнл выйтн в отставку.

— Вот это отлнчно! — радостно проговорнла Найденова.

— Вы переедете в Петербург, а я на некоторое время поеду за граннцу... Хочется покопаться в нтальянских архнвах... И чем скорее все это сделается, тем лучше.

— Но как же ты однн поедешь, Арнстарх Яковлевич? Ты хвораешь. Взял бы с собой Лнзу.

— Нет... нет... я однн.

В эту минуту в кабннет вбежала Лиза, бледнее смертн, н крикнула:

— Мама, ндн... Мнша... Миша... голубчик...

Найденова бросилась вслед за дочерью.

Поднялся с кресла н Найденов и быстрымн шагами пошел в комнату сына. Мнмо пробежал со всех ног слуга, пробежала в столовой горннчная.

— Что случнлось? — в смертельной тревоге спрашнвал Найденов.

Ннкто не отвечал. И лакей н горннчная как-то растерянно показывалн рукой в корндор.

Старнк броснлся туда, отворил дверн комнаты сына н увндел его бледного, с вниноватой улыбкой на устах, сндящего на дняване. Пнстолет лежал на полу.

Найденов понял все н бросился к сыну с нскаженным от ужаса лнцом.

— Ннчего, ннчего, успокойся, Арнстарх Яковлевнч... Рана неопасная! — взволнованно говорнла Найденова.

— Он нечаянно! — вставнла Лнза.

— Ну, конечно, нечаянно!..— подтвердила мать.— Сейчас прнедет хнрург. Я послала...

— Нечаянно?..— проговорил Найденов.— Нечаян...

Он хотел продолжать, но как-то жалко н беспомощно говорнл что-то непонятное. Лицо его перекоснлось. Однн глаз закрылся.

Он, вндимо, снлнлся что-то сказать н не мог. И вдруг



«Жрецы».
Художник Ю. Хайлов

он склонился перед сыном, стал целовать его руку, издавая какое-то жалобное мычанье.

Найденова перенесли в кабинет и послали за другим доктором. Через полчаса приехали два врача. Хирург нашел, что у сына рана неопасна — пуля счастливо не задела легкого, а другой врач нашел положение старика опасным и определил у него паралич левой стороны тела, вызванный сильным нервным потрясением.

XXXI

На похоронах Перелесова было всего пять профессоров и в том числе: Заречный, Сбруев и старик Андрей Михайлович Косицкий, явившийся несмотря на предостережения своей неугомонной воительницы-супруги, окончательно, по ее словам, убедившейся в том, что муж спятил с ума и ведет себя, как студент первого курса.

— Недостает, чтоб ты еще влюбился! — не без ехидства прибавила она, измеряя маленькую худощавую фигурку профессора уничтожающим взглядом.

Остальные жрецы науки блистали своим отсутствием.

Похороны прошли без какого бы то ни было «прискорбного инцидента» и при очень незначительном количестве публики. Никаких речей не говорилось на кладбище. При виде обезумевшей от горя матери теперь как-то не поднимался язык говорить о вине покойного и об ее искуплении. Могилу засыпали, и все расходились молчаливо-угрюмые.

— А мы в «Прагу», не правда ли, Василий Васильич? — спрашивал Сбруев, нагоняя Невзгодина, который в раздумье шел между могил.

— С удовольствием.

Звенигородцев между тем собирал желающих ехать завтракать в «Эрмитаж» или к Тестову. Но так как профессора уклонились от предложения, Звенигородцев должен был отказаться от мысли устроить завтрак с речами по поводу самоубийства Перелесова.

Несколько времени Сбруев шел молча рядом с Невзгодиным. Вдруг, словно бы спохватившись, он проговорил:

— А я и позабыл познакомить вас со своими. Они здесь. Хотите?

— Очень буду рад.

— Так подождем минутку.

Они отошли в сторону и остановились.

— А вот и они! — промолвил Сбруев.

Невзгодин заметил, как просветлело лицо молодого профессора, когда он увидал двух скромно одетых дам.

Он подвел к ним Невзгодина и, назвав его, сказал:

— Моя мать и сестра Соня.

И та и другая очень понравились Невзгодину, в особенности молодая девушка.

Что-то сразу располагающее было в выражении ее свежего, миловидного лица и особенно во взгляде больших темных глаз, вдумчивых и необыкновенно ясных. Такие глаза, казалось, не способны были лгать и глядели на мир божий с доверчивостью чистого существа. Все в этой девушке словно бы говорило об изяществе натуры и о нравственной чистоте.

И Невзгодин невольно подумал: «Что за милая девушка!»

Они пошли все вместе к выходу с кладбища.

Прощаясь, Сбруева просила Невзгодина навестить их.

— Вечера мы почти всегда дома! — прибавила она.

Сбруев усадил своих дам на извозчика и сказал матери, чтоб его не ждали.

— Мы едем с Василием Васильевичем завтракать, мама! — прибавил он, застенчиво улыбаясь.

Мать взглянула на Невзгодина ласковым, почти умоляющим взглядом, словно бы просила его поберечь сына.

И Невзгодин поспешил проговорить:

— Мы недолго будем завтракать. Мне надо сегодня ехать по делу.

Через полчаса Сбруев и Невзгодин сидели за отдельным столом в гостинице «Прага».

Дмитрий Иванович, молча и только улыбаясь своей милой застенчивой улыбкой, пил водку рюмку за рюмкой, сперва вместе с Невзгодиным, а потом, когда тот отказался,— один.

— Люблю, знаете ли, иногда привести себя в возвышенное настроение, Василий Васильич! — говорил он, словно бы оправдываясь, когда наливал новую рюмку.— Однако возвращаюсь домой без чужой помощи и так, чтобы дома не видели моего возвышенного настроения! — прибавил он, добродушно усмехнувшись.

За завтраком Сбруев говорил мало, но когда завтрак был окончен, две бутылки дешевого крымского вина были выпиты и Дмитрий Иванович находился в возбужденном настроении подвыпившего человека, он заговорил поры-

висто и страстно, возвышая голос, так как орган играл какую-то бравурную пьесу.

— Вот теперь я чувствую себя в некотором роде свободным гражданином вселенной и могу, Василий Васильич, разговоры разговаривать по душе. А трезвый — я застенчив и, знаете ли, привык помалчивать, чтобы, значит, невозбранно получать свои двести пятьдесят рублей. Ведь это большое свинство, Василий Васильич,— молчать, когда хочется и обязан крикнуть во всю мочь: «Так жить нельзя!..» Но я не один, Василий Васильевич... Конечно, это не оправдание, но все-таки... я не один... Понравились вам моя старушка и сестра?

— Очень.

— То-то... Это, я вам скажу, золотые сердца... Мать-то что перенесла, чтобы меня поднять на ноги... Ох, как бедовала ради меня... И все наши славные... Кроме Сони, у меня еще две сестренки в гимназии... Зайдете,— увидите, Василий Васильич... Ну и пилатствуешь помаленьку... Свинство свое сознаешь, но... не на улицу же пустить своих... Вот вчера я спрашивал вас: отчего мы, интеллигентные люди, такие тряпки?.. Тут ведь не одна семья, не одна семья, не одна экономика, как хотят нас уверить, тут кое-что и другое... тут история, я полагаю, замешана, а не одно только экономическое воздействие... Иначе уж очень было бы мало отведено мысли и духу... Экономика — экономикой, а когда я вижу, что беззащитного человека бьют, хотя, быть может, и совершенно правильно, на основании науки, то ведь хочется его защитить?.. И где больше таких альтруистов, там и жить лучше, там и эта самая экономика видоизменяется... Ну, а мы даже собственной тени боимся, а не то что защищать других... Вот хоть бы я, господин профессор зоологии Сбруев... В возвышенном настроении хорохорюсь, а в трезвом виде жалкий трус... О, если б вы знали, какой трус!..

Дмитрий Иванович отхлебнул из чашки и продолжал:

— Вчера, после того как я Найденова удалил,— очень уж возмутительна была его смелость явиться на панихиду! — я сам испугался своего геройства... Понимаете ли, в чем даже геройство видишь... Нечего сказать, хороши мы герои... Очень даже большие герои! — с грустной усмешкой протянул Сбруев.

— Но все-таки... другие не решились этого сделать, Дмитрий Иваныч. Цветницкий даже протянул первый Найденову руку...

— Мало ли что другие делают... Другие вон сегодня на похороны не пришли... Другие, наверно, заявлять сочувствие Найденову поедут... Читали сегодня статейку в «Старейших известиях»?..

— Читал...

— Это тоже другие... Но ведь я, слава богу, еще не настолько оскотинился, чтоб быть из этих других... Я не стану извиняться, но в глубине души вчера трусил...

— Отчего?

— Отчего?.. Да оттого, что я русский человек — вот отчего. Поступил в кои веки как следует и сейчас же боюсь, как бы не лишиться мне двухсот пятидесяти рублей... И вижу я самый этот испуг и в глазах матери, хотя она, конечно, голубушка, хочет меня уверить, что ничего не боится и гордится сыном, который... который не побоялся ошельмовать Найденова... Гордиться-то гордится, а у самой сердце екает при мысли, что я могу лишиться места. Где новое-то найдешь?.. А как бы я хотел уйти, если бы вы знали. Не могу я вечно двоиться... Тошно... И знаете ли что?

— Что?..

— Я, как истинный российский трус и в то же время не потерявший еще стыда человек, был бы рад, если б меня выгнали... Сам уйти боюсь, а если бы попросили — был бы доволен и пошел бы куда-нибудь на частную службу или уроки бы стал давать... Понимаете ли, что за отсутствие характера... что за подлая трусость! — воскликнул Сбруев, начиная заплетать немного языком.

— И нет даже силенки уйти... Нет!.. Я ведь, Василий Васильич, не успокаиваю себя призрачной надеждой, что два-три порядочных человека среди двадцати или тридцати бесстыжих или позорно-равнодушных имеют силу что-нибудь изменить, чему-нибудь помочь, что-нибудь сделать. Это ведь самообман наивного дурака, а чаще всего ложь... компромисс ради жалованья, прикрытый фразами, чтобы не было зазорно очень. Не одни жрецы науки так рассуждают нынче... Так живет громадная часть интеллигенции... Громадная!.. На днях еще один господин, который, бывши гласным, поносил управу, пошел служить в эту самую управу... Ну и молчи, или говори прямо: пошел на свинство ради жалованья. Так ведь нет: совсем из другой оперы поет...

— Насчет того, что один добродетельный спасет сотню нечестивых?

— Именно. Я, говорит, хоть и в меньшинстве, а все-

таки защищаю свои мнения... А какого черта его мнения, когда их не слушают! Ведь это выходит: покрывать своим именем всяческие гадости и полегоньку да помаленьку и самому их делать... Ведь если меня посадят рядом с выгребной ямой, то я невольно буду благоухать не особенно приятно... Не так ли?.. Все это — азбука, а теперь и она многим кажется каким-то донкихотством... Даже и в литературе... Казалось бы: святая святых... А если у меня двоюродный братец... литератор в современном вкусе... То есть такая, я вам скажу, свинья...

— В каком именно смысле?

— А во всех... Ему все равно, где бы ни писать, и не только в органах, которые ему не симпатичны по направлению, а даже, прямо-таки сказать, в предосудительных... И это называется литератор... Служитель свободной мысли...

— Он так же рассуждает, как и ваш управец, Дмитрий Иваныч... Я, мол, лично дурного ничего не пишу, мне платят, а что другие пишут, мне наплевать... Это ныне повальная болезнь...

— Какая...

— Отсутствие разборчивости, равнодушие к общественным делам и забота только о своих личных интересах. Во имя их и учатся, и тратят массу труда, энергии и ума. И это болезнь всей интеллигенции, за редкими исключениями. Таково уж безвременье... История не шутит и делает целые поколения негодными при известных условиях жизни и воспитания. Вспомните-ка, Дмитрий Иваныч, как нас воспитывали? Чему учили в гимназиях? Что мы потом видели в жизни? Торжество каких идеалов? А ведь люди вообще не герои.

— Так неужели так-таки и нет сильных, бодрых духом и независимых людей? — воскликнул Сбруев.

— Как не быть... Наверное есть... Я видел молодежь на холере... Я слышал про нее во время голода... Я знаю настоящих рыцарей духа среди стариков. Таким людям трудно пробиваться к свету... Но они все-таки пробиваются... И правда-то в конце концов одна: возможно лучшее существование масс... В конце концов правда эта победит... По крайней мере, пример Европы поддерживает во мне эту веру. Сравните, чем был человек труда тридцать лет тому назад и теперь... Будущая победа несомненна... И нечего предаваться отчаянию, Дмитрий Иваныч...

Они долго говорили и решали судьбы будущего с тою

страстностью, иа которую способны русские люди в мниуты подъема духа.

Сбруев хотел было потребовать еще графиннчик коньяка, но Невзгодии делнкатно напомнил ему, что дома, верио, его будут ждать к обеду н беспоконться. И Сбруев покорно согласнлся с Невзгодниым и крепко пожал ему руку.

Был четвертый час в начале, когда они вышлн нз трактнра. Хотя Сбруев и был в «возвышеином настроенин», но держался на ногах твердо. Тем не менее Невзгоднн решил проводнть Сбруева домой и затем ехать к Измайловой, чтобы исполннть порученне Маргарнты Васильевны.

Мать Сбруева встретнла Невзгоднна благодарным взглядом и попроснла поснде ть у инх. Дмнтрнй Ивановнч тотчас же ушел в свой кабинет и лег спать. Невзгоднн пробыл в чистенькой, скромио убраииой гостиной полчаса. Его иапонли чаем с превосходным вареиьем, н старуха почти все время говорила о сыие. Соия изредка вмешнвалась в разговор, расспрашнвая гостя о заграннчной жнзнн. Невзгодииу было как-то уютно в этой гостнной, н ему казалось, что ои давно знаком с матерью н дочерью. Такне онн простые н задушевиые.

И Невзгоднн решнл бывать в этой маленькой, чнстеиькой н уютиой гостнной с белымн заиавескамн, цветамн на окиах н залнвающимися канарейкамн,— где, казалось, даже пахнет как-то особенно хорошо,— не то кнпарнсом, ие то тмином,— н где вся обстановка н эти добрые, бесхитростиые, казалось, людн действуют успокоивающе на иервы.

XXXII

Вечером Невзгодниу хандрилось в его неуютной комиате. Ни работать, нн читать не хотелось. Тянуло к людям, к какой-ннбудь умной н, конечно, хорошенькой женщнне, с которой можно было бы не проскучать вечер.

И он тотчас же вспомнил, что обещал Аиосовой побывать у нее иа диях. Положнм, прошел однн только день со времеии его продолжительного визита, ио ведь она звала его приезжать, когда вздумается, н говорила, что рада отвести с ним душу... Отчего же н не поехать, колн хочется? Во всяком случае, оиа иитересиа н для беллетрнста находка.

А если оиа удивится его столь скорому посещеиию,—

на здоровье! Пусть даже вообразит, что он заинтересован не типом, а самой ею, великолепной вдовой,— ему наплевать! Не первый раз с ним случались такие недоразумения. Заинтересованный кем-нибудь и впечатлительный по натуре, Невзгодин набрасывался на людей, которые казались ему интересными, и тогда ходил к таким знакомым каждый день, не думая, что может подать повод для каких-нибудь заключений. Но зато он так же быстро и пропадал, обрывая знакомства и отыскивая новые.

«Надо предупредить об этом великолепную вдову, чтоб не вообразила ухаживания»,— подумал Невзгодин и, уверив себя, что его тянет к Аносовой исключительно ради изучения любопытного экземпляра московской «haute finance»[1],— в девятом часу вечером поехал на Новую Басманную.

Особняк был слабо освещен. Большая часть окон была темна. Только в одной комнате виднелся огонек да из окон клетушки приятно ласкал глаз мягкий красноватый свет. Зато подъезд был ярко освещен.

Аглая Петровна была дома и, по обыкновению, одна-одинешенька. Без особого приглашения по вечерам у нее никто не бывал, и если она не ездила в театр или в концерт, то обыкновенно читала и в одиннадцать часов уже ложилась спать, так как вставала рано.

Она сидела на низеньком диванчике около стола, на котором стояла красивая лампа с большим красным абажуром,— и была не в обычном своем поношенном черном кашемировом платье, а в нарядной пунсовой шелковой кофточке и серой юбке. Эта пунсовая кофточка очень шла к ее ´ лому лицу с блестящими черными волосами; и так оделась она с утра не без надежды, что Невзгодин, быть может, приедет. Ей показалось, что он ушел от нее после последнего свидания несколько заинтересованный ею и без прежнего слегка насмешливого отношения к ней, как к миллионерке, заботящейся только о наживе. В его речах были теплые, сочувственные ноты, и, припомнив их, она радовалась. Радовалась и ждала Невзгодина, чувствуя, что он вдруг ей стал необыкновенно дорог. Целый день она думала о нем и уж теперь не противилась, как раньше, захватившему ее чувству. Он ей нравился, очень нравился, и она впервые познала прелесть любви, которая так поздно пришла к ней, нежданная, и словно бы придала настоящий смысл всей ее жизни и сделала ее необыкновенно

[1] знатной богачки *(фр.)*.

чуткой и восприимчивой. Она чувствовала себя как-то чище, просветленнее и за последние дни далеко не с прежним интересом занималась делами. Еще недавно эти дела захватывали ее всю, а теперь главным в жизни она считала привязанность к ней Невзгодина. О, если б он полюбил ее, как бы она была счастлива!

И мысль, что он никогда ее не полюбит и не может полюбить, считая ее за женщину-дельца, за женщину, сознательно эксплуатирующую чужой труд (он об этом без церемонии говорил ей в Бретани), приводила в уныние Аглаю Петровну.

Он ведь не увлечется одной только физической красотой. Для такого человека этого мало. Ему нужен ум, нужно взаимное понимание, нужна чуткая душа... И она ведь ищет в нем не любовника только, а друга на всю жизнь... Меньшего она не возьмет.

И наконец, он, слишком впечатлительный, вечно склонный к анализу, разве способен на долгую привязанность, если б и увлекся?

Такие мысли отвлекали молодую женщину от чтения английской книги в изящном белом переплете, которая лежала перед Аглаей Петровной.

Кто-то постучал в двери.

— Войдите!

Вошедший слуга доложил, что приехал господин Невзгодин.

— Просите сюда! — проговорила Аглая Петровна, чувствуя, как сильно забилось ее сердце при этом известии.

Она призвала на помощь все свое самообладание, чтобы не обнаружить перед Невзгодиным своей тайны. Властная и гордая, она, разумеется, не покажет своего чувства, чтоб не вызвать в ответ благодарного сожаления. Ей этого не надо. Любовь за любовь. Все или ничего.

Он не должен ничего знать. Просто рада умному и интересному человеку, с которым приятно поболтать,— вот какой она возьмет с ним тон.

— Вот это мило с вашей стороны, Василий Васильич, так скоро исполнить обещание!

Она проговорила эти слова с приветливой улыбкой радушной хозяйки, но не обнаружила радости, охватившей ее при появлении Невзгодина.

И, пожимая его маленькую руку своей крупной белой рукой, попросила садиться.

— А вас разве это удивляет, Аглая Петровна? — спрашивал Невзгодин, присаживаясь в кресло около дивана.

— Прнзнаюсь, иемножко.
— Почему?
— Я ие ждала, что после короткого промежутка вам захочется опять со миой поболтать.
— Как виднте, ошнблнсь. Захотелось.
— И большое вам спаснбо за это.
— Напрасно благодарнте... Я ведь в данном случае преследовал свон иитересы.
— Вы... интересы? Какие?
— Свои собствеииые... Мие просто хочется поближе познакомнться с такой ннтересной женщнной, как вы...
— Чтоб после описать?
— А ие знаю... Быть может...
— Спаснбо н на том, Василнй Васильич... Только я н без вашего подчеркнвання знала, что вас людн заннмают только как интересные субъекты, н не рассчитывала на большее! Но все-такн очеиь рада вас вндеть, Василнй Васильнч, с какнмн бы целямн вы нн приехалн.
— В свою очередь мне приходнтся благодарнть вас.
— К чему? Ведь я тоже нмею в вcomplexнду нсключительно свон интересы... Недаром я деловая жеищина...
— Можио спроснть: какие?
— Поболтать с умным н хорошнм человеком... Значнт, мы будем нзучать друг друга. Не правда ли?
— Отлнчио... Пока не изучнм н...
— И что?
— Не надоеднм друг другу...
— Ну, разумеется. Боюсь только, что иитересиого во мне мало, Василнй Васнльнч...
— Об этом предоставьте суднть другнм, Аглая Петровна...
— Обыкновенная купеческая вдова! Пожалуй, иедолго н нзучать... И тогда простнсь с вами... Вас н не увндишь?
— Так что ж? Вам, я думаю, от этого не будет ин холоднее, ни теплее...
— Вы думаете? Напрасно... Я привыкаю к людям... И, во всяком случае, будет жаль потерять ннтересиого знакомого...
— Другой найдется... А насчет того, что вы обыкиовенная купеческая вдова, позвольте с вами не согласиться...
— Что ж во мне необыкновениого, Василнй Васильич?
— Будто сами не знаете?
— Себя ведь мало знаешь.
— Во-первых, красота...

— И вы ее во мне находите, Василий Васильич? — сдерживая радость, спросила Аносова.

— Да ведь я не слепой... И так как я не собираюсь ухаживать за вами, Аглая Петровна, то могу по совести сказать, что вы замечательно хороши! — прибавил Невзгодин, глядя на Аносову восхищенным взглядом.

Она заметила этот взгляд, и алый румянец покрыл ее щеки.

— А во-вторых? — нетерпеливо спросила Аносова.

— Несомненно умная женщина, читающая хорошие книжки... Кстати, что это вы читаете, Аглая Петровна?

— Карпентера... А в-третьих, четвертых и пятых?

— Еще не пришел к определенному заключению...

— Что так? В Бретани оно, кажется, у вас составилось.

— Но теперь несколько изменилось...

— Будто? — недоверчиво протянула Аглая Петровна.— Или вы деликатничаете... Не хотите сказать, что думаете обо мне. Так хотите, я вам скажу, что вы думаете?

— Пожалуйста...

— Вы думаете, что я сухая, черствая эгоистка, не доверяющая людям, холодная натура, никого не любящая... и потому живущая в одиночестве... Быть может, впрочем, она имеет и любовника, какого-нибудь юнца юнкера, но ловко прячет концы и пользуется репутацией недоступной вдовы... Юнкер ведь вполне подходит для такой женщины... Не правда ли? — добавила Аносова и нервно усмехнулась...

И, не дожидаясь ответа, продолжала:

— Вдобавок ко всему, занятая исключительно мыслями о наживе, как настоящая дочь своего отца... Кулак, несмотря на свои литературные вкусы... Эксплуататорка чужого труда и в то же время благотворительница ради тщеславия. Одним словом, одна из типичных представительниц капитала... Сытая, счастливая буржуазка. Скажите по совести, Василий Васильевич, ведь вы меня считаете такою?..

Она пробовала было смеяться, но не могла. И в ее черных больших глазах стояло грустное выражение, когда она ждала ответа.

— Не совсем такою, Аглая Петровна... Вы чересчур сгустили краски, передавая то, что, по вашему мнению, я должен думать...

— Но все-таки доля правды есть... Вы так думаете?..

— Каюсь, думал... Но, мне кажется, был не прав...

— А если правы? — чуть слышио пророиила Аглая Петровиа.

— Не хочу думать... И, во всяком случае, вы ие должиы быть счастливы... Не можете быть счастливы со всеми миллиоиами и имеиио благодаря им.

— Пожалуй! — раздумчиво пророиила Аглая Петровиа.

— Я увереи, что иичто так ие портит людей, как богатство и власть... даже порядочиых людей...

— И вас бы испортило?

— Еще бы!.. Что я? Известиые исторические личиости, пресыщеииые богатством и властью, развращались и гиали то, чему прежде поклоиялись...

— А разве ие было исключеиий?

— Исключеиия подтверждают правило, Аглая Петровиа.

— Мрачио же вы смотрите иа богатых людей, Василий Васильич... Я рада по крайией мере, что меия вы хоть ие считаете счастливой миллиоиеркой...

— Какая же вы счастливая... Вы в каждом должиы видеть прежде всего посягателя иа ваши деиьги...

— Но только ие в вас, Василий Васильич!

— Надеюсь! — заиосчиво кииул Невзгодии.— От этого вы вот и одииоки... Вы, я думаю, и искреииему чувству ие поверили бы. Вам все бы казалось, что любят ие вас, а ваши миллиоиы. Не правда ли?

— Правда... Но ие совсем... Я чутка... Я поияла бы. Когда-иибудь я расскажу вам, Василий Васильич, плоды своих иаблюдеиий с молодых лет. Тогда, изучая меия, вы, быть может, простите миогое... Да, вы правы, Василий Васильич. Богатство развращает!

Аглая Петровиа притихла и словио бы вииовато взгляиула иа Невзгодииа. И в эту мииуту миллиоиы ее казались ей только лишиим бремеием. Никогда ие полюбит Невзгодии эксплуататорку миллиоиершу.

А Невзгодии, с обычиой своей маиерой отыскивать везде страдаиия, уже жалел эту красавицу миллиоиерку. Не рисуется же оиа перед иим, и с какой стати ей рисоваться? Оиа, иавериое, испытывает муки своего положеиия.

И, польщеииый, что оиа ему поверяла их, троиутый ее печальиым видом, ои в своей писательской фаитазии уже прозревал драму, иаделяя «великолепиую вдову» теми качествами, какие ему хотелось самому видеть в созидаемом им эффектиом образе «кающейся» миллиоиерки. И в эти мииуты ои даже забыл, что «кающаяся» ие только делает

все, что может делать представительница капитала, но и донимает рабочих на своих фабриках штрафами, о чем он знал от своего приятеля.

Женщины, и особенно влюбленные, отлично умеют приспособляться, отдаваясь воле инстинкта, и Аглая Петровна хорошо поняла, что Невзгодина можно взять благородством. И он легко поддавался этому, несмотря на весь свой критический анализ и прежние мнения об Аносовой, тем более что его самолюбие было польщено, что такая писаная красавица желает перед ним оправдаться в чем-то. Он, конечно, далек был от мысли, что все эти грустные излияния «бабы-дельца», что эта внезапная перемена в ее настроении и во взглядах на «тщету богатства» явились под влиянием властного чувства, охватившего энергичную и страстную натуру Аглаи Петровны.

И Невзгодин с сочувствием взглянул на Аносову. Как не похожа она была теперь, притихшая, грустная, словно бы виноватая,— на ту самоуверенную, блестящую, «великолепную» вдову, которую он видел раньше!

Точно благодарная за этот взгляд, Аглая Петровна протянула Невзгодину свою выхоленную белую руку. Он почтительно поцеловал ее, а Аглая Петровна крепко пожала руку Невзгодина и проговорила:

— Значит, есть надежда, что мы можем быть приятелями?

— Отчего же нет...

— И пока вы будете изучать меня... я буду иметь удовольствие вас видеть...

— Боюсь, не надоем ли?

— Не кокетничайте...

— Впрочем — надоем, вы прикажете не принимать. Это так просто.

— Но только этого вы не скоро дождетесь... А теперь будем чай пить... Пойдем в столовую или здесь?..

— Здесь у вас отлично...

— Ну, так здесь...

Аносова подавила пуговку и велела подавать самовар.

— А вы сегодня были на похоронах? — спрашивала Аносова.

— Был.

— Надеюсь, Найденов не явился?

— Да и вообще мало было.

— Я слышала, мать Перелесова приехала!

— Да?.. Несчастная!.. Она теперь осталась без всяких средств после смерти сына. Он ее содержал.

— Спаснбо, что сказалн.
— А что?
— Как что? Необходимо устронть старушку!..— участливо промолвнла Аиосова.
— Истниное доброе дело сделаете, Аглая Петровиа.
— Завтра же напишу Сбруеву. Пусть придумает форму помощи, не обидную для старушкн.
— А вы как думаете ее устронть?
— Предложу ежемесячиую пеисию. Пятьдесят рублей пожизиенно. Довольио?
— Конечно. Сердечно благодарю вас за старушку, Аглая Петровиа! — горячо промолвил Невзгоднн.

Он был решительио троиут ее отзывчнвостью и быстротою решения. А ои прежде думал, что великолепиая вдова благотворит только из тщеславня, чтобы о ней говорилн в газетах. Нет, она положнтельио добрая женщнна!

— Есть за что благодарить! — с грустной улыбкой ответила Аглая Петровна.

Слуга подал малеиький серебряный самовар, поставил варенье, сливки, ром и лнмон и удалился.

— Вам крепкий?
— Нет...

Невзгоднн глядел, как умело Аглая Петровиа заварила и потом перемыла стакан н чашку.

— А еще где вы былн сегодня, Василий Васильич? У Маргарнты Васильевиы былн?
— Вчера был...
— Вы, кажется, часто у нее бываете?
— Нет...
— Что так?.. Окончили ее изучать?
— Я Маргариту Васильевну не изучал. Я просто был в нее влюблен прежде...
— И долго?
— Долго.
— А что зиачит по-вашему: долго?
— Два с половнною года. Согласитесь, что очеиь долго.
— А теперь?
— А теперь мы добрые приятелн, вот н все!

Аглая Петровна радостио улыбиулась. Но вслед за тем спросила:

— Но отчего же она ие любит своего мужа?
— Могу вас уверить, что не нз-за меня... Да, кажется, ин нз-за кого, а просто так-такн не любнт. Это хоть редко встречается, ио бывает...

— А Николай Сергеич так ее любит!

— Вольно же. Люби не люби, а насильно мил не будешь, Аглая Петровна.

— Да, не будешь! — значительно проронила молодая женщина.

Она подала Невзгодину чай и спросила:

— А вы не боитесь возвращения чувства?

— Оно не возвращается... А бедную Маргариту Васильевну придется огорчить! — резко оборвал Невзгодин тему беседы.

— Чем?

— Ваше письмо не подействовало.

— Какое? Я ничего не понимаю.

— Письмо к Измайловой. Я был у нее сегодня.

— И что же?

— Разумеется, отказ. Впрочем, я этого и ждал. Помоему, большая ошибка со стороны Маргариты Васильевны было давать мне такие поручения... Измайлова, говорят, любит антиноев до сих пор... Ну, а я... сами видите, что невзрачный кавалер... Тем не менее я рад, что видел знаменитую Мессалину в отставке. И какая же она страшная, эта раскрашенная старуха!..

— Как же она вас приняла? Расскажите.

— Не особенно любезно. Осмотрела с ног до головы и, прочитавши ваше письмо, недовольно повела своими накрашенными губами и наконец просила изложить, в чем дело... Несмотря на все мое красноречие,— а я был красноречив, даю вам слово! — Измайлова отнеслась к затее Маргариты Васильевны прямо-таки неодобрительно. «Какие театры да лекции для рабочих? Я этому не сочувствую...» Ну, спросила, конечно, дали ли вы пятьдесят тысяч или пообещали только, и когда я сказал, что пообещали, она... усмехнулась довольно-таки, признаться, многозначительно...

— Не поверила, что я дам? — усмехнулась Аносова.

— Как будто так. А затем стала допрашивать: кто такой я и почему к ней приехал, а не Заречный... Одним словом, полнейшее фиаско... Не осуществить, как видно, Маргарите Васильевне своего плана...

— А вы его одобряете?

— Отчего ж не одобрить. Дело, во всяком случае, полезное...

— Ну, так план Маргариты Васильевны осуществится! — весело проговорила Аглая Петровна.

— Каким образом?

— Я одна выстрою дом, а вы, быть может, не откажетесь помочь нам советом, как лучше это сделать...

Невзгодин был изумлен.

— Ну что? Немножко довольны мною, Василий Васильич?

— Я восхищен вами, Аглая Петровна, и чувствую себя перед вами виноватым. Простите!

И Невзгодин горячо поцеловал руку Аносовой.

— За что вас прощать?

— За то, что считал вас не такою, какая вы есть.

— Вы вправе были... Я ведь кулак-баба... Наследственность сказалась.

— Вы клевещете на себя. А решение ваше сейчас?.. Это что?

— Ваше влияние, Василий Васильич!

— Вы шутите, конечно.

— Какие шутки! И заметьте — я без особенной надобности никогда не лгу... Это результат наших споров в Бретани и вообще знакомства с вами... У меня нрав скоропалительный... И на добро и на зло азартный, если я кому поверю... Только не оставляйте своими добрыми указаниями... Ну и, кроме того, ведь мы, бабы, любим, чтобы нас описывали не очень уж скверно — мне, значит, и хочется, чтобы, изучая, вы видели меня лучше, чем я есть... Простите бабье тщеславье, Василий Васильич...

— Вы преувеличиваете влияние моих споров! В вас просто добрая натура говорит.

— Думайте, как знаете...

Аносова заговорила о своем англичанине-управляющем и нашла, что его надо убрать. Очень уж он строг.

И совершенно неожиданно обратилась к Невзгодину с просьбой: порекомендовать ей какого-нибудь порядочного человека.

Когда Невзгодин в первом часу прощался с Аглаей Петровной, она спросила:

— Скоро увидимся?

— Я завтра зайду... Можно?

— Еще бы! Я рада поболтать с интересным человеком, ну, а вам...

— А мне?

— А вам надо изучить новую разновидность московской купчихи. Так приходите!..— проговорила Аносова своим мягким, певучим голосом, ласково улыбаясь глазами.

XXXIII

Прошел месяц.

В течение этого времени Невзгодин чуть ли не каждый день ходил к Аглае Петровне и просиживал с ней вечера в клетушке. Они вели долгие разговоры, спорили, читали вместе, знакомили друг друга с своими биографиями. Аносова нередко посвящала Невзгодина в свои дела и спрашивала его советов. За это время они сблизились, и Аглая Петровна с инстинктом любящей женщины старалась показать себя Невзгодину с самой лучшей стороны и, действительно, под властью чувства, далеко не походила на прежнюю деловитую купчиху, скаредную и бессердечную, когда дело шло об ее купеческих интересах. Все, близко знавшие Аглаю Петровну, дивились такой перемене и приписывали ее, разумеется, тому, что Аносова влюбилась, как дура, в Невзгодина. Нечего и говорить, что безупречная доселе репутация Аглаи Петровны пошатнулась среди купечества, и Невзгодина называли любовником Аносовой.

А между тем ничего подобного не было.

Правда, великолепная вдова не только интересовала молодого писателя, как интересный тип для изучения, но и очень нравилась ему, импонируя своей роскошной красотой и привлекая умом; тем не менее он старался скрыть это и объяснял свои частые посещения удовольствием поболтать с умной женщиной. До сих пор он не обмолвился серьезным признанием, хотя нередко и говорил в шутливом тоне о красоте Аглаи Петровны.

Она нередко ловила восторженные взгляды Невзгодина и ждала, нетерпеливо ждала, что он наконец бросится к ее ногам и признается, что любит ее, но этого не было, и Аглая Петровна влюблялась сама все более и более, но, разумеется, горделиво не показывала Невзгодину, как он ей дорог и как бы она была счастлива выйти за него замуж.

Невзгодин и не догадывался, что в него Аносова влюблена, и верил ей, когда она говорила, что питает к нему хорошие чувства, как к человеку, который «открыл ей глаза» и сделал ее лучше. И он видел, что действительно имеет некоторое влияние на Аглаю Петровну, приписывая это влияние доброй, в сущности, натуре Аносовой, но испорченной наследственностью и средой.

Те перемены, которые она сделала на фабрике, удалив англичанина, и те планы, которые она хотела привести в исполнение, не оставляли его в сомнении, что Аглая Петровна «кающаяся капиталистка».

И Невзгодин, иесколько «оболваиеииый» и красотой великолепиой вдовы, и ее умеиьем довольно тоико льстить мужскому самолюбию, и ее «плаиами», уже мечтал об иитересиой теме для иовой повести, героиня которой под идейиым влияиием раздает свои богатства, отказываясь от жизии, полиой роскоши и блеска... По временам эта тема казалась фальшивой его художествеииому инстиикту, ио ведь факт почти иалицо в лице Аглаи Петровиы. Надо только довести его до логического развития.

Впрочем, все эти мечтаиия о повести ие мешали Невзгодииу по времеиам (и в последиее время довольио-таки часто) совсем не «идейио» заглядываться на великолепную вдову.

«Тоска», иапечатаиная в яиварской киижке одиого из петербургских журналов, очеиь понравилась Аглае Петровне, и оиа в восторженных комплимеитах призиала в Невзгодиие выдающийся талаит. Действительио, у Аносовой был литературиый вкус, развитой недуриым знакомством с несколькими литературами, и оиа сумела оттенить лучшие места повести и при этом тоико польстить авторскому самолюбию. И он, хотя и иаходил похвалы неумереииыми, тем не меиее поддавался лести. Ведь так приятно, когда умиая и красивая жеищина считает вас гениальиым человеком!

Впрочем, не одна Аглая Петровна пришла в восторг от повести. Вскоре по иапечатании ее Невзгодии стал получать пересылаемые ему из редакции письма от иеизвестных лиц, выражавших свое сочувствие и похвалы. И эти письма, искреииие и восторжеиные, благодарившие за призыв к вере в идеалы, сказавшийся в тоске по ним,— трогали молодого писателя и в то же время словио бы обязывали его отиоситься к писательству как к общественному служеиию. Накоиец, появились в нескольких газетах и рецензии. Почти во всех приветствовалось появление иового таланта, иа который возлагались иадежды. Зато в двух газетах повесть Невзгодина была обругаиа жесточайшим образом, и имеиио за призыв к тому, что, слава богу, «исчезло, как мираж, иашедший на бедную Россию в шестидесятых годах».

Вместе с получением гоиорара Невзгодии получил и письмо от редактора, который сообщал, что иовый рассказ очеиь ему поиравился и будет иапечатаи в следующей книжке. Вместе с тем он просил и дальнейшего его сотрудничества, прибавляя, что такие вещи, как «Тоска» и другой рассказ, «украшают» страницы журиала.

Невзгодин радовался своему успеху, хотя н несколько изумлеиный им. Скептнческая жнлка мешала ему возгордиться, и он только мечтал о том, чтобы заслужить похвалы будущими своими работами. В ием сиова пробуждалась охота писать, и он по утрам работал, а вечером его тянуло к великолепиой вдове...

«Не камеииая же оиа в самом деле!» — говорил ои себе и в то же время чувствовал, что с ней авантюра едва лн возможиа. Оиа ие из таких... С ней иадо закинуть иа себя мертвую петлю...

После появлення «Тоски» Невзгодин получил лестные приглашеиия из миогих редакцнй, а нздатель одного иллюстрированиого журиальчнка сам прнехал к Невзгодину и, отрекомендовавшись ему, без всяких церемоиий спросил, окидывая удовлетвореиным взглядом жалкую обстановку комиаты:

— Вы сколько получаете с лнста в вашем журиале?

— Сто рублей! — ответил Невзгоднн, несколько изумленный развязиостью нздателя.

— Так я вам охотио дам трнста н, если хотнте, сию миуту пятьсот рублей аванса. Угодно получить?

И издатель, не дожидаясь согласня н, по-виднмому, ие сомневавшийся в нем, вынул бумажиик, достал пять сторублевок и положил их на стол перед Невзгодным.

Тот с улыбкой иаблюдал за нздателем.

— Напрасно вы беспокоились. Положнте свон деиьги в бумажник! — проговорил наконец, улыбаясь, Невзгодин.

— Вы не хотнте? — искренне нзумился черноволосый, курчавый молодой нздатель с бойкимн н плутоватымн глазками.— Вам, может быть, желательно четыреста рублей с листа и тысячу аванса?.. Что ж, мы н это можем...

— Я совсем не желаю участвовать в вашем журиале!

— Не желаете? Но позвольте спроснть, почему-с? У меня сотрудничают господа писателн первого сорта... можно сказать, генералы-с...

Издатель перечнслнл несколько действнтельно известных литературиых имен н продолжал:

— Как виднте, компання прилнчная-с вполие... И вам, смею думать, гораздо лестиее получнть четыреста рублей с листа, чем сто... В четыре раза более... И читателей у меня гораздо больше... Илн вы, Василнй Васнльич, обязаны коитрактом? Так я с удовольствнем рнскну иа неустойку, еслн она ие велика-с. Вы в моде теперь, н я готов на жертвы-с.

Наснлу Невзгодин нзбавился от одного нз более юркнх

представителей современного издательства. Издатель ушел наконец, так-таки и не понявший, что человек в здравом уме и твердой памяти мог отказаться от таких блестящих предложений.

После того как Невзгодина расхвалили, о нем заговорили и в Москве. С ним старались познакомиться и залучить на журфиксы. Звенигородцев, находивший раньше, что Невзгодин ничего путного написать не может, заезжал к Невзгодину, наговорил ему множество приятных вещей и звал его вечером на журфикс к одному очень умному человеку, у которого собираются только очень умные люди, и был несколько огорчен, что Невзгодин отказался.

Но, знакомый только с казовой стороной своей известности, Невзгодин, не бывавший почти нигде, и не догадывался, какова изнанка ее и что про него говорят.

А говорили про него, действительно, черт знает что такое. Кто распускал про него грязные сплетни и к чему их распускали,— кто знает, но они имели успех, как всякие сплетни, да еще про человека сколько-нибудь известного.

Говорили, что Невзгодин ловко-таки «обрабатывает» миллионерку. Небось пишет об идеалах, смеется над всем, а сам... подбирается к аносовским деньгам... Какая гнусность! Его, конечно, называли Артюром при великолепной вдове. Другие, впрочем, утверждали, что он дальновиднее и, наверное, женится на миллионерке.

— Ждала, ждала... и не могла выбрать лучше... Нечего сказать, отличная партия!

Однажды Невзгодина встретил на улице один из его знакомых и спросил: правда ли, что он думает издавать журнал?

— И не думал! — рассмеялся Невзгодин.

— Однако говорят...

— А пусть говорят... Только говорят ли, откуда на журнал у меня деньги?

— Как откуда? Да Аглая Петровна Аносова, говорят, дает... Вы ведь с ней хорошо знакомы.

Невзгодин только презрительно усмехнулся, но тон, с каким были сказаны эти слова, покоробил его, и он в тот вечер сидел, по обыкновению, в клетушке несколько раздраженный.

Он досадовал на себя, что пришел.

Разговор в этот вечер не клеился. У обоих собеседников точно на душе было что-то, мешавшее обычной беседе. И это чувствовалось.

«И на какого дьявола я шляюсь сюда каждый вечер?

Зачем? Она в самом деле может подумать, что я огорошу ее просьбами о деньгах на журнал?»

«Фу, мерзость!» — мысленно проговорил Невзгодин, раздражаясь от этой мысли еще более.

Он решился сейчас же уйти, чтобы не «разыгрывать дурака». Так она и вернит его «изучению»!.. Таковская!

Невзгодин искоса взглянул на нее и остался на обычном своем месте — на низеньком кресле у диванчика, на котором сидела Аглая Петровна, притихшая, грустная и ослепительно красивая.

Остался и сделался еще мрачнее, злясь на самого себя.

XXXIV

Минуты две прошло в молчании. Наконец Аносова спросила:

— Что с вами, Василий Васильич? — В тоне ее голоса звучала тревога.

Невзгодин насторожился. Он уловил эту тревогу, и в ней ему послышалось что-то притязательное. Это несколько удивило и рассердило его.

— Ничего особенного,— ответил он.

— Вы чем-то раздражены?

— Положим... Так что ж из этого?

— Уж не я ли провинилась в чем-нибудь перед вами? И вы мною недовольны?

— Я? Вами? И какое я имел бы право?

— Это делается без всяких прав.

— Но все-таки выражают недовольство только люди с правами, а обыкновенные смертные просто не ходят к знакомым, которыми недовольны.

— Даже когда и изучают?

Он взглянул на Аносову: не смеется ли она? Но Аглая Петровна глядела на него так значительно и так нежно, что Невзгодин смущенно отвел свой взгляд и проговорил:

— Сегодня была одна встреча на улице и разговор, который меня раздражил... Да что скрывать...

И Невзгодин передал Аносовой разговор.

— И это могло вас раздражить?

— Как видите.

— Вижу! — грустно протянула Аносова.

Она, видимо, что-то хотела сказать, но не решалась.

— Говорите, Аглая Петровна... Говорите... я все выслушаю...

— И раздражитесь еще более? А я не хочу вас раздражать...

— Ну, как угодно... Сегодня мы оба в дурном настроении, и я лучше уйду...

— Нет, не уходите, Василий Васильич... Не уходите... И я вам скажу, что хотела. Неужели вы, в самом деле, не взяли бы у меня денег на журнал, если бы захотели издавать сами?

— Конечно, нет! — резко ответил Невзгодин.

— Я даже такого доверия не заслужила? Или вы побоялись бы, что скажут?

— Писателю надо быть выше всяких подозрений... И наконец, я никогда бы не путал женщину в дела, которых она не понимает...

— Даже если б женщина была вашим добрым приятелем?

— Тем более...

— Я так и думала... Очень уж вы горды, Василий Васильич... Вот вас даже и пустой разговор раздражил... А про меня, по поводу вас, теперь и не то говорят, а я, как видите, нисколько не смущаюсь... Пусть говорят!..

— По поводу меня? Что ж смеют говорить? — вызывающе кинул Невзгодин и весь вспыхнул.

— Ишь! Уже и загорелись!.. Говорят, что я...

Аносова запнулась.

— Что вы? — нетерпеливо переспросил Невзгодин.

— Ваша любовница! — досказала Аносова и взглянула на Невзгодина.

Тот совсем опешил от изумления.

— Изумлены? — кинула Аносова.

— Еще бы! Сочинить такую... такую нелепость про вас, чья репутация безупречна... Как это глупо! — воскликнул Невзгодин.

— А между тем ведь это так правдоподобно... До сих пор я жила отшельницей и вдруг почти каждый вечер сижу глаз на глаз с молодым человеком... Ведь не всякий же знает то, что знаю я...

— То есть что?

— Что молодой человек исключительно с литературной целью навещает женщину, еще не старую, ну и...

— Замечательную красавицу? — досказал горячо Невзгодин.

— К которой он, впрочем, довольно равнодушен! — прибавила Аглая Петровна.

Невзгодин не принял вызова и воскликнул:

— И вы меня не выгнали до сих пор, несмотря на такие сплетни?

— Я? Вас?..

Опять Аносова так ласково, так нежно и вместе с тем удивленно посмотрела на Невзгодина, что тот снова смутился.

— Да разве мне не все равно, что говорят! Я ничьей любовницей не была и не буду! — гордо подчеркнула она,— но пусть болтают, что хотят! Я сама по себе! — усмехнулась Аносова.

Это пренебрежение общественным мнением такой рассудительной и степенной женщины, какою казалась Аглая Петровна, восхитило Невзгодина и, разумеется, приятно щекотало его самолюбие.

И он восторженно взглянул на красавицу вдову и благодарно стал целовать ее руку несколько дольше и горячее, чем следовало бы это в литературных интересах.

Но Аносова не отнимала своей горячей руки, и Невзгодин ее несколько раз принимался целовать.

— И знаете ли, о чем еще на днях спрашивала меня сестра?

— О чем?

— Скоро ли я выхожу замуж?

— Вы? За кого?

— Да что вы за агнец, в самом деле! Разве не знаете?

— Клянусь честью, не знаю.

— Да за вас, разумеется!

— За меня?!

И Невзгодин искренне рассмеялся.

Аглая Петровна, по-видимому, недовольна была этим смехом и спросила:

— Чему вы смеетесь?

— Да уж это несравненно по своей глупости.

— Чем же так глупо?

— И вы еще спрашиваете? И вы охотница шутить! — с насмешливой улыбкой промолвил Невзгодин, несколько раздраженный.

— Я не шучу, Василий Васильич... Разве вы не видите или нарочно не хотите этого видеть? — значительно и серьезно промолвила Аглая Петровна.

— Вы... красавица, умная женщина, миллионерка, и вам сделать такой mésalliance!..[1] Выйти замуж за такого богему,

[1] неравный брак *(фр.)*.

иищего писателя, человека таких взглядов, как я... н прнтом такого непривлекательного...

— А почем знать. За такого, н только за такого я бы вышла. Такого, может быть, я и полюбила бы н не промеияла его ии иа кого. Да н как еще полюбнла! — порывисто прибавила Аиосова...

Она как будто говорила шутя, ио каждое слово ее дышало иеподдельною страстью. И Невзгоднн словио бы неожидаиио прозрел н почувствовал, что эта жеищииа ие шутит. И ему стало жутко.

Все еще как бы не доверяя этому, ои заглянул в глаза Аиосовой пытливым, вопросительиым и слегка смеющимся взглядом.

— Теперь верите? — шепиула она, не сводя с него своих темных глаз, светившихся лаской, и стыдлнво алела, словио бы виноватая, что ие могла более танть чувства.

— Не верю, не верю, не верю! — вызывающе повторял Невзгоднн.

А сам верил, нзумлеиный, что его любнт эта властиая, строгая красавнца, и, весь охваченный трепетом молодой страсти, глядел на молодую женщнну восторжеино-благодариым взглядом.

— Так поверьте...

И Аносова вдруг порывнсто обвила шею Невзгодииа и прильнула свонми губамн к его губам в долгом страстиом поцелуе.

Еще мгиовеиие, н она оттолкнула его.

У Невзгодииа была несчастиая особениость, прнсущая многнм пнсателям, ие терять способностн иаблюдать и подчас ядовито смеяться иад собою даже в самые, казалось бы, счастлнвые мгиовеиия жизни, и это вноснло отраву во все его увлечення. Казалось, он не мог иепосредствеино отдаваться впечатлеииям, точно какой-то иасмешлнвый бесенок сидел у него в голове и нашептывал ему смешные вещн.

Только раз в жизни, когда Невзгодни любнл Маргариту Васнльевну, он не анализнровал, не потешался над собою, а просто любил до безумия.

И теперь, опьяневшнй от поцелуя, он словно бы был иастороже н, более благодарный, чем счастливый, слушал, как Аглая Петровна, счастливая н радостиая, говорила, заглядывая ему в глаза:

— О, какой же вы глупый, несмотря иа весь ваш ум... На аршнн под землю вндите, а не видели, что я люблю вас... Ужели не замечали?..

— Честиое слово...

— Какой же вы скромный, и как это хорошо... Ну да... люблю. Вы — идол мой. Ведь ради вас я стала другая... Ради вас я измеиила порядкн иа фабрике... Ради вас я строю этот дом для рабочих... А вы ие поверили, что я с радостью пошла бы за вас замуж, чтобы вы были моим, только всегда н всегда моим! — властно прибавила оиа.— А я и все мои миллноиы в вашем распоряжеиии... Теперь верите?.. А вы... Вы любите лн меня?.. нли мне только это чудится в ваших глазах... Хотите быть моим?..

Невзгодииа захватила эта порывистая, сильиая страсть, и, признаться, эти миллиоиы на мгновеиие смутили его. Отчего не жениться? Оиа красива, умиа... Оиа ему иравится, эта красавица... А иа этн миллиоиы можио сделать миого хорошего...

Но в следующее же мгновеиие ои уже пришел в ужас от мысли жеииться на Аиосовой.

Сидевший в голове его добрый бесеиок высмеивал его добрые иамереиия благотворить чужими миллиоиами и ядовито докладывал, что Невзгодин просто жеиится, как первый прохвост, иа миллиоиах, чтобы жить иа чужие миллиоиы, утешая себя благотворительиыми подачками. И это писатель, автор «Тоскн», проповедующий, что богатство развращает... Какой же, однако, писатель негодяй!.. На словах герой, а при первом же соблазие ие устоял... И разве он любит великолепную вдову?.. Разве это любовь, а ие одио только вожделеиие к красивому телу?.. Разве по духу оиа ему близка? И разве ои хочет идти под ярмо и вечно быть в полиой собственности миллиоиерши, вместо того чтобы быть свободиым и независимым писателем?..

— Что ж вы молчите, Василий Васильевич? Или вы в самом деле ходили только изучать меия? — почти крикиула Аглая Петровна, увидавшая, как загорается иасмешливый огоиек в глазах Невзгодиия.

— Я очеиь тронут вашим чувством... Вы мне иравитесь, Аглая Петровиа, к чему лукавить, ио я ие думал связывать свою судьбу...

— С судьбой капиталистки? — ядовито перебила она Невзгодиия.— Пошутить... отчего же?.. Говорить лукавые, вызывающие речи и... простите... «я изучил»... и отойти, если не удастся легкая интрижка... «Подиесут — пью, ие подиесут — ие пью», так, кажется, говорил вам какой-то остяк, этики которого вы придержнваетесь?.. А что за дело до тех, кого вы смущали лукавыми речами... На тех иаплевать...

Аглая Петровна говорила, почти задыхаясь от гнева и оскорбленного самолюбия.

И вдруг она смолкла. Бледная как полотно и прекрасная в своем гневе, она порывисто встала с дивана.

Встал и Невзгодин.

Она смерила его злыми глазами и в бешенстве крикнула:

— Вон... И никогда не показывайтесь на мои глаза...

Но, как только Невзгодин направился к дверям, Аносова бросилась к нему и, схватив за руку, прошептала:

— Простите... простите... Вы хороший... славный... Я люблю вас... Да хранит вас Христос!

Властным жестом приказала она Невзгодину нагнуться. Она трижды поцеловала его в губы, торжественно перекрестила его и сказала, говоря ему «ты»:

— Будь счастлив, родной, не поминай меня лихом!

В голосе ее слышны были рыдания.

— Вы не поминайте меня лихом! Прощайте, Аглая Петровна! — взволнованно проговорил Невзгодин, крепко пожимая ей руку.

— За тобой лиха нет... И ты прав: тебе пут не надо... Ты из орлиной породы... Спасибо за приязнь, за все спасибо, хороший мой!

Когда Невзгодин ушел, Аносова беспомощно опустилась на диван и горько-горько заплакала.

— Видно, и мне одинокой жить! — прошептала она.

На другой день она принялась за дела. Призванный зачем-то Артемий Захарыч обрадовался, увидав свою госпожу за счетами.

XXXV

На следующее утро Невзгодину не работалось.

Он был еще под сильным впечатлением того, что так неожиданно произошло вчера, и хотя жалел Аносову, но сам испытывал радостное чувство человека, избавившегося от опасности.

В самом деле, он чуть было не увлекся и... расхлебывай потом кашу.

Вошел коридорный Петр и подал телеграмму:

— Должно, от сродственников, Василий Васильич.

— Никого у меня нет сродственников, Петр...

— И родителей нет?

— Давно умерли. Один, как перст.



«Жрецы».
Художник Ю. Хайлов

Невзгодии разввриул телеграмму и прочел:
«Приходите завтра в час завтракать иа иовоселье Никольский переулок дом Гиездова квартира 10 Где пропадаете Маргарита».

— Ай да молодец! Вырвалась иа свободу. Не ожидал! — весело проговорил Невзгодии, бросая телеграмму иа стол.

— Чего изволите? — откликиулся Петр.

— Я ие вам. Как сегодия иа дворе?

— Весиой оказывает, Василий Васильич. Каплет.

— Весиой? В самом деле, февраль иа исходе.

— Скоро масленица.

— Скоро и я уеду.

— На иовую квартиру?

— Из Москвы. Сперва в Петербург, а потом весиу в Крым встречать, а дальше и сам ие зиаю...

— Вам все равио, где ии жить... Пиши себе зиай.

— То-то и хорошо... Вот иа диях получу деиьги, и прощайте, Петр! — весело говорил Невзгодии, предвкушая, как истый бродяга, удовольствие путешествия.

— Одии поедете?

— А то с кем же?

Петр хихикиул.

— А с той барыией?

— С какой?

— Которая тогда к вам иаведывалась... Такая фасоиистая... Еще фрукты покупали...

— То моя жеиа.

— Же-иа? — с мелаихолическим изумлеиием протяиул Петр.— Вы, зиачит, с супругой вроде как будто врозь?

— И совсем врозь! — засмеялся Невзгодии.— Что, ие приходила оиа?

— То-то иет. Прикажете отказывать?

— Нет... зачем же.

Петр вышел и тотчас же вериулся.

— Легка иа помиие... Идут! — таииствеиио прошептал ои и сиова скрылся.

Через иесколько секуид раздался троекратиый стук в двери.

— Войдите!

— Я к вам иа одиу мииуту, Невзгодии,— проговорила Марья Иваиовиа, пожимая мужу руку и брезгливо оглядывая комиату,— была около, поблизости, и зашла поздравить вас... Где тут сесть у вас?

— А вот сюда, Марья Ивановна! Стул чистый,— усмехнулся Невзгодин, подавая жене стул и оглядывая ее новую весеннюю жакетку...— А поздравить с чем пришли?

— Во-первых, с литературным успехом...

— А во-вторых?

— С женитьбой... Вы гораздо практичнее, чем я ожидала... Одобряю и поздравляю... Надеюсь, и за развод вы заплатите мне хорошо...

— С чего вы взяли?.. Я и не думаю, слава богу, жениться.

— А на Аносовой? На этой красавице миллионерке... Я об этом уж несколько раз слышала. Говорят, она влюбилась в вас, как кошка...

— И не думал... и не влюблена она... и все это сплетни! — с раздражением сказал Невзгодин.

— Но вы у нее каждый день бывали?

— Бывал.

— И кажется, сдружились с ней?

— Положим, и сдружился...

— Так ведь отчего и не жениться?.. Я наверное знаю, что она пошла бы за вас.

— И знайте. Я вот не женюсь и скоро уезжаю.

— Да что вы сердитесь?.. И глупо делаете, если упускаете такой случай... Впрочем, вы все такой же... Миллионами брезгаете... Ну, прощайте... А ко мне что же по воскресеньям ни разу не заглянули?.. Или не хотите больше видеть? — улыбнулась Марья Ивановна.

— Некогда было...

— Знаю я эти ваши некогда... Или изучали миллионерку?

— Изучал.

— И кончили?

— Кончил... И знаете ли что?

— Что?

— Не пообедаем ли мы как-нибудь опять в «Эрмитаже»?

Марья Ивановна усмехнулась.

— Что ж... Пожалуй... Вы, видно, опять богаты?

— Миллионов нет, но сто рублей в кармане. Скоро еще четыреста получу... Чем не Крез?

— Миллионов у вас и помину не будет.

— То-то. Вы, кажется, меня немного знаете?

— А у меня капитал маленький будет. Наработаю практикой.

— Не сомневаюсь. Вам и миллионы позволительны. Так вам когда угодно обедать?

— Могу только в одно из воскресений. Остальное время занята...

— Так в это воскресенье я заеду за вами, Марья Ивановна...

— Заезжайте. В котором часу?

— В четыре.

— Буду ждать. До свидания. И то сегодня полчаса лишних гуляю! А вы ничего... Не так скверно глядите, как тогда... Верно, не сочиняете запоем? — бросила она на ходу и ушла.

«Вот с этой дамой никаких драм не может быть! Признает только науку и режим!» — усмехнулся про себя Невзгодин.

Скоро он вышел из дома.

XXXVI

В воздухе, действительно, пахло весной. Солнце грело с голубого неба, веселое и яркое. На улицах была грязь... Отовсюду капало.

Невзгодина еще сильнее потянуло из Москвы. Он заедет в Петербург, чтобы лично познакомиться с редактором, и оттуда — в Крым. Никогда он не бывал в Крыму, но слышал, что весной там особенно хорошо.

А в Москву он не вернется. Где он останется, он еще не решил. Если понравится Петербург,— в Петербурге. Если нет,— в другом городе, но только не в Москве. Уж очень деньгами она пахнет, эта Москва, и очень уж болтовней занимаются москвичи. Он, слава богу, вольная птица... Ничем и никем не связан и может жить, где угодно. Литература прокормит. И не надо даже обращаться в ремесленника и писать слишком много. Потребности у него небольшие... Одна голова — не беда.

И он шел по улице, веселый и бодрый, мечтая о том, как хорошо будет ему работаться в Крыму, где-нибудь на берегу моря. Там он, быть может, напишет что-нибудь лучшее. И при одной этой мысли Невзгодин чувствовал в себе словно бы новый подъем сил.

Но воспоминание об Аглае Петровне нет-нет да и омрачало его настроение... Он не чувствовал себя виноватым перед ней — он не заигрывал с ней, а все-таки... И ему де-

лалось стыдно, когда он припоминал эту позорную минуту решения жениться на ней. О, как стыдно! Он непременно ее опишет, эту минуту, правдиво, без утайки... И она осветит темный угол души человеческой... Эта минута ведь пережита! Но зато таких минут уж не может быть.

И хорош был бы он — супруг миллионерки да еще такой властной, как Аглая. Настоящий король Лир в юбке. И теперь, когда он только ходил к ней, уже черт знает что говорят, а тогда... Он, разумеется, не обвинит человека, который полюбит женщину богатую, но ведь он ее не любил. Но, во всяком случае, Аглая женщина оригинальная и сильная. Она не врет... Прямо призналась, что вся ее перемена из-за охватившего ее чувства. Пройдет чувство, и снова проявится наследственный кулак.

Невзгодин должен был сознаться, что он ее идеализировал в последнее время... под влиянием увлечения ее красотой. Но разве он думал, что она может влюбиться в него?

Было двенадцать часов. Невзгодин зашел в цветочный магазин, купил чайных роз и велел сделать букет. Когда он был готов, он направился к Заречной.

Дорога шла через Арбат. На Арбате он встретился с Сбруевым.

Оба радостно пожали друг другу руки и, как водится, пеняли друг другу, что давно не видались.

Невзгодин осведомился, как дела.

— По-прежнему! — кисло улыбнулся Сбруев.

— А что Найденов, остается здесь? Поправился?

— Он подал в отставку, и его увезли за границу. Плох, говорят.

— А дети с ним?

— Нет. Они в Петербурге. Славные, говорят. И у такого отца! Они-то его и доконали... Безумно любит их, а они тогда были на панихиде. Ужасно.

Они поболтали еще несколько минут и разошлись.

В исходе первого часа Невзгодин был у Заречной.

Маргарита Васильевна встретила его веселая, оживленная и похорошевшая, в большой комнате, убранной умелой женской рукой, уютной, светлой, посреди которой стоял стол, накрытый на два прибора.

— От души поздравляю вас, Маргарита Васильевна! — приветствовал ее Невзгодин, подавая букет чудных роз.

— Вот это мило, что побаловали. Узнаю вас. Что за прелесть!

Оиа положнла цветы в вазу н вазу поставила на стол.

— Сейчас будем завтракать, а пока скажу вам, что ваша «Тоска» прелесть и что самн вы бессовестио забыли меия.

— Я ие забываю друзей.

— Так как же не заглянуть?.. Впрочем... я ие упрекаю... Не заходнли, значит, ие хотелось... Вы ведь изучали иовый тип... Правда?

— Правда! — ответнл Невзгоднн, красиея.

— И про вас легенды ходят...

— Которым вы, иадеюсь, ие поверили?

— Не поверила. Я знаю вас и знаю цену московским легендам.

— А вы давно на иовом положеиии?

— Сегодия ровио неделя. Устраивалась.

— И отличио устроились.

— Я довольиа. У меия две комиаты: эта — приемиая, кабиет и столовая, а рядом моя спальная. Наиимаю от жильцов. Тихо, спокойио, хорошо. Заработок есть. А для души... дом для рабочих... Аносова ведь дает деньги!..

— А главное: вы чувствуете себя свободиой... Не иадо компромнссов! Не правда лн?

— Имеиио. И как это прнятно! Я только теперь это почувствовала вполне... И как я вам благодарна, Василий Васнльнч... Вы поступили как нстинный друг! — горячо проговорила Маргарнта Васильевиа.

— Мие? За что?

— А за то, что вы тогда на юбилее,— помните? — говорилн о позоре моего компромнсса, когда я обвиняла за иего мужа и другнх... Мне было больно, очень больно — вы ведь посыпали мою раиу солью,— и я на вас сердилась... Но ваши слова... заставнлн меня глубже загляиуть в свою совесть.

— Вы н без меия в иее заглядывали.

— Заглядывала, но успоконвала себя софизмами, прнкрывая зверя в себе... А у вас есть особенная способиость: взбудоражнть человека, заставить его не особеиио восхищаться собствеииой персоной...

— И за это доставалось-таки мие... Помиите, как иа холере одиа барынька раззиакомилась со мной... Сперва говорила: умиый, а потом в дураки пронзвела.

— А я вас нменно за это особенно н цениюо. А ведь вы все не вернлн, что я перейду на новое положеиие?

— Не верил... Да и вы сами колебались. Зато как обрадовался я вашей телеграмме!

Завтрак прошел весело и задушевно. Невзгодин отдал честь и пирогу, и рябчикам, и белому вину и расспрашивал Маргариту Васильевну об ее планах на будущее. Она весело сообщала, что переводная работа обеспечена у нее в одном журнале на полтораста рублей в месяц. Кроме того, она рассчитывает и на компиляции. Этого заработка ей вполне достаточно; от помощи мужа она, конечно, отказалась. Время у нее будет строго распределено...

— Боитесь гостей?

— Боюсь и буду принимать раз в неделю и с большим разбором! — подчеркнула молодая женщина.— А то я предвижу, что ко мне теперь будут являться господа, которые прежде почти не бывали.

— Это почему?

— А как же?.. Жена в разводе. Интересный сюжет. Начнутся попытки ухаживанья... Я ведь знаю милых московских кавалеров... Уж у меня были с визитами на новоселье... и, конечно, одни мужчины... Вчера два профессора являлись. Но я их скоро спровадила, и, верно, больше не появятся.

— А что?

— Уж очень были пошлы в своих любезностях и сочувствиях... И ведь все эти господа говорили, в сущности, одно и то же...

— Вы слишком требовательны, Маргарита Васильевна!

— Вы, кажется, тоже не из терпимых к глупости. Что делать! Признаюсь, брезглива и удивляюсь, как другие женщины малоразборчивы... Им все равно, кто бы за ними ни ухаживал, но только бы ухаживал... Я знаю одну профессоршу. Очень неглупая, чуткая женщина и образованная, а при ней — можете себе представить? — всегда стоит несколько кавалеров, как на подбор, один другого глупее...

— Несчастная!..— вставил Невзгодин.

— Нисколько. Она всех их, как говорит, жалеет, всех принимает, со всеми любезна и каждому назначает соответственные роли. Один — поэлегантнее — ездит с супругами в театр, другой — в ученые заседания, третий — на выставки, четвертый — по магазинам. И каждый уверен, что общество его приятно. Иначе ведь не ходили бы.

— Любопытный типик: коллекционерка балбесов. Теперь таких коллекционерок особенно много развелось от

одурн! — рассмеялся Невзгодни.— А вы, зиачит, ие хотнте собирать у себя такой коллекции?

— Спаси бог. Я лучше одиа буду сидеть, чем вндеть торчащего балбеса, н особеино влюбленного.

— Который косит иа вас шалые глаза, молчнт, вздыхает н вдруг выпалнт, что такого дурака, как ои, ннкто не поиимает... Но что, еслн иесколько такнх балбесов соберутся вместе?.. Ведь это... ужасно!..

Невзгодии иалил себе рюмку н, подннмая ее, сказал:

— Ваше здоровье, Маргарита Васнльевиа. Будьте счастлнвы, и да смилуется над вами судьба. Пусть в эту комнату не загляиет ни одии балбес!

— Амниь!..— ответила Маргарита Васильевиа, чокаясь с Невзгодннным.

После завтрака Маргарита Васильевна пересела на диваи, а Невзгодни иа кресло. Невзгодни закурнл папироску и спросил:

— А Нниколай Сергеич как перенес ваш уход?

— Ои был к иему подготовлен... Я предупреждала за два месяца...

— Но, согласитесь, если вы мне отрежете руку с предупрежденнем, то руки все-таки ие будет...

— Ои поступил как порядочный человек. Он покорнлся н ие пугал меия... Скажн, что ои застрелится, и я, коиечио, от иего ие ушла бы... Но ои успокоил меня иасчет этого, н мы расстались дружелюбно... Коиечио, ему тяжело...

— Ои вас любит.

— Любнт? Любовь — слово растяжнмое, Василий Васильнч... Конечно, любит, но как?.. С тех пор как я перестала быть его женой, ои стал любить меня меньше. Мы, женщниы, ведь это чувствуем... виднм в глазах... А ои имеиио любнл во мие не человека, а жеищииу... Ведь ниаче ие женился бы, зиая, что я его ие люблю... А больше всего страдает его самолюбие. Как: «Жеиа его оставила!..»

— Ну, а все-такн вы теперь к мужу сиисходнтельиее стали, Маргарита Васильевиа? — спросил Невзгодии.

— Еще бы! И ои, в сущиостн, не дуриой человек... Только любнл фразу н разыгрывал героя иа словах, когда ои самый обыкиовеиный трус и человек двадцатого чнсла...

— Отчего вы в прошедшем времеин употребляете глаголы?

— А потому, что он поиял самого себя, и... ему сделалось неловко... И ои теперь больше стал работать дома... Уж ои

не разрывается во всех учреждениях... Не гоняется за популярностью... Притих... Да и лучше, чем фразерствовать!

— А оратор он талантливый и профессор хороший. Это верно! — заметил Невзгодин.— И, при его мягкости и любезности, он долго еще будет одной из гордостей Москвы...

— Москва зато и не особенно требовательна... Ну, а вы, Василий Васильич, конечно, не женитесь на Аносовой, как говорят в Москве?

Невзгодин только рассмеялся.

1897



СОДЕРЖАНИЕ

Станюкович К. М.

С77 Избранные произведения. В 2-х т. Т. 2. Повести и рассказы. Жрецы./Ил. худож. Ю. Гершковича и Л. Хайлова.— М.: Худож. лит., 1988.— 494 с., ил.

ISBN 5-280-00088-4 (Т. 2)
ISBN 5-280-00086-8

Во второй том двухтомника, в отличие от первого тома, куда вошли произведения, посвященные морской тематике, включены «неморские» рассказы и повести, а также роман «Жрецы», действие которого происходит в среде профессоров и преподавателей Московского университета пореформенной России.

С $\frac{4702010100-020}{028(01)-88}$ 9-88

ББК 84Р1

КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ СТАНЮКОВИЧ

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ В ДВУХ ТОМАХ ТОМ 2

Редактор *Е. Малинина*

Художественный редактор *Г. Масляненко*

Технический редактор *Л. Витушкина*

Корректор *Н. Гришина*

ИБ № 5039

Сдано в набор 24.02.87. Подписано к печати 11.11.87. Формат $84 \times 108^1/_{32}$. Бумага офсетная № 1. Гарнитура «Тип Таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л. 26,04. Усл. кр.-отт. 104,58. Уч.-изд. л. 28,75. Тираж 600 000 экз. (2-й з-д 200 001—300 000 экз.). Изд. № II-2785. Заказ № 226. Цена 2 р. 60 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Ново-Басманная, 19

Можайский полиграфкомбинат Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли. 143200, Можайск, ул. Мира, 93

